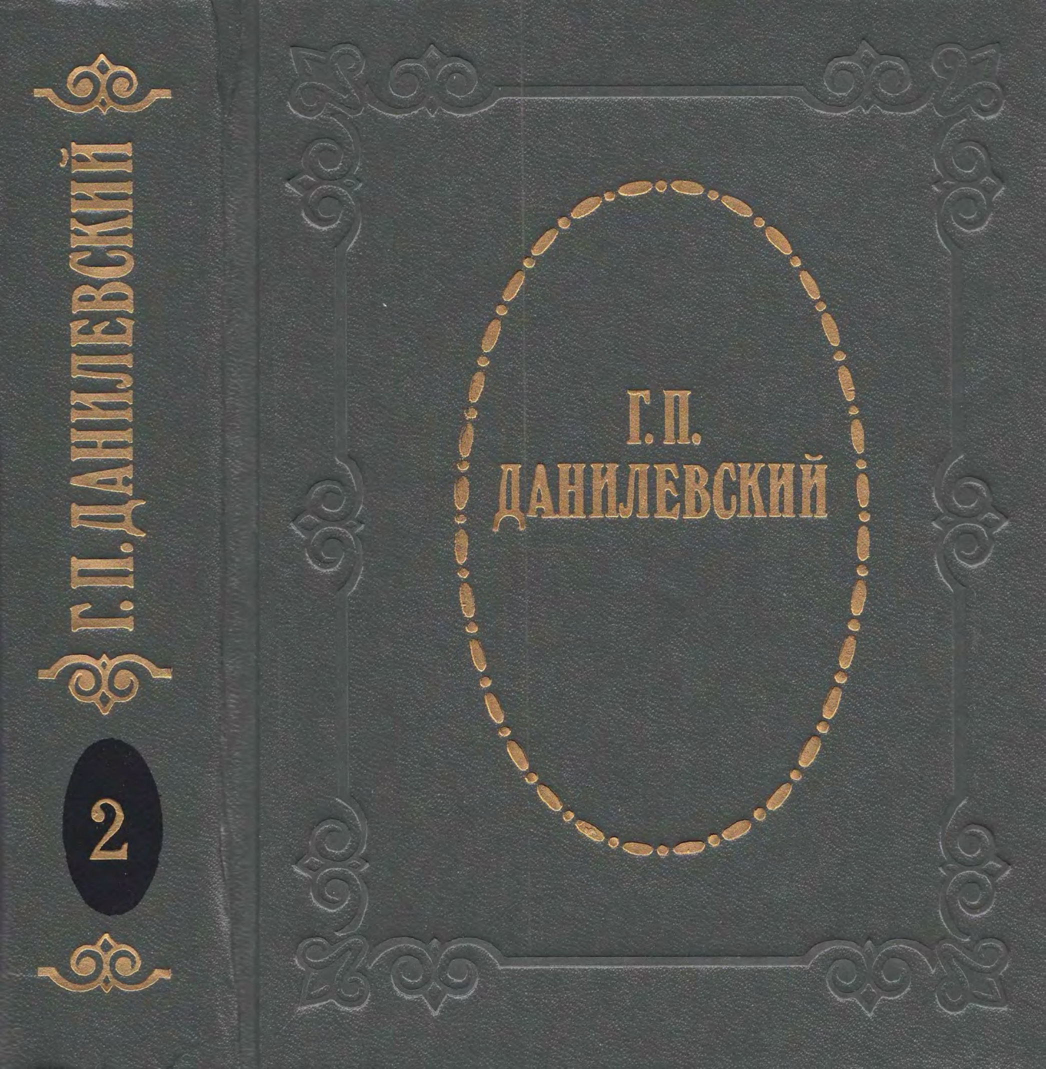


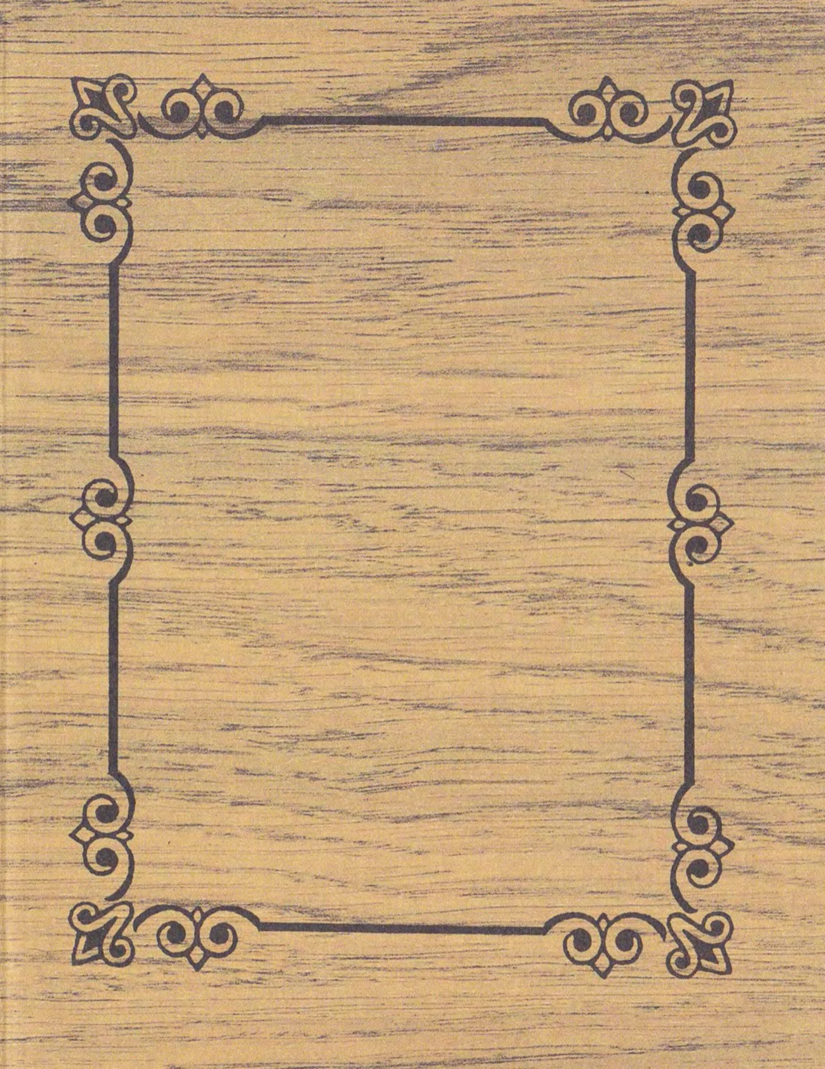
Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

2

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Воля
Новые места


Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ
2
Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ



Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Воля
Новые места

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том второй



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.
Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т 2. — М.: ТЕРРА, 1995. — 560 с.

ISBN 5-85255-704-8 (т. 2)
ISBN 5-85255-702-1

Во второй том вошли романы «Воля» и «Новые места».

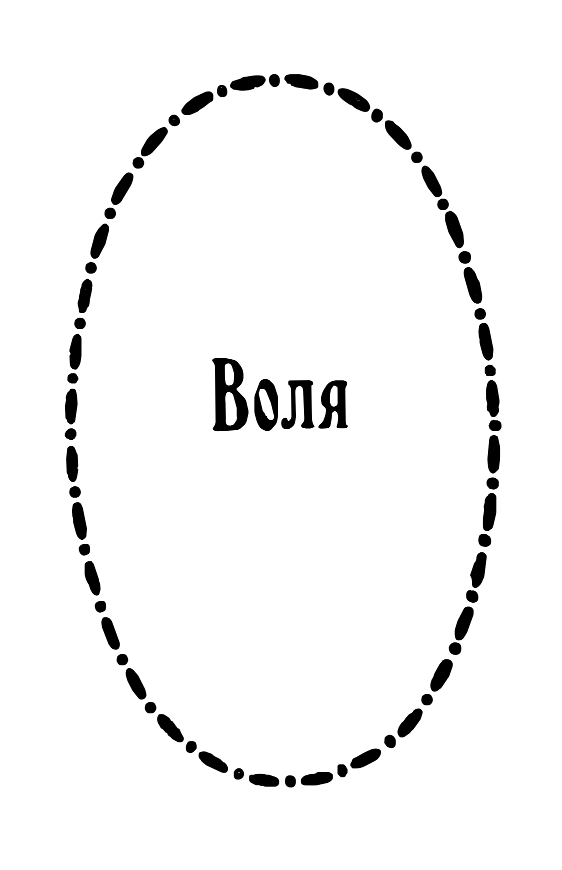
В романе «Воля» автором исследуются сложные взаимоотношения губернской бюрократии, помещиков и крестьянства в России накануне реформы 1861 г.

Роман «Новые места» — о различном видении жизни, нарождающемся типе интеллигентного землевладельца, вступающего в противоречия с представителями дореформенного дворянства.

Д $\frac{4702010100-057}{А30(03)-95}$ Подписное

ББК 84Р1

ISBN 5-85255-704-8 (т. 2)
ISBN 5-85255-702-1


Воля

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОДНЫЕ ГНЕЗДА

I

Голубятня

Наступали новые времена. Разнесся слух, что крестьянам, так долго и упорно мечтавшим о свободной жизни, о разных зауральских, закавказских и новороссийских новых местах, хотят дать волю.

И вот из разных мест России и из чужих краев, по-видимому без всякой причины, стали в верхние, средние и южные губернии возвращаться беглые помещичьи люди. Это было за год и несколько месяцев до издания положений о воле. Одних помещиков это радовало, другие в недоумении пожимали плечами, не понимая, откуда это взялось и что из этого будет.

Однажды весной, в конце мая, по пути в тот угол на юге за Волгой, который населился в давние времена, с одной стороны, украинскими, а с другой — русскими выходцами, шла кучка людей — два старика и шестеро молодых. Дойдя до каменистых бугров, за которыми уже начинались прибрежья Волги, они сделали в глухом овражке последний привал, сварили еще раз общую кашицу, закусили и готовились разойтись в разные стороны.

— Пойдем к своим господам, живы ли они? — сказал семидесятилетний седой сапожник Гриценко, тридцать три

года бывший в бродягах в Бессарабии и в Крыму. — Удивятся господа, коли живы, ей-богу!

— Возвращаться так возвращаться! — прибавил другой старик, Шуменко, восемнадцать лет торговавший в Одессе у какого-то купца квасом по поддельному паспорту. — Шабаш, молодцы! Значит, пришла пора!

— А как ты, Ильюшка, говоришь про мужика? — крикнул опять старый бродяга-сапожник молодому парню, который всю дорогу умудрился вести на поводу невзрачного, хотя молодого, гнедого коня. — Как ты это про мужика-то говоришь? Да брось коня! Успеешь еще на него наглядеться.

Черноволосый Ильюшка, рослый, кудрявый, хотя несколько мешковатый молодец лет двадцати двух, к которому относились эти слова, молча оправил дорожную котомку на гнедке, погладил его, еще раз оправил, вспрыгнул на него и сказал:

— Вам, дедушка, все смех. А у меня в голове не то... Эх! Горе на вас смотреть!

— Да ты про мужика-то скажи, про мужика, Илько.

— Да что ж сказать? Реши: отчего мужик нынче дешев стал?

— Не знаю... — старик покатился со смеху.

— Оттого, что глуп! — ответил Илья.

Собеседники громко расхохотались, потом замолчали, разом все перекрестились, встали от еды и пошли одни направо, другие налево. «Эки места-то, места! Вольница тут жила когда-то. И теперь еще куда ни глянешь — дичь и глушь!»

Илья поехал рысцой на один из соседних, с детства знакомых ему холмов, поросший мелким лесом. Солнце село. Он привязал лошадь в кустах, взобрался на дерево, осмотрел еще раз окрестность, как будто припоминая что-то, давно виденное и забытое, и пошел с холма лощиною.

Наутро и в последующие дни некоторые соседние и дальние помещичьи дома и сельские конторы были приятно, а может быть, и неприятно изумлены возвратом нескольких беглых бродяг, из которых об иных в родных селах даже

исчезла всякая память. Там явились, как с того света, тридцать лет бывший в бродягах Антошка Крамар, кузнец, и восемь лет пропадавший без вести повар Михей Пунька. Явились бывшие в далеких прогулках лакеи, плотники, столяры, кучера, ключники, кондитеры и писаря. Иных господа и свои братья, дворовые, стали с горячим любопытством, хоть и ласково, допрашивать: «Где были, у кого служили, чем кормились в это время, что делали?» Но на все был один ответ: «Где были, не помним; у кого служили, не знаем; а жили и кормились: где день, а где ночь — и сутки прочь». — «Что же вы так это вот, с одного маху, взяли да и воротились?» — продолжали допрашивать свободных еще вчера пташек, от которых, так сказать, еще воздухом пахло, ручные по-прежнему, домашние птицы разных клеток тихого русского юго-востока. «Надо же когда-нибудь и честь знать!» — лукаво отвечали прилетные, добровольно воротившиеся пташки.

Новизна переставала быть новизной. Все начинало идти по-старому. Молчаливая барщина одна как бы заметно обновлялась: она насчитывала новых постоянных рабочих.

Илья Та́нцур между тем, привязав в лесу коня, выломал себе палку и, спустившись в лощину, долго шел чуть видной в сумерках тропинкой. Стало еще темнее. Илья начинал спотыкаться о кочки, о хворост, положенный в виде гатей по болотным перемычкам луговой дороги. Кое-где он разувался и бранился про себя за остановки, потому что стемнело еще более, а он торопился. В воздухе было тихо и мягко. Точно теплым вином пахло. От запаха болотных трав, березовых листьев и фиалок голова хмелела. Илья остановился.

— Волга не Волга, Бог весть, что такое белеет вправо! Ах ты, башка моя, глупая башка! В двенадцать лет перезабыть все так, что оглянешься и не узнаешь!

Впереди послышался отдаленный переливистый лай.

— Так и есть, наша Есауловка!

Сердце крепко забилось в груди парня. Он удвоил шаги, пошел еще смелее и спустя несколько времени почувствовал,

что местность вокруг него изменилась. Впереди чернел будто лес, слева стоял точно ряд мельниц. Он с наслаждением расслышал впотьмах людской говор, отозвавшийся уже недалеко. «Нет, пережду, пока люди уснут! Так-то легче будет к родителям явиться!»

Танцур еще послушал, переждал, огляделся и пошел к деревьям, при мысли: «А! Двенадцать лет дома не был! Жив ли батюшка, жива ли матушка? Много ли ребятишек-сверстников в живых осталось на селе? И чем теперь батюшка состоит, в рядовых ли мужиках, или при должности какой? Да и что самое село теперь стало, пока я по свету с ветром маялся да гулял? Ребенком убежал от розог немца-приказчика; никто не защитил меня тогда; отца все голопятым звали; он сам, помню, лямку тер пастухом за овцами; мать все хворая лежала. А теперь я вон какой вытянулся; узнают ли родители меня теперь? Ах ты, свет-свет! Господи!» Илья шагал и шагал...

На пути впотьмах встретилась канава. Илья попробовал ее глубину палкою, перелез, очутился опять в густых деревьях и залег под кустом, потому что невдалеке послышались ему опять отголоски людского говора, а он не знал, куда забрел.

Тихая весенняя ночь перекликалась отрывистыми, шепотливыми и неясными звуками. Вскоре, однако, кругом будто стало виднее, хотя небо было еще без месяца. Тихо лежал в кустах Илья, боясь и кашлянуть. Вдруг ему почудились невдалеке, между деревьями, чье-то всхлипывание, плач и вздохи. Чей-то жалобный голос то затихал, то опять раздавался. Танцур повернулся к той стороне, тихо прополз между деревьями и кустами и поднял кверху голову. Ему почудилось, что вздохи и шепот раздаются где-то вверху, точно над деревьями. Страшно стало Илье: «Что за притча, не то птица стонет по-человечьему, не то человек на ветках где-то сидит!» Он встал и, тихо, как ночной зверь, ступая, обошел вокруг дерева, сверху которого раздавались, по его мнению, в потемках стоны, и вместо живого дерева ощупал гладкий

столб. Отошел в сторону, присмотрелся: голубятня, в виде домика, на плотной высокой подпоре. Голос затих.

— Кто тут? — решился спросить вполголоса Илья, осматривая воздушный голубиный терем, с крошечными оконцами, чуть рисовавшийся на сумрачном небе.

Ответа не было.

— Кто тут? Отзовись! Не бойся!

Танцур прислушивался.

— Я... — прошептал пугливый голосок.

— Да кто ты?

— Фрося...

— Какая?

— Барынина... горничная Фрося...

— Где же это ты сидишь?

Голос опять затих.

— Сидишь где ты? Ну? Да говори же!

Илья смотрел вверх.

— В голубятне заперта... А вы кто, позвольте спросить?

— Я-то?

— Да.

— Я так... посторонний.

— Дядюшка, голубчик! Освободите меня. А не то, рассвенет — пропала я и бедная моя головушка.

Из окошечек воздушной голубятни опять послышались горькие стоны, плач и вздохи.

— Да как освободить-то тебя, чем?

— Лестницы поищите поблизости тут или поодаль; она здесь где-нибудь, в саду, ищите.

«Так мы в саду. Что за диковина! Чей же это сад? Наш был не в этой стороне», — подумал Танцур, бросился искать впотьмах лестницу и скоро нашел. Он приставил ее к столбу, взлез туда, посоветовался с необыкновенной пленницей, как поступить, сломал палкой задвижку небольшой дверцы, в которую деревенские повара весной лазят грабить детей воздушного домика, и снес оттуда на руках дрожавшую от страха, стыда и отчаяния молоденькую горничную.

Она отбежала к садовой канаве, быстро оправилась, хотела бежать далее и остановилась.

— Кто вы? — спросила она. — За кого Бога молить? Говорите скорее!

Илья подошел и взял ее за руку.

— Зачем вам? Лучше вы сами мне скажите, кто вы и что за невидаль такая тут случилась с вами?

Девушка потупилась, стала вертеть по земле ногою.

— Надо к барыне-с... Я горничная здесь, коли знаете нашу барыню. Нас много у нее. Поляк-управляющий давно к нам, видите, подбивается. А нам плевать на него. Он и пойди дозором. Я тут в сад выходила иной раз... не к нему... а к знакомому такому другому человеку... Он нежного, можно сказать, сердца и совсем не такой вовсе подлой души... Выбежала я и сегодня, будто в прачешную... А поляк и наткнулся на нас. Этот-то мой душенька, значит, знакомый, убежал от стыда да от страху, а поляк меня, оторопелую дуру, ухватил с дозорными да и запер тут до утра в голубятню. «Утром, — говорит, — узнаем, кто такая тут из девичьей со всякой сволочью, с музыкантами соседскими, дружбу водит; а теперь не хочу барыню, — говорит, — будить!» Так и сволокли меня сюда и толкнули в будку... Индо руки все изломали, платье оборвали... Голубей сонных всех спугнули, и долго они, горемычные, кругом меня в тьме-тьмущей этой летали, крыльями мне в лицо веяли... Стала я плакать; хотела крик ко двору подать, пусть бы хоть и барыня уж узнала; страшно так это мне впотьмах стало, как все голуби-то прочь разлетелись... Я плакать... а тут и вы отозвались... Скажите, кто вы?

— Нет, прежде уж вы мне оповестите: какое это село? Что теперь, барыня у вас, а не барин? Есауловка? — спросил Илья.

— Нет, не Есауловка, а Конский Сырт... Наша барыня — арендаторша!

«Так я не туда попал, — вот что!» — подумал Танцур. Месяц готовился в это время выйти. Кругом стало еще свет-

лее. Илья разглядел миловидное личико, плотно подвязанные вокруг головы косы, белую косынку и полные плечи освобожденной пленницы.

— Мой знакомый, можно сказать, благородный и не такой подлой души человек, как наш приказчик! — сказала Фрося, не двигаясь с места и щипля руками концы косынки. — Он по гроб жизни и света не забудет вам этой услуги-с. Но можно ли узнать опять-таки ваше имя?

Фрося подняла глаза и хоть искоса старалась заглянуть в лицо своего освободителя.

— Мне благодарности вашей не надо. А вас бы высекли? Скажите мне!

— Ну высечь не высекли бы, а сраму такого набралась бы, что хоть в воду да и утопиться. Так можно ли опять узнать, как вас зовут?

— Ильей... а по прозвищу — не знаю и сам, как сказать. Жив ли еще отец мой, про то верно не знаю и не ведаю тоже.

— Вы из Есауловки?

— Оттуда; только двенадцать лет дома не был... Я сын Романа Танцура, коли знаете; он за овцами барскими у нас ходил, помню, как я от управителя с армянами бежал.

— Вам Роман Антоныч папенька-с? — быстро спросила Фрося, и в голосе ее зазвучало столько удовольствия и вместе желания чем-то особенно радостным удивить слушателя. — Так вы ничего не знаете? Дорогою по соседству ничего не слышали?

— Ничего не слышал и не знаю: мы торопились и прятались от всех.

— Так, так; теперь помню... Про сына его... про вас точно люди сказывали, да и он сам часто жалел об вас; даже по людям вас долго разыскивали.

— Так что же? Говорите!

— Как же! Ведь ваш отец теперь главным приказчиком над всей Есауловкой! Да, и живет в самом барском доме, под низом; а барин ваш все за границей. Как же, мы это

знаем! Князь десять лет дома не был. Наехал раз, сменил немца, поставил вашего отца, уехал, да с тех пор и нет его... Теперь пора мне в девичью; все спят; прощайте! Извините...

— Как же я в наше-то село дойду? Темно, до утра бродить буду...

— Я бы вас свела, Илья Романыч, да надо в дом заранее в девичью воротиться... А впрочем, так и быть, пойдемте... Ступайте, только осторожнее: тут будет опять канава, а дальше мостик через Лихой. Это у нас речка.

— Так это мы за Лихим?

— Точно-с, эта река в Волгу тут, если помните, подале упала и разделяет Сырт от вашей Есауловки. Мы дружка против дружки живем с вами-с...

— Теперь помню, помню: мы на горе, а вы на долине.

— Так точно! Вот и не ошиблись, именно-с...

— Кто же ваша барыня?

— Ох... сердитая наша барыня, Пелагея Андреевна Перебо́ченская, если еще в те поры вы слышали! Она, должно быть, дончиха. Одни говорят, что хутор, где мы живем, ее имение; а другие, что не ее, а чужое, арендное. Только сказать вам, наша барыня так тут крепко сидит, что в ином и своем так не обживешься. Ох... все ее здесь боятся! Да! Забыла-с еще... С вашим отцом они очень хороши-с... Роман Антонович, ваш отец, у Пелагеи Андреевны в силе, завсегда обо всем говорит и нам часто беды наши у нее вымаливает. Да позвольте еще: он дома теперь или нет? Что я это забыла! Дома или за скотом опять в Черномор поехал? Нет — дома, дома: вчера за сахаром к нам мальчишку своего конторского, Власика, присылал. Он приказчиком теперь у вас, а сперва только за гуртами ездил. Наша барыня тоже гурты держит, на лугах наших ѝх нагуливает. И сама даже в поле скот осматривать на дрожках ездит, даром что старуха. Ах, да! Еще скажу вам... Нет!.. Лучше после. Мы уж и пришли в вашу Есауловку, а вот и ваш двор. Видите, дворец-то какой у вашего князя-барина! Сам большущий... Я вас славно провела. А теперь и домой мне пора. Прощайте-с! Вон

светится внизу окно вашего отца. До свидания-с... По гроб жизни, можно сказать, мой знакомый вам не забудет этого.

Фрося еще что-то сказала издали и исчезла впотьмах.

Илья остановился у порога барской конторы, теперешнего отцовского жилища. Чего только не переиспытал он в эти минуты! Чего только не было теперь на душе его!

«Батюшка в приказчики попал! — думал Илья, стоя у входа под низ дома. — Вот не ждал! Из скотников, из пастухов, из голопятых, как его звали, в приказчики такого села! Тысяча душ, почитай, будет; помню. Шапку, бывало, за версту снимал он, как подходил к барскому дому, а теперь сам тут живет. Жива ли матушка? Я у этой щебетуньи и не спросил. Ну, как-то отец теперь с людьми водится? Ведь он, почитай, сам тогда мне посоветовал в бегах быть, как я на посылках тут день-деньской у немца маялся, на пинках рос, тычками да слезами сыт ходил и на липке в саду с горя два раза даже повеситься хотел перед тем, как армяне в Крым сманили меня. Приказчик! Не очень же он обрадуется и коню, которого я было ему на хозяйство добыл и привязал пока в лесу!»

Он сошел в коридорчик нижнего яруса дома и стал, замирая от волнения, у дверей. Долго он не решался взяться за скобку, оправил красный пояс на новых шароварах, обдернул синюю чуйку, потоптался на месте высокими новыми сапогами, снял в потемках шапку, пригладил черные кудри, крякнул и хотел войти, но опять остановился.

«Как-то отец теперь примет меня? — подумал Илья, все еще стоя в потемках. — Куда повернет меня? Думал, что отец в бедности... Эх!»

Дверь с шумом растворилась из конторы, и на порог выткнулся рослый, плотный, широколицый и смуглый человек, род мещанина, в нанковом кафтане и в картузе. Он, очевидно, хотел куда-то идти, но, наткнувшись на незнако-

мого впотьмах, торопливо отшатнулся, взял со стола свечку и спросил:

— Кто это? Что ты тут за человек стоишь впотьмах?

Илья не сразу узнал располневшего отца и тихо, молча ступил в комнату, где худощавая пожилая женщина в ситцевом нарядном платье, спиною к дверям, снимала со стола ужин. Найдя глазами образа, Илья с чувством перекрестился, пока приказчик с удивлением его рассматривал, держа свечу в руках, и упал в ноги отцу.

— Батюшка, не обидьте, благословите меня! Я ваш Илько!

— Илья, Ильюша! — крикнула женщина, убиравшая со стола. Она быстро обернулась и, уроня на лавку поднос с посудою, кинулась сыну на шею.

— Илько! — проговорил, в свой черед тронутый и пораженный неожиданностью, приказчик, торопливо ставя свечку на стол. — Вот не ожидал дорогого гостя! А я в обход было шел посмотреть, все ли сторожа на местах! Господи... вот гость! — Роман дрожащими руками снял с гвоздя икону, благословил ею сына, дал ему ее, а потом свою руку поцеловать и заключил: — Ну, полно, жена, выть над ним да обнимать его, теперь пришел, так уж насмотришься, налюбуешься им! А лучше давай-ка ему поесть: верно, голоден с далекой дорожки. Вздуй огня в печи, яичницу, что ли, ему изготовь, пока мы о деле потолкуем.

Седая Ивановна, утирая радостные слезы, встала, опять кинулась к сыну, посмотрела на него, сняла с него пояс, чуйку, заплакала и тут же засмеялась, качая головою.

— Так, так, Илько; хорошо, что ты воротился. Ей-богу, хорошо! А я-то уж считал, что ты пропал навеки: панихиды по тебе служить собирался, да твоя мать вон все останавливала, говорит: еще подожди, сердце чует — жив Илько. А сколько будет лет, как ты в бегах был?

— Двенадцать!..

— Точно, двенадцать, я тогда еще в рядовых, кажется, был. Да... теперь уже десять лет в приказчиках состою. Всем селом заправляю. Ты, верно, слышал, Илько?

— Слышал, — отвечал Илья, рассматривая смуглые, будто из меди вылитые, черты отцовского лица, его черные густые брови, карие глаза и черные с проседью, под гребенку стриженные волосы, курчавые, как и у Ильи.

Рослый широкоплечий стан отца был по-прежнему прям и крепок, только стал сильно полнее с той поры, как он с длинной палкой перестал ходить за скотом и, в потертой сермяге стоя в поле, жаловаться на судьбу одному перелетному ветру.

— Много воды утекло с тех пор, как ты в бродяги пошел, Илько... Да наехал барин после тебя. А тут немца сместили, меня наставили. Ну да о том после... Пожалел я тогда, что тебе сам же совет дал и что ты утек. Через разных бродяг о тебе разведки делал, в полицию явки давал. Хорошо, что ты воротился. А было бы еще лучше, кабы воротился прежде. Нужен ты мне был тогда, да и теперь еще более, пожалуй, будешь нужен. Ведь ты грамотный, кажется?

— Выучил тогда пьяный немец... Помните, как бил? Струны проволочные в розги ввязывал. Уксусом после кропил...

— Так, так. Да давай же, жена, гостю дорогому поесть скорее! А не выпьем ли мы на радости, Илько, водочки? Пьешь?

— Нет, не пью.

— Ну, так я выпью!

У Ильи в голове все мелькал между тем припасенный отцу на хозяйство конек. Как ничтожен теперь казался ему этот его заветный подарок!

— Ну, а что же ты нажил, сын, на воле-то, столько лет маявшись вдали от отца и матери? — спросил шутливо Роман, стоя у дверей.

— Я-то?

— Да; за двенадцать лет люди сотни, тысячи, умеючи, наживают!

Илья глаз не поднимал. Роман самодовольно посматривал на своего забулдыгу, блудного сына, не обращая внимания на мучительный, болезненно любящий и жалобный взор матери, устремленный на Илью из-за пылающей печки.

— Что греха таить, — сказал Илья, — как стал я подрастать у людей на воле, переходя с места на место да свою неволю былую скрывая, были заработки, были и деньги хорошие. Только рубль-то везде один: больше целкового не ходит. Как нажил, так и прожил — все одно, что и в здешних ваших местах. Были случаи, что и полиции надо было дарить, и от своих братьев-душегубов откупаться. Дважды ловили меня, по этапу из города в город пересылали. Тут-то мозолей поношено, тут-то холоду да голоду испытано, вшей да комаров покормлено собою! А Господь дал, после опять стал на воле жить, значит, я наживал, я же и проживал. Известное дело, чужая сторонка; как своей-то настоящей, собственной, значит, норки нет, куда и зверек лишний колос на запас тащит...

— Так ты, выходит, теперь к норке родной и направил путь? Дело! Чем же ты теперь желал бы тут быть у барина на селе? Отвечай по душе. Я теперь тут главный: что решу, тому и быть. Говори!..

Илья взглянул на мать.

— Вы, точно, главный тут! — сказал Илья отцу. — Вам такая и дорога. А мне, когда милость ваша и вы дадите бродяге тут жить, позвольте... к обществу стать. Землю мне нарежьте; на хозяйство к плугу поставьте меня...

Роман задумался, вышел за дверь. Ивановна кинулась к двери, заперла ее опять на крючок, поцеловала несколько раз сына, посадила его за стол, поставила ему остатки ужина, свежую яичницу, обняла его горячо и оглянулась опять по комнате.

— Ты, сынку, не перечь отцу. Он тебе счастья желает. Должно быть, он тебе ключи сдать затеял — он давно ищет верного себе ключника.

— Эх, матушка, все это так, да земля-то крепче — с земли не сгонишь, а от места могут отказать и будешь бобылем. Какие я места имел! А все своя земля к себе тянет! Срубишь этак избенку, заведешься всем... Ну, да мне же это и особо еще нужно...

— Зачем?

Старуха пристально посмотрела в глаза сыну. Он оставил ложку, утерся, перекрестился на иконы, поклонился матери и сел опять.

— Матушка, я нашел себе суженую.

Старуха радостно перекрестилась.

— Слава тебе, Господи! Где же ты сыскал ее?

— Слыхала, матушка, про Талаверку?

— Про какого?

— Про Афанасия, что бежал тут по соседству от какой-то барыни двадцать четыре года назад? Он в столярах у нее был тут, в каретниках и в ее хуторе проживал.

— Ох, не помню что-то, сынку, не помню. Так что же?

— Столкнулся я с ним два года назад, в Ростове-на-Дону... Он там уже богачом живет: дом свой, своя мастерская. Ну, и есть у него дочка... Настя... Мы полюбились с нею, отцу сказали. А он и говорит: «Из рассказов твоих, Илько, вижу я, что ты из одних мест со мною; барыни моей ты знать не можешь: мал был, как бежал с Волги сюда в низовые края. И я, говорит, не знаю, жива ли моя госпожа-барыня. А только вот что. Хоть богат я, говорит, теперь, хоть волен, а помереть хотелось бы на родной стороне. Теперь, говорит, готовится всем воля; скоро, не скоро ли, слышно, всем землю дадут, кто по своей воле воротится домой в общества свои к нынешним пока господам. Я мастерства кинуть не могу, а ты иди, получи на своем месте землю, запишись в мир, дай знать, что пристроился, тогда приходи и бери себе Настю...» На этом зароке мы и рас-

стались. Я дал слово землю себе на родном селе добыть, а он выдать за меня Настю; так как же мне идти в дворовые? Подумайте!..

Ивановна задумалась.

Поговорили еще немного. Илья разделся. Мать постлала ему постель на своей кровати у печи. Ложась спать, Илья увидел под скамьей в углу какой-то клубочек. Кто-то во весь нос сопел, свернувшись на полу котенком.

— Кто это? — спросил Илья.

— На посылках у отца сиротка тоже тут один, Власик!

Илья со вздохом лег. «Вот у отца теперь на посылках есть такой же, как я был когда-то у немца!» — подумал он.

Ивановна погасила свечку и тоже легла, вздыхая, на печи. Вскоре пришел с дозора Роман Антоныч; не зажигая свечки и не раздеваясь, лег на лавке у стола и долго лежал, не шелохнувшись, но видно было, что он не спал. Илье же всю ночь грезились вольные степи, таинственные перебродки по лесам и оврагам, гнедко, привязанный в лесу, надежды завестись своим домком и Настя. За час или два до рассвета Илья встал, тихо оделся, тихо отпер двери и вышел. Предутренний воздух был свеж.

«Надежда плохая, — подумал Илья, — теперь вряд ли получишь землю от отца! Или опять уйти на все четыре стороны? Всем ветрам в пояс поклониться? Нет, будь, что будет!»

Он вышел на тропинку, по которой провела его с вечера Фрося, взобрался на знакомый с детства соседний бугор и увидел с него сквозь начинавшие яснеть сумерки не в дальнем расстоянии лесок, где привязал гнедка. Роща была оттуда не более как в трех верстах. Он быстро направился туда, вошел в кусты. Овраг был недалеко.

«Ну, гнедко, — подумал Илья, — иди теперь со мной; придется теперь продать тебя либо жиду, либо цыгану. Отец держать тебя не позволит! А я-то думал домком завестись, сад затеять, за Настей поехать на тебе!»

Илья стал звать гнедка, искать его, но след гнедка простыл. Конец ремня от уздечки висел, привязанный к дереву. Гнедко либо убежал, либо кто-нибудь его украл.

«Последнее добро и то пропало! — сказал Илья с досадою. — Пропадай же и ты теперь, моя волюшка...»

Он еще побродил по роще, звал коня, обошел весь лесок кругом, вышел на опушку, на другой высокий бугорок, сел, уткнувшись головою в колени, и долго так просидел. Когда он очнулся, светлая картина родимых окрестностей и подступавшего утра тихо открылась перед ним.

Кругом шли то зеленые, пологие, то каменистые, лесами испещренные холмы. Влево расстилалась низменная, влажная луговая равнина, на которой из сумерек выходила усадьба Фросиной барыни, Конский Сырт. Прямо, отделяясь от этой низменности рекой Лихим, на крутом косогоре расстилалась Есауловка. Вправо от Есауловки и Конского Сырта, провожая извивы Лихого к его устью, шли сперва малые, потом более объемистые бугры, то горбатые, то плосковерхие, то остроголовые и изборожденные дождевыми протоками. В расщелине их в одном месте мелькнула широкая, белая туманная полоса, точно дым... Сердце Ильи дрогнуло. То была Волга... А за нею уже начала заниматься заря. Одевались огнями голубые вершины. Вместо темных пятен и щелей на холмах выяснялись леса. Между ними в отдалении узнавались кое-где вразмет кинутые поселки, Бог весть откуда и когда тут севшая жильями, всякая набродная и перехожая вольница. Сизая тяжелая туча, нахлобучившись на низовое Заволжье, еще не пускала на окрестности довольно света. Все еще тонуло в сумерках: нагорные земли по сю сторону Волги и гладкая привольная ширь ее луговой стороны, с ее жирными, тучными и хлебородными залежами и целинами. Тронулся ветер... Отозвались ближние и дальние лесистые овраги и горы, так знакомые Илье, с их местными поволжскими прозвищами. Застонал любовными призывами Иволгин орешник; застукал наполненный шорохами и всякой таинственной весенней тревогой развесистый Дятловый лип-

няк; зазвенели серебряными трубами низменные темные Соловьиные верболозы; зазвучали золотой дудкой песчаные Кукушкины кучугуры; засвистели кудрявые Дроздовые березняки; заклектали старые дуплистые громадные дубы на орлиных лысинах соседних гор. Солнце выбилось, наконец, из-под тучи. Илья встал, прошел несколько шагов и опять остановился. Влево, вдали над Волгой, обрисовался новый ряд бугров. А по ним мелькали, уже будто сквозные и голубые от воздуха, новые бугры и курганы. То были бугры Стеньки Разина. «На них Степан Тимофеич последний свой опочив держал, — говорили в народе, — он тут последним станом стоял; а как его в плен взяли, любимого своего есаула с братией послал селом поблизости сесть; они сели, и вышла из вольной кости нынешняя княжеская Есауловка!» Илья Танцур прикрыл глаза ладонью. Один двугорбый бугор, полосатый, как бухарская тармалама, сидел, свесившись, будто бородатый старик над водою. Он прозывался Емелькиными ушами или Ушами Пугача. На них Пугач двух воеводских дозорщиков повесил. С той поры, точно слушая что, торчали эти горбы, Емелькины уши. А еще далее шли отвесные и дикие Авдулины бугры, за которыми было село Авдуловка, присходившее также от каких-то вольных костей, занесенных сюда первыми украинскими и русскими колонизаторами этого края. А величавая, вечно широкая Волга голубой пеленой омывала подошвы бугров, пугливо ласкаясь к ним и отражая в себе цвета их зеленых, желтых и багровых глин, белых песков и разновидных хрящей и слюд. Роса сверкала по травам. Дикие тюльпаны желтыми и алыми колокольчиками глядели из расселин скал, по крутым косогорам. Яркий синяк и белые пушистые косатики заливали веселыми сплошными полосами низменные равнинки. Звонкие вскрикивания пробуждающихся птиц становились чаще и громче. Тихие прибрежные затоны и заливы Волги и Лихого еще дремали своими ивами и камышами, окутанные туманами. А уже по гладкой равнине вод мимо бугров, затонов, песчаных россыпей и степей двигались, белея парусами, вечные караваны

Синего морца, Волги, всякие расшивы, беляны, мокшаны, коломенки и простые рыбачьи лодки. Над ними мелькали, отражаясь в воде, белокрылые чайки. Сонные бакланы, бабы-птицы и лебеди взлетали из-под носов наплывающих барок. Отзывались заволжские озера, окрещенные также народными именами: журавлиные, лебяжьи, куличьи, гусиные, утиные и всякие. Заря занялась невиданная, роскошная. Закопошился люд во всех концах. Двинулись стада овец по буграм, гурты рогатого скота и табуны лошадей на лугах и равнинах, где сто лет назад кочевали по тихим сыртам и улусам одни калмыки да татары. А по голубым прибрежьям и затонам раздавались голоса знакомой трудовой и исконной песни рабочего люда обоих берегов Волги и Дона, песни, построившей по этим рекам все села и города, заводы и барские дома, церкви, монастыри, пристани и остроги, песни, которая начинается не то стоном, не то могучим вздохом: «Эх, дубинушка, ухни!»

Илья Танцур взглянул еще раз назад к стороне Дона, откуда пришел, а потом на Волгу.

— Прощай, батюшка, тихий Дон Иваныч! Здравствуй, матушка Волга! Пожил я вволю на Дону, в низовой степной Украйне; поживу теперь и на Волге! Были мы когда-то казаками... Чем-то теперь опять будем! Наши деды вышли сюда из Запорожья, бились тут с татарами, охраняли границы, селились вперемежку с русскими; нас подарили русскому князю, вместе с землями и пожитками. Подождем. Авось отдадут нам опять наше...

Илья посмотрел на солнце, взглянул влево на Есауловку, широко и просторно раскинувшуюся по тот бок Лихого, впадающего в Волгу, и быстро пошел к отцу. Село давно уже дымилось низенькими трубами. Обе церкви на двух его концах приветливо белели. Перейдя мост через Лихой, Илья поднялся вновь на крутой глинистый берег, к которому к реке сходили крестьянские огороды, и пошел к барскому двору, окружавшему высокий и обширный каменный дом в два яруса, с крыльцами, колоннами, бельведером, шпилем

для флага и службами. Сад шел за домом, почти касаясь столетними дубами, липами и пирамидальными исполинскими тополями его островерхой, по плану Растрелли устроенной крыши.

II

Забытые музыканты

— Раненько ты, Илько, встал! Где был? — спросил отец.

— Не спалось, размяться ходил — на новом месте, знаете...

— Я вот все твоей матери смеялся, что, смотри, опять Илько тягу дал. Садись, пей чай. Вприкуску или внакладку хочешь? У нас настоящий полурафинад. В городе берем... Пей!

— Нет, по-моему, Антоныч, тоже лучше так, как Илько наш говорит! — начала приказчица Ивановна. — В мужиках как-то проще жилося нам; я до сих пор вспоминаю нашу хату, наш огород и сад на Окнине, за слободой, где мы жили!

— Дуры вы бабы! Давай еще стакан! Много вы понимаете! Мы подначальными были всегда, так подначальными и умрем. Не выдумаем мы ничего лучшего. У барина не служить, семи гривен с рубля не украсть, и жить не стоит. А, Илько? Что скажешь?

Илья молчал.

— Право, Роман Антоныч, ты Ильку позволил бы... Ты посмотри, Илько, какие у нас чашки; вот какие писанки на них расписаны: тут птицы, а тут цветы и слова... Прочитай мне...

— Ты, сынку, вчера матери говорил про Талаверку. Так Афанасий нашелся в Ростове? Нынче утром мать мне все рассказала. Ты в дворовые не хочешь?

Илья вспыхнул.

— Ну, что же, дело, коли бродяга этот Талаверка в бегах зашиб себе копейку. Да непрочна только жизнь его, и тебе с бродягами пора перестать якшаться. Человеком стать, вон что! Я тебя человеком сделаю. У барина место выпрошу... Хочешь?

Под окном приказчицкой комнаты на дворе послышались голоса. Роман Танцур встал.

— Приказные пришли за распорядком работ. Я уйду. Ты посиди, Илья, с матерью. Сегодня суббота, так ты отдохни; завтра тоже воскресенье. А послезавтра ступай на работу, пока хоть и в рядовые. Я, брат, пример держу — у меня не зевай никто!

Роман ушел.

Взъерошенный Власик стал весело убирать чашки со стола, взглянул на Илью и весело улыбнулся.

Ивановна предложила сыну вымыть голову в теплой воде и надела ему вместо ситцевой рубахи белую.

— Матушка, зачем вы отцу про Талаверку сказали? — спросил немного погодя Илья.

— Что ты! Да он еще передумает и даст тебе землю. Проси только у него. Ведь он теперь сила и все у него в руках. Понимаешь? Сила... Наша деревня почти забыта и заброшена князем.

Роман воротился с надворья.

— Ух, умаялся. Шутка ли, тысяча душ? Всем надо толк дать. Пойдем, Илько, я тебе княжеский дом покажу. Где, жена, ключи? Ты глуп был маленьким, а теперь поймешь, каков наш князь, — и я всему тут голова!

Роман снял со стены ключи и пошел с надворья к главному крыльцу роскошного дома, построенного по плану гениального итальянца. Отец и сын вошли по резной дубовой, невысокой, под лак лестнице, уставленной мраморными статуями, в светлые сени нижнего яруса, оттуда в лакейскую, увешанную охотничьими картинами и украшенную оленьими и лосьими рогами. Ключ в высокой, красного дерева, резной

двери повернулся. И оба мужика, отец и сын, вошли в огромную залу, с штофными голубыми занавесами, с амурами, музами и цветами на расписном потолке и со старинной позолоченной мебелью. Из залы прошли в столовую, где были двое хор для музыки и певчих, а окна выходили в обширный столетний сад, с террасами, прудами, беседками и мостами. Оттуда отец и сын прошли в портретную, потом в спальню князя, а там особой внутренней лестницей во второй ярус дома и на вышку бельведера. В портретной старик Танцур остановился и стал рассказывать сыну о роде князя. Но еще долее он стоял перед портретом князя, нынешнего обладателя Есауловки.

— Село наше было когда-то вольное, — сказал Роман Танцур, — казаками наши предки зашли сюда и тут поселились.

Илья наставил уши.

— Как же вы помещичьими стали? — спросил он.

— Э! Мало ли что бывало! Мы за проказы там всякие, видишь ли, в числе воровских долго считались. Ты, верно, слышал, что нас есаул разбойника Разина населил. Ну, так вот, мы тут по Волге основали Есауловку, перестали бродить, только долго еще сами разбоем жили. А после и усмирились. Прадед теперешнего нашего князя за свои услуги бывшей царице это село в подарок получил и поехал сюда. Голь да воровство одно он тут застал. Люди, говорят, жили, как звери. Ужас кругом по окольностям про наших шел. Князь-то сразу взял да и укротил всю эту здешнюю прыть. Навез с собою, понимаешь ли, сынку, наемных перебежчиков-поляков да человек десять из запорожцев; составил себе род отряда и пошел косить да порядки новые заводить. Кнутом полслободы засек; виселицу над Лихим поставил, и на ней беспрестанно воры наши покачивались да ворон и сорок собою кормили. Какого-то старика, что выдавал себя за родича того-то разиновского есаула, в бочку забил, созвал село. «Вот, — говорит, — как я учу разбойников да бунтовщиков! Смотрите!» — да так в Волгу его и кинул. Плавал этот

старик по Волге двое суток, а на третьи пастухи его на той стороне реки вынули, как его к берегу подбило, и стали ему голодному есть давать. Шатался, говорят, старик, как муха осенью, не мог все распрямиться — в бочке всего его разломало — и отказался от хлеба. «Нет, — сказал, — не житье мне теперь: останусь жив — везде барин найдет». Лег на берегу Волги против нашей же земли да тут и умер... В зале у того первого князя на стене семь плетей висело постоянно на колочках; так и держал — одну для воров, другую для ослушников, третью для потатчиков наших — комиссаров, четвертую для иных поблажников, и так всякому свою. Так-то, сынку, воровство наше тут покорилось. Вот его и портрет.

Илья взглянул на румяного толстого щеголя, в пудре, в орденах, в кружевных манжетах и в мушках. На золотой раме портрета Илья прочитал надпись: «Князь Адам Белоконь-Мангушко. 1758 год».

— Род нашего первого князя из-за Киева, сынку; сказывают, что гетманский род. Сын этого главного нашего князя отделал этот старый дом на новый лад и жил в свою волю. У него девка в церковь, бывало, не показывайся. Ни одной проходу не давал. Сын его, барин-то теперешний наш, с детства хилый такой вышел, все лечится; рано померла его жена, и он бездетный так и остался. Ныне он все по чужим краям живет, в Италию ему и пишу теперь. Так без роду и без племени век свой и доживает, и кому мы достанемся — не знаю. Денег ему отсюда вдоволь высылаем. Надо мною тут француз главный состоит; он при сахарном заводе в городе живет и сюда только проверять меня наезжает. Я же тут по хлебопашеству, гуртам, по винокурне и по всем работам. Так-то. Вот его портрет, Илько. Поцелуй барину ручку. Он наш благодетель.

Роман ткнул акварельное изображение седовласого пастушка в соломенной шляпе и с корзиною плодов в руке к печально сжатым холодным губам Ильи, обтер пыль с пор-

трета и опять поставил его на щегольском резном столике портретной.

— Да, кто-то тут будет барином, как князь теперешний помрет! — задумчиво сказал приказчик.

— В казну нас отберут, — начал Илья. — Уж слышно... опять казаками... хотят сделать всех.

Антоныч улыбнулся.

— Не верь, брат, найдутся новые господа. Уж так, без господ, не будем. Моли только Бога за теперешнего князя. С ним мы не пропадем... А бредни о воле позабудь. Верно, много глупостей в бегах наслушался! Теперь над нами Господь чудо явил: из рядовых, из нищих я сам, видишь ли, приказчиком... Старайся и ты!

Взошли на вышку. В окна бельведера во все стороны открывался нескончаемый вид полей, холмов и каменистых бугров, а далее белая полоса Волги, заслоненной несколько прибрежными высотами.

— Отсюда наш князь, как наезжает, любит смотреть на свои владения! — продолжал Роман Танцур. — И все спрашивает: «Те вон бугры мои?» — «Ваши, — говорю, — ваше сиятельство!» — «А вон тот лес и та даль?» — «И лес ваш, и даль ваша!» Так он часто меня на первых порах спрашивал. Тут семь тысяч десятин земли княжеской... Есть над чем похлопотать, хоть князь нас почти что совсем забыл... Люди тут, как чужие всем... Да и нам, впрочем, крохи перепадают... О чем ты задумался, Илья?

— Вы, теперь точно вижу, батюшка, тут главный; дайте же и мне Бога за вас молить — на землю стать! К миру, к обществу пристроиться, своим домом обзавестись! Вы же говорите, что князь нас забыл...

Роман плюнул.

— Опять! Вижу я, что ты дурень, и больше ничего! Пойдем домой! В бегах ты ума не набрался, дураком и умрешь.

Ключи опять загремели. Роман с сыном пошел обратно. Тихо они шли снова мимо штофных голубых занавесей, зер-

кал и портретов по паркетам, коврам и резным лаковым лестницам. Солнце ярко светило в разноцветные — голубые, алые и желтые — стекла фигурчатых окон и наружных стекольчатых галерей. Внизу, у выходного крыльца в сад, Роман остановился и, как будто забыв вспышку на сына, опять начал:

— Князь забыл нас — так... Бог весть, когда и наезжал — так. Что же, однако, посудить из этого? Ты ведь не мальчик, сынку, поймешь! Я был голодным батраком, правда. Даже мужики меня голопятым звали — тоже правда. Тебя немец гнал, и я защитить тебя тогда не мог. Все это так! Однако же теперь? Знаешь ли ты, как я попал тут в приказчики? Немец, что тебя гнал и бил, замотался; князю стали мало денег высылать. Он, как тебя уж тут не было, и нагрянул, прямо из Неметчины, в трех каретах явился. Приехал, таким чужаком ходит; бывало, все село на него из-за углов глядит. Уж и тогда стар он был, а все картины рисовал и село наше с разных концов снимал на бумагу красками. Тот портрет, что ты видел, он сам с себя тоже тут срисовал. Жил он у нас целое лето, скучал по дальним краям... А барыня Перебоченская, что за Лихим тут теперь живет, тогда землю на аренду сняла у своего соседа, приехала к князю и говорит: «Что вы все на немцев надеетесь, князь? Да ваш простой мужик лучше всякого немца тут управится. Вот хоть бы ваш Роман Танцур, что за овцами у вас ходил и два раза у вас в Черноморье ездил за скотом. Посадите хоть его в приказчики; в год, в два он привыкнет и всех этих, клянусь вам, иностранцев ваших за пояс заткнет!» Засмеялся князь. «А что же, — говорит, — сударыня, попробуем! У вас, быть может, верный хозяйский глаз! Позвать, — говорит, — Романка!» Меня и позвали. Вхожу я, а они оба сидят: барыня чулочек тут же вяжет запросто, а он на треножнике по холсту красавицу какую-то рисует. Стали они меня расспрашивать да тут же меня для пробы на год, под надзором барыни этой, и определили. Доходы князя я удвоил сразу; не забываю я с той поры за барыню,

за Пелагею Андреевну Перебоченскую, Бога молить. Вот послужи так-то, Илья, и ты нашему барину, и тебе будет хорошо! Любишь ходить за садом? Учился где-нибудь?

— Учился в Крыму и в Бессарабии.

— Вот тебе бы на первое время и дело, а там в конторщики, мне помогал бы книги вести, счеты... Беда мне с вашим братом беглым, велено вас принимать. А какие бывают из вас? Вот почти весь наш оркестр музыки был в бегах и воротился. Буян на буяне. Ты бы их остерегался. Того и гляди — все в острог пойдут; ты вот хоть просишься к плугу, на землю, а они ничего не хотят делать!

Отец с сыном пошли в сад. Запустелые развесистые аллеи пахли черемухами и тополями. Кусты жимолости и райдерева были в цвету. За прудом отзывалась иволга, соловьи перекликались. Прошли мимо шпалер вынутых из-под зимней покрышки виноградных лоз.

— Это бы дело поправить надо было также. Наш француз требует, чтоб виноград мы поддерживали, а ходить за ним некому! Поработай, пожалуй, пока со всеми мужиками, Илько, а там тебя и к саду можно наставить. Тут в садовничьей хатке и жить тогда себе можешь, коли ищешь от нас сесть особняком. Кстати же, садовник был тут нанятой, да от нас недавно отошел...

На душе у Ильи отлегло; он просветлел. Роман подозрительно вдруг взглянул на него.

— А все-таки лучше бы ты мне, Илько, сразу под руку пошел — в конторщики; счеты бы вместе сводили. Я неграмотный, а ты грамоте знаешь... Я бы уж тебе тогда все бы предоставил. А то чужие все, видишь ли, ненадежные... Тогда о Талаверкиной дочке, что ли, мы бы с тобой подумали.

Весь день в субботу, до вечера, Илья действительно бродил по селу, заговаривая с былыми сверстниками и присматриваясь к разным лицам, но почти не узнавая никого. Отыскал двух-трех из бывших своих деревенских приятелей, теперь уже бородатых и заматерелых мужиков, давно жена-

тых и наделенных кучею детей. Походил он опять по саду, побродил возле опустелой после зимы барской винокурни в конце села, оттуда слышались музыка, скрипки, кларнеты и даже барабан — там обучался оркестр; видел издали Илья выход на громадный хлебный ток так называемой барщины, толпы работников и работниц с очередной половины села. Под вечер он разыскал место былого двора и хаты отца, куда он, во время оно, забитым и голодным ребенком бегал с господского двора. Он нашел это место на Окнине, на окраине небольшой луговины, у глухого конца села. Окниной она называлась от просветов на земле множества студеных ключей, бивших сквозь траву у скатов того самого косогора, по которому было раскинуто село и где стоял особняком господский двор и сад. Вода здесь была необыкновенно холодна, чиста, вкусна и полезна для растительности. Стаи птиц постоянно роились над бархатной, густой и яркой зеленью луговины, водились в ней и всякими стонами и криками наполняли здесь свежий воздух. «Эх, батюшка! Вот бы где нам гнездо постоянное свить, на старом-то бы месте, а не под барским домом!» — подумал Илья, рассматривая былое свое пепелище, где торчала только груда кирпичей бывшей печки, валялось несколько черепков да росли три-четыре обломанные, а некогда развесистые вербы.

Окнина была сейчас за канавой сада, с той стороны, где в саду начиналась уже дичь и глушь и где росли одни ольхи да лозы, вечно полные стаями крикливых ворон и задорных кобчиков.

Поздно пришел Илья в отцовское помещение. Конторский чай он пропустил и едва захватил самый ужин. К старику Роману приходили опять озабоченные лица за приказом. Видно было, что приказчик строго вел себя с подчиненными. «И где отец этой важности набрался? Каков! Точно судья какой или заседатель!» — думал Илья. Мать скоро легла спать. Роман ушел в комнату, соседнюю с той, где жил, и долго сидел там один, вздыхая и тихо пощелкивая костяшками счетов. Власик, набегавшись за день, как упал

в свой тулупчик у печки, так там и заснул. Скоро заснул и Илья.

На другой день Илья проснулся рано. Это было воскресенье. Отец ушел в церковь; матери тоже не было. Власик чистил какой-то таз, пыхтел и возился, опять весь взъерошенный, веселый и проворный, как мышонок.

— Дядя Илья! Вас там в саду, возле мостка, человек один дожидает! — сказал Власик, шевеля большими сквозными ушами, подмигивая и добродушно посмеиваясь.

— Кто такой?

— Не знаю! — Власик смеялся и оттого, что в конторе было новое лицо, и оттого, что на дворе было светло и его манило самого туда.

Илья умылся, оделся и вышел в сад. В конце кленовой дороги прогуливался худощавый человек в пальто и в картузе, держа одну руку в кармане, а другую — за лацканом. Подойдя к нему, Илья не знал, снимать ли перед ним шапку или нет.

— Илья Романыч? — спросил тот.

— Точно так-с...

— Кирюшка-с! Я первая флейта в тутошнем оркестре-с!.. Вашу руку!.. Я Кирюшка Безуглый. Позвольте мне-с от всего усердия взять вас за руку и поблагодарить-с!

— За что же? Я не знаю вовсе вас...

— Вы спаситель моей Фроси... Как же-с! Из голубятника, от этого поляка-кровопийцы-с... Я все знаю и по гроб моей жизни этого не забуду-с; нет, нет-с, я вас обниму и того во веки веков не забуду!

Кирилло крепко обнял Илью. Серые, ленивые и тусклые его глаза глядели добродушно, ласково.

— Вы, Илья Романыч, можно сказать, спасли от сущей гибели и посрамления меня и Фросю. Не освободи вы ее, утром бы ей барыня косу отрезала-с, это беспременно! А не то послала бы в стан... Нас, так сказать, этот обход застал на месте... Помня ее девичий стыд и честь, я кинулся бежать — не от трусости, но чтоб ее спасти. Мне что? А

теперь все спасено, и утром, на переборке, девушки сами Фроси не выдали.

— Ах, братец, я сам не думал, — возразил Илья, польщенный такими благодарностями господина, одетого в пальто.

— Нет! Уж вы меня извините, а я привел сюда и моего друга, Саввушку-с, тоже нашего музыканта. Мы из здешнего оркестра. Савка, а Савка! Саввушка! Выходи сюда!

Из кустов цветущего древесного жасмина поднялся другой, еще более сухощавый и чахлый человек, тоже в пальто и в фуражке. Этот был на вид совершенно чахоточный. Бледные впалые его щеки и мертвенно-тусклые глаза резко оттенялись черными густыми бровями и маленькими шелковистыми усиками.

— Саввушка, благодари их. Вот Илья Романыч спас мою Фросю. Кланяйся, да ну же, кланяйся! Этого вовеки я не забуду.

Саввушка и Кирилло снова поклонились Илье.

— Ах, братцы! Да что вы! Да я сам...

— Нет, нет! И не смейте вспоминать и беспокоиться. Мы ваши слуги отныне. Папироски курите?

— Нет... курил, да бросил.

— Ну, мы сами покурим. Позволяете?

— Ах, помилуйте. Почему ж?

— Мы отойдем сюда к сторонке, к канавам-то. Понимаете? Чтоб из дому не было видно — от вашего батюшки-с...

Новые знакомцы отошли к концу сада, к вербам. Кирилло достал из-за пазухи потертую сигарочницу. Он вообще вел себя развязно, к Саввушке относился шутя, а к новому приятелю весьма дружелюбно. На обеих руках его были перстни. Саввушка шел молча, тоскливо вздыхая и грустно посматривая по сторонам.

— Вы с отцом своим как? — спросил Кирилло, с важностью умелого закуривая сделанную им самим папироску.

— А что?

2—1528

— Слышали мы, что вы теперь с воли... Значит, свету-то и делов всяких насмотрелись. Так как же вы с вашим отцом? Какого вы, то есть, о нем теперь понятия стали?

— Еще мало разглядел, братцы.

— А, мало! Слышишь, Саввушка? Савка, слышишь?

Кирилло подмигнул с невыразимым, торжествующим взглядом. Саввушка на него искоса взглянул, как бы сказавши: «Что и говорить! Беда, да и баста!»

— Мошенник, пресущая бестия ваш батюшка! — сказал Кирилло, мигнувши Илье. — Коли еще не узнали, так знайте!

Илья покраснел.

— Это такая выжига, что в целом, так сказать, государстве поискать! — продолжал Кирилло Безуглый. — Князь ему верит, а он людей полагает за ничто. Работы все под его началом; счеты он тоже ведет. Да это, впрочем, нас не касается. А вот что: за что он нас голодом держит, музыку-то? Мы было все разбежались... да опять вот сошлись.

— Так и вы тоже, братцы, в бродягах были?

— Как же! О, как же! Мы здешние, — говорю тебе, — есауловский оркестр. У нас венгерец капельмейстер, и мы живем за мельницами, в доме старого винокуренного завода. Захотелось нашему князю музыку свою тут иметь на случай приездов, как в киевской главной его слободе. Он и отписал. Сперва итальянца прислал, а потом венгерца...

— Давно это вас набрали в музыку? Я как тут был, вас не было еще.

— Да лет семь будет. Как приучили нас по малости, соседние помещики стали разбирать на балы, на вечера; даже в город два раза к губернатору нас на выборы возили.

— И выгодное это дело, братцы?

Саввушка тяжело вздохнул и сел на канаву. Кирилло достал из сапога флейту.

— Вот я на чем играю...

Он взял несколько звуков. Тонкие, тихие переливы раздавались под ветвями нависших верб.

— Хорошо?

— Хорошо... Очень, брат, это хорошо!

— Ну, а первое время я повеситься, Илья Романыч, хотел от ефтой-то каторжной дудки, ей-богу! Так она мне была не по нутру! Взяли меня от огорода. Дали эту дудку в руки. Я приложил косточки к губам. Дую, а оно не выходит, только пыхтит в продушинки. Уж бил же меня, бил итальянец. Однако ничего — после вышло хорошо, и я сам теперь люблю эту статью. Только не все ее одолели, вот хоть бы Саввушка! Посмотри-ка на него.

Илья взглянул на приятеля Кириллы. Тот сидел бледный, болезненный. Кирилло Безуглый нагнулся к нему.

— Савка! Плохое дело кларнет? — спросил Кирилло.

— Плохое! — глухо проговорил приятель и закашлялся.

Кирилло посвистел еще на флейте и спрятал ее за сапог.

— Теперь я хоть девочкам-то играю на забаву. И все бы ничего. Да вот кормят-то, кормят нас теперь плохо. Прежде балов было больше, итальянец заработки имел, и мы ничего экономии не стоили. А венгерцу теперь плохо пришлось. Что заработали за зиму, то летом и проели. А тут глушь; Донщина близко. Князь-то нас затеял, да, видно, и забыл. Вон хоть Саввушка — грудь надорвал. Да и не он один. Но вы, Илья Романыч, спросите, чем Савка до музыки, значит, был.

Илья спросил Саввушку.

— Художником в Петербурге был, живописцем, — начал печально Саввушка. — Я по живописи шел; сызмальства к ней наклонность имел! Князь сам меня туда отвез еще мальчишкой.

Кирилло с ожесточением ударил картузом оземь.

— Нет, вы спросите его, как он сюда-то, в эту музыку анафемскую попался, — заметил он, обращаясь к Илье.

— Как попался? — продолжал, грустно покачивая головою, Саввушка. — Была моя одна там такая картина, значит, хорошая; ее хотели ставить даже на выставку... Меня поощрили. А у меня грудь и тогда побаливала. Князь и говорит:

«Хочешь домой, Савка, родных навестить, воздухом свежим подышать на вакации?» Я говорю: «Очень рад-с». Он и взял меня сюда, довез до села. А отсюда-то поехал в чужие края и не на Петербург, а на Турцию, на Одессу, меня же не взял; да с той поры, забыл ли он, что ли, или так случилось уж на мое горе, он за границей остался, а я тут застрял безвыездно. Приставал я к приказчику да к старостам, а тут вот вашего отца наставили! Он мне в ответ одно: «Я человек неграмотный, твоих делов не знаю». Глушь тут, вы знаете, какая. Посоветоваться не с кем. Жаловаться тоже некому. Поговорил я со стариком нашим священником — тогда еще другого молодого тут не было, — а он мне: «Покорись, господа твои лучше знают, что делают, а иконы и тут можешь расписывать, коли кто тебе закажет». Скоро после стал из мужиков тут итальянец музыку составлять; Антоныч-то, ваш отец, и приказал мне, как уж обученному грамоте, к итальянцу на кларнет стать. С той поры я тут и стою. Выучился на кларнете, да грудью вовсе плох стал... Какой я музыкант! Мне бы по живописи, вот что!

Кирилло дослушал приятеля и опять ударил картузом оземь.

— Эх! терпи, Саввушка! Такова, значит, доля наша! А что, господа, не выпить ли пивца или зелененького? Как же! Без этого нельзя! Вот вас за Фросю надо пожаловать...

— Я не пью, их угостите! — сказал Илья, указывая на Саввушку.

Саввушка махнул головой и улыбнулся.

— Нет! Куда уж мне! Вы идите! Я пойду поброжу. Благо день воскресный. Завтра опять за музыку. Венгерец контракт какой-то с городом затевает и все заставляет новое разучать...

— Я не пойду завтра. Я с приятелем гуляю!..

— Художник должен в смиренности жить, так учили нас в кадемии, — перебил Саввушка. — И умру, а не забуду ее! И дал бы я полруки на отсечение, чтоб посмотреть теперь на Исаакий, каков он?..

Саввушка замотал головою, повторяя: «Не забуду, вовеки не забуду!»

— Товарищ, руку! — сказал Кирилло Безуглый Илье. — Идет?

— Что? — спросил Илья, подавая ему руку.

— Будем, значит, душа в душу жить?..

Илья вспомнил слова отца о музыкантах.

— Будем! — ответил он.

— Ты нас отцу не продашь? Ты не Иуда, малый?

— Не продам... Что вы, ребята!

— Ну, пойдем же в шинок. Водки не пьешь, меду или пива выпьем. А на Савку надежда плохая. Теперь уж он провоет целый день. Про своего Сакия вспомнил! Ах ты, художник!

Илья и Кирилло перелезли через канаву и за садом пошли в деревенский шинок, где флейтист тотчас представил нового приятеля всей честной компании, и пошла попойка.

Илья Танцур, как сказал, так и поступил. Он отпил только немного из стакана пива, от прочего отказался. Но вышел он из шинка особенно веселый и довольный, даже раскраснелся.

Весенний яркий день затеплел по-летнему. Кучки народа бросились купаться к Лихому.

— Как слобода-то наша изменилась с той поры, как я тут был! — сказал Илья, уходя с Кириллой бродить далее за село. — Народ совсем не тот стал. Как-то веселее глядит! Точно его никогда и не бивали!

— Да, новые времена подходят! — ответил Кирилло. — Мы слышали, как зимой в городе были. Много болтают, да, почитай, пустое, — все еще ничего нет.

Они отошли далеко за село. Шли каменистыми буграми. Влево мелькали прибрежья Лихого.

— Не выкупаться ли и нам? — спросил Илья.

— Давай. Можно для друга.

Кирилло был сильно навеселе. Они пошли к реке.

Скалистый отвесный берег Лихого здесь был особенно хорош, как у большей части рек, впадающих в Волгу. Кое-где по берегу торчали дуплистые липы и бересты, шли маленькие лески. Волнуясь и медленно поднимаясь, шли по берегу холмы, торча то зелеными плоскими шатрами, то меловыми остроконечными вышками, в расщелинах которых мелькали верески, россыпи желтых песков, сланцы разноцветных глин, а по гребням отдаленных бугров, будто кабанья щетина, остовы с незапамятной старины уцелевших дубов. Тут известковые стены, столпясь белым сказочным стадом, нависли над поемной болотистой равниной. Там те же белые холмы убежали прочь, волнуясь вдали беспорядочными логами, лесистыми балками и темными, зияющими оврагами. В недосягаемом для глаза отдаленье из них опять выскакивали два-три новых синеющих горба. Холмы огибали полнеба, подковою свертывали вправо и, будто усталые, бросались вдоль другого ручья, в упор к Волге, и всем своим отрядом облокачивались о ее воды, купаясь и отражаясь в их голубом разливе.

Илья и Кирилло стали раздеваться на берегу Лихого, под густым берестом, у плотины запустелой мельницы соседнего вольного села. Село было спрятано за косогором по тот бок реки. Место это представляло опять порядочную глушь и дичь, верстах в двух выше Есауловки. За рекой паслись рыжие, так называемые татарские, курдючные овцы. Мальчишка пастух спал в тени под камнем.

Новые друзья стали купаться, весело разговаривая и пересмеиваясь.

— Ты выкупаешься, домой пойдешь, отлично наешься у отца-матери! — сказал Кирилло, жадно остужая пылавшее лицо и тело прохладной водой.

— Да отчего же ты думаешь, Кирюша, что я спать лягу?

— Оттого, Илько, что уж про вашего брата казака сказано... Ведь ты казак по крови, по дедам, а мои деды москалями сюда пришли; у нас тут каша, месиво, ты видишь...

ты черномазый, а я белобрысый, ты казак с Днепра, а я казак с Дону, то есть почти не казак! Сказано: «Оттого казак гладок, что поел да и набок!»

Кирилло, однако, прежде на себе испытал эту пословицу, вышел из воды, лег на солнышке, потянулся на траве и стал дремать, пока Илья смывал с себя прах долгих переходов и странствований на родину. Вымывшись дочиста, Илья опять бросился в реку; нырнул и выплыл, обогнувши лесистый островок у плотины. Посмотрел, а на другом берегу, под тенью мельницы, сидит молодой, невеселый и бледный священник с удочкой. Он слегка покачивался и напевал какой-то гимн.

— Здравствуйте, батюшка! — отозвался с непривычной развязностью Илья, выставившись по пояс из воды и особенно весело настроенный выпивкой пива. — Извините, что я так... голышом, значит...

Священник кивнул ему головой, приподняв широкую пуховую шляпу. Это оказался человек лет двадцати пяти, сутуловатый, с широким скуластым лицом, глухим, отрывистым голосом и серыми задумчивыми глазами.

— Кто вы? — спросил священник, бывший слегка близоруким и не видевший из-за мельницы, кто это.

— Угадайте.

Илья выжимал воду из кудрявых черных волос. Бороды у него еще не было.

— По телу моему угадайте! Что? — спросил Илья. — Трудно по телу угадать? Барин я или мужик? Ага! Трудновато?

В это время по другую сторону реки, выдвинувшись из-под береста, стал одеваться Кирилло, спиною к мельнице. Священник не узнал флейтиста и стал в тупик, рассуждая по замеченному на земле пальто музыканта, не господа ли охотники это из дворян, попавшие сюда случайно прогулкою вдоль Лихого.

Илья засмеялся.

— Что, батюшка? По телу-то белому все, значит, равны? Натура-то у всех нас, значит, одна перед Господом?

— Вы не из Карабиновки, не господина Павлова родня? — продолжал спрашивать голого незнакомца близорукий священник.

Илья так и покатился со смеху.

— Раб, батюшка! Мужичок, ваше преподобие! Да еще из беглых, воротился, значит; становому пожива есть в другом каком случае!

Илья весело кланялся, высунувшись из воды. Священник, увидя свой промах, замолчал. Тут подошел Кирилло по плотине, и дело окончательно объяснилось. Илья скоро также оделся и прибежал на берег под мельницу.

— Это отец Смарагд, Ильюша! — сказал Кирилло. — Другой тот наш священник в Есауловке, что я тебе говорил. Мы с тобою сегодня обедню прогуляли. Вы нам простите, батюшка! Это Ильюшка, батюшка! Романа Антоныча сын! — прибавил Кирилло. — Мой новый друг! Полюбите-с, как и меня!

Священник покосился на друга Кириллы и стал убирать удки и прочие припасы неудачной в тот раз рыбной ловли, угрюмо прибавив: «Заслужит, так полюбим!»

— Ничего, батюшка, не поймали? — спросил Кирилло, присевши на корточки.

— Ничего, запоздал, должно быть.

— Да вы, батюшка, все на червей. Попробуйте на хлеб. Караси пойдут: тут их гибель под плотиной. Мы венгерцу иной раз бреднем ловим...

— Далеко домой за хлебом теперь идти.

— И тут достану... сейчас вот достану... Для вас, батюшка, можно! Вот у мальчишки в котомке, наверно, хлеб есть...

Кирилло побежал к спавшему пастуху. Священник, сев снова под тень мельницы, не без любопытства посмотрел на сына Романа Танцура, который так озадачил его вопросом касательно своего тела.

— Так ты тот самый Илья, что так долго в бегах был? — спросил отец Смарагд, пристально и строго осмотрев с ног до головы стоявшего перед ним Илью.

— Я, батюшка.
— Где же ты был до сих пор?
— Где день, а где ночь, везде понемножку.
— Знакомый ответ...
Священник задумался.
— Сам пришел или привели?
— Сам... Я вам уж доложил про то...
— Что же так волю-то бросил?
— Еще неволи захотелось попробовать.
— Верно, узнал, что отец в приказчиках?
— Видит Бог, не знал, батюшка. И что мне в том!
— Что же, если бы узнал?
— Может быть... и не воротился бы!
— Вот как!

Кирилло принес хлеба. Священник насадил на крючок новую наживу и бросил удку. Кирилло рассказал священнику, какую ему услугу сделал Илья. Священник опять осмотрел с ног до головы Илью.

— Ну, теперь, брат, тебе от барыни, от той Перебоченской, проходу не будет, коли она узнает, что ты выпустил ее девку из голубятни...

— Эва, батюшка, бабой пугать стали! Уж будто с той поры, как я бегать стал, на них и управы не выдумали!

— Что таиться, Илья, не говори! — перебил Кирилло. — Это такая, что ее не задирай! Не знаешь ты еще этой барыни, батюшка правду говорит!

Священник, как видно, пользовался на селе полной любовью прихожан. Парни с ним совершенно не стеснялись. Он умел с ними говорить, не важничая и вместе не теряя своего обычного грустного и строгого настроения. Рыба, однако же, не клевала.

— Пелагея Андреевна Перебоченская на чужой земле живет, — продолжал священник, — только дом ее построен самою. Она землю эту на аренду сперва взяла и перевела туда своих людей. Только люди ее почти все разбежались, и Конский Сырт этот, как был еще до меня, и теперь глушь-

глушью. Устроена только одна барская усадьба, сараи для скотских гуртов да две-три людские хатенки. Она все разыскивает своих беглых, но они как-то к ней все нейдут.

Илья с трепетом вспомнил каретника Талаверку в Ростове и дочь его Настю, и мороз пробежал у него за спиною.

— Твой отец к ней часто ездит; она из соседей его только и жалует.

— Да, сказывали..

— Вы, батюшка, ни-ни! Его-то, Илью то есть, с отцом вы не мешайте! — заметил решительно Кирилло. — Он на отца не похож, ни-ни! Право слово! Он в дворовые идти не хочет, а к миру...

Священник молча закинул снова удочку.

— Как же так, Илья? Отец-то, чай, не плохое теперь тебе место при себе дал бы? Он так много делает доброго князю, так хорошо ведет все дела по имению, что князь и тебя отличит.

— Не знаю, батюшка, что еще будет. А я бы от мира, от общества то есть, не отлучался бы. В дворовые записываться претит. Мне бы лучше на землю, к хлебу, к овечкам, а не то и сад люблю, виноградом занимался...

— О, разорительница эта Перебоченская! Погубила она не одного тут человека! — как бы про себя заметил пасмурный и бледный священник.

— Расскажите, батюшка, про генерала! — подхватил Кирилло, насаживая новую приваду на удочку священника. — Вы про генерала Рубашкина ему расскажите! Как она завладела его землей и владеет себе, ничего не слушая; как двумя тысячами лугу владеет, всем, значит, Конским Сыртом, как скот и табуны по нем нагуливает на продажу, и никаких бумаг на ту землю у нее нету...

— Да, братцы, — со вздохом сказал священник, — не дай Господи никому попасться в переделку к этой-то барыне. Генерала Рубашкина она, точно, кажется, по миру нищим пустит. Оттягала у него всю землю, и вряд ли он ее получит обратно. А какой бы он сосед был хороший?

— Слышишь, Ильюша? Генерала в порох столкла! — сказал Кирилло. — Что же бы она с Фросей-то сделала, если бы ты ее из голубятни не вызволил?.. Зверь-баба, ехидна! Видали мы скотников, гуртовщиков из мужчин — те бывают ловки да бойки, а эта всякого мужика-гуртовщика за пояс заткнет...

Илья стоял в раздумье. Из его ума не выходил далекий беглец, старик каретник Талаверка и его дочка Настя.

В это время на бугре, в полуверсте от мельницы, показался, в широкой соломенной шляпе, с черной лентой на тулье, в пикейном белом сюртучке, лаковых полусапожках и в розовом платочке на шее, не то юноша русский помещик, не то залетевший из Швейцарии в эту глушь счастливый путешественник, студент града Гейдельберга, не то, наконец, упавший сюда с неба интереснейший виргинский плантатор. Собеседники замолчали. Священник, сильно щурясь, вглядеделся, бросил удочку, наскоро собрал рыболовные припасы и пошел навстречу к незнакомцу.

— Идите, ребята, домой! — сказал он Илье и Кирилле. — Да снесите ко мне на слободу и снасти! А ты, Илья, зайди как-нибудь, ты про виноград толковал: у меня лозы есть подрезать. Я тоже пробую...

— Кто это? — спросил Илья Кириллу про незнакомца.

— Этот-то генерал Рубашкин и есть. Он живет тут, в двух верстах отсюда, за косогором, в вольном селе Малом Малаканце. От нас этот Малаканец в пяти верстах будет. Там генерал живет на квартире у простого мужика. Уж сколько времени тягается с Перебоченской, а ничего с нею не сделает! Все ждет решения. Генерал и тот ничего не сделает иной раз! Что же мы-то сделали бы, коли нужда встретилась бы?

Генерал снял шляпу, дружески протянул руку священнику и вместе с ним пошел, как бы без цели, разговаривая, по той стороне реки. Вероятно, священник что-нибудь сказал ему про Илью, потому что Рубашкин издали оглянулся на него, уходя в поле.

Илья и Кирилло перешли по плотине обратно по ту сторону Лихого и направились к Есауловке. Не доходя до своего села, они в развесистом зеленом байраке присели отдохнуть. Кирилло вынул опять из сапога флейту и стал играть. Флейта так нежно и так игриво запела, что издали могло показаться, будто в зеленом овраге, перелетая с кудрявого дерева на дерево, стала перезванивать голосистая желтобокая иволга. И точно, заслышавши иволгу, весь байрак мало-помалу откликнулся голосами других птиц. Эти голоса были подхвачены соседними перелесками и кустарными буграми. Через час пела вся окрестность, опять заслонившись от солнца широким углом беловатой, развесистой и медленно плывущей по небу тучки.

С понедельника действительно отец рано, чуть свет, выслал Илью на огульную работу с мужиками. Пол-Есауловки работало исстари с начала недели три дня, а полсела — три дня в конце недели. Часть рабочих пошла в поле с плугами пахать под гречу, а часть — на ток очищать вороха мякины и домолачивать оставшиеся с зимы скирды хлеба. Приказчик поставил сына с лопатой на легком ветерке, приказав ему перекидывать какие-то хлебные осадки; сам с палкой походил, как говорится, помозолил между молотниками, сел на каурую кобылу и поехал рысцой в поле к пахарям.

Появление нового лица на селе, а особенно на огульной работе, всегда вызывает заметное впечатление. Тут же явилось такое любопытное лицо, как сын старого волкодава, бывшего голопятого Ромашки Танцура, сын приказчика, двенадцать лет бывший в бегах. Мужики исподлобья смотрели на него, постукивая по снопам цепами. Бабы, особой пестрой толпой молотившие в стороне овес под надзором десятского, мало-помалу, едва уехал долговязый Роман, будто отдыхая, стали облокачиваться на цепы и смотреть во все глаза на Илью, тихо перешептываясь между собою.

— Чего не видели, пучеглазые! — зевая, крикнул десятский, более по привычке, чем из рвения к опостылевшей ему самому работе.

Он также лишний раз повел глазами на Илью, который в щегольских высоких сапогах, в нанковых шароварах и в синей чуйке усердно вскидывал лопатой сорную труху, не поднимая глаз от земли.

— Такое же иродово зелье будет! — с холодной злобой сказала одна из более бойких баб.

— А одежа-то, одежа! — подхватила вполголоса другая. — Как на свадьбу, псенок, вырядился. Туда же! С нашего брата, беглого, сейчас бы сняли чужую одежу, допросили бы; а его, в чем пришел, сюда приставили! Верно, в помощники себе готовит...

«Душегубово племя!», «Не сеяно растет!», «Чай, прибыл с батькой распивать!», «С господами станет ведаться!», «В приказчицкие доносчики, хамово отродье, скоро попадет!» — раздались кругом отрывистые, сперва сдержанные голоса. Десятский громко засмеялся, зевая и палкой колотя по земле.

— И теперь француз наезжает сюда почти задаром! — заметил и он тихо. — А как сойдутся отец с сыном, нам хоть по лесам разбежаться.

Илья с мучительной тоской глянул искоса вокруг себя, собираясь перейти от одной кучи трухи к другой. Десятки любопытных, сердитых и недружелюбных лиц по-прежнему пристально смотрели на него. Илья взмахнул лопатою и, будто ничего не слыша, стал опять работать.

— Молчит! — шепнул кто-то из мужиков на всю толпу.

— Воли налопался! — резко сказала баба. — Подавиться бы тебе, душегубово семя!

— Эй, вы! Работать! — отозвался десятский умышленно строгим голосом.

Работа пошла своим чередом. Тяжело дотянулся день для Ильи. Нелегко прошли первая и вторая недели. Стали косить первые поемные луга. То же повторилось с Ильей и на лугу, когда он, в числе ста или двухсот косарей, очу-

тился среди густой травы на прибрежье Лихого. Работа шла опять под надзором десятского. Его отец был за покупками в городе. Косари прошли три ручки и стали разом всей оравой точить косы. Раздались опять насмешливые голоса: «Приказчицкий наследник!», «Иродово зелье!», «Вскормлен нами, да нас же зубами за груди!», «Не сеяно растет!»

Илья не вытерпел, бросил косу, вышел из ряду вон и сел к стороне, как будто отдыхая. Но его и там допекли громкие, в упор кидаемые насмешки. Илья стал против косарей, снял шапку и поклонился на все четыре стороны.

— Православные! — сказал он.

Толпа мигом смолкла.

— Сколько я ни ходил, православные, по свету, а нигде не видел, чтоб невиноватому голову рубили! Я от мира никуда. Между вас дитятею рос, между вас наша хата стояла, от вас я и теперь не пойду, коли не прогоните...

— Тебя никто и не гонит! Мы ничего...

— За что же попрекаете, православные?

— А водки выставишь, хамово отродье? — отозвался голос посмелее из косарей.

Другие громко захохотали.

— С нашим вам почтением. Много вас, братцы, да я и последнее отдам!

Толпа весело загудела. Илья расстегнул жилет, из-под него вытащил две депозитки и отдал косарям. Десятский подошел, крякнул, погладил усы, протянул руку и вызвался сам в вольный шинок, в Малый Малаканец, съездить за водкой. Опорожнили бочонок с водой. Десятский вскочил на телегу и поскакал прямиком по полю. Через час поспела водка. Косари сели обедать. «Ну, это не голопятый, не волкодав; это не старик Танцур, а человек как человек! Сейчас видно хорошую душу, что по свету между добрых людей уму-разуму набрался!»

С песнями воротились косари с поля, с первого починка косовицы. Старый Роман даже удивился, подъезжая поздно вечером к барскому двору. «Что бы это такое было? Праз-

дника нет, а вся слобода песни играет!» Пошел осмотреть сторожей, и те были на местах. В слободе было смирно. Только песни долго еще не прекращались.

Так был принят Илья Танцур в состав своего общества, громады.

III

Генерал Рубашкин также дома

Кто же был генерал Рубашкин, с которым священник, отец Смарагд, от мельницы пошел полем и о котором Илье сказал музыкант Кирилло Безуглый, что его разорила барыня Перебоченская?

Адриан Сергеич Рубашкин, сын мелкопоместного дворянина с низовьев Волги, из былых казаков, часть родных которого была на Украйне и в Новороссии, рано поступил в Петербурге на службу в какой-то департамент писцом да с той поры в продолжение почти сорока лет не покидал ни Петербурга, ни этого департамента. Там он получил, с тревогой в душе, первый канцелярский чин, там дослужился и до высшего места директора канцелярии, а потом департамента, и с ним до титула действительного статского советника, то есть небоевого генерала. Несмотря на сорокалетнее сидение за столом, сперва на потертом и продавленном стуле, а потом в раззолоченном директорском кресле, он сохранил силы, здоровье, бодрость духа и румянец щек. От первой казенной квартиры под чердаком, над министерским архивом и рядом с швейцарским помощником, до последней директорской квартиры в двенадцать просторных и теплых комнат, Адриан Сергеич остался тем же умеренным, иногда скуповатым, а подчас и любившим пожить смертным, который, впрочем, дело женитьбы отвергал, как совершенно ему не подходящее дело, и большей частью насчет женского пола обходился втайне, как-то слегка, урывками, не придавая это-

му особого значения. Напрасно сперва засматривались на него дочки престарелых писцов, бухгалтеров, журналистов и столоначальников, а потом, когда уже он облачился в ордена и даже в звезду, дочки таких же директоров и даже министерские племянницы и внучки. Он говорил: «Женитьба — лотерейный билет; заранее не угадаешь, какой билет вынется. Блажен, кто выиграет; но еще блаженнее тот, кто вообще до всяких азартных игр не охотник». Живя в просторной сановничьей квартире с собственным швейцаром, холостыми назначенными вечерами, когда собирался разнообразный люд поиграть в карты, поболтать и узнать новости правительственного света, Рубашкин являлся к гостям постоянно расфранченный, раздушенный, сюртук и белье свежие, с иголочки. Комнаты его были уставлены мягкой щегольской мебелью, увешаны красивыми картинами. Бронза, ковры, зеркала и штофы показывали утонченный вкус хозяина. Кабинет его был полон безделушками. На столах кучами лежали постоянно деловые бумаги. Хорошо обеспеченный щедрым жалованьем, Адриан Сергеич не мотал денег попусту. Отлично служил и ни в чем не отказывал себе в тихой домашней жизни смирного и приятного холостяка. Летом он жил на даче, но как-то скупо и торопливо пользовался благами дачной жизни и ежедневно являлся в город на службу, ни разу в сорок лет не взяв себе отпуска даже на месяц. Его любили все, от департаментских сторожей до крупных чиновников. Во всех своих потребностях и мелких привычках он был в высшей степени умерен. Одно только было предметом его искренней, безграничной любви — это Малороссия, мифический и таинственный образ которой когда-то с детства радостно мелькнул для него и скрылся на долгие годы. Все толковали вокруг него о Малороссии, не только тамошние уроженцы, но и видевшие ее хотя бы мельком. Рубашкин молчал, слушал, склонив голову и как-то тихо улыбаясь, и думал: «Я тебя давно покинул, моя родина; но я, как сквозь туман, помню твои уютные сады, белые, мелом мазанные, чистенькие слободки; помню твои чудные песни

и твои привольные, грустно-синеющие степи. Я доберусь к тебе когда-нибудь и зато останусь среди твоих пустынь любоваться навеки твоей природой. Там я и умру. Дай только дослужиться до порядочной пенсии, чтоб не умереть под старость с голоду на родине. Но куда ехать? Земли там у меня нет. Живы ли родные, и про то, наверное, не знаю. Были, кажется, родные на Волге, были на Украйне, были и в Новороссии».

Годы шли, Рубашкин, за давностью времени бросивший всякую переписку с немногими близкими лицами на родине, жил по-прежнему степенно и отрадно. Являлся в театрах, любил оперу, концерты, посещал несколько первых чопорнейших домов из высшего общества. Говорил и судил обо всем умно и дельно. Спокойно и умеренно встретил начало новых реформ. Как на отпетых, живых еще, но уже скорых покойников, с улыбкой посматривал на откупщиков, посещая их гостеприимные и по-прежнему шумные обеды и вечера, где еще толпилась вся служебная знать. С любопытством прислушивался он к поднятому тогда крестьянскому вопросу. Жадно пробегал в газетах и журналах первые намеки так называемой обличительной и гласной литературы. Но где-то, по какому-то департаментскому промаху, как указали ему доброжелатели, прихлопнули в печати и его самого. Он долго тер себе лоб и протирал глаза, прочтя о себе слова: «Бюрократы отжили свой век; у канцелярского стола России не узнаешь; надо ехать изучать ее в провинции; туда теперь отодвигается все лучшее, там должна возрождаться заново наша жизнь». «Я бюрократ? Мертвец?» — спросил сам себя Рубашкин, воротившись с одного пышного, блистательного вечера, где толковалось много о разных последних регламентациях, кодификациях и прочих бумажных реформациях и где были в числе гостей даже два статс-секретаря. А тут еще обошли его второй звездой; какой-то его сослуживец в товарищи министра попал. Совсем огорчился Рубашкин. Природа еще сильнее стала его манить к себе. «Сорок лет прожил я даром в этом воздухе, в этой душной, смрадной

тюрьме!» — сказал себе Адриан Сергеич, наскоро сбрасывая с плеч тончайший черный фрак с младшей звездой на груди, бриллиантовые запонки и перчатки. Отпустив единственного слугу из отставных солдат-малороссиян, он взглянул на свой письменный стол, заваленный кучей вновь принесенных для прочтения, соображения и подписи пакетов с текущими делами, опять повертел в руках листок газеты с заигрывающим письмом какого-то провинциального корреспондента о столичных бюрократах вообще и о нем самом в особенности и стал быстро ходить вдоль вереницы просторных комнат своей директорской квартиры.

«А они-то веселятся там, важничают, нос дерут!» — думал он о только что оставленном вечере, куда, гремя и сверкая фонарями, еще продолжали при его уходе подъезжать кареты. В его уме мелькали беломраморные плечи и величественные улыбки дам, блонды, шелка, бархат, золото и бриллианты модных туалетов. В его ушах звенели сабли и шпоры гвардейцев. В раздушенных залах гремела музыка. Носились, распространяя аромат духов и звуки французского диалекта, веселые пары. У зеленых столов играли в карты важные и задумчивые лица. Чистенькие мордочки будущих счастливых бюрократов, только что испеченные чиновники из правоведов и лицеистов, причесанные первейшими парикмахерами и обученные танцам и французскому разговору первейшими питерскими учителями, в кадрили и даже в польке, протискиваясь из толпы, на ходу сообщали своим дамам новости о крепостном, тогда модном, вопросе, о народном обучении и об откупах. «И это все блестящее, самодовольное собрание теперь оказывается гнилью!» — решил Рубашкин, остановившись перед столом кабинета и опять повертев в руках невзрачную газетку с провинциальной корреспонденцией. Он вышел, чувствуя странный запах, в переднюю, глянул за перегородку, где жил у печурки его слуга-солдат, и застал его за какою-то непомерно душистой и жирной трапезой.

— Что это ты ешь?

Седовласый гвардеец вскочил, прикрывая ладонью дымившуюся лохань, и оторопел от изумления, что начальство его так неожиданно поймало.

— Что это ты ешь, Проценко?

— Виноват, ваше превосходительство! Кишки все оборвала здешняя пресная пища. Наквасил сам за печуркою бураков, да и сварил нашего борщу с перцем и с уткою.

— А вареников не делал?

— И вареников, ваше превосходительство, настряпал! — прибавил Проценко, доставая из-под стола другую объемистую лохань, прикрытую тряпкой, из-под которой вырывалось еще более обаятельное благоухание.

— Ничего, брат Проценко! Ты, я вижу, умнее меня! Ешь на здоровье!

Рубашкин заперся в кабинете и просидел в кресле до утра. Пакеты с надписями «конфиденциально», «весьма нужное», «в собственные руки» и «к немедленному исполнению» в первый раз остались нераспечатанными. Бледное, мертвенное утро занялось над Петербургом. Рубашкин подошел к окну. Дворники в нескончаемый раз сметали снег и вчерашний песок с тротуаров, торопливо и важно производя эту работу, будто подметали улицы для последнего, Страшного суда. Бледные чиновники спешили во всех направлениях в свои канцелярии.

«Ум провинций!.. Жизнь областей!.. И точно... Вот она, новая наша заря!» — сказал со вздохом Рубашкин, отпер стол, достал бумаги и стал писать докладную записку к своему министру. И в то время как департаментские политики, разбирая в числе других и его карьеру, решали задачу, чем будет впоследствии Рубашкин и скоро ли его сделают сенатором или товарищем министра, нежданная громовая весть разнеслась между его подчиненными и знакомыми. Министр принял его просьбу. Рубашкин выходил в отставку...

— Что с вами! Вы оставляете службу? — спрашивали его знакомые, тоскливо и с сожалением заглядывая ему в лицо.

— Бумажное царство в России кончилось! — отвечал Рубашкин. — Вы только не хотите сами этого заметить и в том сознаться. Дадим место молодежи...

Он распродал мебель, зеркала, лучшие бронзы и картины, оставил себе только несколько любимых вещей, еще способных убрать одну или две небольшие комнаты. Эти остатки уложил в ящики, сдал их в контору транспортов, взял с собою один чемодан, сел в вагон и поехал в Москву, а оттуда в Малороссию. Одна мысль наполняла его — уйти от неблагодарного Петербурга, пожить на свободе, на родине, упиться ее красотами. Адриан Сергеич соображал несколько смутно, что на юге России у него из родни должны оставаться два двоюродных брата: один — в бедном полтавском хуторе, где гостил иногда и его покойный безземельный отец и откуда его самого повезли на службу, а другой — в какой-то степной полутатарской пустыне, где-то невдалеке от Новороссии, на юге, за Волгой. Он с ними лет двадцать уже не переписывался и наверное не знал, живы ли они. «Ум провинций, вот оно что! Самоуправление областей!» — шептал Адриан Сергеич, проезжая срединные русские губернии и приближаясь к Малороссии. Где-то на дороге попался ему воз, запряженный волами, мелькнули белые избы. Далее звучно раздалось некогда родное для него украинское наречие. Сердце у Рубашкина при этом дрогнуло, он высунулся из кареты и долго не мог сквозь слезы разглядеть чуть памятные ему с детства поля и хутора, которые уже замелькали вокруг дороги. Карета сменилась перекладной. Тройка своротила на проселок. Пошли топкие зеленеющие берега Ворсклы. Был апрель. Весна захватывала дыхание птичьими криками, воздухом и солнцем. Вот большое казацкое старинное село, а вот одинокий, бедный дворянский хуторок... Рубашкин взошел на дрянное, покосившееся крылечко, стал на пороге низенького старого домика и не узнал своего двоюродного брата, оставленного здесь когда-то кудрявым и румяным ребенком, как тот, разумеется, не узнал его самого. Брат оказался рослым, обор-

ванным, седым и совершенно испитым стариком. После первых приветствий оказалось, что этот брат, Флор Титыч Рубашкин, совершенно прожился еще лет семь назад и коротал век уже не у себя, а у старой и тоже седой своей сестры, которая у него вовремя успела купить его собственное имение. Старуха сестра, Васса Титовна, была слепая; Флору Титычу уже не на что было пить; он упросился к сестре на хлеба и поместился у нее на кухне. Дни проводили брат и сестра вместе. Флор Титыч святцы ей вслух читал, а сестра, дремля, вязала чулки на продажу для церкви. За обедом брат сестре кушанье разливал, ложку подавал, мясо резал, а после обеда подбирал на спицы спущенные петли ее чулка. Родичи Адриана Сергеича жили в маленьком домике, а в большом помещалось сельское правление другого, соседнего, помещичьего имения, где все наследники вымерли и имение это поступило в казну. Владельцев того поместья Рубашкин также когда-то знал в детстве. «Наши дворянские роды вымирают!» — сказал ему уныло Флор Титыч, передавая брату, как они с сестрой продали под то сельское правление свой родовой дом. «Там в наших комнатах теперь живут старшина и сельский писарь! — прибавила сестра. — У старшины, говорят, медаль на груди. А писарь спит в той самой комнате, где нашего папеньки и маменьки опочивальня была; в образной нашей живут конторские сторожа, а из детской сделана холодная для штрафных арестантов». — «Прихожу я раз туда, — перебил Флор Титыч, — а в коридоре портретом покойного дедушки кадка с водой прикрыта». Грустно вглядывался Адриан Сергеич в лица своих обедневших родичей. Но Флор Титыч не унывал, хотя на шее его не бывало даже галстука, а сквозь нанковые потертые шаровары просвечивали красные голые колени. Какие-то башмаки из суконных обрезков были надеты на его мозолистые и избитые босые ноги. Лицо небрито. Длинные седые волосы в беспорядке падали на сгорбленные плечи.

— Что ты думаешь, брат, с собою делать? — спросил его дня через три Адриан Сергеич, оставшись погостить у них.

— Пошел бы милостыню в город просить, да сестра не пускает. После смерти своей хочет мне этот флигелек и хутор отказать.

— Не тебе, а твоим семи дочерям, которые все в гувернантках! — перебила его сестра.

Пошел генерал бродить с братом по окрестностям. Через этот полтавский хутор покойный отец генерала, мелкий чиновник в приволжском городишке, увез Адриана Сергеича в Петербург на службу и вскоре где-то сам умер. Пошли они в сад. «Где же ваши старые дедовские липы? — спросил Адриан Сергеич брата. — Я помню, они тут были!» Флор Титыч оглянулся: «Не говори слепой сестре — я их срубил и продал: не на что было чаю сестре купить как-то». — «Что же ты, брат, здесь хозяйством сам не займешься? Земля есть у вас. Тогда бы и лип не нужно было рубить!» — «Эх, брат! То есть ты советуешь самому к плугу-то стать? Нельзя еще нашему брату, дворянину, землю пахать; а людишки, какие были у нас, разбежались за эти последние годы, как про волю слухи пошли. Нанялся я было точно вот в это сельское правление писарем; в той самой комнате стал заседать, где и ты когда-то со мной бегал и где, бывало, три-четыре няньки с ноги один чулок у меня когда-то стягивали. Да больно зазорно стало своим же соседям мужикам, отобранным в казну, писарем служить, хоть и получал я хорошее жалованье — семь целковых в месяц!»

Брат и сестра, хуторяне, обрадовавшись приезду такого невиданного родича — генерала, засуетились угощать его. Шептались все о посуде, о какой-нибудь курице, о том, что надо вот в город послать за говядиной, за макаронами и еще за чем-то, да все некого... Генерал их остановил. Оставил у них в углу, не развязывая, свои вещи, съездил за восемь верст в город, сам закупил разных припасов, привез прислугу и объявил, что остается погостить у них и несколько подышать свежим воздухом. Но не было весело на душе у Адриана

Сергеича. Его окружали одна бедность и всякие недостатки да ослабевшая и ничем не оживляемая и не воскрешаемая вера в лучшую долю погибшего, некогда зажиточного быта. Кроме родственного хутора, весь околоток как-то жалко притих, точно и все остальные его жители обеднели и разорились. «Прошли наши времена! — говорили Флор Титыч и Васса Титовна. — Нам уж не поправиться, так мы и в могилу ляжем! Не так жили наши деды... Все миновало на нашей Ворскле!» — «Где же сохранилась былая, лучшая жизнь? — допрашивал родичей генерал. — Где живут отраднее здесь, на юге?» — «В Новороссии да внизу на Волге не так жалуются! — отвечали те. — Там живет наш другой брат, Клим Титыч. Ему там досталось наследство за женой, и он живет богаче и не жалуется, как мы все.»

Крестьяне показались генералу тоже чересчур ленивыми и довольными, до скотства, малым. Быт со дня на день беднеющих окольных помещиков наводил на него уныние и тоску. Везде толковали об одних картах, охоте, водке да о мелких соседских дрязгах. Сказочное былое гостеприимство исчезло. Не встречалось более ни Пульхерии Ивановны, ни Афанасия Иваныча, ни Ивана Иваныча и Ивана Никифорыча. Одни крестьянские соседние комитеты утешили было Адриана Сергеича, питомца петербургской деловой, неугомонной практики. Но и в них скоро пошла чепуха и завелись личности.

Тут судьба свела его с другим его двоюродным братом, именно с Климом Титычем Рубашкиным. Клим Титыч, как сказано выше, жил где-то в безлюдной полутатарской степи, за Волгой. Он от отца получил родовой клочок земли в Новороссии, возле Дона, где сам раньше служил; женился там на дочери одного майора из казаков, торговавшего скотом и имевшего большие капиталы, взял за женой ненаселенную землю между Волгою и Доном, знакомый нам Конский Сырт, вышел в отставку, продал свой собственный клочок земли и занялся жениным хозяйством. Жена его вскоре умерла от родов,

не оставив после себя детей, а при жизни укрепила за ним по купчей свое наследство. Клим Титыч усердно провозился несколько лет над этим имением, но, не зная, как взяться за него без капитала, сдал его в аренду своей соседке Перебоченской, ездившей к нему иногда торговать коров, и переехал на спокойное житье в один из поволжских низовых городков, похваливая свое житье в письмах брату и сестре. Соседка была бой-баба; застав на арендной земле домик и избушку, отстроила усадьбу очень хорошо, завела на этой земле гурты скота, вольнонаемным трудом повела и хлебопашество, пустила корни в этом имении да и затеяла его без дальних слов оттягать у смиренного Клима Титыча навсегда. Сперва пошли у нее с ним недоразумения по арендной плате, потом явились какие-то дополнительные условия о доме и о прочих сделанных ею постройках, наконец, было задумалась она даже над некоторым подложным, хотя и весьма грубоватым, документом будто бы его жены. Словом, вышла чепуха. А Клим Титыч, искупавшись невзначай рано весной в реке, в очень холодной воде, получил сперва кашель, а потом чахотку. Доктора послали его на последние деньжата в Крым, на южный берег. «Что ехать в Крым, — подумал он, — лучше съезжу в Киев на богомолье да, кстати, навещу брата с сестрой на старом отцовском хуторе!» Там Клим Титыч застал двоюродного братца, генерала, на старом родовом пепелище, не удовлетворенного тихим бытом старосветской Украйны, как он, с питерской точки зрения, выражался, будто бы не имевшей впереди у себя сильных идеалов. Он разговорился с ним о Новороссии и о поволжском русском востоке.

— Вот где край, так край! — сказал он братцу генералу. — Вот где жизнь начинается! Там наша Русь заново перестраивается. Какое там развивается пароходство! Строится и скоро кончится железная дорога по степи из Волги в Дон. Земли целинные, нетронутые, плодородные. Край непочатый, сущие американские степи. Поволжье — насто-

ящие штаты по Миссисипи, а низовье Дона и азовские побережья — Виргиния и Кентукки. Хотите, ваше превосходительство, побывать там?

— Еще бы!

— Нет, не шутя? Вы даже доброе дело можете сделать...

— Какое?

— Моим имением, доставшимся мне по духовному завещанию от моей жены, пустопорожней землей, по имени Конский Сырт, завладела одна бедовая соседка моя, госпожа Перебоченская. Она сперва держала эту землю на аренде, а теперь, без всякого с моей стороны акта, завладела этой землей окончательно и, что я ни делал, не отдает ее, да и полно. Живет себе там, как англичане в Индии; даже арендную сумму перестала мне платить уже лет шесть назад. Я все был болен; хлопотать сильно было некогда, да и ожидал, что она покается. Вы законы знаете лучше, чем я. Возьмитесь хлопотать и взягь обратно мое имение — я готов с вами бьггь в доле.

— Извольте; я совершенно свободен. И кстати, здесь мне что-то скучновато.

Клим Титыч дал Адриану Сергеичу полную доверенность, все документы на имение и уехал в Киев. Адриан Сергеич снова уложился, взял почтовых и скоро приехал в окрестности Конского Сырта и Есауловки. Он явился к Пелагее Андреевне Перебоченской и предъявил ей свои документы, но с первого же приезда, несмотря на свой чин, получил от нее такой ответ и такой прием, что хотел было тотчас воротиться снова на хутор в Полтавскую губернию и, отказавшись раз навсегда любоваться красотами природы поволжского края, лучше созерцать тихие картины Украйны старосветской или даже снова воротиться в Петербург на службу. Здесь вмешалась в дело сама нежданная судьба и остановила Адриана Сергеича надолго в окрестностях Есауловки. В соседнем городе, куда он перевел на первых порах свою переписку, он получил из Киева в конце того же года

из полиции бумагу, где прочел такие ошеломившие его слова: «Мичман в отставке, Клим Титов сын, Рубашкин, умер скоропостижно в киевской градской больнице, где лечился от чахотки, и оставил все свое имение, состоящее из двух тысяч десятин незаселенной земли, по имени Конский Сырт, близ Волги, такой-то губернии и уезда, отставному действительному статскому советнику, а своему двоюродному брату, Адриану Сергееву сыну, Рубашкину, вследствие того, что, по отношению полтавской земской полиции, уже не заставшему в живых его, мичмана Клима Титова сына, Рубашкина, оказалось, что собственные родные брат и сестра его, как ближайшие наследники его, Флор Титов и Васса Титова Рубашкины, того года и месяца, волей Божиею, без умысла посторонних лиц, на своем хуторе сгорели ночью, без божеского покаяния, вместе с своим домом. Их названный хутор, за долг приказу общественного призрения сгоревших владельцев его, имеет быть продан с публичного торга, так как после бездетных Вассы и Флора Титовых Рубашкиных никакого движимого имущества в наличности не нашлось, а все люди их оказались в бегах. Названное же имение Конский Сырт отказано Адриану Сергееву сыну, Рубашкину, по законному духовному завещанию, каковое в подлиннике высылается на имя его превосходительства, Адриана Сергеева сына, Рубашкина, по месту его жительства, в подлежащее судебное место, для бесспорного ввода его во владение тою землей».

«Бедняки! — подумал Адриан Сергеич. — Как ветром снесло их всех! Прав был покойник Флор Титыч: заметно вымирает наше былое, сильное дворянско-помещичье поколение. Теперь я последний из могикан, остаюсь один — окончательная отрасль Рубашкиных. Наш род не привился в срединной Украйне. Не привьется ли дело рук его на новороссийском востоке? Совью свое гнездо здесь, как некогда заводили, на отдаленных конечных окраинах южных степей, одинокие починки и заимки наши предки, коренные украинские казаки. Жениться мне уже поздно, а жажды де-

ятельности во мне еще довольно. Место богатое: развернуться есть где. Что же? Мне еще с небольшим пятьдесят лет; шестидесяти еще нет. Моя генеральская пенсия — постоянный оборотный капитал, который я исподволь стану прививать к этой благодатной целинной, не тронутой еще аферами земле, где у покойного брата и у его арендаторши ходили одни гурты скота. Все, что выработал Петербург в идеале, все, что прославили там господа теоретики, все это теперь придется здесь испытать на практике. Немало и я там, на своей правительственной дорожке, погрешил разными самодовольными решениями задач этой таинственной для нас практики. Не только становым или исправникам, даже и повыше, я посылал громкозвучные ордеры и внушения, которые по чаянию нашей столичной братии должны были во всех концах благодатно пересоздать нашу матушку Русь. Теперь я здесь сам рядовой и подначальный. Посмотрим, как улыбнется мне эта жизненная, областная практика. Наконец-то, из переселения, из бегов на север, и я воротился на юг. Я теперь дома. Как-то тут заживется?

И практика, повторяем, на первых же порах оборвала генерала Рубашкина.

Еще в качестве поверенного бывшего смиренного владельца Конского Сырта он вежливо и степенно явился к арендаторше этого имения, Пелагее Андреевне Перебоченской, переговорить о ее видах на скорейшую разделку по арендной сумме и об очищении земли от ее присутствия, так как срок аренды давно кончился. Адриан Сергеич приехал к Перебоченской по-петербургски, весь в черном, в модном фраке, в белых перчатках и в лаковых сапогах, с портфелем под мышкой, и даже не воспользовался деревенской льготой насчет фуражки, а явился в шляпе. Голубые его глаза, здоровые румяные щеки и припомаженные, с умеренной проседью, волосы предстали перед Перебоченской с запасом добродушия и ободряющего, ласкового снисхождения и доверия; а плотно застегнутый на груди фрак, со звездой, при проходе его по зале в

гостиную хозяйки, мимо зеркала, напомнил ему почему-то решительный и вместе великодушный вид какого-то чудодея-адвоката, которого он знавал в славе громких подвигов в Петербурге. Направляясь из уездного города, куда он сперва завернул для справок, к временной усадьбе Перебоченской, устроенной этой барыней на луговине, возле зеленого ольховника на Конском Сырте, Рубашкин наскоро рассмотрел этот поселок. Дом в пять-шесть комнат выходил на обширный двор, заваленный поделочным сплавным поволжским лесом. Кругом двора шли скотные, красиво построенные сараи, амбары, конюшня, кухня и людские надворные избы. Несколько просторных и чистых изб, для помещения наемных работников, поденщиков и пастухов, шли отдельным рядом за двором, вдоль молодого, но уже значительно загустевшего и поднявшегося сада. В саду торчала знакомая читателю голубятня, место неудавшегося плена Фроси. У нового, чистого колодца поили рослых быков. Стадо телят паслось на лужайке за садом. По двору шмыгали горничные, и перекликались между конюшнею и амбаром два рослых работника в красных рубахах. За воротами к избам прошел, с длинными рыжими усами, какой-то человек небольшого роста, но гордого и непонурого вида, вероятно, приказчик. На крыльце гостя встретили выбежавшие из дома разом две служанки. Спросив его имя и звание, они опять скрылись и потом ввели его в залу и в гостиную. В гостиной, на диване, за столом, Рубашкин увидел с картами в руках хозяйку усадьбы. Перебоченская на приветствие гостя слегка привстала и, не глядя на него, опять села. Рубашкин едва успел разглядеть ее высокий, сухощавый, несколько сутуловатый стан, сморщенное бледное лицо, жалкие, будто плачущие, дрянные глаза, белый старомодный, обвязанный сверху по ушам, чепец, какие носят нищенки-просительницы в городах, темное затасканное платьишко, серый фланелевый платок, обвисший на тощих, костлявых плечах, гарусный ридикюль на руке с изобра-

жением огромного яблока и вообще нищенский и убогий вид хозяйки.

— Прошу садиться. Что вам? — спросила Перебоченская, вяло замигав по сторонам.

Рубашкин сел и объявил подробно свое звание, чин и цель приезда.

— Вы держите на аренде имение моего брата? — спросил он, собираясь произнести ловкий спич.

— Так, генерал.

— Вы, извините, денег ему не платите?

— Так, генерал.

— Вы съехать с этой земли не хотите?

— Так, генерал.

— Зачем же вы все это делаете?

Перебоченская положила карты на стол, достала из ридикюля табакерку, понюхала табаку и ничего не ответила, слегка, но зорко, посматривая на гостя.

— Позвольте вас вторично, сударыня, спросить, в качестве человека, уполномоченного формальной доверенностью, какие у вас на это виды?

— А вам на что? — спросила Перебоченская и оправила ленты чепца.

— Как на что? Да я законный истец, я представитель дел моего двоюродного брата.

— Палашка! — тихо вскрикнула Перебоченская, повернувшись на диване к стороне внутренних комнат дома. — Палашка!

Дверь в соседнюю комнату была притворена. Оттуда никто не являлся. Только было слышно, как в зале в клетке мерно прыгала с жердочки на дно и со дна опять на жердочку какая-то тяжеловатая птица. Да в передней аккуратно и звонко стукали заржавленным маятником часы.

— Палашка! — крикнула опять хозяйка, не оборачиваясь к гостю.

«Верно, закуску вспомнила подать или прикажет скорее обед готовить! — решил в уме Рубашкин. — Оно же и

кстати, я-таки порядком проголодался!» И он с достоинством стал оглядывать комнату.

Дверь скрипнула. На пороге ее показалась плотная, широкоплечая, румяная и огромного роста горничная, с чулком в руках. Когда она вошла, пол заскрипел под нею.

— Беги, крикни тому генеральскому кучеру, — медленно и с расстановкой сказала барыня, — чтоб подавал их экипаж; они сейчас едут отсюда... Сейчас... слышишь?

— Слышу.

Горничная скрылась. Рубашкин обомлел. Перебоченская как ни в чем не бывало обернулась к нему и опять тихо и грустно устремила на него жалкие, дрянные глазки. Сначала показалось Рубашкину, что она сумасшедшая, и он только подосадовал на чиновников, не предупредивших его об этом. Он все еще молчал и смотрел на хозяйку. Хозяйка, вертя карты в руках, посматривала на него. На дворе загремел подаваемый экипаж.

— Что это значит? — спросил Рубашкин, в смущении поднимая на хозяйку брови.

— Вы как думаете? — спросила она, покачивая головой.

— Я не понимаю-с. Вы меня прогоняете? Значит, мне ехать?

— Точно так... Нечего и сидеть тут с грубостями!

— Как с грубостями?

Генерал вспыхнул. Перебоченская стала опять перебирать на столе карты.

— Во-первых, — сказала она тихо, — я сама знаю ваш чин и понимаю, что вы уполномочены доверенностью; но, во-вторых, не советую вам мешаться в это дело: иначе... вы меня уж извините... Я спуску никому не дам!

— Как не мешаться?

— Просто-с... Не я должна Климу Титычу, а он мне. Да притом же я тут в этой безлюдной глуши выстроилась; постройки все мои. И я вам просто-напросто советую не мешаться сюда и не очень важничать. Тут, в степях, извините-с, вы не разгуляетесь очень... Я женщина, и женщина

слабая, больная; но у меня... против всяких разбойников найдутся защитники... и весьма хорошие... Клянусь вам!

«Я разбойник?» — подумал про себя Рубашкин, вставая с портфелем, потому что в это время встала и хозяйка.

— Вы такие вещи мне говорите... вы так меня принимаете... что я... извините также и меня, но по крайней мере хоть выслушайте, наконец... Я вам прочту доверенность, письмо моего брата...

— Знать я ничего не хочу-с! Лучше оставьте меня в покое.

— Я ехал из такой дали, думал с вами скоро все покончить; у меня ни квартиры теперь нет, ни души знакомых...

— А вольно же вам было все это брать на себя! Разговаривать далее — баста-с... Вот вам Бог, а вот порог! Иначе я людей крикну, и вас выведут за то, что вы меня, старуху, беспокоите и грубите мне...

Рубашкин стоял, румяный и озадаченный, с портфелем под мышкою фрака, застегнутого до подбородка, и в волнении натягивал перчатки. Тишина в доме была по-прежнему невозмутимая. Только снова прыгала в зале в клетке птица да в лакейской стучали часы. Солнце в это время ярко проглянуло на дворе и весело осветило гостиную со свеженькими цветами на окнах, с большим образом в углу под потолком, с картинами синопского сражения и американской охоты в пустынях пампасов на диких лошадей и с кучею шитых гарусных подушек на диване. Огромный жирный кот, как мертвый, спал у печки, раскинувшись на особой подушке. В комнате пахло ладаном.

— Так это ваш последний ответ мне, ехавшему за пятьсот верст, по просьбе брата?

— Последний, генерал.

— Вы не заплатите денег?

— Нет, генерал.

— Не сдадите аренды, которой срок давно кончился?

— Нет, генерал.

— И не выедете с этой земли?

— Нет, генерал.

В уме Рубашкина мелькнули невольно его пышная директорская петербургская квартира, толпа ловко наторенных подчиненных, ослепительные вечера первых сановников, которые он запросто посещал на севере, и тут же улыбка одного тамошнего администратора из передовых, сказавшего ему перед отъездом по какому-то случаю: «Не пройдет года, двух-трех лет, мы пересоздадим Россию, ручаюсь вам в этом!..»

— В таком случае, Пелагея Андреевна, не прогневайтесь, если я прибегну... так сказать... к здешним властям и против вас употребят... силу!..

— Палашка! — тихо вскрикнула опять Перебоченская, обернувшись к дверям в соседнюю комнату.

— Сила законов одна для всех на свете... И если...

— Палашка! — уже на весь дом крикнула Перебоченская.

Рубашкин, во избежание дальнейшего скандала, поклонился, не дождался появления исполина-горничной и осторожными, неверными шагами направился через залу в лакейскую. На крыльце он перевел дух. Во дворе было тихо... Почтовые усталые лошади, опустив уши, дремали у подъезда. Ямщик тоже дремал на козлах.

— Едем назад! — сказал Рубашкин и сел в коляску, добытую с трудом напрокат в городишке.

Он выехал. Его никто не провожал. Кругом было тихо, будто все спало или вымерло. Вдали рисовались тихие голубые бугры прибрежий Волги. За Лихим белела, раскинувшись на холме, такая же молчаливая Есауловка. Телята паслись за садом, за ольховником. По лугам Конского Сырта бродил справа один скотский гурт, а слева — другой. Одинокие пастухи издали неподвижно глядели, опершись на длинные палки, с котомками за плечами, точно каменные бабы на курганах в украинских степях. «Позвала бы шальная барыня наметанных своих клевретов, что бьют на сало нагулянный скот, — подумал Рубашкин, — мигом уходила бы

меня в своем доме, и никто бы не откликнулся тут за меня в этой глуши! Вот тебе и практика в провинции! Вот я дома...»

Генерал кинулся в город. Утаив главные подробности, он с достоинством рассказал чиновникам о странном поступке с ним Перебоченской. Чиновники с подобающим почтением к его чину и недавней служебной деятельности выслушали его, пожимая плечами, стали шептаться между собою, громко и с видимым негодованием относясь к упорству Перебоченской, и решили, что действительно надо принять против нее более сильные меры. Так сказал становой, так сказал сам исправник, так решил весь земский суд. Рубашкин стал жить в городе. Его скоро узнали все горожанс. На улице чиновники и мещане кланялись ему, снимали перед ним шапки. Иногда он посещал скромные вечера у городничего, уездного предводителя и исправника. Ящиков с своими вещами Рубашкин не раскрывал и тут, а жил скромным бивуаком у одной дьяконицы и вслед за этой временной квартирой собирался разом спокойно поместиться в Конском Сырте, где за долг у арендаторши должны были отобрать и всю ее отстроенную усадьбу. Но время шло, генеральская пенсия проживалась, а дело не продвигалось вперед. Становой и исправник медлили, будто выжидая, не одумается ли сама Перебоченская, откладывали выезд к ней, не желая резко обидеть и притеснить слабую, хотя и действительно упорную женщину. «Да я-то чем виноват? — говорил, улыбаясь, Рубашкин. — И из-за чего я живу здесь в милом вашем обществе?» — «Ну, знаете, все-таки она дама». Посылались, однако, ей понудительные повестки. А тут, как с неба упала, бумага из Киева о смерти настоящего владельца Конского Сырта и о переходе имения в собственность к Адриану Сергеичу. Чиновный мир всполошился было и как будто собрался действовать сильнее. Получено и явлено в местной палате духовное завещание. Палата предписала: «Временному от-

делению уездного суда немедленно выехать в Конский Сырт, ввести нового наследника во владение; госпоже Пребоченской, не принимая от нее более никаких отговорок, под личною, по всей строгости законов, ответственностью всего земского суда, из того имения предложить в то же время удалиться, а воздвигнутые ею строения, буде таковые точно окажутся, обязать ее беспрекословно снести или сдать владельцу в счет ее долга, на основании оконченного срока аренды». Рубашкин, с сияющей улыбкой, обогнав пакет палаты, привез чиновникам из губернского города это предписание в копии. Явился и подлинник. Чиновники, покуривая папиросы, внимательно смотрели в глаза Рубашкину. Дело даже двинулось было вперед. Ожидая, что все теперь кончится в два-три дня, Адриан Сергеич загодя рассчитался с дьяконицей, послал на отдельной подводе свои вещи вперед, в соседнее с Конским Сыртом вольное село Малый Малаканец, где велел подводчику ожидать себя в какой-нибудь избе, а сам с временным отделением земского суда, в нескольких экипажах, поехал в Конский Сырт. Чиновники ехали почтительно, но с какими-то сдержанными и таинственными улыбками. Исправник ехал в коляске с дворянским заседателем и со стряпчим, становой с письмоводителем и еще с каким-то господином в сером пальто — в своем разгонном фургоне, а Рубашкин — отдельно, взяв из города по пути подвезти к Лихому ездившего к благочинному молодого священника из Есауловки, знакомого читателю отца Смарагда. Подъехав к границе земли Конского Сырта, чиновники остановились. Тут их ожидали собранные повесткою станового понятые из крестьян соседних и далеких деревень.

Выйдя в поле, временное отделение прочло указ палаты, обошло по указанию законного плана границы Сырта, как имения ненаселенного, указало их владельцу и свидетелям, проверило межевые столбы и пограничные ямы, на спине одного из понятых подписало заранее составленный акт о

вводе Рубашкина во владение, отобрало руки понятых, причем за них подписался письмоводитель, и акт этот вручило новому владельцу.

— Только-то? — спросил он. — А сама Перебоченская? Вам ведь предписано немедленно ее вывезти отсюда и обязать ее все строения сдать мне или беспрекословно отсюда снести...

— Как же-с, как же-с! Это будет. Но по неявке сюда самой госпожи Перебоченской, за болезнью, на ненаселенную вашу степь, ко вводу вас во владение, в качестве вашей ближайшей соседки, как того требовал закон, мы должны сами к ней поехать. Для этого, чтобы на случай освидетельствовать ее здоровье, мы взяли с собой и доктора; вот он...

Господин в сером пальто раскланялся Рубашкину из фургона станового.

— Поезжайте, а я пока останусь в ближнем селе, — сказал Рубашкин, — тут дожидаются и мои подводы.

Нововведенный во владение помещик со священником поехал к околице Малого Малаканца, а чиновники покатили к Перебоченской.

Свои подводы Рубашкин нашел в Малаканце среди улицы. Подводчик ругался на все лады. Никто из жителей не хотел его пустить к себе во двор. Все поселяне были здесь раскольники, и, заслышав о чиновниках, каждый отмаливался от подвод генерала.

— Не беспокойтесь, — сказал генералу священник, — здесь меня знают. Я дело улажу. Но позволите ли вы мне быть с вами откровенным, ваше превосходительство?

— Начать с того, что бросьте эти титулы. В чем дело! Будьте со мною запросто:

Священник поклонился и отвел Рубашкина в сторону. Они стояли среди обширной пустынной улицы.

— Извольте... Вы хотите, наконец, узнать всю тайную сторону вашего дела с Перебоченской?

— Хочу.

— Нанимайте здесь скорее квартиру, в этом Малаканце. Суд сделал все по форме — вы введены во владение. Тут хоть из окна будете видеть поблизости свое имение. Даром в городе не станете проживаться.

— Но что же это все значит?

— Жаль... У вас из генеральской пенсии за этот срок до новой получки денег, вероятно, мало что остается. А Перебоченская держит все уездные власти на откупу. Да-с, не удивляйтесь! Вы еще нашей практики хорошо не изучили, как видно, а от петербургской она очень отличается. Дело просто. Исправник — родной племянник Пелагеи Андреевны: он начальник уездной полиции и председатель земского суда, по выбору-с дворян; так-то-с... Становой от нее в год (все это открыто знают) получает пятьсот целковых жалованья, кроме харчей и частых подарков: это вдвое против его казенного жалованья. Заседатель от дворянства получил от нее, после первого вашего приезда к ней, шесть пар отборных волов в подарок; я сам видел, как их ее главный гуртовщик, выкресток из киргизов, и погнал к нему за горы, туда вон, в его хутор. Известное дело — близость к нам татарских степей и улусов; смотря на последних, и эта барыня вершит дела, как иной ногайский мурза, прямо начистоту. Знает, что сильнее всего на свете деньги... А заседатель замешан еще в ее же деле и с вашим покойным братцем, как сюда наезжал, по его ходатайству, молоденький чиновничек особых поручений, и Перебоченская дала этому чиновнику пощечину-с...

— Как? Чиновнику особых поручений?

— Да-с. Чему же вы удивляетесь? И еще лучше я вам скажу: чиновник этот, так безвинно обиженный, с заседателем сами умолили барыню скрыть это дело, уехали и более ее не тревожат. Заседатель боится влиятельного губернаторского чиновника, а тот боится, чтоб сама барыня по губернии на бумагах не ославила этого случая, так как у нее есть на это и свидетели. Известно, молодой человек, едва из училища сюда навернулся и боится. Как же-с! Это дело с нею

будет и вам нелегкое! Ее по всему краю здесь знают. Она очень смела, хоть такого жалкого вида, и здесь первая богачка. Гурты ее лучшие в губернии; салом с Москвой торгует, а быков на убой посылает и в Петербург. Что ей стоит сыпнуть деньгами, когда деньги к ней, через поблажку чиновников, сами так легко идут... Скоро вся торговля скотом тут, в околотке, и далее будет в ее руках.

Рубашкин вздохнул и грустно оглянулся вокруг, как бы выискивая предмет, за который можно было бы ему ухватиться. Деревня, опустевшая от последнего предвесеннего выхода людей для подготовки спуска судов на Волгу, уже поломавшую тогда лед, молчала. Обнаженные от снега окрестности еще не были покрыты травой и уныло отсвечивались серыми, мертвенными холмами и долинами. «А в Петербурге теперь гремят концерты! — невольно мыслил Рубашкин. — Щегольские толпы прогуливаются по Невскому и сотни хожалых городовых охраняют спокойствие каждого гуляющего. Вот там бы теперь, среди бела дня, крикнуть: сколько бы народу сбежалось на защиту? А тут крикни, так, кроме ветру, никто тебя не услышит!»

— Кто она такая, эта Перебоченская? — спросил Рубашкин.

— Бог ее знает. Жила, говорят, здесь поблизости на десяти или двадцати десятинах, тихая была такая. Брат ваш тогда потерял жену и начинал тут обзаводиться, домишко строить; скучал, да и капиталу у него не было, негде ему было деться. Она и подъехала к нему, сделала условие, стала разводить и нагуливать тут первые гурты. Свой домик в городе отдала внаймы; людей своих, кроме тех, кто от нее убежал прежде, перевела сюда. Сперва брату вашему хорошо и верно платила. Он переехал лечиться в город. Тут она сошлась, коли слышали, с нашим есауловским, бывшим пастухом и скотником, Романом Танцуром, которого нашему князю потом в приказчики посоветовала взять. Предложила и князю гурты завести. Он согласился. Послал Романа за скотом в Черноморье, а оттуда велел проехать на Азовское

море к Ростову И она с Танцуром туда в фургоне съездила. Да с той поры, как уехал князь, Бог весть откуда у нее и деньги взялись. Говорят, что прежде Перебоченская была богата по мужу, но потом все прожила на откупах: откупа с мужем где-то возле Киева держала. Ее пощипали и чиновники, когда муж ее умер за границей; но она выпросила позволение тело его перевезти в свой хутор, забила его в гроб да и обвертела тело мужа кружевами, блондами и материями, а на таможне это и открыли. Словом, перед арендой Сырта она жила без гроша денег, тиранила своих людей, многих разогнала; хутор у нее даже брали в опеку. А тут вдруг через год разбогатела, съездив в Ростов. Повела она дело хозяйства широко, на тысячи; скоро отстроилась, как вы видите. Купцы к ней ездят за салом и за кожами. Сама бойню в овраге тут, за садом, воздвигла. Скот ее узнали даже петербургские мясники. Чиновничество так и льнет к ней. Заводского быка подарила молодому князьку из беглых татар, здешнему уездному предводителю, на хозяйство. И как вам сказать, не согрешить? Одни говорят, что ей дал сначала и теперь тайно дает на обороты деньги из есауловской экономии наш приказчик Танцур. А другие... будто он с нею, ездив в первое-то время вместе за гуртами для князя и для нее, где-то, не то в Черномории, не то на Азовье или на Дону, купил тайком большой запас фальшивых ассигнаций, да здесь-то мало-помалу, лет за десять они и спустили их и разменяли. Во всяком же случае скажу вам: ясно одно, что Роман Танцур в большой дружбе с вашей противницей и, как полагать надо, делит с ней или прежде делил все барыши пополам. Только и он обожжется: на такой камень наскочил, что не одного его разобьет...

Рубашкин медленно и молча ходил со священником взад и вперед по улице. Обоим было тяжело продолжать разговор. Они подошли к овражку за околицей и сели на обрыве.

— Что же мне делать теперь? — спросил Рубашкин.

Священник вынул кисетик, набил короткую трубочку крепчайшим турецким табаком и закурил.

— Позволяете курить? Не обижает это вас, что священник курит?

— О, сделайте милость!

— Когда у меня горе, я этим только лечусь. А горя у меня довольно: бедность, жена все хворает... Но вы — другое дело. Попытайтесь еще обратиться лично или письменно к губернскому предводителю дворянства, а наконец и к губернатору. Все похвальбы Перебоченской — вздор: у нее не может быть никаких актов. Она хочет только, как иной дикарь татарин, в мошенничестве время выиграть. Особенно ей нужно для нагула скота это лето. На бумаге вы будете считаться владельцем земли, а на деле будет она.

— Я сам заведу скот, пущу в поле.

— А она сгонит его, заграбит, велит, наконец, стрелять по нему из ружей. И это в нашей глуши бывает!.. Вы еще не знаете... Татария за рекой, недалеко...

— Нет, не может быть! Она одумается...

— Увидите! Да вот едут господа чиновники. Прощайте! Я пойду пока вон в ту избу, чтобы вы с ними объяснились без меня! Пусть она не знает о моем к вам участии...

Чиновники подъехали, почтительно окружили генерала и подали ему акт освидетельствования Перебоченской. Оказалось, что она одержима таким опасным недугом, что не только не могла, по слабости и безнадежности здоровья, оставить своего дома и съехать тотчас с чужой земли, но даже не могла выслушать приказания об этом, не подвергаясь опасности скоропостижно заболеть еще более и даже... умереть. Акт был составлен уездным лекарем и подписан всеми наличными чиновниками.

— Итак, поздравляем вас с имением! — двусмысленно сказал исправник, любезно раскланиваясь с Рубашкиным. — А насчет Пелагеи Андреевны надо подождать, пока выздоровеет. Что же вы теперь, генерал, куда?

— Да поселюсь здесь; стану хозяйничать пока на этой земле, хоть без усадьбы.

— Здесь? — спросил исправник и оглянулся с удивлением. — В Малаканце? На квартире у мужика?

— Именно здесь... Отчего же не нанять квартиры тут? Земля моя под боком, это будет как на даче!

— Да вы, ваше превосходительство, находчивы необыкновенно! Отличная выдумка...

— Благодарю за комплимент!

— Желаем вам успеха! — прибавили чиновники.

— Очень благодарен.

Временное отделение уехало. За пятьдесят шагов за околицей Рубашкину послышался со стороны уехавших довольно явственный хохот. Адриан Сергеич, сложа вводный лист и копию медицинского акта с донесением станового о причине нового невыезда Перебоченской из Конского Сырта, грустно побрел в избу, где ожидал его священник. Новые знакомцы еще поговорили.

— Как бы мне, отец Смарагд, нанять в самом деле здесь, в Малом Малаканце, квартирку? Хоть оно и странно, но что же делать?.. Во-первых, вы мне очень понравились, и я рад такому соседу, а во-вторых, начинается весна. Здесь, у Поволжья, будет все-таки лучше жить, чем в уездном городишке, пока все более объяснится. Да оно и дешевле. Я в городе закуплю припасов; ящики мои с вещами, не разобранные до сих пор ни в полтавском хуторе, ни в городе с отъезда из Петербурга, я разберу здесь. Кое-как устрою, скрашу свою конурку. Будем видеться, гулять вместе. У меня есть недурное ружье; вы любите рыбу ловить. А тем временем я напишу еще кое к кому из высших властей...

— Не соскучитесь ли вы в этой глуши?

— О нет. Мне эти местности нравятся. Я подпишусь для вас на «Пчелку» или «Инвалида», станем их получать через ближайшую пароходную пристань на Волге, переписку откроем с дальним светом. Я встречу с окрестных гор разлив Волги, прилет дичи, расцвет лесов и трав. Я забыл о чинах, орденах, право, забыл. Буду гулять по вашим буграм; станем вместе любоваться этой угрюмой, дикой и вместе чудной

вашей природой... Я уроженец юга... давно стремился сюда, и вот, наконец, я дома, в степях, где наши казаки некогда садились первыми зимовниками, колониями!..

— Все это так, генерал; но чем вы жить здесь будете?

— А моя генеральская пенсия? — спросил генерал.

— Точно; я и забыл...

Священник тут же разыскал Рубашкину квартиру у одной раскольничихи, бедной вдовы, на краю села, возле слободских бесконечных огородов, рядом с ветряными мельницами. С дворика этой хаты открывался красивый вид на окрестности. Здесь пробыл священник у Рубашкина в тот день до позднего вечера, с ним отпустил подводы и экипаж обратно в город, втащил с хозяйкой в комнату и развязал ящики с вещами.

— Сколько таких рядовых генералов обретается на Руси! — заметил Рубашкин, прощаясь со священником. — Они мирно поселяются по душным городам... жить на хлебах у государства. Лучше же я пережду, добьюсь своего и здесь употреблю сохраненные еще мои силы на возрождение выпавшего мне уголка на новых основах вольнонаемного труда. Тогда весело заживем, отец Смарагд! Не правда ли?

— Дай-то Бог!

Это было в конце февраля.

Недели через две поля зазеленели. Каменистые тропинки по берегам Лихого просохли. Отец Смарагд по-прежнему был угрюм, суров, ходил нелюдимым; забившись куда-нибудь под берег Лихого, напевал про себя священные гимны, вздыхал, ловил больной жене рыбку. Как-то он с удочкой наловил два ведра окуней возле водяной мельницы, отправил рыбу домой к жене с деревенскими мальчишками, сопровождавшими его гурьбой к мельнице, и пошел проведать Адриана Сергеича. Он вошел в его нанятую избу и остолбенел от изумления.

Светлая, просторная комната в три окна на поле и в два во двор была устлана коврами и перегорожена красивой занавеской. Мебель, купленная в городе, наполняла переднюю

часть комнаты и заднюю, где стояла железная кровать генерала. По стенам висели три-четыре небольшие картины, писанные масляными красками, в золотых рамах, два круглых зеркальца и несколько кенкетов для свечей. Стол перед мягким диванчиком был завален французскими книгами, большей частью романами. Альбомы карикатур лежали на красивой стенной полочке. Письменный стол был уставлен фарфоровыми, бронзовыми и деревянными безделушками. Тут же стояла чернильница, лежали бумаги и другие письменные припасы. За перегородкой в спальне, на ковре над кроватью висели легкое английское двуствольное ружье с прочими принадлежностями охоты, револьвер и крепкая трость с потайной шпагой. В углу за кроватью стоял шкаф с платьями, стол с посудой и самоваром. А у изголовья постели — крошечный столик со свечой.

— Поздравляю с новосельем! Как вы мило устроились!

— Да, и почту мою уладил получать в семи верстах! На Тайницкой пароходной пристани скоро станет получаться на мое имя письма и для вас петербургская газета. Я написал Исакову и не знаю, какую он вышлет. Это все я в городе устроил. Что значит, как захотят! Почтмейстер — отличный человек! Я у него купил и эту мебель.

— А, понимаю! Была, значит, выгода, так и устроил прием почты на пристани! Дорогонько же вам это все обошлось?

— Немало. Пока устраивался, деньги так и таяли.

— Жаль, однако, что у вас здесь все вижу французские книжки. Неужели вы в Петербурге мало читали из русской литературы?

— Да что же у нас читать? Только ругают меня, вас, всех!

— Э, как же вы судите! У нас в глуши и то лучше на литературу смотрят. Вы вот реалист, как я заметил. А знаете ли, как много у нас явилось книг по части реальных наук?

— Будто? И хороши?

— Как не хороши! Запишите-ка, я вам скажу о некоторых, а вы выпишите их и хоть мне дайте прочесть. Я знаю их по разборам.

Рубашкин записал.

— Будем, будем прочитывать. Но жаль, что у вас в семинариях по-французски не учат читать! Я сам уже самоучкой выучился в Петербурге и именно из-за этих романов — прелесть! Куда только не перенесешься с ними!

Священник покачал головой.

— Как же вы кушанье свое тут устроили?

— Хозяйка готовит. И недурно, уверяю...

Посидели, поболтали.

— Вот уж пять дней, как я устроился. И как легко на душе. Целые дни брожу с ружьем по окрестностям. Горы ваши — прелесть; вид на Волгу с бугров — уму непостижимое очарование! Уйдешь по холмам, заберешься в глушь; леса расцветают, одеваются листьями. Дичи гибель. И не опомнишься, как день кончился.

«Что он, врет или правду говорит? — подумал священник. — Не упорство ли тут чиновника, а не идиллия, которую он на себя напустил?»

— Что ваше дело? — спросил отец Смарагд.

— Писал к губернскому предводителю и к губернатору. Только ответа еще нет.

— А вы так хорошо устроили вашу почту! Тут письма в губернский город идут не более двух дней.

— Что делать? Подождем!

Прошло еще три недели. Явились потом выписанные книги. Стали приятели их разбирать. Впервые тут священник увидел: «Записки оружейного оренбургского охотника» Аксакова, его «Уженье рыбы», «Записки охотника» Тургенева и целую кучу новейших столичных изданий по части естествоведения: о мироздании, о лесах и степях Америки, о море и его жизни, об облаках, об инстинкте животных и прочее. Кое-что взял отец Смарагд почитать к себе домой. Иное из этого он тут же прочел со своим соседом. Генерал

сперва было вздремнул при чтении и сказал: «Нет, Дюма и Феваль лучше! Вот я вам переведу!» Но когда священник стал читать Аксакова и Тургенева, Рубашкин пришел в такой восторг, что крикнул: «Нет, я ошибался: французам до нас далеко!.. Так и подмывает идти на охоту! Я страстный охотник в душе!..» Схватил ружье, ушел в соседний лес и хотя страшно устал, но не убил ничего.

Прошел еще месяц. Священник ходил в гости к Рубашкину. Адриан Сергеич ходил к отцу Смарагду в Есауловку. Дела его не изменялись. Обитатели Малого Малаканца сперва, как на пугало какое, стали сходиться смотреть на нового своего поселенца. Ребятишки и взрослые следили из-за углов, когда он уходил на прогулки. Но потом они все привыкли. Вмешался было в жизнь генерала соседний окружной начальник над этим селом. Но отец Смарагд при случае сказал ему, что генерал чуть ли не прислан сюда инкогнито по поводу раскола, и Рубашкина все оставили окончательно в покое, тем более что с расколом окружной начальник решительно не знал, что делать. В конце этого второго месяца, вместе с нумерами «Инвалида», Рубашкин получил разом, наконец, два пакета из губернского города. Тогда уже он приобрел себе крепкого буланого конька и сам верхом за почтой ездил к одинокой пристани, где пароход какого-то общества грузился по пути обыкновенно раз в неделю дровами. В обоих пакетах был один ответ: сделано распоряжение о подтверждении и внушении кому следует, чтобы, наконец, просьбы его по делу о выводе Перебоченской из принадлежащей ему земли были немедленно уважены. И только!

Но эти просьбы не уважились опять ни на волос. Приехал поэтому, впрочем, в усадьбу Перебоченской какой-то чиновник, как после узнал Рубашкин, взял от нее новую какую-то явку и опять уехал. Присылал за ней еще коляску князек, уездный предводитель дворянства; Перебоченская выехала в ней дня на три в город, где был у нее домик, а в это время, по условию с предводителем, налетел становой, составил повестку губернатору, что госпожа Перебоченская

по распоряжению местного начальства выбыла, наконец, такого-то числа из усадьбы Конского Сырта, и эту повестку послал в город. Пелагея же Андреевна снова явилась в своем доме. Гурты ее по-старому гуляли по лугам и холмам Конского Сырта. Поляк, приказчик ее, в свое время, с весны, с батраками засеял без малого двести десятин пшеницы. Пришла пора косить луга. Перебоченская наняла артель прохожих на Черноморье косарей и стала, нисколько не стесняясь, снимать сено с лугов. Все это делалось явно, с полным спокойствием и перед самым носом оторопелого Рубашкина, который не только не успел со своей стороны сделать распоряжение о косовице, но даже стал из квартиры из Малаканца ходить на охоту и ездить за почтой, тщательно минуя собственную землю, где, по слухам, пастухи Перебоченской получили раз навсегда такого рода инструкцию: «Что же из того, что его ввели во владение? Владею землею я, и, чуть он или кто, по его поручению, явится на землю, гоните всех взашей; ни косить, ни пахать земли, ни пасти скота я ему тут не позволю, пока жива и пока есть за меня добрые люди!»

Тогда уже старик Танцур был обрадован возвращением из бегов сына и обдумывал, как бы залучить и Илью в его общие дела с Перебоченской.

Терпение Рубашкина, наконец, лопнуло. А главное — небольшой денежный запасец его совершенно истощился в переездах из столицы в полтавский хутор и потом на Поволжье, в первых и в дальнейших хлопотах в деле с Перебоченской и в обзаведении квартиркой в Малаканце. Не имей генерал в виду получить вскоре окончательно законного наследства, он спокойно поселился бы еще с осени где-нибудь в другом месте и прожил бы безбедно своей пенсией. А тут вдруг карман опустел, в дом никто ничего не давал, да и занять было решительно не у кого.

С такими-то сетованиями однажды, как мы уже знаем, обратился Рубашкин к отцу Смарагду, найдя его у мельницы за удочкой.

— Спасайте, отец Смарагд! Я забился сюда, надеялся, что скоро вся эта чепуха кончится. А оказывается, батюшка, что с одним ружьем да с петербургскими крепкими ногами, любуясь тут природой, мало добудешь себе средств к жизни. Начать хоть с пищи: даже дичи, оказывается, что-то не так много у вас, как я ожидал. Спасайте! Посоветуйте, что мне делать? Не возвратиться же мне снова на службу из-за того, что обед тут неизысканный, что капусточкой да яйцами все приходится пока пробавляться? Я ничуть и ни в чем не раскаиваюсь и доволен, что бросил службу, и хоть поздно, да все-таки приехал в этот край, где пахнет такой глушью и дичью, а с ними и свободой.

Священник задумался. «Ох, не верится — дурит!» — подумал он. Долго шли они взгорьем по берегу Лихого. Рубашкин, в щегольском светлом сюртучке, широкой шляпе и в розовом галстучке, молча шел возле отца Смарагда.

— Извольте, генерал, последнее средство будет... Поедем со мной в губернский наш город. Там есть у меня приятель и родич, из семинаристов, учитель гимназии. Он знает всю подноготную города. Если он ни в чем не поможет, так уж я и не знаю, что вам тогда делать! А сам я, понимаете, ничего тоже не смыслю в этой путанице...

— По рукам?

— По рукам...

— На чем же мы поедем?

— Ваш буланый да мой рыжий — и довольно, запряжем их в мой церковный фургон и поедем. Жаль, что открытый. Ну, да ничего. Авось чего-нибудь добьемся... Жаль только, что жена моя все хворает.

Было решено ехать через пять дней. Подступал праздник Троицы. Священник отпросился по письму у соседнего благочинного в недельный отпуск и стал ладить фургон.

В это время прислал ему, через поселянского мальчика, Рубашкин записочку такого содержания: «В моей жизненной барке открывается, наконец, еще сильнейшая течь: с каждым днем я, отважный пловец, более и более погружаюсь в хлад-

ные волны всяких неудобств. Сегодня хозяйка объявила, что вышел весь овес для моего буланого, а собственно для меня вышли весь чай и сахар. Я пил уже нынче одно молочко-с... Виват областная практика! Потерпим. Ночью мне снились петербургские рябчики, трюфели и шато-д'икем. Утром рано убил я на буграх за Малаканцем в перелеске пару куропаток. Что делать! В этой первобытной пустыне еще можно не соблюдать весенних законов об охоте. Я сыт. Но мой конь голодает. Помните сказку о трех путях? Пойдешь налево, сам будешь сыт, конь пропадет с голоду. Эти места — левый, значит, путь. Итак, пришлите три целковых взаймы. Возвращу, как получу снова часть пенсии. А между тем вот вам новая проделка Перебоченской. Племянник моей хозяйки, тощий мужичок, попросил у меня позволения выгнать на одну из двух тысяч десятин моей земли покушать травки две пары своих быков. Я, новый сыртинский помещик, позволил. А Перебоченская, извещенная через лазутчиков, выслала поляка-приказчика в поле, отбила у поселянина волов на моей земле и загнала к себе в стадо. Поселянину ее пастухи даже грозились стрелять, прогоняя с поля его прочь. Я написал к ней вчера едкое письмо, а она на словах ответила: «Скажи своему генералу, чтоб не трогал опять-таки меня, а то я наеду на него, загоню самого его к себе в сарай на хутор и еще высеку, чтоб не обижал женщин; пусть не очень тут храбрится». Пампасы, пампасы девственных пустынь Америки! Кстати же, я их, по вашему совету, читаю. Vale![1] Ваш Адриан Рубашкин».

— Чудак! — сказал, вздохнув, священник и обратился к хорошенькой, но болезненной и постоянно грустной своей жене. — Паша, есть у нас деньги? Дай три целковых: я генералу на время пошлю.

— Какие у нас деньги, Сморочка? Вон ты благочинному за треть благодарность послал, а за что благодарить-то! И

---

[1] Будь здоров, прощай (*лат.*).

я в порванных сорочках хожу, да и у тебя на зиму шубенка вон какая опять будет. У нас двое детей. Церковного вина надо купить в городе, свечей; мало ли чего?..

— Э! Ему надо помочь! Человек бедовой доброты, давай что есть, авось нас после не забудет! Мы не Перебоченская: фальшивыми ассигнациями не торгуем; сам знает наш приход!

Вынула Пашенька последние из комода деньги и отдала их мальчику.

— В город-то с чем вы, беспутные, поедете? А еще по такому делу ехать собираетесь! Срам, беспутные! А еще ты, Сморочка, священник, да и он генерал! Точно гимназисты живут!

IV

Как бегалось

В то время как в Малом Малаканце устраивался генерал Рубашкин, в есауловском господском саду мостил себе норку Илья Танцур.

Приказчик Роман понял, что сразу сына не свернешь на иную дорогу, не поставишь его так, как хотел он, Роман, и пошел на хитрости: дал ему известную долю воли, чтоб посмотреть все, приучить его и потом сломить сына разом. Птица долго не была в клетке и успела чересчур порасправить себе крылья; даже, наверное, и перья-то у нее в это время особые, полетные наросли! Слишком уже от нее волей и воздухом пахло. Увидел Роман, что сын более не думает от него дать тягу, сам свозил его в уезд, явил его суду, при нем сняли с него допрос по форме, где он был в эти двенадцать лет, и получили в ответ по обычаю: «Где был я, и сам того не знаю! А делайте со мною, что хотите!» Илью отпустили и велели отцу подать о нем ревизскую сказку в казенную палату как о воротившемся добровольно из бродяг,

что Роман и сделал аккуратно. Пустив Илью поработать наравне с миром, Роман сказал: «Вижу, Илько, что тебе со мною жить как будто не ладно. Да и впрямь! Ко мне люди разные по должностям ходят, при тебе совестятся о мужиках правду говорить. Ты же к обществу идешь... Так вот что... Любишь ты, я вижу, садовое дело, и матушка-попадья, Прасковья Агеевна, говорит, что ты отцу Смарагду хорошо виноград подрезал и в рост пустил. Переходи же, когда хочешь, в сад жить, в пустку бывшего тут садовника, что возле верб. Хочешь — к нам есть ходи; а не хочешь — бери отсыпное месячное продовольствие от ключника зауряд с другими батраками. Мать тебе даст горшков и прочего. Там себе и копайся; сад смотри и веди его как следует. Я и французу в городе, нашему главному управляющему, Морицу Феликсычу, говорил о тебе, и он согласился. Пила и ножницы для подрезки сада тебе будут нужны, я знаю, равно смолка и прочее там для мази. В воскресенье съездишь в город, скупишь все, да, кстати, и у француза побываешь. Явись к нему. Ручку у него поцелуй. Он у нас главный тут...»

Илья съездил в город, видел француза, получил от него инструкции о саде и уехал. Французик, мосье Пардоннэ, был, как все французы, попадающие ныне в наши провинции в качестве техников и искусников всякого рода, как некогда попадали туда же их предки в качестве ученых воспитателей юношества. Он имел красный воспаленный носик, рыженький паричок, жил на ноге холостяка, и его комната, где он спал, встречала всякого вхожего тем острым и особенно противным запахом, каковой имеют таковые комнаты на Руси обыкновенно у всех французов-техников, точно так же, как его имели в старину подобные же комнаты французов-гувернеров. В них обыкновенно платье наших заморских гостей разбросано в беспорядке по протертым стульям и окнам, банка с ваксой покоится на книжке «Пюсель д'Орлеан» Вольтера; под кроватью по целым годам валяются всякий непостижимый сор, старые сапоги, Бог весть для чего припасенный

столярный и слесарный инструменты, объедки колбасы, фланелевые подштанники, хлебные корки, спринцовка; а в паутине и пыли висит на стене портрет какой-нибудь красавицы, привезенный из-за моря. Мориц Феликсыч Пардоннэ, впрочем, встретил Илью не в этой комнате, а в обширной приемной, уставленной шкафами с деловыми книгами. Он вышел в синей рабочей блузе, почему-то надевавшейся постоянно поверх сюртука, когда француз выходил в эту комнату встречать кого-нибудь по делам вверенного ему княжеского сахарного завода под городом. Задравши красный носик, наделенный постоянным насморком, он сказал Илье строго, хоть и с улыбкой, как сыну приказчика: «Трудись, мой миль, а в саду разведи мне вин... фрюи... и редис». Он очень не понравился Илье, и тот все удивлялся, как такого мозгляка могли сделать главным начальником над всей Есауловкой. Его отец был, по крайней мере, велик ростом и из себя молодец, а этот французик — какая-то противная лягушонка.

Илья устроился в ветхой садовой пустке, то есть в плетеной глиняной избушке, в конце дикой половины сада, разбитой парком. Избушка была у оврага; ее спрятали с трех сторон старые вербы, а с четвертой — она выходила к луговой, болотистой под косогором равнине, носившей имя Окнины. Нечего и говорить, с какой радостью взялся Илья за устройство нового жилища. Отсюда был виден тот заброшенный склон косогора, над ключами и муравой Окнины, где еще оставались следы былой усадьбы старика Романа Танцура, дуплистый берест, несколько обломанных ветром и скотом верб, куча мусора и две-три ямы со стеблями какого-то тощего кустарника. Илья не переставал помышлять о возможности самому получить землю, если удастся, даже старое место на Окнине, ходил туда часто через садовую канаву и с жадностью принялся за устройство садовой лачужки.

Он очистил вокруг этой лачужки сорные травы, обмазал ее стены заново глиной, побелил их, покрыл избушку мхом

и осокой, которой накосил тут же, за садом. Выпросил у матери сундучок, спрятал туда кое-какие свои пожитки. Натаскал в избушку старой посуды; поставил кадку для воды, а ведро сам сделал. Выпросил себе на время у священника, за подрезку винограда, топор, долото, стамеску, молоток и буравчик, обязавшись за них еще прищепить ему несколько дичков яблонь и слив в церковном садике. Примостил к хатке, между печкой и углом, несколько досок себе для постели. Выбелил внутри лачужку и сени. Окнина была в саду со стороны плетня, и потому Илья сейчас же на лужайке, между хатой и садовой канавой, устроил огород и посеял маленький баштан арбузов, дынь, огурцов, пшенички, кукурузы. Жена священника снабдила его рассадой капусты, которую он хоть поздно, а все-таки посеял и стал с усердием поливать. Достал он у отца в кладовой цветочных семян для сада и у себя за вербами разбил и засеял цветничок. Под завалинкой избушки откуда-то взялась вскоре мышастая и невзрачная, по-видимому, забитая собачонка, которая, однако же, быстро оправилась и стала по ночам так шнырять под деревьями вокруг лачужки и так забористо лаять, что Илья сам изумился. Она к нему сильно привязалась и везде сопровождала его при работе по саду. Илья стал получать месячину от ключника; натаскал под крышу пристройки к избушке разного лому, стружек и гнилых сучьев и сам стал стряпать. С той поры он вовсе перестал ходить к отцу в контору. Старая Ивановна было взгрустнула по сыне, но муж сказал ей: «Не твое дело! Брось его — одумается!» И она стала по-прежнему возиться с собственными делами в конторской, стряпая, обшивая мужа и опиваясь по десяти раз в день чаем из чашек, расписанных купидонами. «Что, однако, этот сорвиголова делает там?» — сам себя однажды спросил приказчик, под вечер увидев, как из гущины верб в конце сада подымался дымок, и пошел туда окольными дорожками. Большая часть тропинок в саду оказалась расчищенной, деревья подрезанными и ветки с них правильными кучами свалены за клумбами. Виноград у обрыва за прудом

4*

был развешан на белых новых кольях и жердочках и густо зеленел, пуская длинные широкие листья и цепкие усы. Чернобровый Роман заглянул под пристройку избушки: на бондарском прилавке лежало в куче стружек кривое долбило и начатое липовое корытце. Он вошел тихо в сени. Дверь была раскрыта, а у ярко растопленной печи с засученными рукавами возился Илья. Собачонка залаяла и бросилась из хаты на Романа. К порогу кинулся и Илья.

— Что тут стряпаешь, башка? А?

— Ужин варю.

Роман с улыбкой покачал головою.

— Ну-ну, вари... Квасу где достал?

— Сам завел...

— Сад, однако, у тебя ничего, хорошо!

Роман ушел, помышляя: «Малый на все, кажется, руки. Прок будет! Пора бы уж ему и одуматься. Поговорю с Пелагеей Андреевной. Очень бы теперь его нам нужно было. Людей верных у нас нет... Да и с барыней надо счет свести!»

Зажил себе уютно и отрадно Илья в лачужке. Редко когда он и сад покидал. Все копается в нем. Разве сходит на реку, выкупается, белье сам вымоет, рыбу удочкой наловит для попадьи. «Да я тебе хоть рубахи стану мыть!» — говорила ему мать, старая, располневшая в приказчицах Ивановна. Илья молча уходил от матери. «Чайку выпей; я тебе, Илько, чайничек дам, сахару и чаю; сам заваривай у себя.» — «Вот, когда бы мне ружье да пороху — поохотился бы; и сорок в саду гибель; вишен пропасть цвело — все объедят.» — «Проси сам у отца: то уж не мое дело!» Илья не просил. Он отца дичился и боялся, сам не понимая почему. Никто не заходил в сад к Илье. Иногда только по вечерам да и до поздней ночи звенела у него под вербами флейта. Это посещал его, в свободные часы от занятий в оркестре венгерца, друг его Кирилло Безуглый, проходя в сад не селом, а от мельниц из бывшего винокуренного завода, где помещался оркестр, напрямик буграми и Окниной. Кирилло садился с приятелем перед месяцем, под избушкой,

курил папироску или наигрывал на флейте и иногда до белой зари говорил с ним без умолку.

Однажды пришел к Илье Кирилло Безуглый перед вечером и принес ему в платке небольшую картину, писанную масляными красками.

— Саввушка писал! Маляр-то наш, как видишь, художник. В последнем, брат, хрипении чахотки обретается! Взгляни! Это он так казака изобразил на коне. Мчится по степи, аки ветер. А то курганы, бугры, а вон ковыль расстилается. Вольный казак, как наши деды, брат, были...

— Неужто умирает Саввушка?

— Хрипит уже; бабки шепчутся над ним. Кларнет заел его... Вряд до утра проживет...

— Где краски он брал?

— Тайком за иконы доставал из города. Это он тебе в подарок прислал...

— Спасибо...

— Просил только, чтобы ты ему у отца чайку выпросил. В груди его все жжет. Про Питер толкует, про живописцев, про кадемию да про того Брилова, что ли, про этого — помнишь?

Илья внес картину в пустку, упал лицом в постель и судорожно зарыдал. Кирилло остался на дворе, гладя собачку, знавшую его. Илья повесил картину в углу, под почернелым образком, надел картуз и побежал к двору.

— Куда ты?

— Сейчас...

Он скоро воротился.

Выпросил у матери чаю и сахару, будто себе. Отослал с Власиком Кирилле. Между тем солнце зашло. Раскричались миллионы лягушек окрест Окнины. Запахло березами, липами. Светлая ночь встала над землею. Месяц тихо выкатился из-за бугров и осветил вербы, Окнину и угол Ильиной хатки. Зазвучала флейта на ее пороге, и долго уныло отдавались в глуши сада ее круглые, мягкие переливы. Вдруг какая-то легкая пушистая птица, взмыв широким серым кры-

лом над вербами, крикнула у самого порога хатки и улетела. Илья, опустив голову в колени, сидел на пороге рядом с Кириллом и вдруг горько заплакал.

— О чем ты плачешь, брат? — спросил Кирилло Безуглый.

— Тоска, не поверишь, какая тоска! Это либо Саввушка помер и душа его над нами отозвалась, на тот свет полетела, либо...

Илья не договорил.

— Либо что?

— Уж не Настя ли моя в Ростове померла?

— Э, полно. С чего ты это взял?

— Ты так жалобно играешь, Кирюша! Такая тоска меня взяла: бедные мы с тобою, подневольные!..

— Ладно, я замолчу. Потолкуем лучше. Эта флейта у меня расхожая: в карты в городе выиграл у одного там музыканта. А настоящей флейты венгерец не дает...

Кирилло спрятал флейту за сапог.

— Эх, Ильюша, девки, девки! Губят они нас! Моя Фрося так козырь-молодка. Води, говорит, меня барыней; одевай меня, а не то разлюблю — пойду ночью к поляку-приказчику! Все равно, говорит, просит. А я ее за косы, атанде-с! Ничего, усмирил; еще пуще полюбила. И вправду говорит: ты голыш, и я в платье без рубах хожу; будет воля — повенчаемся...

Илья молчал.

— Что же ты не проронишь слова? — спросил Кирилло.

— Негде взять мне, Кирюша, слов таких, как у тебя! Настя учила меня в Ростове стишкам, да я забыл. Одни были: «Ах, за окном в тени мелькает русая головка!» А другие: «Гляжу я безмолвно на черную шаль!» Забыл и то и другое.

— Ну, так... Давай о будущем говорить. Я в одной книжке с Саввушкой читал, как люди в любви живут и ка́к их злая судьба гонит! Ты этой книги не читал?

— Нет. Я вот «Ледяной дом» у каретника на фабрике с ребятами читал, как одного хохла нашего водой обливали в мороз и уморили. Плохие бывали дела!..

— Давай же о будущем толковать! — продолжал Кирилло. — Ты, Илья, ничего про волю не слышал? Скажи, как это ты так вдруг сюда сам пришел, со свободы-то? Положим, и мы всем оркестром было разбежались; так мы недалеко забивались: тут же по Волге на барках промчались, пока их не скрутила полиция, а другие и сами воротились по воле, как и ты. Да что! Мы дома теперь опять, да и в бегах были почти дома. Иные тайком сюда из бегов по ночам к родным даже за бельем ходили. Вся слобода знала, что мы тут верстах в сорока маялись, а не выдавала нас. Но ты — другое дело!.. Двенадцать лет проходил в бродягах и ушел еще мальчиком. Так скажи же ты мне, как ты так вдруг воротился с приволья.

— Вышел сказ такой у нас. Все и узнали...

— Кто же это там вам сказ такой сказал?

— Не знаю... Разом всем стало вдруг это известно — идти по домам из бегов к своим господам, да и только; что в скорости волю всем прочитают и всё воротят. Все и пошли... Ну, одним словом, понимаешь ли: сказано между народом по местам быть всем, где кто, значит, нарожден...

— А! Так ты и пришел?

— И пришел.

— И ждешь тут?

— Жду.

— Ну, ты, известно, земли хочешь: тебе тут и место.

— А тебе, Кирилло?

— Мне?

— Да.

— Как это только прочтут волю, брат, возьму сейчас Фроську, обручусь с нею, поп перевенчает — мы и маху...

— Куда же? Зачем же тебе бежать? Ведь ты вольный будешь и без того. Куда же бежать тебе тогда?

— Куда глаза глядят, лишь бы от венгерца да от твоего батьки подалее, а ей от своей барыни.

— Нет, мы с Настей тут себе хату на Окнине поставим — жить тут станем. Так мне ее отец, Талаверка, сказал...

Кирилло закурил папироску.

— Скажи мне, Илья, как ты это, спрашиваю я тебя, с Настей своей сошелся?

— Да так. Как был это я в бегах, переходил с места на место, от одной беды к другой, и очутился, наконец, я, после всех этих мытарств, в Эйске. Город такой есть у моря. Работал я там над поломанной баркой с одним слесарем, тоже беглым. Таволгой прозывался. Вижу я, рассчитывается он с хозяином и сумку укладывает. «Куда ты?» — «В Ростов; лучше там наймусь, знакомый есть.» — «Кто?» — «Талаверка.» — «Не Афанасий ли?» — «Он и есть; а ты почем знаешь?» — «Мы, почитай, соседи: я от князя, а он от одной барыни, — говорю, — убежал уж давно-давно; я про него дома слышал... Чем же он в Ростове-то?» Смотрю, Таволга замолчал, да так и ушел; побоялся, видно, чтоб я не выдал по молодости лет его приятеля Талаверки. Стал я опять думать. Вспомнил, что Таволга про одного богача-каретника как-то все рассказывал еще прежде у Шелбанова и что он у него раз при кузнице жил. Потерял я сон и еду. Вспомнил через этого Афанасия Талаверку про своего отца, матерь и родину, и захотелось мне хоть этого Талаверку повидать. «Не узнаю ли чего о наших?» — мыслил я. Десять лет уж я был в бегах. Не вытерпел, уехал из Эйска на хозяйском дубу в Ростов. Нанялся в дрягили, в носильщики, значит, у грека тоже одного там, Петракоки; сил во мне прибавилось, я окреп: по четыре, по пяти пудов мог поднимать и носить. Стал я зарабатывать в день по целковому и по два; выпадали дни, что и три зашибал. Изломался весь, тружусь. А между тем все прислушиваюсь, не говорят ли про Талаверку.

Собачонка, лежавшая у ног Ильи, давно ворчала, злобно косясь в темноту. Когда он смолк на время, чтоб дух перевести, она с визгом шарахнулась под вербы, побегала там, полаяла и воротилась опять.

— Что это она? — спросил Кирилло.

— Так, верно, мышь заслышала. Лежать, Валетка, смирно!

Илья опять стал рассказывать.

— Только вот стал я прислушиваться на базарах, за мостом, за Доном, в подгородных харчевнях, на дешевке людей расспрашивал. Никто его не знает... Страх меня взял, точно весь род-племя мое вымерли... А что Талаверка? Я его семью знал и слышал, что он от своей барыни бежал втроем с другими двумя ребятами и сам он еще молодым был парнем. Разговорился раз я с одним бродягой из дезертиров, что после еще в убийстве торговки попался, а он мне: «Ступай, — говорит, — на такую-то улицу, возле городского сада: там есть каретник, и толкуют, что был он прежде в беглых; не он ли? Только на вывеске его, смотри, другое прозвище». Текнуло у меня сердце. Я пошел, и точно, смотрю, золотая по синему вывеска, дом собственный каретника, хоть деревянный, с пристройками, и на вывеске читаю: «Каретник Егор Масанешти, из Кишинева». Это и был, как я после узнал, тот самый Афанасий Талаверка, и я сразу понял, что и он, как тот, помнишь, трактирщик, прозвище свое переменил, что нарочно пробрался в Молдавию и оттуда уж воротился с купленным чужим видом...

Едва успел Илья сказать эти слова, как собачонка опять с лаем кинулась от порога пустки в вербы, залилась, обежала избушку и опрометью понеслась по темным тропинкам сада, как бы кого догоняя.

— Что бы это было? — спросил удивленный Кирилло. — Не подслушал бы кто?

— Кошка, верно, тут бегала, у нас в доме окотилась вчера...

Собачонка еще, однако, лаяла по саду и, воротившись, не сразу снова успокоилась.

— Кончай же, Ильюшка. Скоро заря. Надо к Саввушке сходить. Жив ли он?

Илья Танцур продолжал:

— Раз прихожу я к каретнику Масанешти, в другой. Нанимаюсь в слесаря у его помощника. Не принимают. И так подхожу, и этак — ничто не берет! Ворота на запоре. Слышна только работа в горнах, да дым идет из кузниц. Полиция к нему милостива. Хоть бы увидеть его, думаю, на улице. Хожу мимо дома, ну, так душа и льнет туда. Выбрал опять праздник. Пасха людям была, первый день. Оделся я, принарядился. Прихожу. Позвонил в шнурочек у калитки. Выходит девочка... беленькая такая — карие глаза, сухощавенькая... «Что вам надо?» — спрашивает. «Хозяина.» — «Зачем?» — «По делу.» Она осмотрела меня с головы до ног. «Да вы не подвох ли какой под отца?» — «Ей-богу, — говорю, — нет!» — «Ну, смотрите же вы, для такого праздника!..» Пошла, доложила отцу и опять кликнула меня с улицы. Пошел я за нею, как приговоренный к муке. Сразу полюбилась мне она. Это и была Настя... Прихожу я к Масанешти. Он на полатях в людской лежит хмелеват: подмастерьев всех распустил. Был он там один, да дочка на пороге стояла. Вспомнил я наши места и его родню вспомнил. «Кто ты?» — «Здравствуйте, — прямо говорю, — Афанасий Игнатич!» Он и дочка так и обмерли. «Кланяется вам наша родная сторона, — продолжал я по памяти, — ваша сестрица Дарья Григорьевна, и ваша тетушка Домна Саввишна, и ваша барыня, и наше село Есауловка!» Кинулся он к двери, вытолкнул дочку, заперся на засов и ухватил меня за грудь. «Ты подвох! Ты подослан! Ты погубить меня пришел!» Упал я на коленки и на образа стал божиться. «Много лет, — говорю, — и я ходил по свету, и я беглый... Не бейте и не обессудьте меня... Я сам горе мыкаю... Я Ильюшка, — говорю, — Танцура Романа сын. А про вас слышал, признаюсь, еще в детстве, хоть вашу родню и барыню

знаю.». Долго не признавался старик. Все отнекивался. Я в слезы... Поверил ли он мне, наконец, или с хмелю то было. Кинулся он вдруг обнимать и целовать меня... «Ты через пять годов бежал после меня... Я же семнадцатый год бегаю.» Ударился он седою головою в колени, да и сам в слезы... Ну, мы христосоваться, да молиться, да плакать там с ним наедине. Прошла неделя, присмотрелся он ко мне, слесаря того из Эйска, Таволгу, расспросил про меня. Я у него, точно, его застал. Тоже был тихий человек. В середине святой недели позвал старик дочку. Меня показывает. «Пятнадцать лет ни одной души, — говорит, — кроме этого парня, из нашего краю ни здесь, ни в иных местах не видел. Будь ты нашим гостем; верю тебе для этого праздника Пасхи: ты не продашь меня. Да, — я точно — Афанасий Талаверка... Ты же как убежал и где был?» Накормили они меня обедом, разговорился я с ними и рассказал им все, то есть старику и Насте. От других в доме он хоронился, а от работников скрывал, где собственно наш край, то есть откуда мы. Так и я скрыл. Все же остальное я им передал про себя. Рассказал я, что бродячая жизнь да бездомовная воля мне надоели. «Поступай ко мне, — сказал старик, — только дам тебе совет. В народе ходят слухи про волю; скоро всем ее скажут и землю дадут. Верь мне крепко... Мне уж не возвращаться домой: у моей барыни и земли-то на ее людей вдоволь не станет, да я уж и мастерством таким занялся, что еще долго им буду сыт. А ты воротись, тебе землю дадут; лишь бы на месте ты был, как от царя вести налетят.» Что же тебе еще, Кирюша, сказать? Что?! Прожил я у этого Талаверки полтора года; жалованье мне отличное было, как след... Но не в нем дело, понимаешь ты, братец?.. Не узнал я от него ничего про свой дом, чего хотел. Да зато узнал иное совсем на свете... Полюбилися мы крепко с его Настею. Будь прежде, я бы убежал с нею. А тут народ рушился из бегов к своим господам, точно клич кто зычный крикнул. Пошли слухи, что наверху в губерниях иначе уж и жить стало, полегче, будто все ждали там чего-то и при-

таились, что становые не так секут, господа добрее стали. Сказались мы отцу ее. Он упал перед иконами и долго молился, а после нас благословил. «Будьте жених и невеста, я не прочь и щедро вас награжу... Только ты, Илья, ступай домой, весь народ уж пошел. Иди и ты. Не след от общества отставать! Подожди — долее ждал. Получи землю от своего общества и отпиши мне. Тогда вызову тебя, обвенчаю вас и отправлю с Богом на родину. Только избу себе с Настей ставьте. Пристроитесь, распродам мастерскую и к вам умирать приеду на Лихой. Глаза уж плохо видят. От родной земли откололся, а опять надо воротиться туда же, где все предки лежат костями...» Надоело мне самому мыкаться, Кирюша! Простились мы с Настей. Я пошел... да вот и пришел... и живу дома... Только, как видишь, пока вместо слободской хаты в этой-то конуре живу с одной собачкой...— Ничего, Илья, подожди, — сказал Кирилло, вставая. — Хоть отец твой и живодер, да авось-таки одумается. Ну, пора уж мне! Прощай. Натерпелся ты, вижу я, шатаясь по свету... Всем нам было плохо: и мы бегали, и мы в бродягах, все музыканты, были... Только куда! Твоя жизнь не в пример забористее...

— Прощай же, да заходи почаще на флейточке поиграть.

Кирилло пошел к канаве. Бледная заря за Окниной загоралась. Ветер просыпался. Птицы начинали чирикать в ветвях. Где-то за садом на селе ворота скрипнули. Свежесть поднималась от лугов.

— Илья! — крикнул Кирилло с канавы. — Я и забыл тебе сказать. Если Савка наш помер в эту ночь, так жаль, что его будет хоронить старый поп, отец Иван, друг твоего батьки и той барыни.

— Отчего?

— Отец Смарагд с тем генералом, что в Малаканце живет, поехали в город последний раз, значит, хлопотать о Конском Сырте. Перебоченская не пускает генерала, а тому есть нечего почти...

— Ты откуда знаешь?

— Фрося сказывала, прибегала ко мне прошлою ночью; эти девки все про свою барыню знают...

Долго спал, не просыпаясь после этой ночи, Илья. Уже высоко солнце катилось, как прибежал к нему со двора в пустку Власик и объявил, что в ту ночь умер Савка-кларнетист. Хоронил Саввушку-артиста старый священник, отец Иван. Илья и Кирилло горько плакали, кидая на его наскоро сколоченный гроб в могилу горсти сырой земли.

— Отца Смарагда еще нет? — спросил Илья Кириллу на похоронах.

— Уже третий день в городе.

— Что-то он так там загостился...

— По делам; по делу, по этому, генерала.

— Когда бы Господь им помог! — сказал Илья. — Про генерала все говорят: душа-человек! И нам, может статься, по соседству с ним лучше было бы. Говорят, за всякую пустую послужку деньги хорошие платит.

Роман Танцур с ночи, в которую умер Саввушка, уехал грузить на барки господский лес, сплавленный в Волгу с верху Лихого, и на похоронах не был.

— Эх, хоть бы оркестр наш, где и Савка играл, грянул ему вечную память, как гроб-то несли, — сказал Кирилло.

— Отчего же вы не собрались?

— Венгерец не позволил инструментов вынимать: погода, видишь, хмурая стоит, ну и нельзя — княжеские инструменты!

V

У границ Азии

Генерал со священником уехали в город. Сборы их были недолги. Смарагд прибыл к Рубашкину на гнедой кобылке, в церковном открытом фургончике, или, попросту, в телеге на колонистский лад.

К кобыле припрягли буланого. Замелькали каменистые бугры, овраги. Лошади бежали дружно.

Покормив их раза три-четыре в одиноких постоялых дворах, путники прибыли в обширный бревенчатый губернский городок, на одинокую улицу, в квартиру учителя недавно устроенной гимназии Саддукеева, друга и дальнего родича священника, из семинаристов.

Город носил на себе признаки юго-восточных русских городов и, как сам недавняя колония, был раскинут широко и просторно. Дома его были выстроены на живую нитку, светлы и все с балконами, террасами и лестничками снаружи стен, из яруса в ярус. Церкви его не поражали тяжеловатостью и мрачностью вида, как это бывает в старинных городах северной России. Дом губернатора напоминал собою какое-то европейское заморское консульство. За городом в степи виднелись зеленеющие насыпи сторожевых окопов и бастионов, с разгуливающими часовыми в белых фуражках. По городу носились щегольские кареты и колясочки с воздушными кузовами, подделанными под камышовые плетенки. Дамы ослепляли нарядами. Все на улицах курили, хоть это тогда еще запрещалось. Толпились офицеры, татары, чиновники, калмыки, мещанки-девушки с полуазиатскими лицами, в ситцевых, однако, платьях и с платочками на головах; казаки, гимназисты, кудрявые и черные, как жуки. Тележка путников трусливо загремела по городским улицам и переулкам. «Что вы так пригорюнились?» — спросил священника Рубашкин, вообще занятый и ободренный видом города. «Тоска, что-то недоброе чуется...» — «Э, что вы! С чего взяли?» Подъехали к обширному забору, за которым в молодом саду стоял двухъярусный домик, с красивой лестницей снаружи, наискось вдоль стены наверх. По лестнице было развешано белье. В окна глядело много цветов. Дети шумно бегали по двору. По улице, поросшей травою, гуляла пара ручных журавлей. Сам учитель, высунувшись из слухового окна, оказался на крыше, в халате и с трубкой в руках.

Он гонял платком голубей, покуривая и следя, как они делали в небе свои широкие круги и кувырканья, и сразу не заметил въехавших во двор гостей. Дом был почти за городом.

— Рекомендую! — сказал священник, назвав Рубашкина, когда хозяин, суетливо переодевшись, сбежал вниз, а между тем горничная внесла в залу свечи.

Саддукеев откашлялся, придерживая лацканы вицмундира, улыбнулся, потер лоб и, пристально глядя на Рубашкина, знаком попросил гостей сесть и сел сам. Священник пустился рассказывать о причине их приезда, о личности и качествах Рубашкина.

— Ты мне, Смарагд, не говори о них! — перебил Саддукеев. — Я уже историю знаю, долетела сюда... Вы, ваше превосходительство, простите ему: он ведь простота, добряк и сильно любит молоть чепуху. Мы с ним товарищи, даже родня... А дело ваше вопиющее!..

— Прошу со мною без чинов и церемоний! — сказал Рубашкин.

Священник что-то шепнул на ухо хозяину. Саддукеев, опять молча, с любопытством посмотрел на Рубашкина. Генерал сам еще рассказал ему свое дело и приключения с Перебоченской и под конец без обиняков попросил хозяина помочь ему советом и делом в этой непостижимой истории. Саддукеев, как бы по чутью, угадал личность нового знакомца: несколько раз во время рассказа генерала вскидывал странно руками, то складывая их на груди, то потирая ими колени, и встал. Его сухощавая фигура зашевелилась; красные, сочные, добрые губы осклабились, огромная белокурая кудрявая голова с большими сквозящими ушами закинулась назад.

— Так вот она, наша, настоящая-то, практика! — сказал он, то улыбаясь, то странно подпрыгивая на месте и кусая до крови ногти. — Велика, значит, разница между писанием бумаг о законах и их применением! Значит, нашего полку прибыло! И вы домой свернули,

опомнились? Да местечко-то ваше, выходит, другим уже нагрето! Но успокойтесь, не хлопочите. Коли пенензов[1] нет, ничего вы тут не выиграете.

— Как не выиграю?

— Да так же! Отвечайте мне прямо, я уже здешние места знаю, — становому вы платите?

— Зачем? Я сам по министерству служил и порядки знаю...

— Ну, у вас там в министерствах порядки одни, а тут другие. У здешнего губернатора тут в одном из уездов тоже имение есть. Он губернатор, а чтоб по имению все, понимаете, обстояло хорошо, тоже ежегодно ордынскую дань своему же подчиненному становому платит. Да-с! А исправнику, заседателю, стряпчему вы платите?

— Тоже нет...

— Вот вам и вся разгадка! Смарагд, Смарагд! Колпак! Ты во всем виноват. Дело пропало...

— Что же мне делать?

— Достать денег и заплатить, да теперь уже побольше.

— Где же достать, научите? Просто голову теряю: и есть имение, и нет его — презабавная штука...

— А, так вы и забавник! И мне приходится над всеми забавляться. Прежде всего, позвольте рекомендоваться. Я сын дьячка, учитель российской словесности при здешней гимназии, Саддукеев. Вот с ним готовились тоже в попы, дарования оказывал непостижимые; но так перед выпуском напроказил, что чуть не попал в Соловки. Одна барыня богомольная спасла. Тогда меня отписали по гражданству, и вот я стал учителем, сперва в одном городе, потом в другом, так и сюда, домой, на родину попал. Видели, что я голубей гонял? Это означает, что я ручной стал сам, силюсь выказаться консерватором-с, стремлюсь показать уважение к собственности-с; для этой цели женился на здешней купчихе,

---

[1] Деньги (*искаж. польск.*).

получил в приданое сии палестины, овдовел и тут же, извините, накинулся тайком на чтение журналов и книг новейшей поставки. Книги и прочее держу наверху. А тут видите — цветы смиренные, портреты властей. С виду я как будто и агнец, и отличный подчиненный нашего ректора, великого педагога, секущего по субботам виновных учеников вповалку; а ученики меня любят и ходят ко мне. Мы читаем, беседуем. Положим, я, как все, как и вы, лишний тут во всем, непутный вовсе ни к чему человек. Да у меня, скажу вам, своя задача есть, если так выразиться, свое помешательство... Я задал себе такое дело...

Саддукеев помолчал и оглянулся. Видно, у него уже давно и много накипело на душе и он хотел перед каким-нибудь живым человеком высказаться.

— И вот я решился в этом общем разладе правды и дела во что бы то ни стало... жить долее! Да-с, и как можно долее! Видеть осуществление хороших порядков хочется на своем веку не на одной бумаге, а и на деле, а знаешь, что не дожить до этого без какого-нибудь чуда... Вот я и устремил все помыслы на одно: пересижу, мол, зло, переживу его, пережду, авось хоть через сто лет исполнится то, над чем все слепые наши собратья бьются кругом. Ну, сто так сто, и решил я ухитриться непременно сто лет прожить! Количеством, знаете, массою годов хочу взять! И уж всякие штуки для этого я делаю; потому наверное знаю, ей-богу-с, что мы с вами простым человеческим веком ни до чего не доживем!

Рубашкин засмеялся. Саддукеев рассмеялся тоже, но продолжал с уверенностью:

— Смеетесь? Ей-богу, так! Вон немцы, Бюхнер, что ли, говорят, что между населением разных пластов на земле, между появлением, положим, почвы каменноугольной и той, где появились птицы и звери, должны были пройти миллионы лет. Так и у нас, с гражданским обновлением. Готовят свободу крестьянам. Отлично; даже слезы выступают на глазах от этой одной вести... Скажете, что манифест скоро

будет, что о нем где-нибудь уже намек сделан в газете, — сейчас брошу вас, извините, и бегом пущусь к Фунтяеву в таверну «Пчелку» понюхать... А все-таки сто лет хочу прожить... Не верю-с, вот что! Всех переживу... Остается и вам только пережить эту Перебоченскую, и больше ничего...

Подали чай. Священник мало принимал участия в беседе Саддукеева с Рубашкиным и несколько раз выходил на крыльцо.

— Мало вы говорите утешительного, — сказал Саддукееву Рубашкин, — так ведь и с ума сойдешь, если все над такими мыслями останавливаться.

— О, не сойду! Я все подмечаю-с... Позовут на бал к губернатору — молчу и, стоя в углу, посматриваю на танцующих, не грохнется ли кто на пол так, чтобы и дух вон. Сейчас это и отметится на моих умственных скрижалях. Все одним подлецом меньше будет...Голубей люблю; здесь много всяких воров, в том числе и голубиных. Поэтому я не часто выпускаю голубей с чердака на воздух... Но как встречу мертвеца на улице побогаче и поподлее, сейчас спешу домой и выпускаю на радость погулять и моих голубей на волюшке... Вы меня так и застали — это нынче умер инвалидный здешний капитан, мошенник и первейший живодер! Живу я умеренно, все рассчитал, обзавелся даже аптекой, лечебниками; с докторами дружбу веду, с медициной немного познакомился, чтобы прожить дольше и увидеть что-нибудь путное на белом свете. И ведь оно приятно ощупывать теперь сквозь мягкое тело свой собственный костяк, скулы там, глазные впадины, сухие кости на коленях и, так сказать, осязательно угадывать в себе будущий свой безобразный вид, когда в могиле-то отродятся в желудочке червячки и всего-то тебя скушают дотла, в угоду разным подлецам, гнетущим свет и людей... Против этого-то костяка я денно и нощно веду самые ловкие интриги и убежден, что отстою надолго свои бренные телеса. Одна беда — летаргия, случай-с, как вдруг живого тебя закопают; и то бы еще ничего, да зависть тебя возьмет: что, как завтра же ударит над

могилою трезвон, заликует правда, а тебе придется там в душных потемках могилы ожить и тщетно делать последние жалкие эксперименты: понатужиться, повернуться в гробу, поколотить с безумным, холодным отчаянием в глухую крышку гроба и попробовать, наконец, собственного своего мясца на закусочку, то есть обглодать без пользы свои руки... Это уже будет вполне скверно! Но я и тут принял меры. Подбиваюсь к кладбищенским сторожам, прошу попов не спешить с похоронами... Ей-богу!.. И это будто все в шутку, чуть перебираюсь на новое место. Советую и вам, генерал, то же самое...

Рубашкин задумался. Молча сел возле него, собираясь с новыми рассказами, Саддукеев. Но вбежали дети хозяина, и все ожило снова.

— Нет, вы для меня придумайте, без шуток, что-нибудь посущественнее, — сказал Рубашкин.

— Какие тут шутки! Трудновато, а впрочем, посмотрим... Я вообще ночью страдаю бессонницами, а особенно как что-нибудь взволнует: какая-нибудь вдруг столичная новость; встреча с замечательной жертвой какой-нибудь житейской пакости, вот хоть бы с вами... Тогда я на другой день болен и в видах долголетия сейчас же сажусь на одно молочко и на сельтерскую воду... Так-то-с!

Далее, вечером, хозяин и гости еще более оживились. Дети Саддукеева были сущие дикаренки, страшно загорелые, с протертыми локтями и коленками и сильно выросшие из штанишек. Уча с увлечением в гимназии, Саддукеев на своих детей не обращал почти никакого внимания. С утра задавал им уроки, а к вечеру редко даже вспоминал о них и почти никогда не проверял их занятий.

— Это будущие семинаристы, — сказал о них хозяин, — хоть скверно учат и кормят в семинариях, хоть чертовски там секут, но как плотоядный самец, да еще и вдовый, я их намерен именно туда отдать. Оттуда все-таки народ выходит менее тухлый и более как-то пикантный, чем из наших гимназий. Посмотрите-ка, генерал, как в гору идут

теперь везде наши семинаристы! На них стал спрос... Вот хоть бы и Сперанский, как некогда отличался! А вы знаете, что ваш и мой приятель, этот отец Смарагд, в семинарии метил именно в Сперанские, на философию ударял, либеральничал, а теперь, бедняк, на что разменялся в Есауловке! Сухие корки по селу через пономаря собирает... Что делать! Правда, ваше преподобие? Да что ты так нахохлился? — спросил Саддукеев вошедшего снова в гостиную священника. — Что ты вздыхаешь и как будто хандришь?

— Жену оставил не совсем здоровою; боюсь, не расхворалась бы пуще — кругом на сорок верст нет лекаря... Сам ты это знаешь!

Саддукеев подмигнул генералу на священника, который опять вышел на крыльцо.

— Вот вам и трагикомедия, генерал! Я его от души люблю: славный малый и в семинарии постоянно сидел в карцере за курение трубки... Но подумайте, почему он заботится о жене или почему должен заботиться? Умрет жена — шабаш! Более жениться ни-ни, нельзя уже по их закону... Вот положение!

— Да, она женщина славная, — сказал Рубашкин, — все хозяйство ведет, сама коров доит, моет белье, есть варит.

— Что и говорить! А умрет, шабаш, Сморочка! Бери работницу — соблазн народу, или прочь от прихода... А сколько соблазну в этих предложениях раскольников! Еще удивляюсь ему...

Саддукеев замолчал. Стали накрывать на стол. В раскрытое окно сквозь темноту из сада послышался голос. Служанка как-то затихла на время с посудою, и смуглые кудряшки-дети также приумолкли по креслам в гостиной. Из сада ясно раздалось тихое пение грустного духовного гимна. Рубашкина, видимо, мало занимала вся эта обстановка и все, что говорил Саддукеев. Мысль о деле не оставляла его ни на минуту.

— Так-так, узнаю тебя, беззаветная личность, семинарист Перепелкин! — заговорил опять хозяин, и его глаза,

холодные, серые и безжизненные, засветились любовью. — Так звался у нас ты прежде, отец Смарагд! Дать острастку подлецу какому-нибудь, бывало, эконома-отравителя штурмом взять — его было дело. Ему бы в какую миссию, к ирокезцам; апостолом нового слова явиться в такую дичь, где бы грозило всякому попасть на крест или быть съеденным заживо своими же прихожанами. Вот бы где он себя показал! А ему пришлось коптить небо в Есауловке!.. Как тут не стремиться прожить сто лет?

У ворот раздался топот усталой лошади. Кто-то тихо и несмело подъехал. Не прошло десяти минут, как отец Смарагд, бледный и взволнованный, вошел в гостиную и в безнадежности упал в кресло.

— Что с тобою, камрад? Что с тобою, Сморочка? — спросил Саддукеев.

— Паша моя умирает... Ах, Господи Боже! Второй день лежит без памяти, как только мы уехали! Верховой прискакал... Нашелся еще добрый человек!

Саддукеев вскочил с дивана.

— Ах ты, бедняк-бедняк! Жаль тебя! Да нет! Стой! Есть приятель у меня, лекаришка... Да нет, опять стой! Что и хлопотать! Завтра бал на весь город у губернатора. Наверное, и этот подлипало там будет...

Саддукеев быстро заходил по комнате.

— Я у вас, Адриан Сергеич, возьму тележку и лошадей! — сказал священник. — И уеду сейчас же, в ночь; вы воротитесь на почтовых или как там лучше, когда устроите все. Подумайте: ведь на сорок верст кругом нет у нас даже фельдшера!

— И это магнат! В Есауловке оркестр держит, а аптеки, фельдшера простого нет! — крикнул Саддукеев. — О алеуты, безмозглые обитатели Мадагаскара! Тысячи — куда! — десятки тысяч на еду тратят, на мебель, на убранство домов и на бездушных кукол, своих жен, а доктора завести за триста целковых на целый околоток не захотят! Говорит об англомании! Куда тебе до лордов! Недорос! Ирокез!

Сели в тревоге ужинать. Священник ничего не ел. Лошади его в тележке были опять запряжены. После ужина, однако, опять что-то надумав, Саддукеев сбегал в два-три места и воротился со склянками.

— Ехать все отказываются; такая, говорят, даль и еще к сельскому попу! А прописать лекарство, за глаза прописали. Да и что еще за болезнь у нее? К делу ли оно? Кто приехал с вестью? Спросить бы его... Позвать этого человека.

Вошел Илья Танцур. Он чуть стоял на ногах от усталости. Рубашкин по-французски объяснил Саддукееву, кто он и чей сын. Учитель осмотрел Илью с головы до ног.

— Вот, брат, — сказал он, — отец твой — главный приказчик в вашей трущобе; в год, я думаю, не на одну сотню крадет и не одну тысячу князю вашему высылает за море, а лучше бы хоть коновала какого завел у вас.

Илья оправился и ответил:

— Мы делов отца не касаемся; не извольте обижать нас, барин...

— Кто же тебя послал?

— Сам-с, от жалости-с... Прихожу раз, другой, а матушка, вот их жена то есть, без памяти лежит. Девчонка, их работница, на улицу бегать ушла — шалить; дети голодные кричат. Некому воды подать. Я это... к отцу... Так и так, мол. Он резонту не дал. Я наутро вижу то же, взял из барской конюшни коня да и поехал. Очень устал-с... Ругать отец еще будет. Позвольте овсеца для лошади. Денег своих не имею. А дорогою надо будет подкормить, хотя я и берег коня!

Рубашкин опять сказал что-то Саддукееву по-французски.

— Ты в бегах был? Долго? — спросил учитель.

— Двенадцать лет-с...

— Чем больна, по-твоему, их вот жена?

— Горит вся, мечется, а узнавать ничего не узнает...

— Ну, прощай, друг Смарагд! Спеши: вот тебе лекарство! Там написано, как принимать. Да не жалей

горчичников... Странный, однако, этот Илья; толк из него будет!

Священник простился и уехал в ночь с Ильей, привязав княжескую разгонную лошадь к повозке и решив ее не оставлять и лучше покормить далее дорогой, чтобы успеть проехать хоть часть пути, пока еще не зашел месяц.

— Мы же с вами не пожалеем слез, когда действительно умрет эта бедная Сморочкина Паша! — сказал Саддукеев. — Жаль его! Что-то перечувствует его сердце под рясою, пока он доедет до дому? Мы же примемся за ваше дело! Если двоюродный братец мой, Смарагд Перепелкин, овдовеет, не знаю, устоит ли он тогда с семьей.

Гость и хозяин ушли спать. Ночью Рубашкину слышалось все воркование голубей на крыше. Перебоченская приснилась в виде Чингисхана с усами, окопавшаяся от него окопами вышиной с добрую колокольню, и чудилась ему больная при смерти жена священника в белом чепчике и бедном ситцевом платье, звавшая опять почтенного слугу церкви запросто Сморочкой. Проснувшись, Рубашкин услышал в зале громкие шаги. Кто-то порывисто ходил из угла в угол. Он оделся и вышел. То был Саддукеев.

— Насилу-то вы проснулись; не хотел я вас будить. Утром в видах, понимаете, долголетия я всегда задаю себе отчаянный моцион перед классами. Уходить не хотел, не видев вас, и вот тут все метался из угла в угол. Вот что я придумал...

— Благодарю вас...

— Вот что: сегодня у губернатора бал; оденьтесь и вы во фрак и сделайте ему визит. Он вас пригласит; вы на бале и объяснитесь с ним о деле.

— А утром объясниться разве нельзя?

— Он, аристократ, примет вас за нищего, за попрошайку, за сутягу и даст дело на рассмотрение правления. Надо это так, будто мимоходом! Он юморист, даже сатирик, а чуть где в просьбе зазвучит неподдельная мольба о защите, вопиющее какое-нибудь дело, убивающее страдальца, он ска-

жет: «Исполню тотчас», примет записку о деле, поковыряет в ногтях, полюбезничает, даже полиберальничает с вами и все сейчас же забудет, а к просителю оставит в своем сердце неимоверное отвращение, как к гнусной провинциальной твари и пролазу. Он из гвардейцев, богач, учился в пажах и попал в эту глушь временно, понимаете, чтоб попрактиковаться здесь, как английские ученые и чиновники ездят иногда путешествовать вокруг света, по программе своего воспитания. Наденьте, кстати, и звезду, коли вы ею украшены...

— Фрак и звезда остались дома в деревне, где я живу.

— Жаль! Примерьте, однако, мой фрак, а звезду мы возьмем напрокат у одного тут лакея: его барин, сенатор, здесь лечится кумысом. Лакей не откажет, звезда лежит давно без употребления. Вот хорошо, что я это сообразил!

Сказано и сделано. Во фраке и в звезде генерал Рубашкин отправился, под легкой парусинной накидкой, к властителю края. Властитель принял его очень вежливо, осведомился о его службе, не без удивления и легкого почтения узнал, что он так недавно еще и успешно служил на важном месте по министерству, и удивился его отставке. Сам будучи еще почти юношей, губернатор при этом вдруг стал жаловаться на боль поясницы, будто бы от тяжести дел в этом диком крае. Тут был принят еще какой-то помещик, сразу начавший начальнику края перепуганным и надорванным от отчаяния голосом рассказывать, как крестьяне у него сожгли недавно хлебный ток, а потом амбары и, наконец, пять дней назад его дом. «Что же вы хотите от губернатора?» — спросил его от себя в третьем лице чистивший в это время ногти губернатор. «Содействия!» — заревел, вытянувшись перед ним, запыленный и медноцветный от степного загара помещик. «Подайте записку». В это время мостовая у окна, где они все трое сидели, загремела, и в легком тильбюри на раскормленном до безобразия сером рысаке показалась какая-то городская дамочка, вся разодетая,

сиявшая веселостью и удалью. Сзади нее неслись верхами трое франтов.

— Куда вы? — крикнул юный губернатор, высунувшись из окна.

— В степь.

— Зачем?

— Киргизы появились.

— Быть не может!

— Не бойтесь... мирные! Скаковых лошадей привели табун; куда-то на ярмарку ведут. Хочу и я поторговаться.

— Позвольте, сейчас...

Губернатор бросил ножик, которым чистил себе ногти, выбежал мимо оторопевших жандармов и часовых на улицу и подошел к тильбюри.

— Позвольте, милый наш вице-губернатор! — сказал он дамочке. — Позвольте вашу ручку поцеловать. Вы все новости узнаете раньше меня... Я должен уступить вам пальму первенства! Я для вас ручной...

Дамочка с хохотом протянула ему руку, ломаясь и оглядываясь кругом, ударила хлыстом рысака, и тильбюри загремело далее.

— До вечера, — крикнул губернатор с крыльца.

— До вечера, господин ручной лев.

Губернатор послал ей вслед поклоны рукой.

Погоревший помещик молча хлопал на все это глазами.

— Кто эта дама? — спросил он Рубашкина.

— Не знаю. А вас подожгли?

— Все сожгли в три темпа-с...

— За что же?

— Не знаю сам поныне. Сыплется на голову, как лава Везувия, и только. Думал найти тут защиту...

Губернатор вошел, еще улыбаясь, но не сел. Знак был гостям уйти. Первый с шумом зашаркал погорелый степняк-помещик.

— Так подайте записку! — сказал губернатор.

Помещик вздвигнул Рубашкину плечами, шаркнул опять и ушел, обливаясь испариной.

— А вас, ваше превосходительство, милости просим сегодня ко мне на бал. Молодежь хочу развеселить! — отнесся губернатор к Рубашкину, опять принимаясь за ногти. — Знаете, среди трудов... Я подобрал здесь все правоведов и лицеистов, студенты как-то ненадежны теперь стали! А у меня блистательно составилась администрация. Все люди хорошего тона, знают вкус в женщинах и отлично танцуют. Уговорили меня дать бал под открытым небом, в саду.

Рубашкин дал слово быть.

— В девять часов, запросто в Халыбовский сад; там наш бал! — сказал губернатор на прощание, почтительно посматривая на звезду Рубашкина.

«Как бы еще не угадал, чья это звезда?» — подумал последний, уходя.

Рубашкин все рассказал Саддукееву.

— И отлично! — крикнул Саддукеев, поздно воротившийся из гимназии к обеду. — Вы сделали одну половину дела, а я подумал о другой...

— О какой?

— Просите вечером, если все пойдет на лад и губернатор сдастся, просите у него, чтобы назначили на следствие и на вывод Перебоченской с вашей земли не кого другого, как одного из здешних советников губернского правления, и именно Тарханларова, а уж он, коли согласится, подберет себе помощников. Я обегал весь город; был у всех, знаете, мелких властей, у здешней, так сказать, купели Силоамской, ожидающей постоянно движения воды, то есть наскока такого доходного и прижатого судьбою человека, как, положим, вы... Я их, однако, предупредил, что вы мой приятель и чтоб все дело сделалось без подачки... Да то беда, что в этом деле уж очень многие замешаны; исправник ваш ничего не сделает, он племянник этой барыни; уездный предводитель, князек, дурак в придачу, ей тоже какая-то родня; становые подчинены исправнику... Все указали мне на

Тарханларова. Это, скажу вам, молодчина, Геркулес с виду и бедовый по смелости... Коли он ничего не сделает, то есть не выпроводит этой барыни сразу, в один прием, при десятке или даже при сотне понятых и отложит дело опять на переписку, так уж вам останется одно: откланяться и уехать отсюда обратно, приняв меры к тому только, чтоб наконец, хоть проживя лет сто, пережить Перебоченскую...

— Да помилуйте, я этим имением уже введен во владение и имею формальный вводный лист!

— А на деле вы им владеете?

— Нет!..

— Таковы-то, генерал, наши провинции. Станете жаловаться в Петербург — все тут здешние замешаны, следовательно, станут отписываться; запросит министр, отнесут дело к тяжебным. И ждите его решения!

— Что же мне делать теперь?

— Позвольте, я не в меру взволновался; это вредно... Надо выпить, чего бы? Да! Сельтерской воды, и опять походить... Так точно я был взволнован и по получении здесь известия о походе нынешних наполеоновских французиков! Вы, генерал, извините меня, что я этого нового Наполеона не очень жалую... Эй, Феклуша! Сельтерской мне воды!

Горничная принесла Саддукееву воды. Он выпил и стал ходить.

— Подождем еще пока обедать. А после обеда я кинусь узнать, сколько надо предложить советнику Тарханларову; вы же к нему прямо пойдите между тем и, рассказав все дело, просите принять порешение его на себя. На бале в этом саду буду и я. Там придумаем, как сказать все губернатору...

После обеда гость и хозяин не спали. Оба кинулись в разные стороны хлопотать о деле.

Рубашкин воротился первый, и не в духе. Саддукеев прибежал с кипой газет.

— Вот, вот! — говорил он, лихорадочно перебирая листки. — До бала успеем еще пробежать кое-что... Да-с...

вот оно... Говорят... в фельетончике каком-то есть намеки, что составляются новые комиссии о разных реформах и что крестьянское дело идет к концу. Узнал я и о вашем деле, генерал. Оказывается, плохо-с, однако... Юстиция у нас еще не сбавила тут в глуши своей таксы: говорят, что менее двух тысяч целковых этот советник губернского правления Тарханларов за такое дело не возьмет...

Рубашкин вскочил.

— Как! Две тысячи?

— А вы, ребенок, полагали менее? — спросил Саддукеев, не отрываясь от лампы у стола, за которым он с жадностью перебирал газеты только что привезенной почты.

— Две тысячи! — восклицал Рубашкин.

— Да-с, да! Вот именно почему я и хочу, желаю всеми средствами прожить сто лет; и проживу, ей-богу, проживу! Вон, вон, точно: комиссии, комиссии... А, батюшки!.. Шагает! Уж не сбавить ли чего, однако, со ста лет? Вон, о редакционных крестьянских комиссиях наши официалы торжественно выражаются; скоро окончательно пробьется что-то! Ну, а ваш визит к Тарханларову чем кончился?

— Отказал наотрез!

— Отказал? Быть не может!

Саддукеев бросил газеты и, ладонью бережно придерживая их, обратил тусклые, усталые глаза на генерала.

— Отказал... Жена его беременна; не могу, говорит, как бы чего без меня тут не случилось с женою! Это не отец Смарагд.

— А про могущий быть ордер губернатора говорили?

— Говорил. «Не поеду, — сказал он, — хоть бы сам сенат нарядил, извините; а про дело ваше слышал: точно скверное дело!»

Саддукеев и Рубашкин отправились на дачный бал губернатора, в загородный сад армянина-откупщика Халыбова. Множество экипажей стояло у решетки сада. Ворота и дорожки были освещены фонариками. Гремела музыка. У крыльца на особой эстраде шли танцы. Долго шатались

без смысла новых два приятеля в толпе. Губернатор заметил опять звезду на груди Рубашкина и кивнул ему, подзывая его к себе. Рубашкин подошел к нему. «Вывези, Антошка!» — мысленно при этом подумал учитель, вспоминая сенаторского лакея, у которого для генерала была абонирована за полтинник с приличным залогом звезда. Толпа раздвинулась, губернатор прошел в боковую аллею с Рубашкиным.

Они шли и болтали о том о сем.

— Вы здешний помещик? — спросил губернатор, уже едва помнивший вчерашний визит к нему Рубашкина.

— Да-с! Имел бы особое удовольствие вас угостить у себя таким же балом, да со мною длится маленькое комическое дело.

— Какое? — спросил юный степной сатрап, лорнируя в потемках боковой дорожки каких-то полногрудых красавиц. Сатрапом и ханом любил сам себя звать этот губернатор с той поры, как по первом приезде из Петербурга ему удалось здесь принять с восточными утонченностями какое-то важное ехавшее на север посольство.

Рубашкин, намеренно хихикая и с приличным юмором, рассказал ему о своем деле, как он получил наследство, как введен был во владение и как одна беспардонная барыня-хуторянка, торгующая скотом, мешает ему поселиться у себя и взяться за хозяйство.

— Что же вы не подадите мне записки? — спросил губернатор, забыв, что по этому делу он сам подписал шесть грозных, но тщетных приказов уездным властям и от самого Рубашкина получил две письменные плачевные жалобы.

— Не стоит! — сказал небрежно Рубашкин, рассеянно освобождая свою руку из-под локтя губернатора и всем оборотом тела спеша вглядеться тоже в каких-то красавиц по дорожке.

— Кто это? — спросил тревожно волокита-хан, и голос его, от чаяния тайной интрижки у постороннего, дрогнул.

— О, прелесть! Вы их не знаете! Они из Петербурга....

— Не может быть?

— Ей-ей... три сестры-сироты...

— Так вы мне, однако, подайте записку! — проговорил, уже ничего не соображая, губернатор.

— Не стоит...

— Вы хотите меня обидеть? — шутливо спросил хан, чувствуя между тем потребность кинуться вслед за хвостами особ, похваленных гостем.

— Если вы требуете, извольте... Завтра же. Но с одной оговоркой...

— С какой?

Губернатор, смотря в дальний угол дорожки, начинал терять всякое терпение.

— С тем, чтобы вы исследователем назначили Тарханларова...

— Почему? — спросил губернатор, лорнируя дорожки, но тут же, по чутью, переходя из радушного в подозрительный тон.

— Ему давно хочется побывать у меня в гостях... Я ему красавицу припас.

— Но у него, кажется, жена в родах! Что-то он на волокиту не похож или притворяется? А? Что? Кажется, жена его беременна...

— Родила, ваше превосходительство! — кстати вмешался тут Саддукеев, выросший вдруг перед собеседниками, точно из-под земли.

— Чему же вы радуетесь? — спросил губернатор, разглядев впотьмах голову учителя. — Точно вы сами участник в этих родах! А?

Все трое засмеялись. Радуясь своей остроте, губернатор прибавил:

— Если Тарханларов согласится ехать к вам в гости, извольте, я отпускаю его, подавайте только записку: без нее и не приезжайте ко мне, обидчик! Надо же и делами заняться...

Губернатор исчез под липами, а Саддукеев, присев к земле, просто зашипел от радости.

— Браво! Склеилось наше дело! Теперь денег надо достать...

— Тут-то опять и беда. У меня ни гроша не осталось от первого приезда в эти места...

Саддукеев посвистал.

— Ничего... пустяки-с... Коли с вами не прихватим в откупу, я извернусь иначе еще для вас. Вы меня извините, другой здесь вам зря сразу не поверил бы! Да у меня уже Смарагд этот, такой, видите ли, человек, что темного господина никому не похвалит и не привезет... Я его знаю.

Тут же среди танцующих Саддукеев нашел Халыбова, шепнул ему несколько слов и прибавил:

— Я у вас двух сыновей учу, дайте нам взаймы тысячу-другую на месяц. У этого вот господина более двух тысяч десятин незаложенной земли есть... На днях ее получит...

Армянин поклонился и осклабился.

— Знаю я их очень хорошо и без тебя, слышал я о них. Только дам им взаймы не теперь, а когда от них эта барыня, как ее звать, переедет...

— Ага! Слышите, генерал? — спросил учитель.

Рубашкин печально улыбнулся.

Армянин потрепал Саддукеева по плечу.

— Под твой дом, бачка, дам хоть три тысячи: место твое оченно мне нравится! Что, небось так не кинешься занимать?

Учитель на мгновение опешил. Снял с огромной скулистой головы серую пуховую шляпу, отер со лба пот, повертел в руках платок, посмотрел на армянина и сказал:

— Идет! Давай под залог моего дома, Нин Ниныч, этому господину... две тысячи!..

— Двадцать процентов на полгода? — торопился прибавить шепотом Нин Ниныч Халыбов. — Если согласен, то хоть сейчас до закладной, под простое домашнее условие дам тебе эти деньги!

Саддукеев уставился глазами в Рубашкина и крякнул.

— Идет! — сказал он.

Ударили по рукам, и, пока толпа резвилась и тешила юного начальника, откупщик и два приятеля съездили в откупную контору и дело займа под сохранную расписку кончили в полчаса.

— Теперь, значит, вот что, — сказал Саддукеев, воротившись с Рубашкиным домой, — садитесь и пишите коротенькую докладную записку губернатору, чтоб не возбудить в нем подозрений, представьте все дело одним административным недоразумением, сошлитесь на справки по этому делу в правлении и завтра же рано занесите эту записку предварительно Тарханларову, чтобы он не промахнулся и не выдал вас, что вовсе с вами не знаком, да тут же отвезите ему и занятый презент...

— Как? Вперед?

— О, без сомнения, и целиком; он и расписки, разумеется, не даст. А с вас я возьму сейчас же...

— Извольте... Но... как он надует?

— Не бывало еще примера. У них на это есть своя совесть и довольно высокая: будьте спокойны.

Рубашкин получил от учителя деньги и дал ему расписку со своей стороны.

— Это на случай смертности, — сказал Саддукеев. — Я-то проживу еще, ну, а вы уже в летах... до ста годов не дотянете! Ни-ни...

Они легли спать. При выходе из праздничного сада к Рубашкину у ворот подошел помещик, утром жаловавшийся на поджоги. Он был опять возбужден и озабочен; пот лился с его загорелого лица, а волосы были взъерошены и выбивались из-под картуза.

— Что с вами? — спросил генерал.

— Сейчас пришло известие от жены и детей: сожгли у нас и овчарни. Ждал, это, в саду заговорить с начальством.

— Что же?

Помещик яростно плюнул, посопел и молча пошел в улицу.

— Куда вы? Попытайтесь еще...

— Нечего времени-то терять; вижу, тут танцуют, а мне не до того; надо просто-напросто заново скорее строиться; это будет вернее, чем тут жаловаться!

— Вот вам и еще наша областная практика! — сказал Саддукеев. — Значит, не вы одни!

Итак, генерал и учитель легли спать.

«Как-то мне удастся утром эта практика? — думал Рубашкин, засыпая. — Каково? Я, недавно высший администратор, теперь сам своею особою пойду и понесу какому-нибудь советнику, своему же бывшему подчиненному и такую полновесную взятку...»

Утром гость и хозяин умылись, оделись, напились чайку и снова посоветовались. Рубашкин бросился в первую из растворенных лавок, купил какую-то плохонькую соломенную корзиночку с дамским прибором для шитья и детский игрушечный сундучок. В обе из этих вещей он вложил чистоганом по тысяче рублей серебром, явился на дом к советнику правления Тарханларову и поздравил его с новорожденным. На генерале были опять фрак и звезда. Тарханларов притворился подавленным такою честью от генерала. Еще не видя, что было в корзиночке и в сундучке, он сказал:

— Полноте! К чему вам было беспокоиться поздравлять меня, такого ничтожного чиновника! — И прибавил, однако: — Я вижу, что вы опять о деле! Не могу, теперь в особенности не могу: сами знаете, жена родила с вечера... Да и зачем мне именно ехать? Надо ехать кому-нибудь другому, по инстанциям, младшему. Это соблазн и обида для уездных властей!

— Что делать? — возразил грустно Рубашкин, расставя руки и ноги и слегка склонив голову. — Этих маленьких подарков новорожденному и родильнице, по русскому обычаю, вы, надеюсь, однако, не откажетесь принять, не обидите меня!

Тарханларов глянул искоса на невзрачные подарки. Он задумался, но, как бы по чутью, сразу, в предстоящем, по-видимому, романтике-просителе, обыкновенно выезжающем

на одних идеальничаньях, угадал зело умелого практика. Он также с полуулыбкою расставил руки и ноги, склонил голову набок, взял, хихикая, корзиночку и игрушечный сундучок, прижал их с чувством к груди и скрылся, будто спеша обрадовать ими родильницу и новорожденного. За дверью залы он остановился, подошел в соседней комнате к окну, открыл сперва одну вещицу, потом другую, радостно закрыл на мгновение глаза, потом оглянулся, вынул деньги, медленно их сосчитал, сунул комками пачки ассигнаций в карман, а корзинку и сундучок бросил на диван и, громко высморкавшись, оправился перед зеркалом. «Что, дитя купали?» — спросил он повивальную бабку, выглянувшую в это время случайно из спальни, и ушел, не дождавшись ее ответа и сам не помня, о чем ее спросил.

Молодцом, сияющим и бойким, вошел снова в залу окна против Рубашкина.

— Когда вам угодно, чтоб я ехал в ваше имение? — спросил он гостя, добродушно смотря на него светлыми и влажными голубыми глазами и взяв его руку в свои пухлые, раздушенные и добрые ладони.

— Сегодня же... или завтра утром, я бы вас просил.

Тарханларов поэтически-грустно раскинулся на стуле и задумался. Тут впервые Рубашкин разглядел, какой он был действительно красавец: грудь широкая, крутая, плечистый, губы античное очерчены, волосы закинуты назад, голос звонкий, речи строгие, белье ослепительной белизны, в лице гордость, ум, даровитость и во всех движениях какая-то вместе тихая грусть и безграничная смелость.

— Сегодня так сегодня, а завтра так и завтра! — весело сказал Тарханларов. — Я вполне к вашим услугам! Хлопочите только, чтоб губернатор назначил меня.

— Вот и записка! Уже готова... Это я его прошу о вас! — Рубашкин подал ему записку.

— Хорошо, несите; а я через час буду у него после вас и в точности поясню, что и мне давно хочется побывать у вас в имении. Говорят, красивый действительно уголок... Те-

перь же я поеду в правление, пробегу ваше дело. Оно, по правде, нешуточное. Ехать стоит; советников попусту из города не посылают. До свидания!

Тарханларов и генерал поцеловались.

Рубашкин отвез губернатору записку и прибавил:

— Если бы не желание дать вам бал у меня на Лихом, я не тревожил бы вас ни за что этим делом.

Губернатор уже холоднее, однако, встретил им же самим заказанную записку и, пробегая бумагу генерала, даже не просил Рубашкина сесть.

— Вы, однако, рано вчера бросили наши забавы... Вас не было за ужином, а?

— Одно... свидание ожидало, извините...

— Э!

Губернатор покосился на Рубашкина, видимо, недовольный, что его звезда не блестела за его ужином, молча пометил его записку к исполнению, зазвонил и велел дежурному чиновнику сейчас же ее отправить к Тарханларову. Но чиновник доложил, что сам совстник Тарханларов и вновь прикомандированный к канцелярии его превосходительства чиновник, титулярный советник Ангел, ждут в приемной.

— Дела, как видите! — сказал губернатор и из-за стола грустно раскланялся с генералом. — Я вас не смею удерживать! Вы долго еще пробудете в городе?

— До вечера только.

— Что же так?

— Вы будете смеяться...

— О! Пожалуйста, скажите...

— Дома, где я пока живу, ждет меня одно хорошее дело... также интрижка...

— Где же вы живете?

— В казенной деревушке, вблизи своего имения...

— Не правда ли, какой здесь край! Что ваша Колумбия, Перу. И каковы нравы, каковы красавицы! Не будь эта служба, не выехал бы отсюда. До свидания!..

— В моем имении?

— От души буду рад по пути заехать!

Вошедших чиновников губернатор принял сухо и строго; бумагу Рубашкина Тарханларову подал не сразу

— Вам командировка от меня через губернское правление, — сказал губернатор советнику, не смотря на него.

— Слушаю-с!

— Далеконько, однако...

— Слушаю-с!

— К вашему знакомому.. Рубашкина знаете? Он отсюда через оранжерею сейчас вышел, был у меня...

— Не видел, но рад исполнить приказание вашего превосходительства...

— Вы с ним приятель?

— В Петербурге служили вместе! — солгал молодчина советник, стоя навытяжку. — Поохотиться на рыбку звал...

— То-то на рыбку... знаю! — губернатор, видимо, догадывался, в чем тут штуки, но не решился лишить Тарханларова удовольствия этой командировки. — Вы бы там щуку-то одну нам поймали: урод какой-то там, говорят, упирается, не слушает судебных постановлений... Какая-то помещица, сущая азиатка!

— Слушаю-с.

— Велите заготовить сейчас бумагу Вы знаете, я откладывать не люблю. Слышите?

Тарханларов умышленно замялся.

— Да! У вас жена родила...

— Ничего-с, я готов выполнить ваш приказ. Но позвольте чиновника в помощь подобрать надежного и знающего.

— Если вы так усердны, очень рад — кого угодно? А! И вы здесь, господин Ангел! — прибавил губернатор.

Титулярный советник Ангел, обруселый грек, двадцать шесть лет исполнявший должности становых в разных окольностях тех мест юго-востока России, выжига из выжиг, с длиннейшими усами, человек без страха и отступлений, на

вид увалень, а на деле — огонь и битый, как сам он выражался, до десяти раз всяким сбродом, почтительно поклонился губернатору.

— Что вам?

— Из Ростовского уезда, слышно-с, на Волгу контрабандный чай перевалили. Не прикажете ли поискать? — спросил сыщик.

Губернатор взглянул на Тарханларова. Тот сделал кислую мину.

— Ох, уж мне эти чаи!.. Не согласен! — сказал губернатор. — Больше на прогоны выходит, чем этих чаев отыщешь. Да, Тарханларов! Вот, кстати, вам и помощник! Берите его с собою в эту командировку. Велите заготовить к вечеру бумаги — и с Богом! Прощайте, господа!.. Очень рад!

Чиновники ушли, а губернатор, сказав жандарму, чтоб никого не принимали, отрадно потянулся, надел штатский щегольской пиджак, посмотрелся в зеркало, покрутил усики, взял книжку французского журнала и сел к окну читать, заставившись от праздных зевак штофным зеленым экранчиком.

— Все сделано, — сказал Тарханларов к вечеру Рубашкину, который поспешил выдать Саддукееву заемное письмо на две тысячи, — бумаги у меня; часть от себя я уже послал по эстафете, на счет получателей, в уезд стряпчему, исправнику и становому. В предводительскую канцелярию послал особое резкое отношение. Словом, пока мы на почтовых к утру будем там, я надеюсь, что виновники во всех этих адских упущениях придут уже в некоторый должный трепет. Едем мы в моей коляске: вы и я, а данный мне помощник уже уехал вперед. Прошу ужинать ко мне и сейчас же после ужина едем на всю ночь...

Рубашкин горячо обнялся с Саддукеевым, пришедшим его провожать к Тарханларову.

— Ну, прощайте, берегите свое здоровье, это главное! — сказал генералу шепотом учитель. — Многое не уда-

ется, так хоть годами-то возьмете! А на всякий случай, пока — вот вам еще триста целковых. Это уже мои собственные последние крохи. Поправитесь — воротите. Да пишите мне оттуда!

Бойкие почтовые кони из донских, как бы чувствуя, что везут такого доку, как Тарханларов, подхватили его коляску живо и с громом понесли ее четверней по стихавшим улицам города.

VI

Штерм Перебоченской

Рано на заре генерал и Тарханларов проснулись в дороге, покачиваемые в коляске, в виду уездного городка, заброшенного в глухой поволжской юго-восточной лощине, между пологими каменистыми буграми.

Путники вошли в земский суд. Тарханларов, приезд которого сюда уже несколько подготовил данный ему помощник, был встречен тут всеми не без трепета. Но дело как-то пошло не очень плавно. Повестки хоть и были разосланы из суда к становому и в соседние села, но исправник отозвался делами, более не терпящими отлагательства, и, не дождавшись губернского следователя, вопреки его отношению, уехал из города в то самое утро в другое место. Так же поступил и уездный предводитель, не доставив советнику никаких нужных новых сведений о личности Перебоченской и о ее мнимом нездоровье, которое будто бы препятствовало доныне ее выезду из чужого имения. Когда Тарханларов явился в предводительскую канцелярию, секретарь ее даже встретил его с некоторой иронией. Было заметно, что, прежде чем повестки и помощник советника явились в город, лазутчики Перебоченской обо всех эволюциях нового угрожающего ей штурма дали уже знать сюда из среды самого губернского правления, как Тарханларов ни старался свой

быстрый выезд облечь тайною. «Даже Ангела к нам выслал, — острили о греке уездные чиновники по уходе Тарханларова, — но и ангел небесный не сможет ничего с нами сделать, коли мы захотим! Вот оно как!»

Действительно, полномочный член высшей местной администрации, советник губернского правления, вооруженный наилучшими, определеннейшими инструкциями — «раскрыть наконец дело, во что бы то ни стало; отрешить всякого из чиновников, замешанных тут, если он найдет умышленные послабления со стороны их, и вывести Перебоченскую из имения Рубашкина даже силою, не принимая более от нее никаких отговорок и отписок, и всему составить подробный журнал», озадачился сразу, встретив эти первые каверзы, и чуть не потерялся. Явив в земском суде особый приказ губернского правления, он тут же сделал распоряжение об удалении от должности исправника, записал свое постановление в протокол суда, внес его и в свой особый секретный журнал, отметил в нем между прочим, что повестки о высылке в Конский Сырт понятых из соседних с ним сел посланы нарочно, для замедления понятых, не верхом, а пешком, через сторожа-инвалида из земского суда, хотя из города до этих сел было более сорока верст. Тарханларов должность исправника сдал земскому заседателю, распек и его предварительно на обе корки и взял с собой, а приставу стана, где был Конский Сырт, послал с конным нарочным от себя вторую повестку о немедленной явке на сборный пункт в Малый Малаканец, в квартиру Рубашкина.

К обеду того же дня, шестериком, на обывательских, Тарханларов прибыл с Рубашкиным и с земским заседателем в Малаканец. Там их встретил помощник Тарханларова, Ангел, а станового и понятых еще не было. Подождали они с час, другой. Ямщики влезали на крыши хат, выходили далеко в поле на бугры, смотрели, но никого не было видно.

— Что же их ждать! — решил советник. — Начнем, откроем действия, заявим этой барыне последнюю волю начальства! На том, чем она нам ответит, оснуем дальнейшие

наши меры. Может быть, к крутым и не придется прибегать! А пока рассмотрим еще бумаги. Вы, господин заседатель, в качестве исправника, потрудитесь в более близкие села от себя еще раз дать строгие повестки о сборе понятых; вот хоть в Есауловку, в Карабиновку, в Авдуловку и сюда, в этот Малаканец...

— Люди теперь в разброде — рабочая пора; к вечеру только с полей придут домой.

— Ничего, пишите. Хоть мало сперва, а соберутся.

Пересмотрели еще бумаги, все приготовили; дали повестки с ямщиками в Есауловку и по Малаканцу. Те съездили и воротились со словами, что понятые к Конскому Сырту будут сейчас.

Часа за три, за четыре до заката солнца, еще подождав станового и трижды уже заказанных понятых, Тарханларов и прочие поехали к усадьбе Конского Сырта. Что-то в душе говорило Рубашкину о не совсем удачном исходе дела; но красавец и молодчина губернский советник ехал бодро, весело мурлыкая про себя какую-то песенку и с любопытством поглядывая по сторонам.

— Местечко прелестное! — сказал он, завидев под склоном есауловских бугров над рекою Лихим зеленые низменности Конского Сырта. — У вас с руками оторвут на аренду эту землю даже мелкие здешние табунщики и сгонщики скота, если сами не пожелаете хлопотать...

— Я думаю сам хозяйничать.

— И дело.

Въехали экипажи во двор Перебоченской. Во дворе было тихо: ни одна душа не показывалась. Кухня, амбары и всякие пристройки молчали. Окна и крыльца дома молчали также. Когда власти подъехали, гремя колокольчиками, к главному крыльцу, в конце двора прошел от кухни к сараю, опустя голову и не поднимая глаз, низенький коренастый господин, или собственно прошли его длиннейшие рыжие усы: то был пан Жукотыньский, приказчик барыни. «Эй, ты! Послушай!» — крикнул ему с козел коляски титулярный советник

Ангел; но рыжий шляхтич прошел важной журавлиной походкой, руки в карманах балахона, опустя рыжие огненные усы чуть не до земли, и скрылся...

Тарханларов, земский заседатель и Рубашкин вошли в сени и в переднюю — ни души. Лазарь Лазарич Ангел остался у крыльца, хмуря черные кустоватые брови, сердито сопя и крутя черные усы. Он осторожно, как чуткая дрофа в степи, посматривал из-за коляски и лошадей во все углы двора, ожидая, где вынырнет шляхтич.

Едва Тарханларов взялся за ручку двери в залу, шепнув спутникам: «Мы пока сюда, а Лазарь Лазарич довольно надежная сила в **арьер**гарде; он бедовый: его тронут, так он и ножом в бок пырнет!» — как дверь перед ним отворилась и на пороге показалась хозяйка Пелагея Андреевна Перебоченская. Рубашкин теперь был одет запросто, в летней парусинной накидке и без портфеля под мышкой фрака, как некогда, в первый приезд сюда. Старуха же встретила посетителей такая же сухощавая, сутуловатая и будто придавленная и забитая, хотя была особой почтенного роста, и по-прежнему в темном притасканном платьишке и в чепце, перевязанном под подбородком и по ушам белым платком вроде того, какие носят нищенки-попрошайки. Она молча остановилась в дверях, держа грязный гарусный ридикюль и вопросительно подняв к посетителям сморщенное желтое личико и жалкие, убогие и будто плачущие глаза.

— Повелением высшего начальства! — звонко и отчетисто заговорил молодчина Тарханларов, выставя вперед румяные круглые щеки и вынимая из кармана бумагу. — Приказано вас, сударыня...

— Не надо! Вовсе этого не надо! — ответила старуха тихо отодвигая бумагу.

— Как не надо! Воля высшего начальства-с... Что вы? Шутить?.. Извольте слушать! Только надеюсь не здесь в передней, а как следует... в зале... у вас...

И он шагнул к порогу в залу. Перебоченская, однако не двинулась с места.

— Я уже все это знаю... и вашу бумагу! — сказала она тихо, потупя глаза. — Это все пустяки; я отсюда не поеду, я больна, стара, и всякие тревоги... особенно выезд... могут причинить мне... даже смерть!

Тарханларов оглянулся на своих спутников и насмешливо им подмигнул; Рубашкин степенно стоял сзади, выжидая, что будет; заседатель, не поднимая глаз, был бледен и стоял навытяжку.

— Вы можете мне говорить все, что вам угодно! — громко сказал опять советник. — Но я имею предписание начальства, основанное, извините, на предыдущих ваших выходках и проделках, не принимая долее от вас никаких отговорок, вывезти вас из этого чужого имения-с... отобрать у вас всю хозяйственную движимость... сдать ее владельцу имения до уплаты вами, по третейскому суду, денег за все годы аренды, а после расчета с ним дозволить вам из движимости и строений взять отсюда по особой новой расценке...

— И гурты и овец сдать ему? — спросила Перебоченская, указав пальцем на генерала.

— Сдать все пока... в виде обеспечения уплаты за десятилетнюю аренду...

— Никогда! Я прежнему владельцу все уплатила... А хоть бы деньгами и не уплатила, не дам! У нас с ним счеты кончены...

— За что же он с вами тягался все последнее время?

— Оставьте меня и не тревожьте... прошу вас мне не грубить! Перед вами дама-с!

— Расписок у вас нет! Формальный договор нарушен! Все, что ходит по этой земле, вами получено с земли же, а за нее вы ничего не платили... Следовательно...

— Разберут по суду... Какой вы суд? Вы полицейский чин...

— Суд давно решил дело против вас и столько лет ждал от вас, сударыня, доказательств; все здешние власти делали вам поблажки. Теперь уже делу конец. Вы оскорбляете ад-

министрацию, распорядительную власть, которая должна в точности исполнять решения суда; и она командировала наконец меня... Извольте выезжать отсюда; извольте пустить меня в залу и выслушать постановление губернского правления. Слышите ли? Имею честь рекомендоваться...

— Знаю, знаю...

— Я советник губернского правления...

— Да знаю же, говорю вам!

— Губернского правления, Тарханларов... И потому снова говорю...

Тусклые глазки барыни холодно и злобно завиляли. Лицо и ридикюль задвигались.

— Палашка! — крикнула она, не оборачиваясь, с порога.

Тарханларов, зная от Рубашкина проделки барыни и то, как она и генералу грозила Палашкою, невольно улыбнулся, приготовился взять Перебоченскую за руку и шагнул вперед.

— Позвольте мне, сударыня, пройти в залу и сообщить вам решение суда и окончательное предписание губернатора...

Он бережно взял старуху за сухощавую, в тревоге дрожавшую руку. Но в то же время за спиной хозяйки обрисовались два помещика: отставной прапорщик из букеевских ординарцев Ке́бабчи и не служивший нигде черноморский дворянин и соседний гуртовщик Хутченко.

— Удивляемся! — сказали разом оба господина, умышленно и как-то особенно неблаговидно бася и щетиной продвигаясь вперед из залы. — Удивляемся вашей дерзости к дворянке... и не верим, чтобы вы были с такими полномочиями...

Перебоченская тотчас же, не оборачиваясь, по-прежнему отрекомендовала обоих защитников своих и Тарханларову, и Рубашкину.

— А это вот учитель музыки в здешних местах, господин Рахилевич! — прибавила она, почувствовав, что за спиной ее прибавилось еще одно лицо из внутренних комнат, юноша лет девятнадцати, румяный, пухлый, с бараньими, ту-

склыми и навыкат глазами, — он учит у моих родных и близок в доме господина предводителя!

— Однако же вы должны, сударыня, выслушать бумагу начальства и по порядку законов дать на нее отзыв! — отозвался, нисколько не теряясь, Тарханларов. — Повторяю вам, я советник губернского правления и прошу со мною не шутить...

— Полноте сочинять! Это, господа, может быть, и не советник вовсе! — громко объявил своим товарищам развязный учитель музыки Рахилевич, насмешливо пошатываясь за их плечами, с руками в широких зеленых шароварах и одетый в какую-то фантастическую голубую куртку с шнурками и бронзовыми стекольчатыми пуговицами. — Я советников всех в губернии знаю-с; это, должно быть, так себе, какой-нибудь канцелярист, для шутки нанятый Рубашкиным!

Рубашкин обомлел.

— Ну, спросите у него вид; есть ли у него, господа, вид еще? Не самозванец ли это? — прибавил Рахилевич, мигнув прапорщику Кебабчи, на которого, как видно, компания возлагала также немало надежд.

— Нн-да-с! — шаловливым басом и в галстук сказал медноцветный, как пятак, Кебабчи. — Попросите, Пелагея Андреевна, этого господина, однако, в кабинет; пусть он нам покажет свой вид, паспорт. Может быть, это еще и по правде самозванец! Вы уж, сударь, извините нас: здесь страна всяких подлогов и самозванств; тут действовали Пугачев-с, Разин, разбойники из киргиз-кайсаков, Кудеяр и Кувыкан, Булавин и Заметаев...

— Так вы полагаете, что я тоже какой-нибудь Кувыкан или Кудеяр, подложный, а не настоящий чиновник? — спросил, засмеявшись, Тарханларов, в то время как сам он, однако, чувствовал, что еще мгновение и, пожалуй, в этой глуши, не подоспей понятые, его самого обратят в подсудимого, силой свяжут и под конвоем повезут, на общий позор и смех, в город, в его же губернское правление, вместо Перебоченской, которую он собирался взять силой.

— Нечего, нечего смеяться! — опять резко перебил учитель музыки Рахилевич. — Давайте-ка лучше ваши бумаги! Не на дураков напали... Нас не проведете — стреляные!

— Пожалуйте в кабинет! А в залу я вас все-таки не допущу: у меня дела и сама я больная! — сказала со вздохом хозяйка и тут же от порога ступила через лакейскую в соседний, особый, темноватый кабинетик.

Тарханларов, Рубашкин и бледный заседатель, переглядываясь между собою, вошли туда за нею. Кебабчи, Хутче́нко и Рахилевич ступили туда же и кинулись запирать двери. Их лица глядели мрачно, а резкие, порывистые движения показывали, что они были готовы решиться на все. Рубашкин глянул на помертвелого заседателя, и у него самого точно холодная водица полилась по спине и мурашки в желудке задвигались...

Все сели. Тарханларов внятно и внушительно стал читать грозную бумагу о своей командировке, снова попросил Перебоченскую не упорствовать, потому что скоро вечер, а он к ночи должен все покончить, не принимая от нее никаких отговорок, и протянул бумагу слушателям, чтобы все ее рассмотрели.

— Бланки и подписи действительно подлинные! — сказал медноцветный Кебабчи. — Но этому все-таки не бывать никогда, никогда! Пока в наших жилах течет дворянская кровь!

— Не бывать! — подхватили его товарищи.

— Да-с!. — решила и хозяйка, завиляв глазками и теребя в руках ридикюль.

— Пожалуйте отзыв! — сказал Тарханларов.

— Вот он! Давно написан на эти ваши бумаги..

И она подала советнику готовый отзыв по всем пунктам грозного решения.

— Новое преступление! — объявил советник, быстро пробежав отзыв. — Я его кладу при вас, господа, в карман и записываю в журнал следствия; оказывается, что секретнейшие и важнейшие бумаги начальства передаются сюда из

города в копиях и прежде, чем в подлиннике, попадают к виновным! Отлично! Ай да местечко-с!..

— Кладите! — выстрелил в него глазами Рахилевич. — Мы и не прячемся от вас — эка гроза какая! Бумагу эту сообщил нам сам уездный председатель, а он — извините! — человек со связями-с, имеет везде лазутчиков против крючков; в обиду своей дворянки не даст никому, а я у него учу в семействе-с...

— А, так вот как! Вы видели, слышали, господин заседатель? Ответ уже готов и подписан! Я его принимаю не как довод к отказу, а как улику к прежним преступлениям здешних властей...

Заседатель молча поклонился, продолжая мигать оторопелыми глазами.

— Так я повторяю, — начал опять Тарханларов, вставая и выпрямляясь во весь рост, — угодно ли вам, госпожа Перебоченская, без всяких дальнейших проволочек, сегодня же — слышите? — сегодня же к ночи выехать отсюда и все сдать господину Рубашкину?!

— Нет... никогда! Я больна, стара, и притом же...

— В таком случае я открываю присутствие и через полчаса арестую вас силою и под стражей препровожу в город! — брякнул советник.

Заседатель даже привскочил на месте.

Перебоченская задергала опять пальцами, но ни слова не ответила.

— Можете открывать присутствие! — забасили еще неприязненнее Кебабчи, Рахилевич и Хутченко. — А мы будем смотреть...

Наглость всего этого начинала взрывать Тарханларова Он вышел в лакейскую и на крыльцо. На нежных полных щеках его показались багровые кружки. Глаза его затуманились. Он отер платком лоб и сказал заседателю: «Где б нам открыть присутствие и начать действовать?»

— В каретном сарае! — ответил стоявший на крыльце Лазарь Лазарич Ангел, от злости и от расходившейся в нем

греческой желчи уже ставший желтее лимона. — Тут небывалый воровской притон — все штуки идут, как по маслу; ждал я, ждал, пошел к кухне — заперта на ключ; глянул я в окно: пуста — одни мухи бьются в стекла... Я в людскую избу, в конюшню, под сараи — везде пусто. Устроим присутствие в каретнике: там, кстати, стоит какая-то перевернутая кадка... На ней и писать можно...

— Доставайте, господа, из коляски припасы! — сказал Рубашкин, обмахиваясь платком.

— А нам? — спросили обывательские ямщики.

— Распрягайте лошадей и ступайте по домам. Мы отсюда на других лошадях выедем!

Ямщики отправились выпрягать коней.

— Господа, в каретник.

Тарханларов по-прежнему легко и свободно зашагал от крыльца по двору, однако же прибавил:

— Жаль, господа, что мы не распорядились о более значительном числе понятых; кажется, здесь не совсем безопасно! Что это значит? И станового до сих пор нет?

— С одной стороны, тут сущая Татария, Курдистан, а с другой — матушка Русь здесь же, как дома расположилась! — пустился рассуждать вслух Рубашкин. — Мне это приходило в голову еще, как я первый раз сюда приезжал! Ждешь тут, что убьют тебя либо зашьют как раз в мешок, да и в воду! А тут же скворец вон тихо прыгает в клетке, девка белобрысая чулок вяжет, барыня пасьянс в гостиной раскладывает, тупоумный тульский маятник упорно постукивает в лакейской, точно в бессонную ночь где-нибудь на станции, когда ждешь лошадей...

Посмотрели господа в поле из-за конюшни: не было видно еще ни станового, ни понятых. В сарае на полу было множество голубиных следов. Ласточки с звонким криком влетали в щели над воротами и опять вылетали отсюда. Прочный новый тарантас барыни стоял под полотняной покрышкой в одном углу, в другом возвышались развалины старинной кареты. Сметя сор с опрокинутой кадки, заседа-

тель и Лазарь Лазарич приготовили канцелярский бивуак. Тарханларов рассказал заседателю, как ему писать, и тот с дрожащими руками присел с пером и с бумагами на тарантасный сундук к кадке. Прочие все вышли из сарая. На дворе по-прежнему было тихо и не видно живого существа, как на площадях крепости перед последним натиском осаждающей армии.

— Что это заседатель ваш так трусит? — спросил Рубашкин Ангела.

— В переделке был здесь, — значительно ответил Лазарь Лазарич. — Он был в тот самый въезд властей сюда, когда Перебоченская высланному к ней чиновнику особых поручений дала пощечину. Все и скрыли. Чиновник пережадал, да скорее и дал тягу куда-то на север.

— Вот то-то и беда, — возразил Рубашкин, — что все трусят и скрываются; ты побит, и опубликуй сам! Что за стыд быть ударенным бешеной лошадью или дикой киргизской коровой!

Тарханларов почесал у себя за ухом.

— Ну, нет, господа: с нами она этого не сделает А иначе, либо я сам не пожалею с нею сил, либо рапортом донесу обо всем в наготе высшим властям. Что вы думаете? Ведь об оскорблении чиновника на службе... да еще в такой беззащитной глуши. обязаны будут по законам донести лично государю...

— И донесут! Вот меня не раз помяли. Доносили.. Что же? Отписывались! — сказал, крутя черные усы, Ангел.

Тарханларов покраснел. Он долго молчал, прислушиваясь к скрипу пера заседателя.

— Господа! Теперь не зевать! Готова будет бумага, составится журнал первых действий.. Скоро все поспеет? — спросил Тарханларов.

— Составлено, готово все-с

— Подписывайте, господа. А вот кстати, и понятые

Все подписали вступительные бумаги. У сарая во дворе показались первые понятые, так себе, какие-то серенькие переминавшиеся мужички, из поселян поплоше.

— Вот наша верная опора! — иронически подмигнул товарищам на понятых Тарханларов, прочел вслух мужикам бумаги, разъяснил им смысл дела и велел всем смотреть в оба и слушаться строго его приказаний.

— Будете слушаться? — гаркнул под конец советник.

— Будем! — отозвалась кучка понятых, едва шевеливших от страха языками и уныло почесывавших спины и затылки.

— Переписать их по именам!

Заседатель переписал. Подождали еще. Солнце клонилось уже к закату.

— Будут еще ваши? — нетерпеливо спросил Рубашкин.

— Будут, верно... десятские сгоняют с поля! Как не быть! Верно, будут... — ответили понятые, глупо и пугливо переступая с ноги на ногу.

Вдали в поле еще показалась кучка понятых. Ангел крикнул от плетня:

— Еще идут!

— Теперь, господа, прямо в дом! — решил Тарханларов. — Отыщите лом или молоток, если дверь в залу опять запрут, надо будет при понятых выломать, всех из дома взять под арест и скрепить наши меры новым журналом.

Нашли какую-то железную полосу Уже двинулись было к крыльцу, как Лазарь Лазарич, успевший с этой запуганной толпой земских поличных обнюхаться по-своему и перемол виться по душе, шепнул советнику:

— Надо отрядить часть понятых в поле. Один из них сейчас сообщил, что поляк-приказчик этой барыни туда поскакал задами, собирает сгонщиков и намерен, как видно, угнать куда-нибудь с этой земли если не все гурты скота, так табун лошадей или часть овец.

— Что это, сдача или отступление?

— Далеко до сдачи. Спешите!. Это просто одна из азиатских хитростей..

— Кого же послать? Отряд понятых и так у нас мал, а мы и обывательских лошадей отослали по домам! Эй вы, понятые!

Часть мужиков отделилась к каретнику

— За мной, в барскую конюшню. Садитесь сейчас на коней и айда в степь...

Наскоро Тарханларов свернул замок у конюшни, мужики оттуда вывели тройку упряжных лошадей, последних, какие там были, и иные из них уже стали моститься сесть без седел на жирных скакунов.

— Не трогать барских коней! — раздался с прибавкой крупной брани крик с крыльца.

Мужики оторопели. То был голос знакомого им соседа их, прапорщика Кебабчи.

— Садись! — крикнул, в свой черед, советник. — Как вы смеете не слушаться?

— Не садись; убью первого, кто осмелится! — прибавил с крыльца Кебабчи, в патронташе и размахивая ружьем.

Мужики раскрыли рты от изумления и выпустили поводья. Прапорщик Кебабчи с крыльца продолжал ругаться вслух, ничуть не стесняясь присутствием чиновников. Титулярный советник Ангел не вытерпел, сам схватил первую выведенную лошадь за повод, потрепал ее по спине, вскочил на нее и во всю прыть понесся за двор, крича понятым: «За мною!» Двое ободранных мужиков прыгнули также на лошадей и вскачь скрылись за конюшней. Выстрела с крыльца не последовало, хотя Кебабчи довольно решительно и грозно еще там потрясал ружьем. Остальные понятые ожили также. «Все-таки власть! — думали они, теснясь у конюшни, — нас бы тот барин сразу пострелял, а по чиновникам так и не целится!»

Тарханларов приказал понятым идти к крыльцу Кебабчи отступил внутрь дома, а власти с мужиками ступили в сени.

Чиновники вошли в лакейскую; понятые разместились тут же и в раскрытых сенях. Зала была по-прежнему затворена Заседатель попробовал: она была заперта на замок.

— Видите ли, ребята, — начал Тарханларов, — я послан от губернатора, а он назначен властью еще высшей. Я старший чин в правлении по губернии, и мне велено эту барыню взять силой, так как она закона не слушается, а все это имение отдать этому барину.

Он указал на Рубашкина.

— Да мы все это знаем давно! — робко и вполголоса отозвались некоторые понятые. — Только уж как бы нам чего не отвечать!

— Знаете? Тем лучше. Вот и бумага об этом. Барыня заперлась; надо сломать замок. Давайте опять лом... Я разбиваю двери, чтоб вы видели ..

Подали советнику снова железную полосу. Тарханларов нажал ею на замок; дверь отскочила: в зале было пусто. Он заглянул в коридор — везде тихо, ни души. Он поставил часть понятых следить вдоль коридора выход из дома к другому крыльцу, а сам через залу подошел к запертой двери в гостиную. Но едва он нажал лом и на эту дверь, как в нее из гостиной разом что-то навалило и с криком и воплями в залу выскочили сама хозяйка, помещики, ее защитники, Кебабчи и Хутченко, учитель музыки Рахилевич и вся тесноскученная и озадаченная дворня барыни: горничные, повар, батраки, кучер, ключник, даже дворовые дети. Последние взревели, едва дверь отворилась.

— Караул! Разбой! Караул! Грабят! Режут! — заорали господа и слуги.

Некоторые из дворни оказались вооруженными: кто палкой, кто кочергой, одна баба с половой щеткой, кучер с косой, а Кебабчи по-прежнему в патронташе с ружьем.

Тарханларов невольно потерялся.

— Вы, господа, вижу я, всему зачинщики и подстрекатели, — сказал он Рахилевичу, Кебабчи и Хутченко, — вы более всех будете отвечать. Но до вас очередь дойдет после!

Понятые! Слушать моих приказаний! — гаркнул он, сильно повысив голос. — А вы, дурачье, безмозглые, дворня вашей барыни! Вас только перепорят за то, что вы мешаетесь, куда вас не зовут! Ну, чего стоите? Девки, бородачи! Марш по своим углам!

Молодцеватый голос Тарханларова звонко раздался в зале, где вслед за первым появлением домашней засады воцарилась было мгновенно мертвая тишина. Дворня осунулась. Перебоченская стояла в задних рядах, тормоша ридикюль и поглядывая, как крыса, атакованная ловкой и наметанной кухаркой в углу комнаты, откуда некуда было податься.

— Вона! — весело крикнул вдруг Рахилевич, нагло пошатываясь, опять с руками в карманах широких зеленых шаровар. — А вы, ослы, и опешили? Думаете, взаправду это важная птица налетела! Да это не губернаторский советник, а панок из Боромли! Я его в карты обыгрывал, ей-богу! Это Рубашкин его за десять целковых нанял... комедию отколоть!.. Это самозванец! Ведь вы слышали, что тут, на Волге, бывали прежде самозванцы, которых после в железных клетках отвозили в столицы? Это и есть один из таких...

— Понятые, вперед! — гаркнул еще громче мнимый «панок из Боромли», почувствовавший всю бездну, в которую его могли столкнуть, — берите прежде этого господина Рахилевича! Я вам приказываю..

Он оглянулся и невольно побледнел. Понятые не трогались с места.

— Ну, ей-Богу же: вот побожился вам, что это самозванец, и я его отлично знаю! — опять спокойно прибавил Рахилевич. — Не нас, а его надо связать, чтоб шуму-то в порядочных домах не делал.

— Самозванец! Панок из Боромли! И мы его знаем! — добавили решительно и Хутченко и Кебабчи.

Тарханларов, однако, снова не потерялся, хотя первое мгновение для него вышло убийственное, и понятые уже начали было подозрительно посматривать на него самого, помышляя, что «дескать, и одет-то он запросто и мундира

богатого на нем нет, и не при сабле; Бог его знает, кто он такой, а знакомые господа божатся и смеются над ним...».

— Что же вы молчите? — отнесся Тарханларов вслух к стоявшему сзади его заседателю. — Вы здесь непременный заседатель земского суда, вас должны все тут знать, в самом этом доме вы не раз были, а теперь вы у меня под командой... Что же вы молчите?

— Что вы, что вы, — крикнул Рахилевичу заседатель. — Опомнитесь. Какие шутки! Ступайте вон отсюда! — прибавил он дворовым людям Перебоченской.

Горничные отступили первые, за ними наемные батраки: отступление готово было начаться полное...

— Что вы, господин Рахилевич, разве ослепли? — спросил опять заседатель, обращаясь к защитнику хозяйки.

— А ты забыл, собака, что у меня десять пар волов в подарок недавно получил? — шепнула заседателю сзади хозяйка, ухватя его за рукав.

Заседатель стал опять ни жив ни мертв.

— Ребята, взять Рахилевича! — скомандовал Тарханларов и, когда понятые двинулись за ним, сам подступил к учителю музыки и наложил на его плечо руку.

— А, брат! Так вот же тебе что! — крикнул Рахилевич и, как видно обдумав все наперед с товарищами, кинул чем-то мелким в глаза советнику.

Ослепленный Тарханларов рассвирепел, бросился вбок, желая ухватить руками негодяя, но тот ускользнул. И в то же мгновение Тарханларову показалось, что в зале началась непостижимая свалка... Он кое-как выскочил в сени, дорогой обо что-то сильно ударившись виском, долго тер глаза и минуты через три, сквозь слезы усилился оглянуться в дом. Понятые в зале в общей суматохе силились взять Рахилевича; дворня его с ругательствами отбивала.

— Воды, вот вам воды в глаза, — сказал Рубашкин, появившись с девичьего крыльца со стаканом воды, — промывайте скорее! Это страсть, что за вертеп! Боже! Куда мы

попали! Заседателя Перебоченская с девками связала и кричит, что под караулом пошлет его и всех нас в город.

Тарханларов дрожал от бешенства и наскоро стал промывать глаза и ушибленный до крови висок.

— Где Лазарь Лазарич? — спросил он.

— Еще не воротился с поля...

— Велите посмотреть, не едет ли.

Рубашкин распорядился.

— Я ничего не сделал противозаконного, крайнего? — спросил он Рубашкина.

— Ничего... вы действовали пока очень кротко... даже чересчур...

— Слава Богу! Тут как раз потеряешься. Счастье, что револьвера не выхватил из кармана: вот он; в такие командировки я иначе не езжу!

Он вынул револьвер.

— А! Вот и Лазарь Лазарич! Что нового? Без вас дело тут не обойдется...

— Я с поля... гурт отшиб, а табун угнали, должно быть, к Кебабчи, в другой уезд, либо к Хутченко, на соседний хутор. К утру и там уже их не найдем... известное дело: Кебабчи тут первый, как я узнал, конокрад, а Хутченко женат на цыганке и через родичей своей жены сбывает всех ворованных лошадей...

— Где же отбитый гурт?

— Наши понятые гонят его со степи: пастухи и гонщики арестованы. Я собрал еще новых понятых и привел сюда на подмогу. Станового же нигде и не найдут: как в воду канул в своем стане... Как идут дела у нас?

Тарханларов, утираясь, наскоро передал о том, что произошло в доме в отсутствие Лазаря Лазарича; но о виске прибавил, что в этом виноват он сам: ударился о притолок двери.

Лазарь Лазарич недоверчиво покосился на висок советника и стал прислушиваться к шуму в зале. Кто-то там неистово горланил; десяток голосов ему еще безобразнее вто-

рили, а остальные оспаривали этих. Грек взглянул с крыльца на солнце, уже заходившее за сад, и спросил: «Что же? Или еще ожидать? Не распорядиться ли по-нашему, по-былому? Приказываете?.. Еще минута, и нас всех запрут в подвал, а после обвинят в буйстве... Надо ловить время...Вы знаете, что такое наши понятые и настроение их умов в такой глуши?» Тарханларов сказал: «Действуйте!» Шум в зале увеличивался... Тарханларов вынул бумажник и стал наскоро записывать происшествие. Глаза его сильно жгло; висок болел сильнее, Лазарь Лазарич подумал, прыгнул с крыльца, сбегал за ворота, взял оттуда еще кучу приведенных понятых, в числе которых были и два благообразных молодца, один в гражданском пальто, а другой в синей чуйке, и с ними смело вошел в дом.

— Кто это? — спросил Тарханларов есауловского десятского, также подоспевшего к крыльцу.

Десятский уже знал о важности всего происшедшего в доме и без шапки, с палкой, стоял у крыльца.

— Это наши-с, ваше высокоблагородие...

— Ты же кто? Чей?

— Есауловский десятский, а те двое понятых из наших парней.

— Отчего же они одеты не по-мужицки?

— Один, ваша милость, из нашей барской музыки, флейтист Кирюшка Безуглый, а другой — сын нашего приказчика Илья Танцур...

— Зачем же ты привел дворовых? Надо бы лучше было из хозяев, из надежных мужиков...

— Все в поле; приказчика дома нет, я без него не посмел, а эти, почитай, сами напросились, ну, я их и взял! Они так почти у нас мотаются, ничего не делают...

Рубашкин, узнав Илью, догнал его в лакейской.

— Что жена вашего священника? Жива? Я и не спросил о ней за хлопотами в Малаканце...

— Живы! Легче стало от лекарств того барина-с...

— Саддукеева?

— Да-с...

«Господи, — подумал Рубашкин, — вот бы узнать Саддукееву, что тут делается; пожалуй, ста лет жизни мало будет, чтоб все это пережить».

В то же мгновение сквозь шум и гул в зале раздался опять женский визг, а потом общие крики: «Режут, грабят!»

— А! Пошел на приступ Лазарь Лазарич! — сказал советник. — Оно точно, с моею властью я лучше останусь здесь, последней вашей, генерал, надеждой...

Грек тихо вошел в залу, осмотрел присутствующих, наметил среди них зеленые штаны и голубую куртку Рахилевича, кинувшего песком и золой в глаза Тарханларову, и, ни слова не говоря, подошел к нему, обхватил его, поднял от полу и побежал с ним из толпы в сени. Визг и крик провожали его. Рахилевич, сдавленный на его груди, болтал ногами, старался в отчаянии и бессилии зацепиться обо что-нибудь, выбиться из его рук и даже несколько раз метил укусить Лазаря Лазарича за щеку, но тщетно. Бросив с крыльца Рахилевича к Тарханларову, грек опять кинулся в залу. Он прыгал, как кошка, и бешено сверкал налитыми кровью и желчью глазами. Тарханларов, приняв Рахилевича, велел его сейчас же связать чьим-то поясом и стал громко читать наставления бывшим у него в отряде понятым. Эти последние, держа уже такого немаловажного пленника, как Рахилевич, хранили молчание. Сознание сил и своего значения к ним возвращалось. Шум в зале снова усилился. Теперь там гремел или, скорее, ревел безобразный женский голос. «Бей его, стреляйте по нем, стреляйте! — кричала Перебоченская. — Слышите, я все на себя беру!» — «Ружье в кабинете!» — пугливо отвечал голос Кебабчи. «Палашка! Палашка! Где ты? Ружье принеси из кабинета! Убить этого разбойника! Убить его!» — «Веревок!» — не теряясь, заревел толпе Лазарь Лазарич. Толпа не двигалась в зале. В растворенные двери от крыльца сюда заглядывали остальные понятые и также трусили. «Да что же это, братцы? — отозвался в смолкнувшей зале голос Ильи Танцура. — Овцы

мы, что ли? Надо исполнить приказ его благородия! Ведь это царские чиновники!..» — «Надо!» — подхватил из-за плеч Кирилло Безуглый. «Ах, вы, мошенники, сволочь, бродяги! — крикнула им Перебоченская. — Вот и отца твоего, Илюшка, вызову! Палашка, розог!» Илья Танцур молча выскочил на крыльцо, за ним Кирилло; они быстро пробежали к конюшне, потом опять в дом, неся веревки и вожжи. «Да где же Палашка? — кричала между тем уже тише Перебоченская. — Где Палашка?» В зале вдруг стало редеть. Дворня отступала на всех концах. Лазарь Лазарич с кем-то боролся в углу залы, между обеденным складным столом и дверью в коридор; пыль столбом поднималась там от полу; это был опрокинутый грудью к ребру стула Кебабчи. Раздались последняя усиленная возня и сдержанные мужские стоны: «Полноте, мусье, экуте[1]! Что вы делаете? Не троньте меня, отпустите! Ой, пальцы, пальцы! Ногу скрутили, переломите. Слушайте, сто целковых дам...»

— Бассама-теремте-те! — бешено рычал на это, возясь над Кебабчи, длинноусый грек.

Из сеней на крыльцо показалась торжественная процессия. Шестеро дюжих понятых и впереди всех два есауловских приятеля, Илья и Кирилло, красные и в поту, вынесли связанного вожжами прапорщика Кебабчи и положили его на крыльце перед Тарханларовым. Освобожденный от рук девок и баб, заседатель рассвирепел в свой черед и с понятыми из кучи буянов взял Хутченко, связав и ему каким-то полотенцем назад руки. Между тем окончательно вошедший в ярость и деятельность грек решительно преобразился: сыпал полурусские, полугреческие ругательства, сверкал желтыми белками и с пеной у рта метался везде, как тарантул. Из-под расстегнутого форменного сюртука у него Рубашкин заметил какую-то кожаную сумку и на перевязи будто кинжал; чуть ли даже кольчуга не померещилась на греке ге-

---

[1] Слушайте! (*фр.*)

нералу, хотя, быть может, кроме смиренных помочей да заношенной красной греческой фланелевой фуфайки, на нем ничего не было. «Герой Колокотрони, да и баста!» — невольно подумал генерал Рубашкин, глядя на отчаянного грека из-за спины других и будучи сам в свалке сильно помят, храня разумный и спокойный нейтралитет.

— А, мерзавцы! А, ослушники! Так вы за тех, кто не покоряется закону, не хочет знать чиновников! — кричал на дворню Лазарь Лазарич. — Вы ослушивались его?

И он указал на Тарханларова, стоявшего у крыльца в кругу окончательно собранных и готовых теперь на все понятых. Тут уж было их человек под сто.

— Марш все в кухню; вон до единой души из этого разбойничьего дома! Обо всем донесется высшему начальству! Вон, собаки... бассама-теремте-те!

Грек стукнул ногою по крыльцу, на котором, охая, лежал Кебабчи, и дворня, как стадо овец, бросилась кучами врассыпную к кухне и людской.

— Что прикажете делать теперь? — с особенным умышленным почтением и даже раболепием спросил Лазарь Лазарич Тарханларова, вытянувшись и держа руки по швам. — Приказание вашего высокоблагородия исполнено: господа Рахилевич, Кебабчи и Хутченко арестованы; прикажете арестовать и госпожу Перебоченскую? Но смею еще прибавить, что эти два понятых (он указал на Илью и на Кирилла) были главными и лучшими моими помощниками.

Тарханларов важно взошел на крыльцо. Грек почтительно опустился вниз к понятым. На дворе между тем темнело окончательно. Слова «арестовать Перебоченскую» произвели магическое впечатление на понятых, мысливших в это время: «Неужели найдется та рука на свете, чтобы могла покорить и эту бедовую барыню?»

— Сотские и десятские, вперед! — скомандовал Тарханларов, Юпитером рисуясь на площадке крыльца.

Вызванные выступили к крыльцу.

— Разборка тем из вас, негодяи, кто опоздал и кто потом не слушал первых моих приказаний, будет после. Есауловским понятым объявляю мою благодарность. Отчего так поздно сошлись понятые? Сотские! Ваш ответ?

— Мы от станового ничего не получали, а явились по вашим уже повесткам, ваше высокоблагородие.

Тарханларов, желая еще более придать силы своему опрокинутому было значению, крикнул заседателю:

— Записать все это в протокол! — и прибавил: — Отрядить часть понятых на всю ночь в здешний сад к садовым окнам дома, а часть к окнам во двор. По два к каждому окну! Лазарь Лазарич! Вы извольте принять этих господ дворян под собственный ваш надзор на ночь; надо бы их посадить... куда бы?

— В сарай-с... сена туда можно принести для постелей.

— Нет, в людскую... извольте их посадить в людскую!! Господа! Вы отдадите во всем отчет высшему начальству за ваше буйство, за возмущение понятых и за поведение ваше против меня.

— Посмотрим! — сказал по-прежнему развязно, хотя уже тише, юный Рахилевич. — Разве ошибиться нельзя было?

Дворян повели в людскую. Вокруг дома поставили густые караулы.

— Да нельзя ли нас накормить ужином, господин советник? — спросили дорогой, идя под арест, Кебабчи и Хутченко.

— Ужин вам, господа, будет после, в остроге! — значительно перебил их Тарханларов.

— Вот тебе и чи-чи-чи, ко-ко-ко! — шепнул товарищам трухнувший прежде всех и более всех прапорщик Кебабчи, когда грек их запирал на ключ в людской и ставил возле узеньких окон этой избы и у дверей особенно сильный караул, зорко обнюхивая каждое бревно и каждый угол. До некоторых вещей грек, как осторожный таракан в поисках

пищи, даже будто дотронулся носом и концом своих огромных усов.

Сам же Тарханларов, заседатель и Рубашкин с отборными стариками из понятых вошли в дом и узнали от знаменитого дромадера[1] Палашки, под предводительством которой девки связали было заседателя, что барыне дурно и что она заперлась в спальне. Чиновники предложили ей выйти к ним и присутствовать при описи вещей и, когда она отказалась, стали сами производить опись. Рубашкин, все еще потирая себе сильно помятые в суматохе бока и чьим-то сапогом оттоптанные мозоли, не захотел, однако, тотчас принимать дома с прочей утварью, а попросил все опечатать и сдать пока на руки земской полиции, то есть заседателю с сотскими, а Перебоченскую утром отсюда вывезти по точному смыслу инструкций губернатора. Дом и мебель скоро были описаны. Пошли с фонарями в амбары, в сарай, в батрацкие избы, везде. Описали и там все, заставляя сотских считать всякую движимость. Поляка-приказчика Жукотыньского понятые нашли полумертвым от страха где-то на чердаке птични. Он оказался тут же, по собственному признанию, беспаспортным мещанином из Польши, совершенно потерялся, стал просить о помиловании, упал на колени, ломал себе руки, взывал к Иезусу и Марии и вызвался выдать все имущество Перебоченской. Тарханларов, видя эту жидкую на расправу личность, приказал есауловскому десятскому взять мнимого шляхтича на веревочку, как бродягу и наглеца, солившего целому околотку, и в назидание другим водить его так при описании имущества Перебоченской. Комнаты, сундуки, шкап и кладовые, наконец, опечатали. Рахилевич в окно вымолил позвать грека, доказал ему, что без папироски и без еды он умрет, а что без ужина и самим чиновникам плохо будет спать, и настоял на том, что

[1] Одногорбый верблюд (*фр.*).

отыскали-таки в общей суматохе повара хозяйки и заказали кое-какой ужин.

Зала в доме была обращена в канцелярию. Из понятых оказалось двое весьма грамотных, именно те же флейтист Кирилло Безуглый и есауловский садовник Танцур, помогавшие арестовать сильного буяна Кебабчи. Тарханларов их отрядил в помощь заседателю писать копии с журналов, с протоколов и с извещений и для переписки к рукоприкладству по именам всех понятых, которым советник велел также приготовить ужин, и, переписав и накормив их, ни одного отнюдь не отпускать по домам. Садовник Илья Танцур, главный герой после грека в арестовании Кебабчи, оказался грамотнее флейтиста, и заседатель предложил, чтобы он, по отобрании рук от понятых, везде за всех, как это водится, и расписался. Тарханларов согласился. Перья заскрипели; понятых переписали; они расположились у окон, у дверей дома и у людской. Дворня также была вся переписана по именам и с поникшими головами сошлась в кухню шептать о том, каких беззаконий они наделали сдуру и что с ними будет. Грек предложил арестовать до утра и всю дворню барыни. Сперва было Тарханларов это отвергнул, но потом согласился, и у кухни поставили также караул. Перебоченская сидела между тем в спальне, запершись там с горничною. Рубашкин подходил к ее двери в коридоре и смотрел в замочную скважину. Барыня оказалась сидящей перед столом на кровати. Она плакала, верный страж ее Палашка стояла перед нею и также плакала.

— Пойти бы, однако, к ней! — сказал Рубашкин, прогуливаясь по саду с советником.

На дворе была уже ночь.

— Нет, пусть прежде подготовят остальные бумаги. Я предложу ей скрепить все описи ее рукою; если она откажется, то по закону, при особом об этом протоколе, за нее подпишем мы, чиновники, и тогда посадим ее в ее же тарантас и рано на заре за конвоем вывезем с этой земли...

— А как она опять вернется сюда?

— Тогда вам останется обзавестись одним... именно пушками! — сказал, шутя, Тарханларов, ощупывая между тем рукою в кармане брюк револьвер. — И храбро отбиваться от нее, как отбивались тут недавно еще наши предки от предков ныне мирных наших соседей — татар! Едва я ее вывезу, мои полномочия кончатся... Но я надеюсь, что теперь уже она сдастся... Главные помощники ее разбиты и обесславлены в глазах всех теперь навсегда!

Собеседники подошли к краю сада, где стояла голубятня, знакомая Рубашкину. Генерал напомнил об этом Тарханларову.

— Отлично! Надо бы увидеть, однако, эту Фросю! — сказал советник. — Она лицо обиженное; нельзя ли от нее выведать еще чего-нибудь об имуществе, взятом нами штурмом у этой сатрапихи? Надо крикнуть грека!

Грека собеседники нашли у окон людской на стуле. Он сердито сопел и курил из длинного витого чубука. Переговоря с советником, он из кухни в сад прислал с сотским требуемую Фросю.

— Не плачь, милая, ничего не бойся! Скажи, как была эта история у тебя с голубятней?

Горничная ободрилась и все рассказала.

— Есть еще одно дело! — прибавила она, пугливо озираясь.

— Что ты? Говори, не бойся.

— Коли на то пошло, ваше благородие, знайте, все скажу. Пусть не срамят нас... барыня поедом заела всех...

— Ну?

— Барыня через Палашку достала водки и караульных возле дома два раза уже поила. А сама Палашка с каким-то письмом барыни вышла сию минуту со двора, требовала лошадь тут у одного понятого с повозкой, тот не дал, и она пешком полем куда-то пошла. Должно быть, в хутора за Лихим, а оттуда наймет подводу-с...

— Спасибо тебе, душенька, — сказал Тарханларов, — вот тебе целковый. Ступай и все нам говори, что еще узнаешь...

Фрося ушла.

— А! Каково! Вот вам и наши средства, наши силы в подобной глуши! — сказал советник генералу, который между тем думал: «Однако же эта девочка, тово... хорошо бы ее отбить у флейтиста, хоть он, правда, и помог нам тут Поселюсь, увижу...»

Опять поднялась суматоха. Понятых перебрали. Часть их уже была навеселе. Их заменили теми, которые были у амбаров. Лазарь Лазарич донес, что два батрака верхами ускакали также куда-то еще в то время, когда он вязал прапорщика Кебабчи.

— Где этот Жукотыньский? — спросил Тарханларов.

— В погребе, в подвале, я его туда запер.

— Позовите его; надо начать переговоры с барыней. Бумаги кончаются... Поляк запуган, стал уже «падать до ног», так он на свою былую хозяйку может произвести хорошее влияние...

Пошли с фонарем к подвалу. Часовые с дубинками стояли у дверей, но поляк тоже исчез...

— Э, да что же это, наконец, делается? — сказал Тарханларов. — Хвороста сюда! Разложите осторожно костры среди двора. Светлее и дальше будет по двору видно. Фонарей сюда к крыльцу Как тебя звать, садовник?

— Илья Танцур..

— Ну, отбирай руки у понятых. Зови их сюда частями. Слушайте о том, что вы будете подписывать...

Тарханларов шепнул Илье, чтобы тот поговорил с понятыми, и приказал заседателю громко прочесть формальные акты всему ходу дела, первому появлению чиновников в этом доме, буйству хозяйки и ее знакомых дворян, аресту их и, главное, сопротивлению властям и оскорблению советника и других чиновников во время отправления ими своих обязанностей. Понятые выслушали. Илья с Кириллой уговаривали их слушаться советника и не бояться никого.

— Так все тут написано, как было?

— Так.. точно, так, ваше высокоблагородие.

— Давайте руки Илье Танцуру. Согласны? Вы его знаете и верите ему?

— Согласны, знаем его и верим ему...

Понятые, вздыхая и почесываясь, дали руки. Илья за них подписал акты. Были призваны другие из понятых, все сотские и десятские. Подписали, наконец, все.

К Тарханларову подошла какая-то плачущая баба в платке и объявила, что барыня просит его к себе в спальню. Советник попросил Рубашкина, заседателя и грека ждать в зале и явиться к нему по первому зову, а сам пошел к хозяйке.

Он застал ее на диване. Лампада слабо освещала комнату; свечки в комнате уже не было. Со стула возле Перебоченской поднялся какой-то толстый черномазый человек, род мещанина.

— Это кто?

— Извините, что без вас я приняла его: это есауловский приказчик пришел меня, бедную, проведать, Роман Танцур.

— Кто же тебя сюда пропустил? — спросил Тарханларов, думая: «Как это все делается тут? Горничная ушла мимо сторожей; явилась к пленнице снова посторонняя баба, а тут этот приказчик!..»

Роман Танцур смолчал, смиренно потупившись, и только поклонился.

— Господин советник! — начала жалобно Перебоченская и встала, судорожно потрясая ридикюлем. — Мы здесь одни...

— Что вам угодно?

— Вот-с, возьмите триста целковых... прекратите дело.

— Что вы, сударыня! Опомнитесь!..

— Вот возьмите тысячу! Вот, вот... возьмите..

Перебоченская дрожащими руками стала наскоро вынимать из ридикюля пачки депозиток.

— Вы снова оскорбляете меня, сударыня! Я должен донести об этом...

Ридикюль упал из рук барыни.

— Роман, притвори на ключ двери, — шепнула барыня приказчику и кинулась из-за стола.

Ключ щелкнул. Советник хотел крикнуть, полагая, что его сейчас убьют, и выхватил из кармана револьвер.

— Оставьте... Ни шагу с места! — сказал он и взялся за грудь Романа.

— Что вы, что вы! — вскрикнула барыня. — Я не то! Я на колени перед вами, как перед Богом! Две тысячи, пять... если хотите...

Она упала в ноги советнику и чепцом стукнулась об пол.

— Барин, сжальтесь над Пелагеей Андреевной! — прибавил из угла бледный, как стена, Роман Танцур.

В уме Тарханларова соблазнительно мелькнула сумма: пять тысяч... Но разбитый висок и запорошенные, все еще болевшие глаза напомнили ему об испытанных им за час неслыханных оскорблениях. «Пустое! Эти деньги может дать и сам Рубашкин, как оправится, при случае! — быстро добавилось у него в уме, а память подсказала, что в свалке кто-то еще ухватил его даже за шиворот и чуть ли, наконец, он не получил толчка по шее. — Нет! — решил он быстро. — Все надо сделать гласным! И публиковать об аресте буянов, взятых почти на абордаж, слава будет не последняя по службе: да не без того, что и они при следствии станут откупаться!» — прибавило соображение советника.

— Господа! — крикнул Тарханларов заседателю и генералу из спальни, возвышая голос. — Господа, пожалуйте сюда!

Перебоченская билась головой об пол и ловила советника руками и губами за ноги. Он, однако, шагнул к двери, отпер ее, сказал приказчику: «А ты, негодяй, уноси отсюда пятки да забудь навеки, что слышал тут, а иначе и тебя я привлеку к следствию! За твоего сына только тебе и прощаю!» — и выскочил из коридора в залу, откуда готовился ему на подмогу оставленный арьергард. Лазарь Лазарич, заслыша его голос, выскочил на крыльцо и звал опять понятых, сотских

и десятских. В двух словах передал Тарханларов Рубашкину о своем свидании с Перебоченской, остановил распоряжения грека, взял только еще двух-трех надежных понятых, и все вошли в спальню хозяйки. Романа Танцура там уже не было. «Как бы, однако, арестовать ее деньги?» — подумал Тарханларов и сказал грозно, подступая к барыне:

— Сударыня! Пожалуйте ваши деньги! Мы должны их также арестовать для расчета вашего с владельцем имения... Сколько у вас налицо имеется денег?

— Денег? — спросила, изумившись, барыня. — У меня денег нет...

Кинулись к ее ридикюлю, осмотрели комод, все углы: деньги исчезли. Или они провалились сквозь землю, или были переданы в окно во время краткого отсутствия советника из спальни, или их унес есауловский приказчик.

— Знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю! — ответила спокойно Перебоченская на новый расспрос о деньгах, поправляя чепец и опять приняв вид тщедушной нищенки. — Я давно разорена-с... и денег в доме не имею и ста рублей!

Осмотрели окно. Оно было плотно затворено и приперто снаружи ставней. Погнали в погоню за исчезнувшим приказчиком, но не догнали и его.

«Бросьте теперь его; нечего его более звать сюда! — решил советник. — Запрется также, наверное, во всем, а деньги, если их унес, сумеет спрятать!» Внесли в спальню свечи. Грек еще перешарил все углы, в печку даже под заслонки заглядывал. Усы его шевелились, как у таракана. Мозолистые руки дрожали. Кусок красной фуфайки выглядывал из-под жилета, а на затылке торчали завязки съехавшей набок манишки. Сумма, которую видел советник, исчезла. В комоде, однако, нашли в мешочке горсти две медных денег, часть серебра и две депозитки по пятьдесят целковых. Грек поднес их к свече и крякнул. Понятые не отходили от него.

— Гм! Медвежьи, фальшивые-с, из Нахичевани... Где, сударыня, вы взяли их? — спросил грек, бешено вращая белками и подзывая знаками Тарханларова.

— Мало ли откуда попадут. Для косарей мелочь и держала, должно быть, от сгонщиков каких с Черноморья завезли...

— А вы видели, что я точно все эти ассигнации из этого комода вынул? — спросил грек понятых.

— Видели! Мы и развязывали мешочек! — ответили понятые.

Грек показал депозитки Тарханларову. Советник об этой находке велел составить также акт, хоть этому на первый раз он мало, по-видимому, приписывал важности, среди других событий того дня и вечера. Фальшивых ассигнаций тогда множество ходило в том околотке, и розыски о них даже приелись чиновникам. Советник более всего раздумывал о тайных гонцах барыни, прорвавшихся куда-то с ее письмами, и это его, очевидно, беспокоило. Лазарь Лазарич один сразу сильно задумался над случайной находкой и молча прошел в залу. Там он стал шептаться с Рубашкиным.

— Да! — повторил генерал, кончая греку рассказ обо всем, что слышал прежде мельком касательно скорого обогащения Перебоченской на покупке гуртов в Черномории и на ее сношениях с есауловским приказчиком. — Я и сам полагаю, что чуть ли это не новая история; и мне кажется, что этот Роман Танцур и Перебоченская лет десять назад, наверное, прихватили в свою поездку в Нахичевань значительную сумму этих медвежьих ассигнаций...

— Я это все зарублю у себя на носу! — сказал Ангел. — А вы знаете, как мой греческий нос еще длинен, несмотря на то что я значительно обрусел на моей новой родине...

Писав копию с акта о найденных депозитках для немедленного извещения об этом губернатора и жандармского генерала, сильно задумался над этой бумагой и есауловский садовник Илья Танцур.

6*

Тарханларов оставил Перебоченскую, которая, разумеется, отказалась от всего и не подписала ни одной из прочтенных ей бумаг. Он попросил ее только не покушаться на что-нибудь противозаконное и оставил ее до утра, лично еще раз с другими осмотрев, припугнув и ободрив караулы.

Чиновники и генерал наскоро поужинали и бивуаком на притащенном в залу сене легли вповалку спать.

Они говорили что-то долго.

В лакейской на стене пробило два часа ночи. Огни везде погасли. Часовые лежали по назначенным местам в саду и на дворе кучами или прохаживались и перекликивались, как на сторожевых форпостах казаки, ожидая нападения на степ ные пикеты киргизов или кокандцев. А Рубашкин, долго не засыпая и потирая бока и мозоли, думал: «Какой черт, однако, занес меня в эту глушь! Как я мог так скоро подать в отставку, бросить выгодную службу! Чем я тут вознагражу былое, теперь далекое? И как я мог так вдруг решиться? Сорок лет служил, был дельным человеком, добился там почета... всего... уважения и вдруг! Да и проклятое же время! Скольких оно так подмыло и осрамило... Мальчишки! Взрослых как надувают прогрессом... И что подумают теперь обо мне в Петербурге, как узнают все? Вот тебе и степи, и областная практика!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НОВЫЙ РАЗБРОД

VII

«Стойте — не позволяю!»

Настал рассвет.

Едва Рубашкин и Тарханларов успели проснуться и закурить в постелях папироски и разговорились, как у крыльца раздался стук тележки и вошел становой, молодой человек, совершенно белокурый, с красными золотушными глазками и в голубом галстуке, хотя и в форменном сюртуке. Он вежливо раскланялся перед Тарханларовым, который в полусвете едва его разглядел.

— Что вам?

— Я становой-с.

— Отчего вы вчера не прибыли?

— Я повестки вашей не получил, а был на следствии о вскрытии тела и о поджогах с господином исправником. Он поручил по долгу службы просить вас приостановиться здесь с делом о выводе из имения госпожи Перебоченской.

— Ваш исправник два дня как уже отрешен мною от должности! — сказал советник, приподнимаясь под одеялом, пока другие одевались. — Отчего вы до сих пор не оказали содействия по делу Рубашкина?

— Исправник это дело ведет сам-с... Притом же и господин предводитель здешнего уезда ждет теперь в Есауловке

тоже ответа от вас: угодно ли вам оставить этот дом и прекратить следствие?

Советник вскочил.

— Это, наконец, из рук вон! Как вы осмеливаетесь передавать мне такие поручения? Вы — здешняя земская власть, вы, следовательно, мой подчиненный. Как вы смеете шутить со мною? Вы забываетесь, я вас под суд отдам... я... — Тарханларов разгремелся.

Становой ошалел и начал, как говорится, «у волка глаз занимать», поглядывая на присутствующих и глупо играя часовой цепочкой.

— Это все-с предводитель и исправник-с...

— Он в Есауловке? Давно? Он точно поручил вам все это мне передать?

— Ах, да! Забыл еще-с. Вот вам от него, от князя-с, письмо.

Тарханларов взглянул в письмо и расходился еще более.

— Господа! Это, наконец, безумие! Слушайте, что предводитель пишет мне. Он родня, что ли, владельцу Есауловки?

— Племянник его! — подсказал Рубашкин.

— Слушайте, что он пишет:

«Милостивый государь! Вас и все губернское правление ввели в заблуждение насчет личности почтенной дворянки здешнего уезда, подпоручицы Пелагеи Андреевны Перебоченской. Прошу вас поэтому избавить ее дом от ретивости ваших чиновников. Белое черным всегда можно представить; а вас, как благородного человека, обманывают Еще раз прошу вас остановить следствие и вывод из этого имения дворянки Перебоченской. Я все беру на себя. Иначе я буду вынужден, как ближайший защитник местного дворянства, прибыть в усадьбу Конского Сырта, лично приостановить ваши действия и обо всем особо донести высшему начальству. Конский Сырт — помещичья деревня, а не коканское кочевье, и мы с вами не

калмыцкие наездники. Надо и на самой службе помнить, с кем имеешь дело».

Рубашкин не верил своим ушам. В его голове опять упорно замелькали и зарябили разные былые петербургские убеждения: сила закона, святость долга, честь сословий и еще какие-то новые слова, равенство всех перед судом, местное самоуправление, земство. Остальные слушатели стояли также озадаченные донельзя

— Вот вам, господа, что значит эта смесь властей, ведомств, привилегий и всяких перегородок и границ! — сказал Тарханларов. — Вы, генерал, осилили своей правотой суд, уездную и губернскую полицию, добыли себе в защиту главного чиновника из местной администрации, он все распутал, обличил, и что же? Является совершенно постороннее лицо и говорит: «Довольно! Я не хочу, чтоб правда отыскалась!» — и я должен бросить снова все...

На его щеках обозначились багровые кружки.

— Что прикажете донести его сиятельству? — уныло спросил сбоку становой. — И что прикажете делать-с мне самому?

— Вам советую расти, умнеть, приучиться к труду, к делу... а ему? Тьфу, господа, я начинаю глупеть! Теряю всякое сознание. Слышали вы? Я ему говорю: не ваше дело... а он? Хороших становых назначают! И все эти протекции! Вам бы в классные дамы, молодой человек, в женский институт поступить, а не в становые на низовьях Волги. Вас бы я должен сменить, но вы так наивны, что, вероятно, и не поймете, за что это! Оставайтесь; только будьте на будущее время осторожнее.

Становой глупо поклонился.

Вошел Лазарь Лазарич и отозвал советника и Рубашкина в сторону.

— Я посадил на тройку Кебабчи и Рахилевича и рано на заре отправил их в острог, а Хутченко под домашний арест в город, в полицию, и послал от вашего лица об этом нужные отношения к кому следует.

— Отлично! Хоть вы мне помогаете. Благодарю вас: без вас бы и я тут ошалел. А этот заседатель — пешка... Хороших выбирают, нечего сказать!

Советник передал греку предложение предводителя; тот метнул белками на станового и окончательно сконфузил молодого человека.

— И это земская полиция, надежда целого околотка! — сказал шепотом грек. — Неужели вы его отпустите в Есауловку к предводителю?

— Он глуп, совершенный мальчишка! Пусть себе едет!

Тарханларов послал станового к предводителю с таким ответом:

«Приостановить своих действий над дворянами Кебабчи, Хутченко и Рахилевичем, а равно и над Перебоченской я не могу по долгу службы и присяги, об их проступках и преступлениях составлены особые акты и безотлагательно посылаются по начальству. К этим же актам присоединится и письмо вашего сиятельства, доказывающее, что вы, предводитель, всему потакаете и решаетесь, наконец, мне грозить, что остановите высшего чиновника в отправлении вверенного ему следствия над нарушителями общественного спокойствия и порядка».

Не успел становой скрыться, не успели следователи побриться, напиться чаю и распорядиться об очистке залы от ночлега и о приготовлении тарантаса для выезда из дома хозяйки, как в ворота двора влетел во всю конскую прыть шестериком вороно-пегих новый экипаж, и в нем в уланском бессрочном мундире оказался князь-предводитель.

— Стойте, я не позволю! Собрать сюда понятых! — запальчиво крикнул он, еще стоя в коляске, и вышел из нее, нетерпеливо гремя саблей по ступеням крыльца.

Из сеней показался Тарханларов. Сотские замешались, не зная снова, кого слушаться. В глазах их пошли какие-то кружки: то золотая каска, сабля и шпоры им хорошо известного богача и соседа, кавалериста-предводителя; то более скромный вид губернского чиновника, его зеленый воротник

и потертый сюртук, без всяких внушающих уважение касок и сабель. Нетрудно было сделать выбор между этими двумя лицами сотским и вновь созванным к крыльцу понятым, как людям совершенно простым и всегда зависящим от властей ближайших. Они думали, пока предводитель ходил по крыльцу и раздавал новые приказания, отменявшие распоряжения советника:

«Там, этот чиновник, хоть и из губернии прислан и заседателем даже помыкает, а пока до губернии, то этот бедовый предводитель коли не шею поколотит, так цены сбавит у себя же нам на уборке пшеницы и везде, а он цену первый кладет по своему богатому имению»

— Что вам угодно, князь? — спросил, появившись весь бледный от негодования и волнения, Тарханларов. — Опомнитесь, не погубите себя и меня... Одумайтесь, что вы делаете; вы, вероятно, неопытны и законов не знаете.

— Все знаю! — ответил бешено и глухо предводитель седлая нос лорнетом и даже не взглянув на Тарханларова. — Я не позволю попирать всякому... права сословий... дворян. и... и...

Князь вертелся. Нижняя губа его дрожала; сабля звякала о пол крыльца.

— Вы забываетесь, князь! — злобно шепнул советник.

Князь презрительно поглядел на него через погончик эполета и промолчал. Кроме них, на крыльце никого не было.

— Плевать я хотел на всех ваших крючков! — сказал князь и тут же на землю плюнул с крыльца.

— Мальчишка! — прошипел советник, сжимая кулаки и отворачиваясь к стороне амбаров.

Петухи звонко заливались по задворью.

— Бюрократическая пьявка! — сказал будто про себя князь, посвистывая и также поглядывая кругом.

— Так вы меня полагаете втоптать в грязь? — произнес советник.

— Важная птица!

— Хорошо же-с. Теперь берегитесь.

— Посмотрим, экие угрозы. Vogue la galère![1] И я не без силы здесь.

Князь в дом не пошел. Из сеней явились перепуганный Рубашкин, заседатель и грек. К крыльцу с понурыми головами между тем понемногу сошлись снова понятые и дворня.

— Сходите за Пелагеей Андреевной! — сказал предводитель заседателю, узнав его, а на других не обращая внимания. — Скажите ей, чтоб ничего не боялась и что я здесь! Понимаете?

Перебоченская явилась с ридикюлем и в том же убогом чепце. Она всхлипывала. Глазки ее слезились.

— Пелагея Андреевна! — сказал князь, становясь в торжественную позу, отдувая грудь и сквозь лорнет глядя на Тарханларова, как смотрит моряк за семь миль на темную точку в море. — Здесь вышли недоразумения! Я получил ваши письма и обо всем донес вчера же еще губернатору и далее. Не стоит вам действительно оставаться в этом доме: вас эти господа не оставят в покое.

— Послушайте, однако! — перебил Рубашкин. — Я не ожидал, чтоб ваше сиятельство...

— А я, извините, не ожидал, чтоб ваше превосходительство...

— Такое вмешательство со стороны вашего сиятельства...

— Такое посягательство на спокойствие больной дамы и дворянки со стороны вашего превосходительства...

— Где же она больная? Докажите!

Князь поморщился и сказал:

— Ну, генерал, об этом нас рассудят в собрании нашего сословия... — и продолжал, обращаясь к Перебоченской: — Я беру вас не только под свою защиту, но за честь для себя считаю предложить пока вам и свой дом. Никто при мне здесь, даю вам честное слово, не помешает вам открыть

[1] Будь что будет! (*фр.*)

ваши ящики, сундуки и кладовые, так нагло опечатанные, и взять оттуда все, что вы захотите. Земля, положим, принадлежит господину Рубашкину; оставьте ему за то все строения, хоть вы и правы, я в том совершенно уверен. А остальное берите все, все — оно ваше.

— Вы вмешиваетесь в дела судебные! — перебил Рубашкин, также отдувая грудь и принимая журавлиные позы.

— Согласны вы на это? — спросил предводитель Перебоченскую, будто не слыша генерала.

— Согласна-с, но мне бы надо взять еще тут мебели: вот бюро, кресла, зеркала; притом же в амбарах мука есть свежая... веревки, ну и прочее.

— Ну-с, это уже после, это лишнее! — резко заметил предводитель барыне.

— Согласна-с, ваше сиятельство... В таком случае согласна-с... отчего же!

— В таком случае пожалуйте лично со мною; берите ваши вещи, срывайте печати... Я сам их сорву.

Предводитель пропустил в дом Перебоченскую, а сам, обратившись к советнику, спросил с улыбкой:

— Вероятно, протестуете, а?

— Да, протестую и не дозволю. Следствие кончено, и все акты подписаны, понятые дали руки. Вы вмешиваетесь не в свое дело, вы посягаете и на власть судебную, и на административную, полицейскую, не имея ни той, ни другой... Генералу велено сдать все. Прошу вас еще раз не вынуждать меня к крайним мерам и против вас.

— Против меня? — спросил князь и ухватился за саблю.

— Да, против вас! — гаркнул молодчина советник. Тарханларов дрожал от злости

— Вы дали руки, ребята? — спросил князь понятых.

— Дали.

— Это все я объявляю недействительным. Следствие произведено умышленно, а подписано таким лицом, которое само не имеет права быть свидетелем.

— Кем же-с? — спросил советник.

— Воротившимся из бегов после двенадцатилетнего отсутствия сыном есауловского приказчика Ильей Танцуром. Его отец сам просил обратить на это внимание следователей, а вы не обратили.

Тарханларов оглянулся на Рубашкина и Лазаря Лазарича.

— Он воротился добровольно, а убежал еще несовершеннолетним! — сказал Рубашкин. — И сам его отец явил его в земский суд и принял обратно в состав деревни, где он и приписан уже более полугода

— Генерал! — вскрикнул запальчиво предводитель. — Вы тут не судья; будьте довольны тем, что вас водворят, наконец, в доме и в имении, которое к вам как с неба упало, а я свое дело знаю. Понятые, по домам!

— Я знаю тоже одну вещь, ваше сиятельство, и знаю твердо! — ответил Рубашкин. — Дорого вы впоследствии дадите, чтоб ничего этого не было вами сделано и сказано, но будет уже поздно!

— Дудки-с, дудки! — повторил с хохотом князь, ломаясь и лорнируя понятых. — Что, братцы, шепчетесь? По домам! — гаркнул он снова. — Слышите? По домам... Я вас распускаю.

Понятые пошли врассыпную.

Предводитель направился в дом и тотчас же с Перебоченской приступил к вскрытию опечатанных заседателем замков и ящиков. К девичьему крыльцу подвезли тарантас барыни и еще две подводы и стали их нагружать разным хламом.

— Попал же ты, бедняк князек! — сказал заседатель стряпая новый акт о перерыве следствия.

— Сомнительно! — решил, о том же рассуждая, грек. — Положим, всем будет нахлобучка! Ладно, гут и зер гут[1], да что же из того? В главном-то все-таки и эти господа,

[1] Хорошо, очень хорошо (*нем.*).

наверное, будут отписываться от десятка всяких комиссий и комиссий над комиссиями до скончания дней своих, как это делают и другие.

— Я сделал все, что мог! — сказал разбитым и усталым голосом Тарханларов, утирая щеки и лоб. — Более ничто не в моих силах! Она уедет, мое слово сдержано. За сим увольте меня от дальнейших хлопот....

— Благодарю вас от души!

— Теперь и для меня подпишите последнюю бумагу о самовольстве предводителя.

— Извольте!

— Сотские! Собирайте и мне лошадей!

— Готовы-с .. давно собраны..

— Кто велел?

— Я! — отозвался грек. — На всякий случай еще к утру я велел их припасти, боясь, чтобы эти Кебабчи, Рахилевич и Хутченко не отбились дорогой от конвоя и не явились бы сюда с целой армией себе подобных! Ведь это дело тут также возможное...

— Как вы думаете, они скоро доедут до острога?

— Скоро. Теперь власти задвигались. В острог посадят и Хутченко: он дорогой попросил у одного из провожатых хлеба, тот стал резать на перевале, а Хутченко нож у него выхватил, да и ну им фехтовать. Насилу его одолели! Хотел отбиться и уйти...

Тарханларов бережно сложил все бумаги в портфель и взялся за шапку.

— Счастливо оставаться на сельском хозяйстве! — сказал он Рубашкину. — Вообще деревенский воздух иногда дорого достается.

— Куда же вы? Погодите еще чтоб хоть они при вас выехали...

— Не хотелось бы еще раз встретиться с этим князьком-уланчиком. Ну, да нечего делать, останусь для вас. А если он еще скажет дерзость, я и уши ему выдеру. Что их щадить! Или отведу в сторону да и поколочу без свидетелей.

Шелковый тогда будет. Знаете поговорку: в морду — и полюбит! Пойдемте в сад. Посмотрим, как, наконец, выедет эта барыня, что десять лет тут жила своевольно, под видом мнимой болезни. О бедлам, бедлам!

Через час предводитель и Перебоченская уехали. Последняя призвала своих нанятых людей из дворни, всех разочла, объявила им, что они, наконец, свободны, а что она по гроб разорена и убита. За полчаса до их отъезда, к изумлению генерала и чиновников, с земли Конского Сырта погнали гурты скота, табун лошадей и всех овец. Батраки из собственных крепостных людей барыни успели нагрузить несколько возов мукой, зерном, бочками солонины, медом, кожами, мебелью и прочим.

— Вот вам и разочли вас с нею по неоплаченной десятилетней аренде! — сказал Тарханларов, гуляя с Рубашкиным в саду и куря сигару. — Шутка ли, вмешался в дело, порученное мне по указу губернского правления, вмешался в решенный иск по неоплаченной аренде двух тысяч земли, за десять лет!..

— Ничего, хоть угол теперь у меня благодаря вам есть! Я и этим доволен! Прах побери остальное. Начать же вести дело по новым апелляциям, так и жизни моей не хватит!.. Стану хозяйничать и на этом...

— Какое ничего! Да весь этот скот, лошади и овцы по-настоящему ваши. Ведь это проценты на проценты, доход на доход с этой же земли! Ведь это все знают; она явилась сюда без гроша денег!..

Подошел грек.

— Что, господин Ангел? Что вы нам скажете нового?

— Уехали. Пожалуйте в дом!

— Только-то? В опустошенный?

— Пока не больше.

— Как пока?

— Именно-с. У меня бродят разные, знаете, новые мысли в голове; ну, да у них в голове тоже, верно, есть что-то... Призвали перед отъездом сына есауловского приказчика, что

был вчера в понятых и так отлично помог нам повершить все дело, шептались с ним долго, потребовали потом его отца, бумаги и перо, и я видел в окно с девичьего крыльца, как старуха сама что-то писала, а диктовал предводитель. Приказчик же все говорил и размахивал руками...

— Что бы это было? Господин Тарханларов, вытребуйте сюда к допросу этого приказчика, допытайтесь, что это такое, — сказал Рубашкин.

— Э, нет! Теперь уже баста, надоело-с и мне, господа! Я все свое сделал, а более ни-ни. Перебоченская уехала. Засим, Адриан Сергеич, до свидания снова! Надеюсь, что я все исполнил, о чем мы условились в городе?

Тарханларов отказался даже от обеда и уехал с Лазарем Лазаричем, а заседатель остался сдавать окончательно генералу по описи имение и усадьбу, брошенные Перебоченской. Для этого были приглашены в свидетели оба есауловских священника и еще какой-то соседний поволжский однодворец. Описывали опять то, что осталось после наезда князя, до обеда другого дня; причем священники оказались в явном разладе и друг с другом ничего не говорили, а однодворец с заседателем все пугливо о чем-то шептались и пили наливку. Понятна была вражда священников в этом доме: все знали приязнь генерала к отцу Смарагду, а недавняя обитательница Конского Сырта была в дружбе с отцом Иваном. Отец Смарагд еще вчера скрепил своей подписью руку Ильи на всех актах.

К вечеру другого дня Рубашкин, оставшись один, принялся за устройство нового угла. Перевез сюда все свои вещи из Малого Малаканца, а тамошнюю хозяйку нанял к себе пока в ключницы. В опустошенной дотла спорной усадьбе не было видно и слышно ни единого живого существа. Наемные люди Перебоченской все ушли, а пять-шесть человек крепостных людей, уцелевших от бегов с той поры, как бежал столяр и слесарь ее Талаверка, уехали с барыней

в деревню к предводителю. На четвертый день по выезде Перебоченской, когда у Рубашкина прибрался еще более дом и явилась кое-какая своя прислуга, в гостях у него сидел отец Смарагд и разбирал только что привезенные нумера газеты, а сам Рубашкин читал полученные письма. Священник сидел грустный, потому что его жене снова вдруг сделалось хуже.

— А! Письма от Тарханларова, Саддукеева и... это еще от кого?.. Незнакомая подпись!.. Отец Смарагд, не знаете этой руки? Э, есть подпись: от какого-то чиновника, по поручению Кебабчи... из острога! Каково! Хотите, прочту?

Священник бросил газеты.

— Читайте, что они там пишут.

— Слушайте, Тарханларов пишет. Прежде всего его письмо:

«Я уехал от вас не в духе, и было от чего. Зато в городе я ожил. Все мои бумаги приняты губернатором отлично. Он был как громом поражен всеми этими событиями и заметил, кажется, что вы кругом его провели, то есть скрыли от него всю важность возложенного на меня поручения. К счастью, сказать между нами, и у него вышли неприятности с этим предводителем по поводу какого-то оскорбительного требования, и он дал полный ход моим рапортам и протоколам. Князь-предводитель уже сменен по телеграфу из Петербурга. Депеша, говорят, туда шла в двести слов. Будет с севера особая комиссия для следствия над оскорблением меня и других чиновников. Глаза мои и висок освидетельствованы, мне лучше. Я сделался львом в городе благодаря смело вынесенной истории по милости вашего имения. Титулярный советник Ангел, знакомец ваш по этому же делу, представлен к ордену, а я — к получению не в зачет годового оклада жалованья. Лазарь Лазарич через эту командировку входит в силу, и ему, кажется, отныне сдадут все важнейшие следствия по губернии. Я за него очень рад. Он вам кланяется и поручил сказать, что вы скоро о нем услышите снова. Затевает что-то по поводу найденных у Перебоченской ас

сигнаций, но от меня это скрывает пока. Жена моя и новорожденный кланяются вам. Я пишу вам все это откровенно, как новому другу. Надеюсь, что вы и в будущем не обежите моего угла в городе, куда, впрочем, теперь вас, вероятно до конца вашего дела и калачом не заманишь».

— Ну-с, что же пишут из острога по поручению этого Кебабчи? — спросил отец Смарагд. — Свирепствует он по-прежнему или, по поговорке Тарханларова, что «в морду — и полюбит», становится перед вами на задние лапки?

Слушайте! Незнакомая рука пишет:

«Господин прапорщик и кавалер Кебабчи желает здравствовать генералу Рубашкину, а равно тоже свидетельствуют ему и его несчастные страдальцы-товарищи. Что же делать! Пардон! Молодые люди погорячились. Смилуйтесь над ними, простите их, генерал, и остановите это унизительное дело. Мы по гроб жизни ваши добрые соседи и слуги. Слышим, что вы уже водворились в своем имении, а ваш враг, наконец, изгнан. Поздравляем вас, ваше превосходительство, от души! Мы всегда были за вас. Но что же делать? Юноши погорячились и теперь просят пардону: я, Кебабчи, Хутченко и Рахилевич. Пришлите нам денег. Мы вам многое скажем. Во-первых, я, Кебабчи, сообщаю вам тут же, что девушка Перебоченской, Палашка, подала жандармскому генералу письменный извет на господина Тарханларова, будто бы он, губернский чиновник, во время следствия над ее барыней занимался волокитством за женским полом и навеки погубил ее, Палашку... понимаете? Погубил насильно!.. Это скверный извет-с повредить вам и ему сильно может! Во-вторых, я, Рахилевич, вызываюсь, если генерал войдет с нами в добрую сделку, опровергнуть вполне извет этой девушки на почтенного следователя и готов составить лично, не своей, разумеется, рукой, кипу любовных писем, будто бы от разных солдат и лакеев к этой девушке Палашке и представить их в опровержение ее извета в том, якобы ее... Понимаете? Дело это мы можем переделать! В-третьих, я, Хутченко, в случае немедленного моего освобож-

дения через вас, генерал, могу бросить значительный свет на некоторые отношения Перебоченской к есауловскому приказчику по их обогащению, так как мне кое-что известно из их поездки в Черноморье и в Нахичевань...»

Рубашкин стал потирать себе лоб.

— Бросьте! — сказал с омерзением священник. — Бросьте это письмо, не стоит читать далее! Экие негодяи и подлые душонки!

Генерал, однако, спрятал это письмо в стол.

— Но вот еще письмо нашего несравненного Саддукеева. Он поздравляет меня с успехом. Вот его приписка:

«Да, накуролесил ваш трехбунчужный паша, ваш предводитель, вселюбезнейший генерал! Теперь и я подумываю: не сбавить ли со ста лет, которые я стремлюсь прожить, годика этак два-три. Право, прогрессом пахнет. Это я говорю потому, что Тарханларов обработал все дело отлично, вы водворены на место, а несколько негодяев преданы формально уголовному суду. Кажется, и у нас правда начнет скоро брать верх и мы дождемся-таки восхода желанных дней. Армяшка, знакомый вам откупщик Халыбов, едва узнал, что вы взяли верх и что, наконец, живете полным владельцем, хотя и опустошенного, но дорогого-таки Сырта, приехал ко мне и сам предложил дать вам взаймы еще три тысячи, с тем чтобы закладную на мой дом похерить, а вам ему до уплаты заложить за эти пять тысяч рублей всю вашу землю. Гусь не промах! Две тысячи десятин черноземных лугов и степей за пять тысяч! Да нечего делать, и я вам советую принять его предложение. Что подруга нашего Сморочки? Напишите о нем и о себе. Ваш преданный и проч.».

— Слышите? Это о вас! Как здоровье вашей жены, в самом деле?

— Плохо, очень плохо... Надо бы акушерку, доктора... Не переживет она, а у меня денег на это нет. Где я возьму?

Генерал помолчал и стал чесать нос.

— Ну, теперь, отец Смарагд, мы заживем по-соседски, друзьями. Прошу чаще у меня бывать. Вместе вычислим

проект о населении Сырта; начнем тут же с осени вольнонаемное хлебопашество, гурты станем разводить и с своей стороны

— Извольте, извольте! А вы мне книжечек побольше, книжечек выписывайте и давайте читать, если сами не сделали привычки, да и некогда вам будет их читать при хозяйстве...

— Прелесть! Как теперь все здесь затихнет! Мы подберем добрых вольных работников. Наша почва без дурных семян, без плевел; я простонародья ничем не раздражил, я друг всем здесь... Брависсимо! Всяк мне позавидует!

— И точно! — сказал со вздохом священник. — Вы — счастливец. Спешите. Вы уже не молоды. Осень тоже теперь не за горами. Надо достать семян, еще денег. Пашите и сейте побольше.

— Да и старость-то моя не за горами. Авось хоть что-нибудь сделаю тут полезного. Именно денег, денег прежде всего! Еду, завтра же еду в город, заложу армянину всю землю и привезу снова не менее трех-четырех тысяч, а дом Саддукеева освобожу из-под залога. Уж я не стану этих кровных, занятых денег кидать на обеды и балы соседям, как делывали это наши предки, закладывая некогда души своих крепостных в приказы да в советы! Деньги мои пойдут на обороты по хозяйству и только частичкой на самое нужное для дома в этой глуши; закуплю про запас сахару, чаю, муки, хорошей посуды, хламу там разного для буфета и для кухни; еще книг выпишу... это уже, собственно, для вас! Хе-хе! Лошадок добрых куплю, без них в этих пустынях быть решительно нельзя. Правда, отец Смарагд?

— Правда, правда...

— Что же вы так нахохлились опять?

Священник был в волнении. Грудь его тяжело дышала. Пот катился со скулистого, широкого и некрасивого лица. Глаза были опущены.

— Что с вами?

— Так-с, ничего.

— Нет, говорите прошу вас

Священник поднял серые робкие глаза. Они были совершенно тусклы и полны невыразимой борьбы, отчаяния и стыда.

— Знаете текст: «Помяни мя, егда приидеши»? — сказал он бледными дрожащими губами

— Как-с? Что-с?

— Дайте мне, прошу вас, из этих-то новых трех-четырех тысяч целковых, что займете, хоть сотняжку рублей взаймы. Беда-с! В доме свечей давно нету, детям чаю ни крохотки напиться, не на что бабу-старуху нанять, хоть в болезни-то пока походить за моей Пашенькой.

Рубашкин покраснел, однако же достал бумажник.

— Вы меня спасли, первые дали верный совет, повезли в город, даже на овес моему буланому тогда дали, через вас я все получил. Я помню все это... Вот вам... пятнадцать рублей! Более не могу, извините. Берите их как благодарность а не взаймы.

Священник взял деньги. «Фу, гадость! — подумал он, — это за все-то».

— А больше нельзя? — сказал он. — Ведь тут и акушерки не на что пригласить!

Рубашкин, покраснев еще более, подумал: «Эге! Да и ты, кажется, к вещественному падок!» — и отвечал: «Извините, более не могу!» — хоть у него было еще более двухсот рублей.

Священник ушел.

Рубашкин съездил снова в город, заложил откупщику Конский Сырт, взял у него еще не три, а пять тысяч рублей под это имение и остался делать необходимейшие закупки в городе. Он остановился опять у Саддукеева. Беспардонный учитель гимназии оказался с первой их новой встречи еще более в ударе на всякие комические выходки, смешил генерала трое суток сряду, снабдил его кучей городских анекдотов и сплетен и угостил его неимоверным каким-то казачком, который заставил проплясать своих оборванных и запылен-

ных детей, а сам при этом хохотал, как помешанный, закидывая назад огромную голову с большими сквозными ушами и грызя до крови давно обкусанные ногти. На прощание, однако, он сказал генералу:

— В гимназии вышла история; я сболтнул там одну штуку ученикам. Против меня теперь ведут подкоп; не мудрено, что меня и отставят. Тогда, надеюсь, не откажете меня принять к себе хоть в приказчики? А?

— О, разумеется! — ответил генерал, снова краснея, замолчал и уехал надутый, провожаемый маханьями Саддукеева, который даже влез на крышу и на радости выпустил всех голубей.

Явились в Конском Сырте рабочие, явилась и окончательно устроенная наемная прислуга. Рубашкин все приладил в две-три недели отлично. Отделал в особенности с любовью свой кабинет, из окон которого, сквозь главную аллею сада, были видны на скате бугров вся Есауловка и обе ее церкви. По столу и диванам в этом кабинете и в зале, ознаменованной недавними битвами, явились в изобилии деловые бумаги, хозяйственные книги и счеты. Поля зачернели полосами пахоты под зябь. Скупались рожь и озимая пшеница на посев. В двух концах поля стали прохаживаться небольшие соседские гурты скота, пущенные сюда за хорошие деньги до первого снега. Словом, чего желал и добивался воротившийся с чужбины к родному краю и делу Рубашкин, то и случилось.

— Не правда ли, у меня есть дарование организатора? — спрашивал он отца Смарагда. — Я мог бы управлять областью, населять пустыни?

— Кажется, — отвечал священник, — только не мешало бы вам подумать о докторе, когда теперь у вас все есть...

Но Рубашкин об этом не думал.

Не так родина встретила других своих детей.

Осень того года ознаменовалась для высшего круга той губернии усиленными разговорами о двух экстренных комиссиях, сменивших в два месяца одна другую, касательно рас-

следования, доследования и переисследования непостижимого дела: «О десятилетнем невыезде подпоручицы Перебоченской из не принадлежащего ей по актам имения, о командировке туда на следствие советника Тарханларова, о засорении его глаз и о буйстве там дворян Кебабчи, Хутченко и Рахилевича, и о самовольном вмешательстве в следствие местного уездного предводителя дворянства». Перебоченская проживала в уездном городе под арестом в собственном ее доме Тут же недалеко жил и находившийся под следствием предводитель, который вдруг оказался артистом и стал брать уроки музыки и петь, повторяя, что генерал Рубашкин — циник, мясник, вольнодумец и даже на старости лет чуть ли не республиканец и враг всего дворянства.

Допросы переспросы и очные ставки шли своим чередом. Все показания рапортов Тарханларова подтверждались новыми следствиями. Но Перебоченскую кто-то навестил, научил ее, и она отвела одним взмахом пера почти всех свидетелей по следствию и понятых: «Такого-то я обсчитала у себя на работе, такого-то поколотил палкой за грубость мне мой приказчик, а этих секли по моему приказу мои батраки. Все они злобствуют на меня, потому и клевещут». Начали привлекать к делу других свидетелей. Тут-то впуталась, между прочим, в историю о Перебоченской и история о Тарханларове по извету горничной Палашки в его будто бы посягательстве на ее красоты. Молодчина советник, верный друг жены и всегда примерный семьянин, так было опешил от этой новой штуки, что недели три никуда в город со стыда и негодования не показывался. Донос Палашки нежданно вполз в дело, расплодился от всяких справок и надолго затормозил следствие об оскорблениях, нанесенных чиновнику при отправлении его службы. Громкая история Конского Сырта, наконец, начинала всем приедаться. Но на севере чуткие носы стерегли ее и вдруг поддали опять неожиданно сюда такого пару, что губернские головы снова потерялись. Явилась комиссия над комиссией из самого Пе-

тербурга. Делом, как увидали местные чины, не хотели там шутить. Трех буянов-дворян, выпущенных было под шумок из острога на поруки, посадили снова в острог и покрепче прежнего. Князь, отставной предводитель, предложил губернатору дуэль и был выслан за это в другую, более отдаленную губернию, в имение своей жены. Вся эта история вскоре очутилась в неясных намеках в одном сатирическом столичном журнале. Перебоченская долго свободно ходила по улицам в знакомом всем чепце, перевязанном платком, и с ридикюлем. Но вдруг и ее пригласили из уездного города в губернский и тоже поместили где-то на благородной половине при полиции. Лазарь Лазарич Ангел посещал ее поминутно, оставался с нею по целым часам, беседовал, играл с нею даже в карты под предлогом предлагаемых услуг, выспрашивал ее о разных разностях и вдруг уехал в Черноморье.

Перебоченская усмирилась, сбыла куда-то свой скот и прочее движимое состояние, обратила все в деньги, крепостных людей поместила частью при своем хуторе близ Конского Сырта и стала всем говорить: «Не постигаю, почему меня здесь опять беспокоят! Генерал Рубашкин — достойнейший человек. Он мне все простил, покончил со мною, бедной старухой, все расчеты, и даже мы совершили в уезде формальную обо всем мировую. А тут опять крючки подпускают, да еще и не говорят зачем: живи тут, да и баста! Ну, и живу. Благо церквей много; певчие славно поют и есть где помолиться. Что же! Детей у меня нет, капиталец кой-какой был, да и тот я рассыпала за этими несчастьями... Остается умереть в покаянии, в монахини пойти, а заблудших и разбогатевших своих крестьян собрать, найти их всех к новому этому манифесту о воле, что ожидают к весне, и поместить опять тут, либо при доме, либо при хуторе Ведь тридцать семь душ считается всех по ревизии. Авось хоть что-нибудь казна даст за них чистыми деньгами: ведь я малопоместная, безземельная сирота и притом вдова».

Так пела на жалобные лады Перебоченская, собираясь в монахини, а между тем еженедельно толкалась с какой-нибудь новой челобитной в приемные дни у губернатора, и с неизменной холодностью и молчанием, как по рецепту, была им обходима, причем ее челобитные даже не передавались в канцелярию для справок.

— За что же я тут живу? — спрашивала губернатора Перебоченская.

— Увидите! Не скучайте у нас; вы — любительница церквей; посещайте их, молитесь Богу; авось скоро мы и отпустим вас...

Перебоченская осклаблялась, вздыхала, целовала губернатора в плечо и уходила, теряясь в догадках, в отведенную ей частную квартиру, куда ее по назойливости перевели месяца через два из полиции.

Мировая ее с Рубашкиным точно была подписана. Генерал это сделал, чтобы угодить местной дворянской партии, которая было сильно возроптала на своего нового члена. Но было еще не кончено дело о нанесении обид чиновнику Тарханларову. Отчет последней комиссии был передан в местную уголовную палату на ревизию и на заключение. Члены комиссии уехали. Все вздохнули свободнее, и вдруг это дело снова остановилось за пустяком: палата разделилась голосами по поводу признания или непризнания за воротившимся, хотя бы и добровольно, из бегов Ильей Танцуром права быть свидетелем и рукоприкладчиком за всех понятых по следствию Тарханларова. Был послан куда-то далеко, по части законодательной, об этом запрос. С ответом медлили. Дело встало снова...

Но зато расходился отец Ильи. Перебоченская вызвала в город Романа и дала ему заметить, что не худо было бы подкупить его Илью, чтоб тот отказался от своей руки и объявил бы себя неграмотным или сказал бы в новом заявлении суду, что он писал все показания и отбирал руки от

понятых не добровольно, а по принуждению чиновника Тарханларова, причем генерал Рубашкин будто бы даже в него метил пистолетом.

— Нет, на это мой Илько не пойдет! — решил Роман, приехав в город. — Я уж его щупал с этой стороны. Сорванец, как кремень, стойкий!

— Что же нам, душечка, делать? — шепнула Перебоченская, ломая руки и притворно хныкая и заглядывая ему в глаза.

Роман задумался. Желтизна от губ давно стала всходить вдоль его смуглых щек к зорким карим глазам. Он сидел в длиннополом нанковом сюртуке, согнувшись и смотря в землю. Еще перед отъездом из Сырта барыня сказала Илье:

— Помни, подлец, ты губишь меня, но погубишь и своего отца! Откажись от своей руки и от своих показаний!

— Не могу!

— Ну, так знай же: попадешься где в чем-нибудь, своими руками удавлю тебя, а уж не выпущу, слышишь?

— Есть одно дело, матушка Пелагея Андреевна, — сказал, наконец, Роман Танцур, глухо вздохнув и не глядя на Перебоченскую, — да я не знаю, как вам сказать его... Ох! Господи, Господи!

— Говори, душечка, говори! Ты знаешь, я готова тебе во всем помогать; помоги же и ты мне! Что? Говори скорее, не бойся, ангелочек...

Вялые глазки Перебоченской так и бегали, заглядывая в лицо приказчика.

— Ох, матушка, тяжело. Сами знаете! — начал шепотом и оглядываясь Роман Антоныч. — Я был простой мужик, голяк; вы точно меня вытащили из грязи, похвалили моему барину-князю. Ну, вы дали мне весь ход, торговлю; но ведь и я вам дал помощь. Первое время барскими деньгами я вас снабжал; а потом... потом, вы знаете, сударыня, куда мы с вами... вдвоем-то... за деньгами ездили... знаете? А?..

— Тш! — зашипела барыня и, загородив костлявой рукой рот старика, вскочила и дверь квартиры заперла на ключ.

— Никто не услышит нас, матушка; Бог один услышит! Напрасно вы запираете двери...

— Ну? Чего же ты мне грозишься? Ну!

— Ездили мы за деньгами с вами, меняли их... сбывали на скот в Черномории и на Дону, и тут по мелочам... Вы хорошо повели свое хозяйство, в тысячах стали... А я все-таки и теперь мужик мужиком... Ничего не умею, ничего не имею, одно только, что жена в ситцах ходит, да чай мы пьем по пяти раз в день...

— А твои деньги? У тебя свои есть!

— Какие деньги?

— А твои собственные?

— Да вы забыли разве, барыня, что они все у вас в обороте на одном вашем честном слове, а у меня на них от вас нет не только заемного письма, но даже ни клочка расписки или какой бумаги! Умри вы или я, семья моя опять будет нищей... Пора бы вам подумать обеспечить меня в моей же заработанной с вами доле... Сами знаете, что нам в случае открытия одна дорога обоим — в Сибирь...

— Да чего ты, дурачище, орешь?

— Не ору, а вы дайте мне вексель. Умри вы или... откажись... повторяю, мы нищие...

— Да ведь нищими же вы были прежде?

Приказчик вытаращил глаза...

— Да ты чего смотришь? Я, душечка, только шучу! Не пропадет твоей ни одной копейки. Вот тебе Бог! А ты мне только помоги из этой-то беды выпутаться... своего сына все-таки уговори. Нелегкая его впутала сюда в понятые! И где он, мерзавец, этой грамоте выучился?

— В бегах, в бегах! Ох, уж эта воля! Чему в ней они не научатся! Совсем другой воротился, я его ждал вот как! Думал в наши дела, в помощники к себе его взять! Куда! Я вам только не докладывал об этом...

— Что же он тебе отвечал?

— Как мышь, зарылся в саду, хатенку себе там устроил, требует земли, хочет непременно в рядовые мужики идти:

не хочу, говорит, в дворовую сволочь! Просто бунтовал вначале. Насилу я его успокоил...

— Да ты его по старине-то, в том саду, знаешь? Осиль его этак под вечер невзначай или в темную ночь, да и помучь его... розгами или так погрози, будто по-отцовски-то блудного сына убедить соберись... Ведь ты отец, что ты! Как пропускать такое упорство! Он испугается и, может быть, сдастся, особенно под розгами-то; подбери человек трех верных помощников себе... ну, и отваляй его! И лютые собаки на это сдаются... У меня были такие дети, и я их хорошо школила...

— Слушайте же, — сказал Роман. — Заставить его, не заставишь теперь... ничем... а удалить его можно... и навсегда можно удалить... Я знаю такое средство... только вы помилосердствуйте — не пересолите дела... Ведь он все-таки мой сын...

— Ну, чем же можно удалить Илью?

— А вы не напортите, сударыня, дела?

— Нет, клянусь тебе, душечка!

— Ведь вы порох, я знаю, иной раз как вспылите, и я вас боюсь... Хе-хе!

— Да ну же, голубчик, душечка, говори скорее! Видишь, я вся дрожу...

— А денег хоть часть воротите мне?

Перебоченская замялась.

— Сколько я тебе должна всего?

Антоныч достал из-за пазухи, озираясь, затасканный платок, а из него лоскуток бумажки с потертыми цифрами, писанными карандашом. То были выкладки его счетов рукой отца Ивана.

— Вот мы в последний раз считались с вами, мне после считал отец Иван. Я неграмотный, но надеюсь на вас, как на Бога. Вы не обидите меня?.. Я был убогим бобылем и вместе с вами обделал дело... разбогател... и видите ли, как я верил вам, сударыня: все деньги мои у вас...

— Сколько тут? А! Три тысячи целковых. Отлично. Я их тебе ворочу, не бойся ничего... Что я? Разбойник, что ли?

Руки у приказчика тряслись.

— Когда же, сударыня? Ведь десять лет...

— Как кончится мое дело, тогда; а теперь, ты понимаешь, тут такой смут, такой смут! Ну, так как же? Чем можно удалить отсюда... твоего сына? Этого-то мерзавца, Илью, как удалить, чтоб и духу его тут не пахло? Устрой это дело, тогда в нашу пользу порешится и мое, у меня развяжутся руки: понимаешь? Ну... я тогда тебе сразу настоящими деньгами и ворочу мой долг.

— У вас тогда в Сырте было ведь пять тысяч; вы при мне их вынимали и предлагали тому чиновнику... куда же они делись?

— Э! Были да сплыли! Я, душечка, их под платье спрятала тогда, как советник выткнулся в коридор, а потом отдала их предводителю спрятать... Так говори же скорее, что ты надумал? Ну?

Приказчик завернул бумажку опять в платок, положил за пазуху, посмотрел на Перебоченскую, вздохнул и сказал:

— В бегах Илья был долго в Ростове, сударыня...

— Ну? Что же из того?

— Там он сошелся с одним богатым каретником, стариком, тоже из беглых, и жил у него два года...

— Ну?

— Каретник этот богач! У него свой дом, вывеска золотая... Илья и слюбился с его дочкой, Настей, что ли. Пришел только сюда земли, дурак, просить, чтоб жениться и перевезти ее сюда. А если не потакнуть ему, наотрез отказать, он сразу даст тягу туда, только мы его и видели! Следствие это рухнет само собою, а понятых в другом допросе легко будет либо отвести, либо спутать... За это берусь я!

— Слава тебе, Господи! Молодец, Антоныч! Так и поступи! Благословляю тебя.

— Так отказать ему от земли?

— Отказывай и напугай его еще чем-нибудь, понимаешь?..

Приказчик встал.

— Кто же этот каретник, откуда он? — спросила, крестясь, барыня.

Роман запнулся. Множество разнородных ощущений боролись в нем: боязнь потерять нажитые деньги и страх окончательно погубить сына, желание угодить Перебоченской и недоверие к ее алчной, холодно-жестокой и мстительно-мелкой душонке.

— Ну? — добродушно спросила барыня.

— Это ваш-с... бывший столяр, Пелагея Андреевна. Талаверка Афанасий, — брякнул старик и сам не понял, как он это сказал.

Перебоченская позеленела и ухватилась костлявыми пальцами за стол. Комната в ее глазах заходила ходуном. Под ложечкою стало ее сосать что-то жгучее и вместе сладкое. А в мыслях пронеслись слова: богач, каретник, ее беглый столяр, новая нажива, отместка за прошлое, новые кляузы, новый случай молить власти о помощи.

— Талаверка, ты говоришь?

— Да-с.

— Афонька Талаверка? Что спьяну в меня когда-то бросил молотком в кузнице и убежал?

— Он самый, сударыня! Только вы его-то оставьте в покое — он к делу не идет, и не беспокойтесь очень...

— Как же он теперь там зовется в Ростове?

— Я все подслушал однажды ночью, видите ли, как сын товарищу там одному про свое бродячее житье рассказывал.. И как не подслушать? Вижу, дружится Илья с сволочью, я и ну за ним следить, да чуть собачка каторжная не выдала, как я из-за кустов слушал его...

— Полно балясы-то точить. Как этого каретника-то там зовут? Ты мне имя его скажи... имя... слышишь?

— То-то... я все подслушал и помню... на вывеске над его заведением будто бы «*Егор Масанешти*» написано. Как будто он выходец из Ясс, что ли; так и в полиции он отмечен. А он доподлинно ваш бывший самый этот Талаверка Вот к нему-то опять и можно сплавить Ильюшку...

Перебоченская спокойнее опустилась на диван, понюхала табаку, с тупым вниманием обтерла платком влажные пальцы, бравшие табак, еще посмотрела на Романа Танцура и задумчиво-отрадно уставилась глазами в пол.

— Все теперь, сударыня? — спросил приказчик, почтительно встав.

— Поезжай домой себе, душечка! Ты теперь уже пока не нужен. А насчет денег извещу тебя как-нибудь...

— Пожалуйте ручку поцеловать, сударыня...

— На...

— Как воротите деньги, брошу моего барина, откуплюсь или просто уйду и заживу где-нибудь в Москве или Киеве купцом... Как бы не попасть еще под ответ перед князем! Бог с ним, оставлю его.

Роман еще постоял.

— Чего же ты, миленький, стоишь? Иди себе, поезжай домой. Прощай! Нужно будет, так в город опять к себе позову; теперь еще пока сама не знаю, куда склоню голову. Подожди...

Приказчик уехал. Перебоченская вскочила, всплеснула руками, упала перед иконами, долго молилась и тут же пригласила к себе квартального. Она рассказала ему о нежданном открытии местопребывания беглого ослушника и своего слуги Талаверки, написала явку и требование о нем в ростовскую полицию, а квартальный задним числом и месяцем эту бумагу скрепил своей подписью.

Роковой пакет полетел к югу. Зашевелил он в разных местах усердную на этот счет полицию. Заскрипели перья, помертвели давно счастливые и спокойные души, и закапали горькие и безнадежные слезы. Следствие пошло сперва в Ростове, но потом справки перекинулись в саму Бессара-

бию... Кончался южный мокрый, противный январь; наступал февраль.

Весна рано была готова дохнуть из-за бугров и долин с юга. В Петербурге также ожидалась весна. Печаталось Положение о воле народа. Втихомолку передавался волшебный слух, что скоро выйдет манифест. Высшее общество тревожно приглядывалось к газетам. Низшие классы были по-прежнему спокойны и не ожидали ничего особенного.

С юга, от Азовского моря, уже летели журавли, утки, гуси и цапли. Половодье начиналось во всем разгаре.

Вдруг из Ростова явилась в уездном приволжском городке и скоро стала известна в ближайшем околотке полученная на имя Перебоченской одна радостная для нее бумага. В то же время, совершенно по другой причине, губернский сыщик, титулярный советник Ангел, возвращаясь с Черноморья, завернул в Есауловку, зашел под дом в княжескую контору к приказчику Роману Танцуру, попросил рюмку водки, закусил, поболтал с Романом, выразил удивление, отчего с ним не живет такой славный парень, как его сын Илья, и пожелал его снова увидеть. Илью позвали. Под каким-то предлогом грек выслал из конторы Романа, потом его жену, а там и Власика и спросил Илью:

— В бегах ты бывал в Нахичевани?

— Бывал-с...

— О резчике печатей Крутикове слышал?

Илья замялся, но ответил, что слышал. Грек более его не расспрашивал.

VIII

Посланцы от народа

За несколько времени перед тем, а именно в августе, когда Перебоченская навсегда оставила усадьбу Конского Сырта и в ней поселился генерал Рубашкин, Илья позвал

Власика в сад помочь ему до заката солнца обобрать по приказу матери, на варенье какие-то ягоды. Власик подошел нахмуренный.

— Что ты дуешься, Влас?

— Батька твой опять прибил.

— За что?

— Так, здорово живешь.

— Не может быть!

— Не впервой. Ухватил ручищами за вихор и ну трепать. Видно, ты его рассердил, что ли, дядя Илья..

— Что же ты?

Власик с важностью подбоченился, поднял камешек, помолчал и ухарски швырнул им в деревья по воробью.

— Не бросай, в окно попадешь.

— Эвона! Постой ты еще, стоглазый! Весной убегу..

«Как люди меняются! — невольно помыслил Илья, в фартук и в миску собирая ягоды. — Когда-то отец был бобыль, кроткий такой, меня же научал уйти; а теперь и у него такой же мученик на потехах живет... как я был у немца».

— Помоги, Влас, кончить. Мать заказала ягод собрать. Надо непременно до сумерек кончить. Мать тебя не обижает? — спросил Илья. — Как ты заметил?

— Да была допрежде хорошая, чаю пила только много; все мучился я над самоваром; а теперь на водку наседась и вот как дует· напьется и упадет спать... И с чего зачала пить твоя мать, не знаю! Сам-то он про то тоже не знает, а придет иной раз злой, либо меня хлестнет, либо ее за косы сейчас. Что! Скот, а не человек. Убегу и я, дядя Илья, как ты; право, слово...

Вечер между тем разыгрался чудный. Отдав ягоды матери, Илья вышел на поляну сада и сел под деревом. Опять перед ним выяснились в отблесках зари по луговинам, обступая Конский Сырт, знакомые лески: ближе Дятловский липняк, далее Соловьиные верболозы, еще далее Кукушкины кучугуры и другие. Илья сидел, следил, как сад и окрест-

ности меркли и тонули в наступавшей темноте, и думал о далеком донском городке, о Насте и о Талаверке.

«Что-то она, бедная? Чай, ждет меня! Хоть бы письмо какое отписала о себе!» По дорожке раздались шаги. То был опять Власик.

— Дядюшка Илько, там вас кто-то спрашивает.

Сердце у Ильи запрыгало.

— Кто?

— Я в вашу хатку их привел за садом.

— Кто же там такие?

— Трое каких-то. Два старые-престарые, а один молодой, точно барин или богатый лакей. Идите, а я в контору скорее: еще бы не спохватились меня. Я уж давно за двором с ребятишками по селу бегаю...

— Никто их не видел?

— Никто. Вот еще; разве я-то скажу или выдам кому тех, кто к вам зайдет? Не на таковского напали...

Власик опять изо всех сил чем-то швырнул в темные кусты и, заложа руки в карманы, плюнул, как плюют за трубкой кучера. Илья пошел в хатку. Скоро там раздались тихие, но дружеские голоса, которые и услышал было, идя к сыну, приказчик Роман. Роман побродил возле хатки, где светился огонь, и пошел обратно в контору, решившись с сыном объясниться окончательно и раз навсегда наутро. Роман, сам не зная почему, перед сыном терялся и был не в своей тарелке.

— Угадай кто? — грустно сказал навстречу Илье шамкающий голос старика впотьмах, когда Илья торопливо пробежал садом и вскочил в сени хатки.

— Не знаю...

— А отчего мужик дешев?

— А входите, входите, узнал! — сказал Илья.

Илья кинулся зажигать жировую плошку. Гости вошли.

— У тебя тут никто не подслушает, Илько? — спросили старики. Илья вытащил за шею из хатки собаку, рычавшую на гостей до надсада, пустил ее в сад и сказал:

— Говорите все, вот мой сторож! Она не подпустит сюда никого...

— Как дела, Илья? — спросил Гриценко.

— Ничего. Ваши как?

— И наши ничего...

Гости переглянулись

Встал бывший квасник.

— Я перед тобою винен. Как ты шел сюда, вижу, парень молодой! — начал он, переминаясь и не смотря на товарищей. — А на последнем привале, под городом в шинке я узнал, что отец без тебя в приказчики попал... Скрою от него, думаю, и скрыл... А тут, помнишь, у тебя гнедой конек был... Думаю, отец-то у него теперь его заграбит, ну... подсмотрел, как ты его тогда в леску-то привязал, да ночью подобрался и украл его...

Другой старик покачал головой.

— Это ты... это не след!

Квасник продолжал.

— Прости, паренек, украл я, что делать! Ты шел на хорошие хлеба к отцу-приказчику. А меня дома жена, ведьма злющая, ждала; семнадцать годов ее не видал. Сказано нам было на вольнице: идти домой; я и пошел, как и все. А с чем манифеста дожидаться? С чем на землю-то эту сесть? Я вот конька-то твоего и продал доброму человеку и — прости, брат!.. — деньги взял. Мир узнал и велел тебе все сказать...

— Ты его, Илько, прости! — подхватил сапожник. — Поумнеем мы все, он тебе воротит деньги.

— Ей же-ей, отдам, приди, хоть с жены платье сниму, а ворочу тебе. Она же теперь, ведьма, от радости, что я пришел, чуть наседкой не квокчет и даже сдуру забрюхатила, кажется... Слушается поэтому...

— Ты, Илья, скажи, однако, мы пришли от мира к тебе: ничего там этого еще нет сверху?

— Ничего. Я бы вам, отцы родные, сказал.

— Ей-богу, ничего?

— Ей-богу.

Сапожник почесался.

— Тебе мы верим. Ты грамотный и с отцом не якшаешься. У нас везде уж, как говорим тебе, про тебя стало слышно, меж молодых и старых. К нам за Авдулины бугры перелетела весть сразу от ваших, что тебя ваш мир полюбил. Мы пришли, чтоб узнать все дело: нет ли чего в газетах или манифест не выслан ли к попам? И поклониться тебе от нашего миру.

Оба старика встали с лавки и поклонились Илье, который покраснел от удовольствия.

— Ничего, братцы, еще нету главного, ничего; я бы знал. Повестки в экономию из стана сюда все лето я отцу читал, а от хороших господ ничего не слышно. Священник от меня тоже бы не потаился; он про все мне говорит; да и генерал Рубашкин за услуги мои, ждать надо, теперь не потаится. Люди все важнейшие и отменные.

— Так, так. Подождем еще.

Посланцы пошли к сеням.

— А записку ты ему отдал? — спросил сапожник квасника.

— Ах, да, брат, и забыл... хворал я долго это; памятью ослабел.

— От кого?

— Из Ростова! Там у меня брат ходил по паспорту у купца в сидельцах; он у одного каретника побывал и сюда прибыл. Там одна девушка и передала эту записку... Вона, цела: гляди, к тебе ли? Ты грамотный, ты и разбирай.

— Ко мне, ко мне! — сказал Илья радостно, читая надпись и угадывая, от кого было письмо.

— Проводи же нас. Да придержи собаку! — сказал сапожник.

— Идите.

Илья проводил гостей за канаву на Окнину, посоветовал им, как осторожнее миновать улицу возле барского двора,

7*

чтоб не наткнуться на его отца, и кинулся с замирающей душой снова в пустку.

Илья взял от иконы восковую свечку, зажег ее в помощь плошке, опять припер двери и стал читать.

Письмо было от дочери Талаверки, писанное четкой красивой рукой. Настя писала: «Сердце мое, лапушка, жизнь и суженый мой верный, Илья Романыч! На кого же ты покинул меня? За что стрелами такого молчания пронзаешь меня, бедную? Помни, припомни наш садок, вспомни ноченьки, как мы с тобою гуляли по саду. Меня ничто не занимает, окромя тебя. Скоро ли ты за мною приедешь? Не смотри, что я в ситцах хожу; тут все девушки, даже в деревнях, в ситцах ходят. А батюшка хочет, чтобы мы с тобою на деревенское хозяйство, на хлебопашество сели, и я готова, пока жива; в поле пойду, серп возьму; не истомятся мои рученьки, не обсекутся об траву мои ноженьки, лишь бы ты со мною был. И ставь хату на той самой Окнине, про которую ты, Илюша, отцу сказывал. Отец стал хворать что-то; стар становится. Работа, однако, идет хорошо; сами чиновники нас уважают. Тятенька делает карету главному тут по всяким делам барину в полиции. Пиши и ты мне. А переписывает тебе за меня это письмо Аверкий, ученик булочницы, той вдовы сын, что из мещанок. Он читал мне все письмо, и я рада: он поместил все, как я ему говорила, и ничего не пропустил. Твоя по гроб любящая невеста Настасья».

Долго сидел над этим письмом Илья. Восковая свечка давно догорела; догорела и жировая плошка. Он и хлеба куска на ужин себе не отрезал. Перекрестился, вздохнул и лег на прилавок, не раздеваясь.

«Слава тебе Господи! — думал Илья, засыпая почти на заре и перемыслив разных разностей с целый короб. — Грамота-то мне как пригодилась. Недаром выучил немец! Хоть этим его добром помянешь! Мир заметил меня; надо же честью послужить миру Лишь бы случай был!»

Бодро встав утром, Илья принялся с сапкой за прополку барской капусты.

Вдруг в саду показался его отец... Роман Танцур давно уже почему-то собирался поговорить с сыном.

«Пойду, окончательно поговорю с Ильей, напугаю его, а коли не сдастся, то уйдет прямо в Ростов и следы скроет». Так думал Роман Танцур, когда увидел, что Перебоченская окончательно оставила Конский Сырт. Хотел он с ним поговорить еще накануне, но узнал от жены, что у Ильи в хатке какие-то гости, которых видели тут теперь впервые. Хотел он сразу пугнуть и этих гостей, погрозить сыну, чтоб не пускал в барский сад всякую сволочь, хотел и подслушать из-за кустов толки сына с гостями: не были ли это воры? Но собачка Ильи до того навострилась и озлилась в последнее время, что как раз могла его открыть и осрамить перед сыном и чужими людьми. И так уж его дозоры крестьяне звали волчьими, а его самого стоглазым. Он решил подождать, и, когда вечером, отдавая ягоды, сын зашел к матери и столкнулся с отцом под барским домом, Роман сказал сыну: «Тебя вчера просила барыня Перебоченская отказаться от тех бумаг, на которые нелегкая тебя натолкнула; ты не уважил ее просьбы и моего желания. Теперь слышу, что тебя опять звали вчера уже поздно вечером заседатель и генерал. Правда ли это?» — «Правда.» — «Зачем?» — «Еще там одну бумагу подписать». — «Смотри, Илья, чтоб не дописался до чего. Какой бес носил тебя туда в понятые? Жаль, что я ездил на пристань, а дурак десятский так тут без меня напакостил. Чего ты там все возишься с господами!» — «Звали по делу, а общество доверило мне все свои руки; ну, я за него и писал!» — «Ох, уже вы, бесштанники, голыши, с вашими обществами!» При этих словах кто-то из посторонних подошел к ним, и разговор на этом оборвался.

Наутро Роман застал сына за работой в саду. Илья, обрадованный радостной вестью о Насте, пел вполголоса.

— Вот как! Поешь! — усмехнулся приказчик, искоса поглядывая на сына.

— Пою.

— Брось сапку. Надо поговорить.

Илья поднялся от гряд и вышел ближе к дорожке. Увалень и тихий от природы, он за несколько месяцев жилья в Есауловке стал еще медленнее и суровее.

— Слушай и не пророни ни единого моего слова. Я давно слежу за тобой. Ты пришел сюда; я тебя принял, заявил о тебе полиции, пустил тебя в барскую деревню, а ты шашни везде завел? Против меня идешь? Против господ, которые меня любят и отличают? Это что значит? Отвечай!

— Я пришел к миру, к обществу, а не к барину и... не к вам, батюшка...

— Вот как! Ах ты, щенок! Да я тебя в плети; гаркну на сотских, свяжу тебя, положу и отдеру...

— Стара штука, батюшка. Не за что!

— Что? Как? Что ты сказал мне, молокосос?

Роман кинулся к сыну. Илья быстро отступил и крепко сжал в руках огородную сапку.

— Да ты кто? Сын ты мне или нет? К миру! К мужикам? Вот как! Не бывать же этому вовеки: ты сын мой, и я записал тебя в дворовые в поданной сказке, с явкою о тебе в палату. В мужики я тебя не пущу...

— Сын я вам, да только не дворовый. Я родился, когда вы, батюшка, еще в селе жили, на Окнине... все-таки в составе здешнего общества, а не в дворовых; тогда, как вы еще не помыкали миром, не пили христианской крови, не секли своих же братьев, мужиков... не мучали Власика-сироты... вот что! Грех вам, батюшка!

Роман почернел от бешенства и, не помня себя, снова кинулся к Илье.

— Не замай, батько! — сказал вдруг Илья, понуря голову и также став из бледного темным. — Теперь меня не трогай! Я не ручной тебе и даром не поддамся... Руки теперь твои, батько, на меня коротки!

Приказчик уставился испуганными глазами на сына и стал бессмысленно шевелить губами. Он никак не ожидал такого отпора.

— Руки мои на тебя коротки?

— Коротки...

— Вот как! Когда же они укоротились?

Илья молчал.

— Да где ты вырос такой, пакостное зелье, щенок?

— На воле, батько, на воле... Одумайтесь и вы: вспомните прежнее свое житье. Другие времена пришли, батько, другие... не губите своей души.

Голос Ильи из сурового и глухого перешел опять в мягкий.

— Эй, Илько, берегись! — крикнул Роман. — Ведь я здесь за князя всем управляю... Знаешь ли ты, собачье твое отродье, что я станового могу вызвать? В тюрьму могу тебя засадить; пропадешь ты там, как блоха, вот что!

— Миновалося ваше панство, батюшка! — ответил спокойно Илья, тряхнув черной кудрявой головой и снова опустив в землю глаза. — Не то, говорят, давно на стороне...

— Что же говорят-то, что говорят на стороне? Что хвастаешься, поросенок? Ты лучше покорись, не слушай дураков, иди ко мне в контору да помоги отцу счеты сводить, барские деньги в толк привести, письма к его сиятельству за границу надо готовить о смутах да о дурачествах вашего же брата... Что говорят-то? Отвечай!

— Много говорят, да не вам я, вижу, то слушать. И потому... я знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю; а мое дело пока... сами знаете... барский сад.

— Вон отсюда, вон! Чтоб твоего и духу тут не пахло! Вон! Ступай на деревню...

— Давайте мне хату на селе, так и пойду.

— Не будет...

— Давайте хоть место да лесу! Сам построю с добрыми людьми.

— Не будет тебе, собака, ничего! Вон! Вон с глаз моих, хоть в Ростов.

Роман еще крикнул и пошел. С конца дорожки он, однако, воротился. Илья опять чистил грядки.

— Илья! — сказал приказчик несколько мягче. — Слушай, как мне не сердиться? Вон ты какой стал! Рассердил меня так, что я чуть тебя не поколотил. Не думал я тебя такого встретить, как ждал да высматривал тебя из бегов домой. Не груби мне больше, эй, не груби, а не то побью при всех.

— Ну, еще померяемся! — глухо проговорил Илья, опять бледнея. — Особенно берегитесь, не советую меня тронуть при людях, на миру! Хоть грех будет...

— Ого! Какой храбрец нашелся...

Приказчик притворно усмехнулся, сам между тем не веря ни своим глазам, ни ушам. Илья стоял перед ним с полновесной сапкой в руках, и, кажется, все в нем говорило: «Эй, батько, не тронь меня; довольно с тебя и Власика; не то и я тебя поколочу!»

— Так слушай же, Илько! Оставайся тут; изволь, я согласен. Стройся себе на Окнине, бери землю... дам тебе и лесу... Не хочешь помогать отцу, так Бог с тобой. Только сделай одно дело.

— Какое?

— Прошу тебя — слышишь? — прошу! Я, я, твой отец, прошу тебя, кланяюсь тебе...

— Какое же там дело у вас?

— Откажись от своей руки в тех бумагах, что ты против той барыни подписал...

— Так и вы, батюшка, про это просите? — прибавил Илья, усмехнувшись. — Ну разве это можно? Если уже меня судьба натолкнула на это дело и я не гадаючи с Кирюшкой впутался туда — так тому и быть... Все про то уже знают, огласка везде пошла... Мир не шутка, чтоб с ним баловать!

— Опять мир? Пропади он! Слушай, Илья, сердце у тебя было доброе... Откажись, объяви, что тебя принудили

и принудили с тобою всех понятых. Не погуби и меня... Илько! С той барыней все мое имущество связано: у нее все мои деньги, без записки, на хранении. Хоть малость там, а все-таки тебе же останутся. Где нам снова от господ нажить? Пропадет она, пропадут и эти мои деньги! Откажись, сын; я тебе сам... барщиной... хату-то поставлю... и волов тебе, и корову, и овец на хозяйство дам... к князю про твои заслуги напишу...

— Отказаться от своей руки я не могу, пока жив...

— Прошу тебя, Илья, еще раз прошу тебя и кланяюсь!

Роман поклонился сыну в пояс.

Илья схватил в руку горсть земли.

— Вот вам, батько, клятва! Видите? Землю ем, коли лгу: изломайте во мне все косточки, изрежьте мое тело на куски, а я от того, что показал за себя и за мир в том деле, не откажусь!

Он взял в рот земли и, обернувшись, с сапкой через плечо, молча пошел к пустке.

— Так будь же ты проклят, собака, — крикнул ему вслед отец, — не хотел покориться и пожалеть родного отца, пропадай сам и с своей невестой. Я все знаю! Все слышал, как ты своему любезному приятелю Кирюшке Безуглому рассказывал. Знаю все твои дела и похождения. Убирайся на Окнину; стройся. Созывай соседей, кланяйся миру, пусть тебе помогают! Даю и барский лес тебе на хату. Отказать не могу; идешь в мужики. Только помни: соком тебе выйдет треклятое отродье твое, и эта Настя Талаверкова, и ее бродяга-отец...

Долго раздавались в кустах сада угрозы Романа. Илья порывался воротиться к отцу, кинуться ему в ноги, просить о прощении, лишь бы тот не мстил Талаверке. Но упорство взяло верх. «Не посмеет он донести!» — подумал Илья и не вернулся к отцу. Он пришел в пустку, бросил об пол сапку, уложил в узел кое-какие вещи и пожитки, в том числе бережно снял от икон картину покойного Саввушки; положил все это на залавок, запер дверь на замок, свистнул на собаку

и, перескочив через канаву на Окнине, пошел в винокуренный завод, где помещались начинавшие со скуки буянить музыканты, к Кирилле Безуглому, а оттуда с верным другом на совет к отцу Смарагду. Он решился тогда же бросить и сад, и пустку.

Священник сверх ожидания дал сильную головомойку Илье. Он стыдил его за непочтение к отцу, советовал идти просить у него прощения и вообще помириться с отцом. Священник был очень грустен и, между прочим, сказал:

— Что же Роману уж так хлопотать для Перебоченской?

— Нет-с, ваше преподобие, — перебил Кирилло. — Позвольте-с, я слово доложу... Фрося... значит, тоже моя любовница-с, извините... а больше того, невеста моя, горничная этой барыни. Когда Перебоченскую уже совсем увозили, эта Фрося прибежала ко мне там в овражек в поле, обняла меня, извините, и говорит: «Коли меня барыня к зиме или к весне за тебя от себя не отпустит, так ты, Кирюшка, проси о том Романа Антоныча... Это такой сильный человек у нашей барыни, такой сильный, что другого такого у нее и нет... Я часто в щелочку смотрела, что они, запершись, делали». — «Что же они делали?» — спрашиваю. «А вот, говорит, что: он считает ей ассигнации, а она все их пачками связывает. Такая пропасть, бывало, лежит это перед ними на столе. И должно быть, он где-нибудь ей их менял... Как они еще в Черноморию ездили, я была маленькой девочкой и барыня брала меня с собою. Туда они ехали почти без денег; у барыни было немного денег на покупку скота; а из Нахичевани они вывезли целый сундучок денег и все тут считали...» — «Откуда же это все ты подсматривала?» — спрашиваю. «Из кладовой, что возле спальни барыни: там не стена, а тоненькая перегородка и в перегородке такая щелочка, что только пруток продеть; оттуда я все и видела». Так вы насчет дружбы приказчика нашего с этой барыней не сомневайтесь! — прибавил

Кирилло Безуглый. — Как у них богатые такие счеты между собою, так он не задумается ей когда-нибудь угодить и Талаверкою! Это так!

— Что за чудеса, однако, рассказывала тебе эта Фрося! Слышишь, Илья, — спросил священник, не предвидевший с Ильей еще ничего о том, что Роман все расскажет Перебоченской и что поиски Талаверки уже начались...

— Слышу.

— Что же ты на это скажешь!

— Ничего не знаю, батюшка, ей-богу. И меня не раз брало раздумье: откуда разбогатела Перебоченская а с нею и мой отец? Что-то мерещится мне, как вспомню про Нахичевань, где я тоже жил как-то в бегах! Да Бог с ними; не хочу брать греха на душу. Лишь бы они за меня других не губили... А погубят, ни за что не поручусь: услышат про такое, что и во сне им не приснится... Рад я отцу покориться и благодарю вас за совет. Пойду к нему завтра: даже в конторе стану ему помогать. А тем часом, по его слову, на Окнину начну-таки перебираться. Осень подходит. Надо успеть хату срубить, укрыть ее и обмазать. Поклонюсь опять миру; может, дадут мне помощь. Надо и угостить людей. Там над ключами, у верб, на мирской земле, под селом, и строиться стану.

В следующее воскресенье отец Смарагд служил Илье молебен. Приказчик с виду как будто простил сына и дал даже барщиной людей в помощь ему на закладку хаты. Хата была заложена на прежнем старом месте, среди журчащих ключей на Окнине, под обломанными вербами, насаженными еще дедом Ильи, отцом Романа Танцура, прозванным так потому, что он был также любимцем на селе и всегда в праздники потешал мир плясками.

— Коли моя Фрося отойдет от барыни, — сказал, выпив на освящении хаты, Кирилло, — так я поселюсь тут же, возле тебя: только на шпилю, повыше, чтоб было слышно лучше мою флейту, как стану я играть тебе, Илыоша.

IX

Не поздно ли?

О Талаверке, по объявлению Перебоченской, производились справки.

Нахмуривался сентябрь. Его сменил светлый, морозный низовой октябрь. В половине ноября повалил снег, но не дружный. Везде было тихо, не было слышно особенных происшествий.

Под Есауловкой между тем над ключами, на Окнине, возникла новая хата. Ее выстроили частью барщиной, частью миром, успели обмазать и укрыть. Десятский был хороший печник и сам сделал Илье печь. Товарищи флейтиста Кириллы в праздники, за полведра водки, съездили с Ильей в Кукушкины кучугуры, вывезли оттуда несколько возов лозы и кольев и заплели вокруг хаты хорошенький дворик. Утварь Ильи из садовой пустки перешла в эту новую хату. Илья стал строить сарайчик; вправил ворота во двор. Он ничего не знал о доносе отца Перебоченской и, по совету священника, помирился с отцом. Роман ходил смурной, точно в тяжелом чаду. Так его озадачила Перебоченская отказом в отдаче денег до конца ее дела. Кирилло заходил к Илье, поглядывал на новые углы хаты, на новую золотистую соломенную крышу, возился вместе с приятелем над устройством внутри окон, дверей, полок и лавок. Сад опустел, помертвел. Виноград был зарыт в землю. Илья пока все еще носил звание садовника. Мать принесла Илье тайно от мужа большую икону и поместила ее в главном углу хатки. Илья ниже ее привесил в стороне картину покойного Саввушки, и добрые люди, входя посмотреть на житье бедового парня, который не пошел плясать под дудку стоглазого отца, крестясь на икону и видя случайно против входа в хату нарисованного Саввушкой молодцеватого запорожского казака, говорили: «Сейчас видно хорошего человека; сам казак, намалеванного казака и за хозяйку взял себе!» Илья ходил в

угоду отцу иной раз в контору, проверял денежные счета и книги всякого рода. Все это писалось другими со слов самого Романа, следовательно, нечего было и сидеть над ними, хоть приказчик иногда, уставясь глазами в сына во время поверки итогов, будто так и ожидал, что вот тот скажет: «А! Тут ошибка!» Окрестности запорошило снегом. Лег зимний путь. Реки стали. Мужички к будущему сплаву на себя и на владельцев бодро молотили новый хлеб. Скот давно стоял в загонах. Земские власти, как сурки в теплых норах, сидели дома, покуривали табачок, поигрывали в картишки и вели беседы о далеком темном Петербурге, о новых сановниках, о смене старых, и с трепетом в желудке и в спине шепотом передавали друг другу пугливые догадки о том, что-то будет к весне.

Забытая есауловская усадьба по-прежнему грустно безмолвствовала и пустынничала в отсутствие своего настоящего хозяина. Французик, мосье Пардоннэ, сахаровар, изредка наезжал сюда из города, выпивал добрую порцию местной крепкой водки, настоянной женою Романа на апельсинных корках, говорил приказчику, топорща кверху востренький багровый носик: «Итак, поштенн, трудись, молоти клеб, пшениц; э главное — побольше князю посылайт денег!» — брал от Романа в карман, смотря в сторону мутными глазками, две-три серые депозитки и уезжал обратно в город. К Роману между тем завертывали в гости, по-былому, разные личности — купцы, мещане, однодворцы, барочники и рыбаки, закупали барское зерно, снимали барские рыбные тони по Волге и по Лихому, рубили лес, угоняли купленный скот и овец. Есауловские мужички чесали в затылках, посматривая на все это, и в недоумении покорно шли на работы. «А кто это у твоего батьки купил бракованных волов и овец и почем?» — спрашивали они изредка Илью украдкой на общих барщинных работах, куда и он стал опять являться с зимы, на гумне, на вывозке дров и сена. «Бог их знает; я в то не мешаюсь. Ходил я было с осени в контору книги сверять, да теперь уж и сам отец меня не зовет!» Изредка по Еса-

уловке, в отсутствие мужа, старая приказчица Ивановна, пошатываясь, пьяная возвращалась из гостей от жены другого священника, отца Ивана, также тянувшего водку. В праздности и скуке болтались по селу и его окрестностям есауловские музыканты, то собираясь в свою квартиру на винокуренном заводе и начиная нелепо играть какой-нибудь марш, то возле шинка, заводя ссоры и драки. Отец Смарагд говорил приказчику: «Эй, Антоныч! Добейся ты толку от венгерца: что он бросил заниматься с музыкантами? Не наделали бы они тебе беды!» Сам Роман, слыша кругом себя везде тревожные толки о разных ожиданиях и видя Есауловку забытой и брошенной всеми, предавался иной раз тоске и утешался только мыслью, что вот Перебоченская одумается, дело ее поправится, она воротит ему его деньги, он женит Илью, и все заживут счастливо. Неимоверная скука господствовала в Есауловке. Особую грусть всему придавала в ней еще гаснувшая, без всякой помощи в болезни, жена отца Смарагда.

Усадьба Конского Сырта между тем сильно оживилась. Генерал Рубашкин, новый сельский хозяин того околотка, не на шутку на закате своих дней решился хлопотать и, как он выражался, оставить по себе на земле добрый и хотя бы один дельный и прочный след. Он облекся в простую дубленку, купил скота, пустил несколько десятков голов чужих волов и овец к себе на зимовку и сам наблюдал за отпуском сена, припасенного, впрочем, еще трудами Перебоченской. Как видно, он не жалел денег на первые главные обороты по хозяйству и хвастливо толковал всем, что он состоит у себя и приказчиком, и конторщиком, и рассыльным. Все шло у него изрядно; одна беда — на плечах его было за пятьдесят лет. Он часто кряхтел, испытывал боль в ногах, в спине, изредка от пустяков простужался, кашлял и, главное, — скучал неимоверно. «Эх, не поздно ли я за ум взялся? — думал он. — Да и то сам не понимаю, как я решился вдруг! Раньше надо было бросить этот отвратительный Петербург. Сколько он даром стягивает к себе наших лучших

соков и сил! Или надо уступить дорогу другим?..» Мечты старого юноши напрягались, он уходил в занесенное снежными сугробами поле, к батрацким избам, где весело теплились печки, а из труб печей вырывался в морозную лазурь дым кизяка. Он отправлялся посмотреть, как на солнышке, с завихрившимся в инее волосом, стоят в дворах загонов тучные волы и, щурясь, медленно жуют жвачку. Но не о них думал генерал. Адриану Сергеичу тогда представлялись Петербург, зала пышного маскарадного бала, франты с лорнетами, красавицы, гром музыки. Тут же мелькал в его мыслях Невский, тьма магазинов, вывесок, отчаянно мчащийся, точно от какой погони, экипаж с бешеными серыми рысаками и с полуживой от смертельной скуки барыней-щеголихой. А тут вдруг из тумана выходили перед ним его департамент, теплые огромные покои, швейцар, скрип перьев, столоначальники, нюхавшие табачок над только что состряпанными громовыми бумагами в провинцию. Возле — снова улицы; городовой на углу какого-то громадного моста, расхаживающий по морозу и наедине рассуждающий о том, сколько это рублей и копеек выйдет всего, если сложить в казне жалованье и пенсию, которая после него останется, и пойдет ли, например, провожать его самого на Смоленское кладбище былой камрад его по гвардии Иванов.

Представлялась Рубашкину в прогулках по работам в имении без всякой, по-видимому, причины Адмиралтейская игла, за нею какая-то уксусная барыня в желтых лентах, метившая попасть ко двору. В голове генерала, наконец, роились разные служебные интриги, игра чиновников в реформы, в громкие фразы и в споры о значении разных углов и захолустьев отчизны. А вокруг Рубашкина наяву во дворе звонкими блестящими пилами в десятки рук пилился на постройки тес, очищалось и обделывалось множество колод, сновали новые нанятые батраки: конюхи иной раз гоняли на веревке молодого жеребца, чистили на разостланных холстинах перемолоченный хлеб из запаса, захваченного после выезда Перебоченской. Окна в доме были старательно

законопачены, двери обиты полстьми и клеенкой; в комнатах появились ковры и прочая петербургские атрибуты генерала: бронзы, хрусталь, скатертки, всякие поддонички и картины. В кабинете, переделанном из обширной и ни к чему не нужной гостиной, появился еще с осени, вместо печи, камин, а вместо твердого дивана, на котором сиживала, раскладывая карты, Перебоченская, явилась мягкая обширная софа из города, уложенная гарусными и штофными подушками. Деловые бумаги и хозяйственные книги лежали тут на двух столах. Возле них изредка копался над листком газеты гость хозяина, отец Смарагд, иногда оставлявший больную жену, или сам Рубашкин, воротившись с обхода по хозяйству и лежа на мягкой софе, читал и соображал разные, им самим сочиненные, проекты спекуляции. Часы в передней остались прежние. Остался по-былому в углу залы и дрозд в клетке. Он так же упорно, как при бывшей своей хозяйке, среди тишины комнат, прыгал со дна клетки на жердочку и обратно, будто с крыши весной на землю капали непрестанные и ровные капли оттепели. Камин часто топился в кабинете, добродушно потрескивая в ту пору, как генерал писал, толковал с рабочими, вообще туго понимавшими то, что от них требовалось, и волком смотревшими в лес, или когда Рубашкин урывками, за чтением смет и проектов, переговаривался с отцом Смарагдом.

— Вы, я слышал, соль на пристани закупили? — спрашивал священник.

— На спекуляцию! Каков-то будет ее новый сбор в Елтонском озере с весны?

— Пшеницы еще не спрашивали у вас?

— Нет. Я не думаю и продавать, а еще бы поискал купить; разузнайте и вы стороной. Хочу подобрать хорошую партию к открытию пристаней. Впрочем, вижу еще потемки тут во всем.

— Денег много еще у вас осталось от займа?

— Довольно. Полагаю взять в аренду еще соседние куски земли: павловский, урюпинский и землю у жены Кебабчи. Пущу туда чужие гурты.

— Вот как! Кебабчи?

— Просит сама, бедная. Муж все еще в остроге сидит.

— Как идет их дело?

— Плохо кончится. Не те времена. Жена Кебабчи с сестрой Хутченко ездила в Петербург, потратилась и воротилась ни с чем. Там дело поняли хорошо. Правит теперь у нас все народ из молодых.

— Отлично. Узнал бы Саддукеев, еще бы пять лет со ста скостил из того, что прожить хочет.

— Знает, знает. От него тоже письмо на днях я получил. Поздравляет; пишет, что и в городе у них хорошо; только чуть, кажется, его самого из гимназии не изгоняют.

— За что?

— Пишет, чудак, что вздумал распространяться о чем-то по истории, знаете... и касательно тоже прав гражданства каждого человека и личной там, что ли, свободы... Но письмо его что-то отзывается грустью. Позвольте, где оно? По правде сказать: пустоват ваш приятель, извините... Что это за фразы о старании прожить сто лет? Что за недоверие к успехам времени? Что за радикализм, да еще голословный? Да, пустоват; я его раскусил...

Священник вспыхнул, нахмурился еще более и сел на дальнем стуле.

— Странно, что вы его не жалеете, когда его гонят со службы...

— Ах, если, отец Смарагд, от всего на свете проникаться жалостью, то не стоит и жить. Негодование да сострадание — это два чувства, от которых более всего должен беречься деловой человек... В управители вдруг ко мне просится. Ну, какой же, скажите, он управитель?

Рубашкин встал и подошел к рабочему столу.

— Вот его письмо! Да! Он еще приписывает и любопытную для нас с вами новость. Представьте, Перебоченскую опять из губернского города перевели в уездный и позволили ей снова жить в ее доме и на хуторе... Загадки! А чувствуется, что о ней, вероятно, собираются

грозные справки. Лазарь Лазарич недаром все вертится возле нее...

Священник вздохнул и молча стал пересматривать листок газеты, куря крепчайший турецкий табак. Генерал закурил благовонную сигару и лег опять на софу. Он, как видно, хотел еще поговорить.

— Великое дело комфорт! — сказал он, потягиваясь. — Что делать! Привык к нему в столице!

Священник на это ничего не отвечал. Разговор, видимо, не клеился. Священник, очевидно, был смущен холодным и беспощадным эгоизмом Рубашкина, который становился ему все более и более понятен. Отец Смарагд чувствовал, что и на него-то самого генерал смотрел как на одну из вещей, способствующих его комфорту, развлечению, и не видит в нем человека, с которым он готов обоюдно поделиться и радостями, и горем. Отговариваясь нездоровьем жены, священник сухо простился и ушел. Уж много раз он давал себе слово прекратить сношения с Рубашкиным, но тоска и скука всякий раз загоняли его опять в просторные и удобные покои генерала.

Срывалась метель. Вечерело. К Илье в хату зашел Кирилло Безуглый.

— Пойдем, Илья, походим.

— С ума ты сошел! Такая погода!

— Пойдем, дело есть.

— В хате говори.

— Выстроил хату, так и не вытащишь тебя! Где был все эти дни? Как ни зайдешь, нету.

— Барские три дня был на барщине, а свои у попа долг отрабатывал за хату.

— Вот как. Вы уже нынче мужичком-с, не тронь нас! Гражданин-с, на-поди; по три дня, не то — что мы день каждый в деле.

В голосе флейтиста слышалось непривычное раздражение.

— Уж будто вы, что день и в деле? А, кажись, так болтаетесь по селу.

— Илыоша, пойдем, не подошел бы кто-нибудь, не подслушал бы нас! Пойдем, сердце!

Илья оделся в шубу, бросил долото, которым долбил кому-то чашку, взял шапку и вышел.

— Куда же идти? Говори.

Кирилло направился к заметенному и шумевшему от ветра саду. Сумерки сгущались. По саду были протоптаны тропинки от гумна мимо барского дома к двору. Ноги тонули в сугробах. Миновав заваленную до крыши садовую пустку Ильи, Кирилло прошел в кусты, разбирая ветви, скрипевшие от гололедицы под рукою, и тут остановился.

Было уже совершенно темно. Они снова выбрались из сугробов на тропинку к дому. Пройдя опять несколько шагов, остановились и присели на заметенную снегом лавочку. Огромный дом сурово молчал с закрытыми на крючки и на железные болты ставнями. Ветер шумел и стучал болтами.

Кирилло помолчал.

— Илья!

— Что?

— В доме тут болты замыкаются снутри?

— Снутри.

— В дом теперь из твоих кто-нибудь ходит?

— Вряд ли. Отцу незачем: все у него под замками. У крылец часовые по наряду с села ночуют. Разве мать иной раз с фонарем в верхнюю кладовую пройдет.

— Что же в той кладовой?

— Варенье, мед стоит там, наливка, вина какие лучшие в ящиках стоят.

— Вот бы поживиться наливочкою! — сказал, смеясь, Кирилло.

— Что ты! Как можно! Губа-то у тебя не дура...

— Я пошутил... так... А где хранятся, Илья, конторские деньги?

— Должно быть, при себе отец держит. Немного там запасу бывает! Что соберется, сейчас князю шлют. Живет себе наш барин где-то, и нуждушки ему мало, как люди тут маются...

— Поверишь, брат Илья, животы подвело с той месячины: по два пудика отсыплют муки с трухой пополам, да четыре фунта соли, да гарнец пшена, вот и живи. Больше ничего не полагается дворовому на харчи, сам знаешь. Даже венгерец наш бунтует. Напьется пьян и кричит: «Убью Романа!» Знаешь что, Илья, я думаю? — прибавил Кирилло.

— Говори.

— Обокрадем, право, кладовую в доме! Хоть наливки напьемся вдоволь, варенья со скуки наедимся. И для кого его варят? Когда эти господа еще наедут?

— Что ты, что ты, беспутный! Вором, брат, я еще не бывал и не буду никогда!

Кирилло засмеялся.

— Я пошутил... не сердись. Тошно на свете жить, вот что. Даже на флейте не играл с той поры, как Фрося в город с барыней уехала...

— Так никогда не шути со мной...

— Прощай! Знаешь ли, я хочу бежать с Фросей! Она ладится. Может быть, надует, не знаю! Падка она больно на наряды; прежде, на горячих порах, как мы сошлись, меня дарила, а теперь все требует денег...

— Обождите весны лучше...

— Хорошо тебе ждать. Спорил с отцом, а все-таки на своем поставил и живешь нынче, как хочешь. Попробовал бы я или кто другой из наших дворовых. Бросит меня Фроська, удавлю ее! Эх, Илья, Илья! Беда, пожалуй, будет: либо наши-то венгерца сдуру убьют, либо разбегутся сами все, как волки...

— Какие волки? — спросил рассеянно Илья, прислушиваясь к гулу ветра на деревьях. И они, не останавливаясь, пошли далее.

X

Степной линч

Прошло несколько недель. Приказчик Роман, потерявший надежду сплавить сразу сына из деревни и из губернии, выжидал случая как-нибудь его-таки уломать — отказаться от показаний его в деле выезда чиновников к Перебоченской. Старик Танцур хоть все еще сильно тосковал, но как будто на время успокоился, так как из города вести на время затихли и сама Перебоченская тоже его не натравливала на сына. Роман стал помышлять даже о том, как бы в самом деле, под шумок, сделать хорошую штуку, именно помочь сыну жениться на дочке разбогатевшего Талаверки, но, не желая показать, что сразу сдался, все еще хмурился и относился к сыну как к опальному. В то же время старый хитрец неожиданно запустил разные приемы, лично и через других, чтобы сойтись с новым соседом, Рубашкиным. Толкало ли и его на это затишье в торговле зимой и отсутствие разного заезжего люда, с которым он любил водить хлеб-соль, или другие какие причины, только он положил себе непременно войти в приязнь нового обитателя Конского Сырта.

Он уже сам побывал раза три у генерала, как будто невзначай, то занять у него веревок, то сено обменять на двойное или тройное количество соломы, то условиться о ловле рыбы в общих тонях по Лихому и по Волге.

Раз, в ясное морозное утро, приехав, по своему обычаю, верхом в усадьбу Конского Сырта, Роман был допущен в кабинет генерала и, в синей шубе, с серыми бараньими оторочками, почтительно стоял у дверей, беседуя с Рубашкиным. Старая служанка подносила приказчику по временам чай с пуншем. Топился опять камин. Генерал лежал на любимом месте у стола на софе, в бархатном сюртучке и в туфлях, и курил сигару.

— Оно точно, сударь! — беседовал Роман Танцур, стоя со стаканом чаю в руках и приобретя в голосе от недавней простуды лишние ноты густого баса. — Вы рисково думаете вести хозяйство. Прочтут волю, с деньгами тут вы всех подорвете. Только, полагаю, напрасно вы из чужих краев думаете немецких али французских колонистов сюда выписывать. Народ неподходящий. Разорят они вас, замучат всякими ломаньями да баловством. Сейчас кофий потребуют, постели, матрацы там всякие, белый хлеб — это первое. Потом каждому давай либо особую избу, либо свою комнату — это второе. Картофелю им поставляй, пива потребуют. Видели мы их тут вдоволь.

Генерал молчал, видимо, его не слушая.

— Роман, у меня к тебе просьба...

— Какая-с?

— Беда здесь у вас насчет... насчет женщин. Не знаешь ли какой порядочной, чтобы согласилась ко мне идти в прачки, что ли? Понимаешь?

Роман слушал, не поднимая глаз.

— Вот я тут случайно видел горничную Перебоченской, эту Фросю, знаешь. Мне она нравится. Говорят, что ваш флейтист Безуглый за нею тут волочился. Да теперь ее отпускает барыня внаймы, и она — кто-то мне тут болтал — с ним уже будто врозь... Съезди, поговори, нельзя ли, а?

— Можно-с! — начал старый Роман. — Для вас можно... оно точно, здесь трудно: нравы крутые-с... Вот и наш князь, как наезжал...

Роман не договорил. В лакейской, а потом и в зале послышался шум, раздалась возня разом вошедших нескольких лиц.

— Кто там? — крикнул Рубашкин.

Ответа не было, но робкие и вместе торопливые шаги раздавались по зале.

— Кто там? — опять спросил генерал.

Роман выглянул в залу и отшатнулся.

— Чего вы, беспутные? — спросил он тихо, не веря своим глазам.

Рубашкин тоже выскочил в залу. У ног Романа валялась упавшая на пол почти без чувств жена старика, а Власик перепуганными глазами, весь синий от холода и от усталости, смотрел на кучу батраков генерала, выглядывавших из лакейской.

— Говори, говори, что случилось! — говорил Роман Танцур, силясь поднять жену с пола.

— Ой, батюшки, батюшки! Разорили, погубили нас всех дотла. Дом наш... княжеский дом наш... весь обокраден. Насилу мы сюда к тебе добежали!..

— Дом? Быть не может!

— Весь дочиста обокраден... Замки везде переломаны, кладовая наверху отбита; выпиты и перебиты бутылки с винами, варенье съедено и разлито везде по комнатам. Серебро из шкафов, вещи разные, все пропало, растаскано!

— Кто же это первый узнал? Давно ли это сделано?

— Я первая узнала... Пошла с Власиком наверх крупы на кашу взять; он еще фонарь за мною нес. Я в шубе, и он в шубе. Холодно там, и окна, ты знаешь, все заперты ставнями. На лестнице я обо что-то споткнулась; смотрю, твоя старая шуба лежит, а далее по ступенькам две прежние лакейские ливреи. Я замерла от страху, поднялась в верхнюю переднюю, заглянула в залу: по полу везде смородинное варенье накапано. Я в барскую спальню, в гостиную — замки в комодах отбиты, ящики раскрыты...

— Извините, сударь! — глухо сказал Роман. — Видите, какая беда над нами стряслась. Прощайте! Трудно-с теперь барское добро стеречь.

Он кинулся в переднюю. Лицо его из смуглого сделалось оливковым.

— Откуда вход воров сделан? — спросил Рубашкин у охавшей еще Ивановны.

— Из саду, с балкона, через окно. Отвинчен болт, и по ночам, верно, воры входили не один раз. Рамы выставлены.

Они влезали в окно, опять замыкали ставни, делали свое дело внутри и опять тем же концом выходили. Хожено с восковыми свечами. Везде накапаны их следы по полу. Теперь уж полон дом людей. Часовые ночью прозевали. Пропадать, видно, нашим головам, да и только...

Ивановна вышла. Генерал стал к окну во двор. В окно было видно и здесь волнение. Новость поразила всех. Власик бежал вприпрыжку по снежным сугробам из ворот. За ним переваливалась Ивановна. А Роман вдали во весь опор мчался на каурой кобылке к мосту через Лихой.

«Ну, — подумал генерал, — эта кража пророчит что-то скверное. Беглые!.. А как было тихо кругом. Я даже было мирился с жизнью в этой глуши, о девочке стал помышлять, о тихом аркадском счастье сельского пастуха и хозяина. Что же значит этот неожиданный взрыв в такой смирной деревне, как Есауловка? Ну, у меня этого быть не может!»

Он воротился в спальню, заперся и стал ревизовать наличное комнатное оружие.

Приказчик застал весь княжеский дом полным крестьян. Мужички с неподдельным сожалением и грустью похаживали по комнатам и лестницам, смотря на богатые полисандровые, ореховые и красного дерева комоды, шкафы, бюро, столы и шифоньерки, с избитыми проломанными в щепы у замков боками и крышками. Разные вещи, ковры, скатерти, подсвечники и прочее валялись по полу. А запас вина и наливки в кладовой был до капли выпит. Было ясно видно, что воры тут хозяйничали без перерыва целый ряд ночей. По двору толпились бабы. В комнате, в толпе крестьян толкались и дворовые, пастухи, конюхи, музыканты с постоянно пьяным венгерцем. Все тревожно расспрашивали друг друга о происшествии.

Роман вбежал наверх, быстро окинул взглядом залу и гостиную, вскочил в образную, где в особом шкафу хранилось старинное княжеское столовое серебро, увидел и этот шкаф разбитым, ахнул, зашатался и упал на пол, стукнувшись виском о притолок двери. Его снесли вниз в контору.

Послали нескольких верховых в стан, в город к исправнику и к главному управителю имения, к французику-сахаровару. Илья с частью мужиков был в поле на вывозке сена. Дали и ему знать. Он прибежал без памяти. Отец его лежал в конторе на кровати с повязанной головой, а его мать и еще какая-то сморщенная старушка крестьянка ставили отцу к бокам пиявки. Отец Смарагд, никогда в жизни никому не бросавший крови, прибежал, покопался в столе Романа, достал оттуда перочинный ножик, подумал, перекрестился и бросил приказчику кровь. Илья застал отца уже вне опасности. Старик лежал еще весь черный и едва к вечеру проговорил, попросив пить.

— Вот, — сказал Илье священник, уходя домой, — не подвернулся бы я, отец твой был бы к вечеру в гробу! Как фельдшера не нанять! Ах вы, душегубы! Князю посылают по три, по четыре тысячи целковых. Не пошли лишних ста целковых, не то что фельдшер, доктор бы сюда наезжал хоть изредка. И моя жена осталась бы здорова... а то лежит вон сколько времени!

— Не наши дела! — отвечал со вздохом Илья. — А вашу матушку все мы жалеем вот как!

Становой приехал к ночи. Сделали законный осмотр ограбленного дома, опросили все село, обошли все избы, клети, погреба и гумна повальным обыском. Послали верховых по соседним дорогам. Допрос мало-мальски подозрительных лиц из своих и соседей длился три дня. Но молодой становой, знакомый нам по делу Перебоченской, уехал, не открыв ничего и узнав только достоверно, что в доме князя случилось такое дело: в кладовой выпиты все вино и наливки и съедено все варенье; а в остальных комнатах инструментом, вроде долота, взломаны все замки; но что пропало, неизвестно, так как и сам приказчик не знал о вещах, запертых там. Разная рухлядь была разбросана по дому, но не украдена; а пропало еще княжеского столового серебра примерно тысяч на десять целковых. Это становой внес со слов приказчика, когда

тому стало легче. В следующую ночь у генерала Рубашкина из конюшни также нежданно пропали тройка лошадей и хомуты.

Становой уехал, донес обо всем в земский суд, суд в губернское правление; правление о покраже в Есауловке и в Сырте напечатало очень красно в местных губернских ведомостях. Кого-то из обитателей Есауловки, при сем удобном случае, по просьбе Романа высекли, но не по делу воровства, которого не открыли, а так, более для обстановки. Юноша становой везде поставлял себе за честь действовать в угоду старым хозяевам путем всякого рода устрашений. И только тогда он уехал в стан с бумагами, когда у конюшни в Есауловке десятские растянули по земле какого-то рябого парня и тот более десяти минут под розгами выкрикивал на все лады: «Простите! Ой! Не буду больше!» Крестьяне, принявшие было с сожалением весть о покражах, после этого разошлись озлобленные, пасмурные и дали себе зарок не заботиться более о розысках пропавших вещей.

Через два дня у Рубашкина произошло новое событие: кто-то провертел пол в амбаре и ночью вытащил значительное количество пшеницы.

Пораженный событием воровства, Роман оправился, написал при помощи также озадаченного генерала Рубашкина слезный доклад обо всем князю-барину в Италию, прибавил, что ждет за такой случай либо казни себе от князя, либо кары небесной от Бога, хотя сам ни в чем не считает себя виноватым; отослав письмо на почту, снова заколотил вскрытое ворами окно, поправил отвинченный болт, загладил через столяра и слесаря следы воров на мебели и успокоился. Но не был спокоен Илья.

— Черти, это вы! — шепнул он один раз Кирилле, встретившись с ним на улице.

— Нет, это не мы! Не я... ей-богу! Чего лезешь! — глухо ответил ему недавний его приятель Кирилло.

— Черти! Воротите серебро, а не то выдам вас! Разве нельзя было иначе проучить моего батьку, что ли? —

сказал Илья, догнав Кириллу и ухватив его за воротник пальто.

— Попробуй выдать, ребята кишки выпустят! Тебе и Рубашкина жаль, что поминутно рабочих меняет? Не замай — не твое дело! Да и я говорил с тобой глаз на глаз тогда, свидетелей не было. Землю есть стану, а не признаюсь. Ну да погоди, и ты не то запоешь, доедут и до тебя...

Кирилло Безуглый стал неузнаваем. Он побледнел, его лицо опухло, он басил, и водкой несло от него, небритого и немытого, как из бочки. Не лучше были и остальные музыканты со своим венгерцем. Земляк Кошута, перед тем незадолго, когда становой пересек его музыкантов, разбросал со злобой ноты, взял скрипку, пошел сам в кабак, целый день там играл и пел, угощаемый мужиками, да и закурил. Приказчик этого не замечал, потому что в дела венгерца с оркестром не мешался. Музыканты зашевелились, стали отлучаться по сторонам. Кирилло Безуглый раза два ходил к Фросе, против которой Роман для генерала пустил в ход разные соблазны. Бегство свое с Фросей Кирилло, однако, откладывал. Да и Фрося вдруг стала к нему холоднее, хоть он ее теперь и дарил. Музыканты, как видно, были воры неловкие. Пуская награбленные вещи по частям в оборот, они постоянно по ночам все напивались. Даже есауловские мужики заметили, что в винокуренном заводе у венгерца не совсем ладные дела.

— Эй, братцы, берегитесь, — говорили музыкантам крестьяне, — не донесли бы на вас становому! Что-то вы больно куражитесь.

— Кому донести? Лишь бы не вы!

— Мы-то в стороне: черт с ними, с господскими прихвостнями.

Кирилло замышлял где-то нанять подводу, ночью подъехать в город за Фросей и дать тягу с ней сперва на Дон, а весной далее. Он уже и лошадь нашел, и задаток дал ее хозяину.

Роман окончательно поправился, ходил бодрее, но кража не давала ему покоя, и он всячески над нею ломал голову, приписывая ее то заезжавшим к нему и обсчитанным каким-то однодворцам, то злобствующим на него своим же братьям, крестьянам, то, наконец, сатане.

— Илья! — сказал он однажды сыну, после обедни в большой праздник. — Вижу, я был виноват сначала перед тобою, может быть, за то Господь и попутал меня! Изволь, я согласен на твою женитьбу на дочке Талаверки. Пиши туда, только осторожнее с ними условься. Может, и я тебя туда провожу, как опять за скотом на Кубань поеду, а ехать, кажется, придется

Илья доверчиво поблагодарил отца, достал бумаги от священника, чернил и перо и написал к Насте, адресуя пакет на имя каретника Егора Масанешти, в Ростов письмо такого содержания:

«Многоценная и милая Настенька! Оно, конешно, у вас в Ростове напишут нежнеи и все што вмыслях. Но я помню і прогулки наши і стишки ваши. Ах, Настенька, серце, — все уладилося благодарение Богу: хата готова, дворик готовой. Я полочку сделал на стишки ваши, штоб класть книшку; будим сладко жить. Скоро-скоро ждут у нас воли. Избавимся мы от рабства и тиранствия людского и будем вместе свами жить. Я по три дни хожу смиром работать и спахал сосени полторы десятины под хлеб. Кто-то снимать его будет. Должно статся вы Настенька серце. Скажите родителю, у нас великий смут, подлецы одни обокрали барский дом у нас. Ох и вопче тяжко жить на свете, а вособенности безвас. А ночьки-ноченьки те, как мы свами гуляли над Доном! Кланяюся ниско, а когда буду не знаю — именно когда все сполнится. Отец мой одумался и стал добрее. Уже скоро пост и весна. Ваш ниский слуга и любясчой жених Илья Танцур».

Письмо отнесено в город на почту. Адрес на конверте тщательно, для разборчивости, написан за три копейки дневальным почтальоном при почтовой конторе. Уходя из горо-

да, Илья в харчевне закусил и здесь вдруг услышал от захожего солдата неясные толки о том, что в ту ночь сделали обыск в кухне одной барыни и взяли в полицию ее горничную по подозрению в сообщничестве с ворами, по делу какой-то огромной покражи.

«Уж не у нашей ли Перебоченской, — подумал невольно Илья, выходя в поле, — жаль, что не зашел к Фросе узнать вообще про дела: Кирюшка будет ругать! Что, если это Фросю взяли? Успеет ли бедняк Кирилло уйти? Это, правда, не может быть, чтоб он был зачинщиком: кто-нибудь другой...»

Поздно к ночи Илья воротился в Есауловку, подвезенный часть дороги в пошевнях соседним рыбаком. Вошел в улицу: странно. Такая поздняя будничная пора, а огни везде еще по селу горят. Слышался в разных местах в ночной тишине людской говор, раздавались оклики и торопливые шаги. Он пошел садом к барскому двору и остановился под углом дома. Во дворе чей-то резкий и громкий голос кричал:

— Да захвати еще, кстати, веревок, а коли есть собачьи цепи в амбаре, так и цепи захвати.

Опять все стихло. Илья пробрался у стены к калитке из саду. По двору ходили люди с фонарями. У конюшни бабий голос ревмя ревел, глухо причитывая отчаянные сожаления, а изредка и проклятия.

— Эй, кто там волком воет? Прибрать ее! — крикнул из-под дома от конторы тот же голос.

— Хома, прогони ее! — торопливо крикнул от амбара десятскому знакомый голос приказчика Романа, отмыкавшего двери.

Илья заметил под забором дрожавшего от холода Власика, без шапки и со спущенными рукавами.

— Ты это, Влас?

— Я... Ой-ой-ой...

— Что у вас тут делается?

— Опять чиновники наехали.

— Зачем?

— Следы воровства нашли; всех наших музыкантов и самого венгерца забрали на винокуренном заводе, на их квартире, и всех вязать веревками хотят.

Илья замер от испуга.

— А серебро или другое что не нашли?

— Ох, дядя Илько, все нашли: на барском току под скирдой в землю было зарублено; чиновник этот не то, что становой, точно бес, прямо приехал на ток, подошел там к крайней скирде, сказал: «Тут!» — и призвал нашего стоглазого, твоего-то батьку, мужиков заставил отрывать солому и снег, рубить землю топорами, да здесь сразу и нашел узлы с платьем, бельем и серебром. Пишут бумаги теперь.

— А кто это воет у конюшни?

— Кирюшкина мать со слободы.

Илья опрометью кинулся к себе на Окнину, в хату, затопил печь, позвал к себе соседа-мужика и подробно от него узнал обо всем.

— Говорят, — передал мужик, — что это все именно через Фроську узнали; барыня ее давно замечала, что как ни придет в город наш Кирюшка, так девка и навеселе, а Кирюшка в кабаке гуляет; накануне же это она у нее увидела чайную ложечку с клеймом нашего князя-барина. Ну, донесла полиции. А на ту пору в городе по другому делу был тот самый чиновник-грек, что, помнишь, один трех помещиков у барыни Перебоченской одолел и перевязал, как нас с тобою в понятые призывали. Он взял в полицию Фроську, настращал ее, что ли, и допросил; она всех, как дело-то знала, выдала, а грек покраденное тут и нашел.

— Что же она теперь?

— Да что... Попала в город, сейчас пошла гулять с другими; Кирюшку-то она, может, и подвела, коли и он в этом точно виноват. Вон толкуют, что твой батько ее сманивал к Рубашкину в ключницы... На все мастак, бес стоглазый! Лишь бы угодить сильному человеку...

Илья чутко прислушивался к надворью — ему все чудились шаги, но никто за ним не шел.

— Не потерпел бы и ты, Илько, за них: все знают, что ты с Кирюшкой был дружен, а он, как думают, главный в воровстве и всему зачинщик.

— Бог не выдаст, дядя, свинья не съест, а я тут чист, вот как перед Богом.

Илья вздохнул и погасил плошку, провожая за двери соседа.

На другой день он видел, как за сильным конвоем соседних понятых и сотских, под начальством жандармского урядника, из Есауловки в город повезли на трех подводах связанный по рукам и по ногам весь княжеский оркестр, в тулупах и валенках, человек семнадцать. Бабы выли у околицы. Роман вертелся верхом на коне и для порядка непомерно на всех ругался. День был опять морозный, солнечный. Толпа народу смотрела с моста на Лихом на печальный поезд арестантов, поднимавшийся от речной низменности в гору, за Авдулины горы. А далее, по сверкающему в алмазных искрах и ослепительно-белому взгорью скакал во всю прыть пятериком на обывательских, в открытых санях, с казаком и рассыльным солдатом, одетый в голубую теплую бекешу, титулярный советник Лазарь Лазарич Ангел.

События в Есауловке принимали все более и более угрожающий оттенок. Роман Танцур все старался истребовать от Перебоченской хоть сколько-нибудь из своих денег и всякий раз уходил от нее озлобленный. На сына он тоже косо посматривал и почти с ним не говорил. Сам же Илья все тосковал и сгорал от нетерпеливого желания получить хоть какую-нибудь весточку от Насти. Наконец эта весть пришла. Он получил от нее письмо.

Настя писала: «Пропала теперь вся наша доля, Илыоша, пропали и наши душеньки. Помещица наша от кого-то уз-

нала, где мы и что с нами, дала знать в тутошнюю полицию, к нам наехали полицейские, все опечатали, отца таскают, меня таскают и сказывают, что такой есть закон: отца и меня воротят опять под начало нашей былой барыни, а имущество наше распродадут и ей же отдадут деньгами. Голубчик, Илюша, не знаю, увидимся ли еще с тобою на этом белом свете! Письмо это опять тебе пишет тот булочницын сын. Посылаю письмо через савинского купца на имя Василия Марковича Комара, что воротился из Венеции в ваши места, а дойдет ли мое письмо, про то не знаю и не ведаю и где тогда мы будем сами!» «Отец! — подумал Илья, прочтя письмо, и судорожно сжал кулаки. — Это он выдал нас барыне, он! Больше некому! Ему я бельмо на глазу... А Талаверка? Бедные, бедные! Теперь уж они пропали!.. пропали навеки! И через кого? Через меня! Господи!»

Он выскочил из хаты.

Дни становились теплые. Из-за Авдулиных бугров, из-за Пугачева горба заметно тянуло весной. С крыш на пригреве солнца капало. Мужики уже принимались справлять плуги и бороны для весенней работы. В чутком воздухе громче отдавались голоса баб и девок, идущих с ведрами по воду. Детские резвые ноги весело бегали по почернелым, обтаявшим тропинкам. Вороны шаловливыми стаями кружились в недосягаемой вышине и, будто падая оттуда, пророчили перемену погоды.

Смурной воротился Роман к ночи из города. Зажег в конторе свечку, велел жене и Власику чаю себе приготовить и сел к столу у окна во двор — сводить счеты поездки в город. Лицо его было сердито. Руки дрожали...

Вдруг с надворья кто-то с силой ударил чем-то тяжелым в оконную раму конторы, прямо в упор против Романа. Окно зазвенело, и стекла посыпались на стол перед приказчиком.

С бешенством выскочил изумленный Роман снизу к выходу из коридора. На дворе было тихо и не видно ни души. Сторожа еще не приходили на ночной караул. В деревне было также спокойно, в хатах кое-где только светились огоньки. «Что за бес разбил у нас окно!» — подумал Роман, быстро вбежал опять в контору, зажег фонарь и вышел с женою и Власиком во двор, освещая место у разбитого окна. Возле фундамента лежало бревно, род полена. Более ничего не было видно. «Хорошо еще, что по раме, а не по моей голове ударил какой-то сатана! Плохие приходят времена!» — мысленно сказал про себя Роман, припер окно ставней, послал Власика за десятским и сотскими объявить им это и чтоб сторожей они к дому высылали скорее, и хотел было запереться опять в конторе над счетами, но раздумал, снял со стены всегда заряженное ружье и вышел в сад. Едва он ступил за калитку, как за углом дома, у ближних кустов заметил впотьмах какого-то человека. Подошел, окликнул его: Илья.

— Это ты разбил окно, собака?

— Я!

— Убить меня хотел?

— Не я, а другие убьют тебя когда-нибудь, вот что!

Роман кинулся на Илью и схватил его за шиворот. Ружье при этом он уронил.

— Э! С ружьем на меня идете? Дудки!

Илья выбился из рук отца, поднял ружье и отдал его ему.

— Батюшка! Вы Талаверку выдали барыне... Его с дочкой схватили уже в Ростове, разоряют, мучат... Бог накажет вас за это. А коли Настя теперь не пойдет за меня, знайте: я подожгу вас, барский дом, всю деревню...

Роман закричал:

— Караул, бекетные! Сюда! Взять его...

С двора послышались шаги. Илья хотел еще что-то сказать и бросился в темные аллеи сада. Роман раздумал его преследовать.

Наутро Роман оделся и собрался было идти к Илье, но встретил у хаты сына соседа-мужика. Мужик перед Романом снял шапку и стал заминаться.

— Что ты, брат?

— Недоброе, Роман Антоныч, случилось! Илья наш опять... полагать должно-с... убежал...

— Как убежал?

— Хата расперта, настужена; одежа цела, а его самого еще с вечера нет в хате...

«А! Сбыл!» — подумал Роман и не знал, по правде, что далее мыслить: радоваться или горевать.

XI

Воля сказана

«Все теперь пропало! — шептал Илья Танцур, покидая сад, куда на голос Романа кинулись караульные. — Настя схвачена по доносу отца, а тут того и гляди схватят и меня!»

Будь у него в руках ружье, он, кажется, воротился бы и убил бы отца. Он взял узелок с кое-какими вещами, перескочил через канаву. В ушах его звенело. Грудь тяжело дышала. Кругом было тихо и пасмурно. Барский сад в сумерках чернел безлистыми кущами дерев. Холмы вблизи белели еще не растаявшими снежными наметами. По селу кое-где мигали огоньки. Собаки звонко перекликались в Есауловке и за рекой. Где-то раздавался смех парней, чей-то оклик по улице.

Он перекинул узел за плечо и с палкой пошел полем за Авдулины горбы.

Под вечер он взошел у Волги на высоты, с которых влево мелькнула Есауловка, плотнее перетянул старенькую свиту ремнем, нащупал в сапоге деньги и пошел снова к югу. В сумерках с косогора он разглядел верхового, ехавшего

вскачь ему наперерез. Ближе — Власик. «Куда ты?» — «А! это вы, дядя! Вас спохватились. Я ездил от попа к Перебоченской! Попадье еще хуже. Поп просил лекарства, барыня отказала...» — «А разве она теперь здесь?» — «Тут на хуторе... а знаете еще: ваш тятенька привел к Рубашкину Фросю, и она у него уж чай распивает, разряженная... не дождалась Кирюшки. Прощайте, дядя Илья.» — «Прощай...» Власик поскакал...

Илья остановился, долго думал, поглядывая на крыши хутора Перебоченской, что-то нащупал в кармане и залег в овраге. Ночью усадьба Перебоченской вспыхнула с двух концов и долго горела. В соседних селах раздался набат... Илья переночевал в стороне от дороги, в глухой долине между двух лесков, закусил сухарями, напился из каменистой ямы снеговой воды, перекрестился и пошел далее, забирая к Дону, в низовые, приазовские места. Переваливаясь через последние приволжские холмы, он вздохнул свободнее, пошел тише и стал ночевать уж на постоялых дворах и у мужичков по редким встречным хуторам.

«Господи, Матерь Божия! Несите мои ноги! — шептал он, идя вперед. — Дайте мне встретить Настю, отбить ее из неволи и убежать с нею!» Он останавливался у этапных зданий, у сельских острожных изб, где ночуют колодники, расспрашивал, кого можно, не провели ли такого-то каретника с Дона. Но еще никто не мог ему ответить о Талаверке и о его дочери.

Замелькали снова знакомая даль и ширь, удалая воля, те южные степи и долы, те тихие, пустынные холмы и овраги, которые северным и срединным русским людям, еще со сказочных времен, постоянно в горьких думах о домашних невзгодах мерещатся кисельными берегами и молочными и медвяными реками, где бабы на живых осетрах белье моют, а на месяц да на звезды, вместо гвоздей, его сушить вешают.

А вот и Дон, старый батюшка Дон Иваныч, кормилец восточного казачества. «Где же моя-то пташка? — думал Илья. — Закована ль с своим отцом в цепи или еще на

8*

воле в Ростове? Когда б еще захватить их... Все бы рассказал. Уйдем за тридесять земель.»

В Калаче Илья остановился, чтобы отдохнуть, высмотреть лучше путь, просушить намокшее в дороге белье и спуститься в Ростов. У пристани грузился буксирный пароход. Илья пристроился в самом глухом углу, между всякой кладжей и рухлядью, у кормы. Сердце его сильно билось. Он так бы и полетел в обгонку куликов, бакланов и уток, сновавших у парохода, когда тот миновал главные, опасные летом и осенью песчаные перекаты и пошел вниз по Дону.

На пароходе был разнородный люд: казаки и ярославские плотники, караван татар, ехавших в Ростов, а оттуда, через Стамбул, на богомолье в Мекку, и немцы-колонисты, затеявшие усладиться побывкой на родине, через тот же Ростов, Одессу и Дунай. Жид-фокусник стал тут же показывать фокусы; итальянец-скульптор, ехавший из Астрахани, разложил кучу разных фигурок и предлагал их желающим купить. Какая-то казацкая помещица, счастливая маменька взрослого сынка, жаловалась вслух, сидя на чемодане и кушая с сынком то булочку, то пряники, что дорого жить стало на свете и что рабочие выбились из рук.

А пароход плыл и плыл далее, ночуя у одиноких войсковых станиц или у рыбацких пристаней и перевозов.

Тянулись обрываемые мутными водами и затопленные по маковки верб и дубов луга и песчаные бугры, рыбачьи землянки; между ними — стада овец, выгнанных на первые весенние травы; взлетающие там и здесь стада гусей, уток и пеликанов. У берегов стали являться обширные бревенчатые станицы с высокими церквами, лавками и торговыми площадями. Замелькали синие чекмени, красные лампасы шаровар и сабли казаков; кое-где у станиц, по отвесным каменистым горам, отражавшим с весны солнечные лучи, чернели рядами жерди и колья, уже увитые полными прядями виноградных лоз. По крутым тропинкам с коромыслами на плечах шли, в красных и черных шапочках, черноглазые, с русыми косами, казачки.

У какой-то донской станицы с войсковым окружным правлением, двумя церквами и школою на берегу пароходик поддало течением к камням, и он простоял с час на мели.

Мальчик, сын донской помещицы, успел в это время с другими подростками сбегать на берег, в город за орехами.

— Отчего в городе звонят, разве праздник завтра? — спросил кто-то, когда пароход вновь отчалил.

— Волю читали сегодня в церквах, — ответил мальчик.

— Про волю? — пронесся гул в толпе; слушатели теснее сгустились вокруг мальчика.

— Кто тебе наврал об этом? Ах ты, негодяй... Вот уши опять нарву! — кричала маменька.

Мальчик не унялся и все рассказал. Товарищи поддержали его слова.

Сильно откликнулась эта весть в сердцах слушателей. Илья... Надо было взглянуть на него!.. Он замер и едва переводил дыхание.

«Боже, Боже! — думал он. — Где и через какого вестника пришлось услышать мне и остальным тут людям давно желанную весть. Хоть бы скорее в Цимлу или в Аксай приехать. Тут опять пойдут глухие деревеньки; все равно в них не добьешься ни о чем толку.»

«Недаром наш пароход к камням там прибило! — толковали другие путники из озадаченных, пораженных донельзя и радостно потрясенных помещичьих крестьян. — Это Господь нас причалил туда, чтобы мы эту весть услышали дорогой; недаром мы провозились у берега, намокли в воде и назяблись.»

Перебирали десятки мнений и предположений, вновь приступили к мальчику, но он мало объяснил им. Путники с замирающим сердцем высматривали с барки: скоро ли мелькнет еще какая-нибудь большая прибрежная станица. Душа Ильи разрывалась от мыслей, что сталось с Талаверкой и с его дочкой и в чем состоят огненные, небесные слова этого манифеста о воле. Илья ушел в глубь палубы и стал молиться. Его примеру последовали и другие. День был яс-

ный, тихий. Солнце ярко катилось по небу. Пароход, пыхтя, плыл вдоль пустынных берегов.

А благовестное слово о воле, наконец, действительно прилетело и на юг и громко раздавалось тут в то время, как первый пароход из Калача плыл вниз по Дону с Ильей Танцуром и с другими его путниками. Эта весть открыто и урывками, верхом на казацких скакунах и в почтовых конвертах и сумках подвигалась вперед далее, в города, войсковые станицы, казачьи и помещичьи села и в одинокие хутора и деревушки. Эту весть несла людям южная весна на обтаявшие горы, на воскресшие синеющие долины через затопленные еще в половодье степи и вдоль шумных, мутных и рокочущих рек, вместе с этой вестью ломавших льды, мосты, плотины и всякие гати и затворы.

— Скоро ли Цимла? Скоро ли Аксай? Скоро ли Ростов? — допрашивали старого лоцмана, хмурого Лобка, нетерпеливые путники, томясь на пароходе.

— Скоро, не высохнете еще, не убудет вас! — отвечал сердитый лоцман. — Потерпите...

Выплыла, вся в знаменитых виноградных садах по скалистым ребрам окрестных гор, веселая Цимлянская станица. Народ празднично двигался по берегу и издали махал пароходу платками... Подплыли: громкое «ура!» — и незнакомые люди бросились друг к другу, поздравляя всех с действительно прочитанной волей.

«Неужели же теперь все-таки Талаверку будут тягать? — размышлял Илья. — Нет, верно, он отныне на свободе! Коли воля, так воля всем. Ну а если его все-таки возьмут?.. Тогда надо освободить его. Последние деньги отдам, еще достану, сторожей упрошу, умолю, а уж их вызволю, да и убежим. Его дом, нажитой, заочно после продадим... Что жить-то здесь?»

Народ на пароходе шумел, ликовал.

«И чего они радуются? — злобно шептала помещица-казачка попадье. — Еще перепьются и потопят нас дорогою, водка здесь дешева...»

Народ, однако, не перепился; пароходик благополучно двинулся далее... Узнанные более подробно вести передавались в отдельных кружках на палубе. Илья слушал, расспрашивал, но не радовался.

«Что-то с Талаверкой, с Настей? — думал он. — Может быть, эта воля сказана терпевшим, покорным, а мы ведь беглые, бродяги... мы сами раньше срока взять себе захотели эту волю... Помилуют ли нас, мучеников?»

На утренней заре одного из следующих дней на пароходе крикнули: «Ростов, Ростов...»

Илья встал, с грустью взглянул на свою затасканную одежу, наставил ладонь к глазам, узнал Нахичевань, а версты через три далее виднелся в тумане Ростов, вздохнул и перекрестился.

Вскоре путники сошли на берег и простились друг с другом и с хмурым лоцманом Лобком.

«Куда теперь идти, кого спрашивать?» — подумал Илья, сходя на берег.

Местность была хорошо знакома Илье. Многие его здесь знали, и он пошел глухими переулками в город, кое-как оправив свою затасканную одежу и обувь. Не таким бледным, исхудалым, небритым, немытым и нечесаным он покидал год назад этот самый берег и эти оживленные площади торгового донского городка.

Илья Танцур шел быстро и незаметно очутился на углу той улицы, где жил год назад каретник Талаверка. С замирающим сердцем он остановился у перекрестка, откуда был виден дом Талаверки. Улица была по-прежнему пустынна и тиха. Илья затаил дыхание, пересилил себя, прошел мимо знакомого дома и ужаснулся его тишине и запустению. Он все еще надеялся, хотя и слабо, что их не взяли... Чтоб взглянуть на этот дом яснее, он зашел издали с другого конца улицы; потом прошел соседними кварталами на улицу, где двор Талаверки выходил задней стороной в подгородные обширные огороды. Илья направился в огород, который снимал дед Зинец, оброчный обыватель одной глухой азовской деревушки.

Дед Зинец, лет под семьдесят, худой, длинный, сгорбленный и с белыми, как пух, волосами и бородой, сидел в это время на рогожке перед куренем и дрожащими пожелтелыми руками разбирал бобы и другие семена для посева. Его соломенный курень стоял под навесом акаций и только что окинувшихся цветами черемух. Кругом шли свежие, недавно вскопанные гряды огорода. На курене была раскинута рыбачья сеть, которую Зинец от скуки взялся кому-то оснастить. На дворе было тепло и тихо. Южное солнце грело отрадно старые кости. Худые руки и впалая, изможденная годами грудь деда были точно бронзовые от не сходившего с них загара. От белой чистой рубахи и какой-то важной, точно апостольской, кудрявой его головы, с седыми нависшими бровями и широкой бородой, эти бронзовые руки и грудь казались еще более темными и худыми. Илья, живя год назад у Талаверки, не раз видел Зинца и говорил с ним о своей судьбе. Зинец всегда был мрачен, нахмурен, как будто не узнавал и не помнил людей, с которыми встречался, не любил шуток, не любил много разговаривать и, несмотря на старость, отлично вел свое дело. Исчезая неизвестно куда с осени, он являлся рано весной, снимал опять это место, нанимал поденщиков, обрабатывал его, берег его целое лето от больших и малых воров, продавал выгодно сбор, чуть передвигая ноги, относил к своему мнимому помещику оброк, получал от него паспорт и на зиму до новой весны скрывался опять. Одни говорили, что он зимует тут же, в городе, у своей кумы, горемычной и убогой солдатки; другие — что зимой он постоянно хворает и живет у каких-то раскольников-рыболовов. Никто не знал, откуда Зинец родом и также для кого собирал он остатки от огорода и вообще от своих заработков. Знали только, что он с невыразимым нетерпением и более всех жадно ожидал объявления правительства о воле, о которой тогда начинали все говорить. Сидя у куреня, Зинец видел, как в огород вошел Илья, как он,

сурово озираясь, прошел между пустыми грядками, склонился через забор и стал осматривать опустелый двор Талаверки. Дед наставил к глазам ладонь, бросил семена и начал размышлять: кого бы это судьба занесла сюда? «Ни души! — думал между тем Илья. — Вон кузницы, где ковали оси и шины, вон крыльцо и галерея дома... Туда входила Настя... Вон угол амбара; там в осенние длинные вечера мы часто сидели с нею... Вон окно ее комнатки... Пусто, ни души... Что сталось с ними? Неужели?..» Илья оглянулся, оправился и тихо подошел к Зинцу. Дед узнал тут его сразу, но продолжал перебирать бобы, будто не видя его.

— Здравствуйте, дедушка.

— Здравствуй. Что тебе?

— Узнали вы меня?

— Что-то не помню. Чего пришел? Дай на тебя прежде посмотрю...

Илья поклонился.

— Дедушка Зинец! Будьте милостивы. Скажите, куда девали вашего соседа?

Голос Ильи дрожал.

— Запрятали к бесу. В остроге сидит... вот что!

— В остроге? Быть не может... Господи!

— Сидит с ним в остроге и его дочка, — прибавил дед, посматривая ласково на парня.

Илья помертвел и зашатался.

— А тебе-то они на что? — спросил Зинец.

— Настя — моя невеста... Будто вы меня не узнали? Я Илья Танцур... Помните?

— Невеста? Так это ты, Илья? — спросил Зинец, грустно щурясь на Илью и осматривая его обрюзглое, заросшее волосами лицо, подбитые сапоги и порванную одежду. — Опять воротился из своих мест?

— Скажите же на милость, когда и как схватили каретника?

Зинец покачал головой.

— Слушай да помни, что я скажу тебе... Каретника выдали, выдал свой же брат земляк, какой-то христопродавец... Он знал, как добить его, и добил ловко, очень ловко... нечего сказать. Много лет я тут сижу на огороде, много годов знал Талаверку... Спокойно он жил тут, как пришел с дочкой из Молдавии. Все считали его молдаванином, и я сам ничего этого не знал. Вдруг получили тут в полиции бумагу из его настоящих мест. Нашлась, видишь ли, брат, его барыня... Кому-то захотелось крови его выпить. Ну, и выпил! По той бумаге сейчас наскочила на него полиция, хвать за его паспорт, а он поддельный. Из Букареста отписали, что никакого Масанешти там и в заводе не было... Пошли допросы... В кандалы его и в острог... Да недолго он просидел там, тут же от горя и заболел... Горячка, что ли, с ним сделалась! Настя за ним убивалась, ходила, оберегала. В бреду он и стал кричать, да и выкричал всю правду: назвал и эту барыню свою, и село, откуда он и почему бежал... Тут, как выздоровел он, его и уличили. Теперь сказывают, он во всем сознался; его имущество положили продать, а деньги и его самого с дочкой переслать по этапу к его барыне.

— Как к барыне переслать? К этой Перебоченской, по этапу?

— Да, к ней именно! Сказывают, что кончают теперь последние бумаги, его дом торгует тут один купец, все остальное уже распродано, и скоро его поведут в ваши места. Да что! Почитай, что он рехнулся, совсем как дитя стал, все плачет, качает головой, смотря на дочку, и пищи почти не берет. Ведь ты тоже из его мест? Ты знаешь его барыню?

Зинец с той же грустью посмотрел на Илью, ноги которого подкашивались, хотя он и не выражал ничем своей жалобы.

— Дедушка! Все я вам скажу... можно видеть его, Талаверку-то... в остроге? Я столько верст прошел пешком, проехал, чтоб только увидеть их... Можно его видеть?

— Что ты, что ты! Теперь уж тебя туда не пустят. Он в секретной.

Илья упал в ноги Зинцу.

— Дедушка, — вопил он, наконец, рыдая, — разве вы не знаете? Все вам скажу... Каретника я выдал, я — христопродавец, душегуб, Иуда каторжный! Я, жених его дочки Насти...

— Ты? — спросил Зинец, теперь догадавшись, кто был невольной причиной гибели каретника, и заморгал кустоватыми бровями.

— Именно я... Только не так, как вы можете подумать. Не по воле я душегуб! Сам Талаверка послал меня домой, чтоб я землю выхлопотал, двор себе устроил. Я воротился домой к отцу. А отец у нашего князя уже приказчиком. С первого дня у нас пошли споры. Он тянул меня в контору, в дворовые, а я к миру просился. О Талаверке и о его дочке я проговорился сгоряча моей матери. Я не знал того, что, чуть разбогатела и стала приказчицей, она пить начала, да... извините... в пьяном виде, должно быть, и сказала про все отцу... Тут у нас по соседству вышло дело тоже. Выехали чиновники к этой самой барыне, к Перебоченской. Я попал случайно в понятые. Ну, господам поблажки я не дал... Что теперь мне делать, дедушка? Куда идти, кого просить, как спасти Талаверку? — спрашивал Илья, в безнадежном отчаянии смотря на старого огородника. — Я и денег достану! Подкупить нельзя ли сторожей в остроге, чтоб дать им бежать? Отбить нельзя ли их в дороге, когда их поведут инвалиды по этапу? Я на Дешевку пойду! Подговорю отчаянных людей...

Улица, где был огород, выходила за город. Кругом было тихо, грядки еще пусты. Мышь иной раз шелестела в сухой траве. Ни один звук не доносился через ограду к куреню, у которого сидел костлявый рослый дед, а перед ним, с воспаленными, заплаканными глазами, измученный, исхудалый, позеленевший от тоски и горя, бился о землю Илья Танцур.

— Что тебе делать? Нельзя ли их отбить, спрашиваешь ты. Нельзя ли их освободить? — говорил как бы сам с собою Зинец, смотря в землю, почесывая широкую белую бороду и иссохшую, впалую грудь. — Слушай, никому я этого не говорил, а тебе скажу. Дело твое пропало навеки! Да, пропало. Но слушай! Все мы несчастны, да не все одинаково злую долю казним. Никто про меня не знает... Ох... мало уж мне жить на свете осталось... Забудь, что я тебе скажу... Много лет назад и я был крепаком, значит, подвластным панским холопом... Бежал и я, как ты, недаром. Мне было тогда тридцать лет, как я убежал из своих мест, и вот я почти сорок лет в бегах... Отец мой кучером нанимался; ну, и меня тоже кучером положил сделать. Отец мой у отца нашего барина недолго служил. Барин у него отбил жену, выходит, мою мать, да и увез ее в другое имение и в наложницы взял. Отец терпел-терпел, да раз выпил, охмелел и заколол ножом при всех своего хозяина. Упал барин под ножом хмельного батьки, упал, и дух вон... Всполохнулся народ; село все сбежалось... Я был еще маленький. Помню, как бледного моего отца сперва связали, а потом заковали и за большим конвоем в город повезли. Да он и не противился: сам сдался и во всем признался. Я жил тогда во дворе на кухне, у булочницы... Тут, погодя, и мать мою покойницу из другого имения привезли... тоже закованную... Ну, отца наказал палач. Смутно я помню въезд суда в наше село; отца наказывали среди улицы! Сослали его потом в Сибирь; с той поры навеки и слух о нем пропал. Я тем временем вырос; меня часто брали в комнаты с сыном покойного барина играть. Рос я и ничего не понимал, а там я и кучером к нему нанялся. Молодой барчонок наш затеял жениться. Я его любил и на свадьбе его был главным кучером. Родились у молодого барина двое детей, сперва дочка, потом сынок... Жена его была писаная красавица... Тут и я вскорости посватался на нашем селе за одну девушку...

Ох, Илюша... Помнишь? Я сказал, что пошел в бродяги-то... на тридцатом году. Именно на тридцатом я и посватался... Любил я свою невесту, Илюша... крепко, без памяти... вот так, как ты свою... Барин стал часто ездить в отлучки, в городе по выборам определился, а там начал и меня посылать в разные посылки, да все с долгими поручениями: на неделю, на две... Никак-таки не удается все свадьбы моей сыграть... Ну, пришла осень... Родные моей невесты корят меня. Раз возвращаюсь я из барыниной деревни, говорят, что мою невесту барин перевез в другое имение и случайно ли, нарочно ли, только именно в то самое, куда и его отец увозил мою мать... Я стал людей расспрашивать, те смеются, шушукают. А повар Тришка и говорит мне, что барин давно с барыней не ладят, что из-за того, верно, и мою невесту он отличил, послал ее в булочницы учиться в другую вотчину и сам туда следом поспешил... тут и помутился мой ум, заныла моя душа... И то же самое сделал, что и мой батько, да только не при всех. Эх, лучше не говорить... Да почти с той поры вот и состою в бродягах и, пока жив, не вернусь уж в свои места... Год назад, — продолжал старик, едва переводя дух от волнения, — все вы, даже те старики, сапожник и квасник, затеяли идти обратно к господам; один я остался. Не верил я тогда этой воле, не верю и теперь. На моем веку это уже в пятый раз суетятся. Вот-вот скажут волю, ждешь, кинешься спрашивать: одни выдумки. Воля та, когда сам ее взял. А так ее не дадут... знай это...

— Как не дадут, когда дали?

Зинец горько покачал головой.

— Дали? Ты ее видел?

— Сказывают.

— Золотая? На золотой бумаге?

— Нет, говорят, на простой.

— Ну, так не верь... Может, дали и золотую, да паны с попами спрятали, а теперь нам дают подложную.

— Что же делать?

— Жить в бродягах, в бегунах — зверьми жить, вот наша доля... Увидишь, все опять уйдут, хоть и воротились домой.

— Так, так! — шептал Илья. — Господи! А если и взаправду эта воля, что теперь народ радует, не настоящая, если нам земли даром не дадут, Талаверку силой к барыне пошлют, что тогда нам делать, дедушка? Что?

Дед опять покрутил головою.

— Что делать? Тогда, сынку, одно: либо покорись и нищим заживи дома с Настей и с ее отцом, либо нож в руки да ведра два доброго кипятку из котла...

Илья с холодным ужасом взглянул на Зинца. Дед сидел, добродушно поглаживая бороду. Последняя надежда на спасение Талаверки исчезла в Илье. Он впервые почувствовал прилив неугасимой мести к своим губителям — Перебочен-ской и отцу.

— Я уже с барыней Талаверки на пути посчитался кочем! — сказал Илья.

— Поджег ее?

— Да, поджег ее хутор... Не знаю, что было дальше.

— Жги, Илюша, и бей их. Не найти нам спасения нигде. Последние годы земля доживает, и антихрист скоро меж них народится. Что смотреть теперь и ждать?

— Нельзя ли, дедушка, достать тут вольных листов этих или книгу, что выдают за царскую?

— Не стоит, и не хлопочи. Дворяне и в ней вырвали те листы, что против них там написаны. Один, тоже наш землячок, видел такую книгу: она не прошнурована, без царских печатей и даже несшитая; бери каждый лист прочь, коли не по сердцу...

Илья молчал, становился покойнее.

— Ну, ступай же теперь, Илья, — сказал старик, — с горя поброди возле острога, да не попадись. Приходи завтра в эту пору; потолкуем, со мной же не оставайся.

«Коли все для меня пропало, — подумал Илья, — так не пропадет для других. Талаверкина барыня и мой батька поплатились и еще поплатятся...»

XII

На что решиться?

В первые дни по приходе в Ростов Илья ничего не добился о каретнике. Через острожную прачку он только узнал, что Талаверка вынес горячку и теперь еще не оправился. Илья стал шататься по городу, изредка нанимаясь в поденщики. В винных погребках шла гульня, гремели бубны, наигрывали скрипки и с заморскими матросами и шкиперами плясали девицы легкого поведения. А Настя не выходила из головы Ильи. Он придумывал сотни средств увидеться с нею, увезти ее из острога. С каждым из пирующих он хотел об этом посоветоваться. Кругом же не о том толковали. Прежние разговоры о торговле, о море, о приходе и отходе судов смешались с толками о новом законе. Передавались тысячи предположений. Говорили не стесняясь. Радость черни о воле быстро сменилась мрачными слухами.

— Нас надули, обманули! Настоящий закон спрятан. В настоящем законе земля нам давалась даром и помещиков гнали прочь.

Так говорил, между прочим, в одном погребке бессрочный солдат.

Илья, бывший под хмельком, встал, припер дверь погребка покрепче и подошел к солдату.

— Ты, дядя, не врешь?

— Нет.

— Побожись, а не то кишки выпустим!

— Коли врет, отчего же не выпустить, — подхватили другие.

— Ну, божись!

Выпивший солдат побожился.

— Я царский, стало быть, что мне врать!

— Однако, ребята, штука! — сказал Илья. — И я тоже слышал; надо обороняться! Говори, что еще сказывают?

— Говорят, чтоб рук не давать ни на что, ни на какие бумаги.

— Отчего же?

— Подведут. А за дачу рук сказано такое наказание: какая деревня даст руки на согласие чиновника или своим помещикам, так от синода будет велено семь лет там не крестить, семь лет не венчать и по семи дней не хоронить каждого мертвого, чтоб даже издали всем пахло, как душегубное село. А кто один из села пойдет против всех, того позволено прямо хоть из ружья застрелить, как собаку.

— Ну так штука! — сказал опять Илья. — Слышите, братцы? Обман!

— Как же это царя-то обманывают? Нешто он не знает?

— Знает, да терпит, — смело решил солдат, — и послал он повсюду дозорцев; на них, говорят, и царские знаки есть, а какие — про то я не слышал...

— В чем же они ходят?

— Мало ли в чем: иной одет монахом, другой разносчиком, третий ямщиком, а четвертый, как и я, солдатом...

Толпа гудела в погребке, как в улье рой пчел, пригретый весенним солнцем.

Илья расплатился и вышел, пошатываясь, в другой погребок. Там говорил за пустой бутылкой «донского» какой-то пропойца-чиновник.

— Слышите, ребята, — сказал Илья, входя, — нас обманывают: закон поддельный!

— Ничего не принимать, ни на что не соглашаться, ничего не подписывать — это так! — подхватил и чиновник. — Кто даст еще на бутылку, последнее слово скажу!

— Что же это за слово? — спросил Илья.

— Собирайтесь в кучки, толкуйте, высматривайте, и, чуть кто вас обманул, обухом в голову — и баста. Книга

новая вся из клочков, страницы перечислены в ней разным ладом, она без переплета, с вырванными листами и без царских печатей.

В ушах Ильи звенело. Голова его ходила кругом. Далеко за полночь он ушел за Дон и лег спать в овражке, под косогором. Солнце уже стало сильно припекать, когда он проснулся и зашел опять на Дешевку закусить и выпить спозаранку, чего прежде не делал. Накануне сторожа в остроге обещали ему доставить свидание с Настей и с отцом ее за десять целковых. Переговоры шли через острожную прачку, жившую в слободке под городом. За двадцать целковых ему обещали даже отпустить Настю на несколько часов ночью из острога. Илья сосчитал ночью деньги: налицо было всего шесть целковых с мелочью.

Где еще достать денег?

Илья долго стоял у берега под хлебным магазином города и думал: время уходит, денег мало, станешь работать, попадешься, а видеться с Настей надо... Ему был хорошо знаком этот пыльный и оживленный Ростов. Он взошел на крутой берег к источнику, над магазинами.

По огромному разливу Дона по-прежнему плыли барки и расшивы; сплавлялся плотами лес. В гирла к Азовью и обратно шли пароходы; клубился дым, раздавались голоса лоцманов: «Руль к берегу», «Молись», — и рабочие, скинув шапки, вслух молились и крестились на восток. Влево по берегу, по горе и внизу, шли ветхие лачужки предместья. Двухколесные бочки медленно тащились от источника с водою в город. По крутым тропинкам сбегали с ведрами бабы и девки. По улицам двигался озабоченный, будто бегущий куда-то народ. Турецким душистым табаком пахло везде. У источника город еще был тих. А туда далее, к площадям, прохожий поминутно слышал говор разных языков: слова итальянские, греческие, французские, татарские и украинские. Вдали за рекой, на том берегу, на низменной стороне сверкал громадный залив Дона и виднелись в тумане отдаленные слободы и станицы. Там были чисто степные картины: бес-

предельность гладких лугов и полей, которых зелень и ясность переходили мало-помалу в голубые краски и сливались наконец с туманом небосклона. По зелени первых луговых трав тянулись, пересекаясь, обозы чумаков с солью, с хлебом и с лесом и подгородные фуры с сеном. Внизу, правее, были оптовые магазины с сибирским железом, а там опять хлебные греческие и итальянские магазины. Работа с наступлением весны в последних шла самая спешная. У крылец на шестах были растянуты, в виде исполинских навесов, полотняные пелены. Под ними кишмя кишел наемный люд поденщиков; хлеб «перелопачивался», рассыпался по другим пеленам, сушился, очищался на грохота и подсидки, насыпался в мешки и тут же грузился внизу на барки. Работники носили хлеб, бабы и девки зашивали мешки, отгребали пыль и сор. Везде раздавались веселые шутки, смех и песни. Заработанная цена платилась по количеству работы, а не поденно.

«Да что же я стою? — подумал Илья. — Надо работать! Надо достать двадцать целковых, и поскорее». Он пошел в город.

У греческой кофейни толкотня: маклеры стоят на улице и шепчутся о ценах, о кораблях, об Италии. Издали развевается флаг над домом какого-то консульства. Напрасно гремят из окон рояли. Напрасно мелькают модные соломенные шляпы, ленты, цветы и платья. Напрасно звучит итальянская или французская речь. От пыли нет сил дышать, нет сил пройти.

Дед Зинец посоветовал Илье наняться к греку Андрококи пересыпать пшеницу, а ночи спать для предосторожности за городом. Так Илья и сделал. Прошло более недели. Работая изо всех сил, Илья рассчитал и сообразил, что завтра в его кармане будет двадцать целковых. Всячески угождая товарищам, чтоб его не выдали, он каждый день уделял часть денег на выпивку. Накануне расчета с хозяйским приказчиком он опять пошел в кабак за Дон. Дешевка на этот раз была особенно шумна и полна народа. Сотни голосов у прилавка кричали: «Вод-

ки!» Сотни рук тянулись к шинкарю-разносчику с пустыми штофами. Одни ели, другие пили и плясали. Тут были бабы и девки, писаря и дьячки, матросы и лоцманы, чумаки и солдаты. Много честного народа, пропившего последнюю копейку, и немало воров и развратников, способных на все из одного желания покутить и закрутить буйную голову. Полиция сюда близко не заглядывала благодаря приношениям откупа. Все здесь гуляло и веселилось нараспашку.

— Танцур! Танцур! Илыоша! Меня угости! — крикнул отставной старичок аудитор из кантонистов, слывший в числе постоянных посетителей Дешевки за благородного. — Что, брат? Твоего каретника доехали?.. К барыне на земельку посылают? Отбей невесту и так живи с нею, без венца! Что твоя и венчанная, как по доброму согласию.

Аудитор, в качестве чиновника, был в зеленом шелковом, на вате, архалуке, в военной фуражке и подпоясанный красным клетчатым платком. Он сидел на крылечке харчевни, между столбов, подпиравших навес, и, свеся ноги с крыльца, на разостланном носовом платке ел вареных раков, печенку и соленые огурцы.

— Здравствуйте, ваше благородие! — сказал Илья, не без удовольствия и сам принимаясь закусывать.

— Угости, душка; всю правду скажу...

— Какую правду.

— Про твоего каретника.

Дух у Ильи замер.

— Не верь ему, парень: все врет, мы его давно знаем! — отозвались другие. — Так, совсем пропащий человек, брехун!

Илья, однако, угостил аудитора.

— Ну, что ты там знаешь?

— Видел твоего каретника в остроге. Все плачет, рвет на себе волосы, кричит, что его разорили, убили; дочку жалеет, идти к своей барыне не хочет.

— Когда же их погонят домой?

— Коли хочешь повидаться, спеши: поведут через два дня.

— А как поведут?

— На Черкасск.

Илья решился утром выпросить у грека расчет и отнести деньги через прачку сторожам.

— Да ты не хочешь ли новый закон о воле прочитать? — спросил аудитор.

— А у тебя есть? Дашь?

— Есть, дам за три целковых прочитать. Приходи вечером ко мне. Только читай его тайно, чтоб никто не видел.

Илья дал аудитору из прежних денег три целковых, получил от него перед вечером книгу положений о воле и решился прочесть ее в ту же ночь, в ожидании расчета с греком. Для этого он положил уйти за город в глухую лощинку на Мертвом Донце, где он знал когда-то мельника, жившего там отдельным хутором. Уже ходил слух, что чтецов нового закона преследуют в иных случаях, и книгу положений о воле грамотеи из черни читали тайком.

Солнце еще было высоко, когда он большим мостом перешел через Дон и отправился за речку Темерник. По взгорью здесь было раскинуто село, по народному прозвищу Бессовестная слободка. Домики и хатки слободки, точно куча камешков, кинутых из горсти как попало, торчали тут без всякого порядка, лепясь по обрывам, сползая к реке или взбираясь на маковку взгорья. Эта слободка селилась сама собою под городом, когда еще мало обращали внимания на то, кто сюда приходил и селился. Она селилась без всяких справок и разрешений. Дух смелости и доныне тут царил на всей свободе. Все проделки против полицейских уставов в городе начинались отсюда. Тут жил аудитор, давший Илье книгу о воле. Здесь же была избушка и той прачки, через которую Илья надеялся увидаться с каретником и с Настей.

Аудитор промышлял уже несколько недель новой книгой, раздавая ее из-под полы на прочтение за деньги. Илья спрятал книгу под свитку и шел без оглядки, поспешая к ночи в лесок знакомого хутора, где не раз прятался от ростовских облав на беглых.

Скоро он спустился в долину Мертвого Донца и завидел издали кучу верб, садик и знакомый дом рыболова. Спустясь по каменистой обрывистой тропинке в долину, Илья заслышал шум воды, сбегавшей из ключевого пруда к колесам утлой водяной мельнички, и пошел к ней, спрятанной за вербами. Хатка рыбака была построена на выдавшемся каменном ребре утеса, из которого било множество светлых и студеных ключей. Она как бы висела в воздухе, отделяясь кустами терна и диких вишен от пруда. Когда лучи солнца в упор освещали с юга это ущелье, пруд и вербы, между которыми с тихим и вечным шушуканьем сбегала к мельнице в провале лишняя вода, в прозрачных струях пруда отсвечивались напущенные туда пестрые, с голубыми спинами, осетры, серебряные востроносые стерляди, беломраморные тупорылые сазаны и вертлявая тарань. Сюда порою наезжали из города охотиться в камышах долины на лисиц и поесть свежей икры и ухи богатые купцы. Тогда хозяин сажалки подходил к пруду, закидывал веревочную петлю или прямо на железный крюк подхватывал из воды осетра или стерлядь; кровь била из свежей раны на крюк, рыба распластывалась, из ее теплых внутренностей вынималась икра, протиралась сквозь решето с солью и тут же, еще теплая, присыпанная перцем, съедалась за бутылками «цимлянского». Сюда же в ближний лесок на долине собирался и простой люд из города потолковать в зелени деревьев о своих делах и выпить дешевой водки. Хозяин сажалки с весны редко был дома, ловя по окрестным затонам рыбу. Илья спустился в лощину, пробрался в лозы, забился в такое укромное место, откуда никто не мог видеть ночью огня, разложил в овраге под крутизной

костерок, сел у огня и развернул книгу. Он перекрестился и поцеловал давно зачитанную книгу.

— Господи Боже, благослови нам всю правду узнать! — сказал Илья и начал читать.

Губы его слипались, во рту сохло, глаза горели, дрожащие руки несмело переворачивали листы. Долго он читал. Язык законоположений и в особенности его великорусские выражения были не под силу его пониманию. И потому ли, что сам Илья вообще туго понимал смысл читаемого, или так уже он был настроен общими толками тех мест и лиц, с которыми его теперь сталкивала судьба, только в строках книги, без всякого умысла и с полным чистосердечием, он находил вовсе не то, что в ней действительно было. Ничто не мешало чтению. Старого холостяка, хозяина сажалки, дома не было. Тихо прошла темная весенняя ночь. Чтению книги вторили сотни соловьев. Какие-то другие птицы шныряли кругом в камышах и в лозах, поминутно перепархивая и пугливо налетая из темноты на огонь. За Донцом всю ночь раздавалось порывистое, горячее ржание лошади; это жеребец пасся там с косяком кобыл, грызя их и загоняя то в камыши, то в лозы. Где-то в темной вышине прозвенели золотыми трубами, несясь вереницей, журавли. У пустой хатки рыбака, возле сажалки, пропел несколько раз горластый петух. Лягушки неугомонным хором стонали вдали в каком-то укромном болоте. Начинало светать. За Мертвым Донцом явственно забелела полоса зари. Встал туман. Подуло по верхушкам лоз. Ветви верб заколыхались. Кто-то ехал вдали в лодке по Донцу, вероятно, с ночного лова рыбы, сперва затянул песню, а потом крикнул: «Стецько!» — «Че-е-го?» — отозвалось ему еще дальше, и эхо разнесло отклик в разные стороны. «Кончай! Пора!» — «Чую!» — откликнулся голос. И все опять стихло.

— Кончил и я! — сказал сам себе Илья, дочитав последнюю страницу книги положений о воле.

XIII

Вести из острога и из дому

Илья встал, хотел помолиться и не мог. Странный рой мыслей встал в его голове: приказ отбывать барщину, то есть, как он понял, отбиваться от барщины, свое мирское управление и рядом с этим соображение, что в книге листы вырваны и что она вообще подложная.

«Поспешить разве опять домой? — подумал он. — Я дал слово миру все открыть, не утаить ничего! Они ждут меня, надеются. А Настя?»

Что-то затрещало невдалеке за лозами. Стали слышны чьи-то шаги. Илья оглянулся, к нему пробиралась осторожная прачка. Он пошел с ней.

— Что ты, тетка, как попала сюда?

— Ох, бедняк ты, бедняк. Спозаранку кинулась следом за тобой, видела, как ты вчера с вечера заковылял сюда; ну, да и аудитора про тебя расспросила... Ох, беда, беда новая стряслась над тобою.

— Что? Узнали, ищут меня?

— Хуже... Ох, уморилась; знала, что утром пойдешь к греку за деньгами, чтоб уладить, повидаться тебе с суженой-то твоей. Ну... а Талаверка-то горемычный не вытерпел всех горестей, всего разорения...

— Ну?

— В эту ночь в остроге на вышке повесился. Сегодня и похоронят его. Сама видела.

Илья как стоял перед прачкой, так и пал лицом в камыш.

— Ах, ты бедный мой, бедный, что с тобою делать! — взвыла прачка.

Через два часа Илья и прачка подошли к подгородной ростовской слободке. Найдя аудитора, Илья отдал ему книгу и сказал:

— Через два дня жди меня в кабаке на черкасской дороге: здорово угощу.

Прачка сказала Илье:

— Иди же к греку, бери деньги и приходи вечером к острогу: не увидел каретника, так хоть дочку теперь его увидишь. Ручаюсь тебе, паренек.

Илья пошел из слободки к Дону и оттуда в Ростов. Он был сам на себя не похож: точно встал в тот день из гроба. Не доходя Дона, он остановился. Трубы города издали дымились. Из-за Дона несся веселый колокольный звон. Был какой-то праздник. «И на похоронах-то его не дадут бьггь, нельзя! — подумал Илья. — Зароют его как колодника, да и мне как идти? Еще узнают, тоже свяжут...» Получив деньги с грека, Илья целый тот день тоскливо толкался по базару, по погребкам и по харчевням. Несколько раз он подходил к стенам острога, заглядывал в железные решетки окон, заговаривал, как бы мимоходом, с часовыми, но ничего не мог он узнать про Настю, и нигде в окне не мелькнули ее белое лицо и русые косы. Он даже невольно прислонился к острожному забору, как бы пробуя его крепость. Народ весело толпился на улице возле острога. Все гуляли, празднуя весну. Сторожа-инвалиды у ворот курили трубочки и тоже весело поглядывали на гуляющих.

Стемнело. Прачка сдержала слово: взяла у Ильи деньги, отвела его к обрыву над Доном под стенами острога, велела ему там дожидаться и ушла.

— Я несу с дочкой белье в острог и, коли все удастся, дочку оставлю на время там, а к тебе сюда приведу Настю.

Илья сел впотьмах на камни между хлебными магазинами.

Город стихал. В остроге огни погасли. Зарю давно пробили.

«Нет, не пропустят теперь никого из острога», — решил Илья и замер.

Впотьмах раздались шаги.

— Настенька!

— Илыоша!

Только и могли проговорить Танцур и дочь каретника. Они отошли в сторону. Прачка, утираясь передником, тихо всхлипывала, поглядывая на них.

— Скорее, скорее! — шептала она. — Не погубите меня, коли пропало ваше счастье.

— Уйди, тетка, не стой! — сказал Илья.

Прачка ушла за магазины.

— Настя! Уйдем! Что ждать долее?

— Нет, Илыоша, не погуби этой бабы: мы уйдем — она пропадет, ее засудят.

— Когда вас ведут под конвоем? Говори, я отобью тебя.

— Послезавтра. Ох, страшно: ведь нас солдаты с ружьями будут провожать; не осилишь, убьют тебя — будут стрелять по тебе и по твоим товарищам.

— Была не была! Хоть два дня, да мои будут. Отниму тебя; меня не знают в глаза конвойные, а начальство здешнее не догадается, кто отбил.

Настя стояла молча, обняла голову Ильи и горячо его поцеловала.

— Илыоша, не затевай этого, приходи лучше и ты домой, там повенчаемся, станем жить хоть в бедности, да вместе.

— Нет; коли ворочусь домой теперь, так не для того. Настя! Отец твой меня считал виной всей вашей гибели... Из-за меня он... душу отдал бесу...

Настя молча рыдала. Илья рассказал ей историю измены его отца.

— Неужели простить ее или батька моего за то, что они крови вашей напились, что отец твой без покаяния повесился из-за них, а ты от богатства нищей и голой пойдешь по пересылке с колодниками? Не бывать этому!

Настя ухватила Илью за руку и прижалась к нему.

— Не допущу, чтоб ты шла под конвоем: вольные воротимся. Всем дана воля, а ее только от нас прячут.

— Илюша, да лучше подожди, воротись, и я скоро буду дома. Приди, попроси меня у барыни, посватай сироту.

— Чтоб я просил тебя у этой барыни? Ни в жизнь. Мы теперь вольные.

Прачка кинулась из-за магазина со словами:

— Прочь, долой, идут!

Илья побежал в сторону.

— Прощай, Илюша! — шепнула Настя.

— Жди меня за Черкасском.

Прачка увела Настю обратно в острог, а Илья пошел к Зинцу. Дед спал в курене, Илья его разбудил.

— Вставай, дед, да раскошеливайся, давай денег.

Зинец глянул спросонок. Кругом огорода было тихо. Голос Ильи звучал непривычной грубостью и злостью. В его руках была большая палка. Зинец струсил. Место было совершенно глухое.

— Что ты, что ты, парень? С ума сошел, какие у меня деньги?

Илья покачал палкой.

— Слушай, дед; разбойником я не был, воровать тоже не воровал. Ну, а вот вам Бог свидетель... не дашь денег — отниму; станешь кричать — убью!.. Что мне! Да что и тебе: жить-то недолго осталось.

Дед, ворча и охая, встал и начал возиться, будто что отыскивая, поравнялся с Ильей и вдруг кинулся на него, стараясь сбить его с ног, и закричал: «Караул, бьют!» Голос его странно отозвался в глухом закоулке.

— Шалишь! — ответил Илья, сгреб старика, как ребенка, связал его же поясом и положил у куреня.

Дед замолчал. Илья кинулся шарить в курене.

«Нет, это, видно, недаром! — подумал Зинец, лежа ниц к земле. — Он иначе не решился бы так со мною поступить».

— Илья! — сказал он вслух.

— Что?

— Под бочонком в углу, под соломой, мешок с сухарями лежит — нашел?

— Нашел.

— Развяжи: на дне деньги лежат.

Илья, достав деньги, сказал Зинцу:

— Не прогневайся, дед, как разбогатею, отдам! — развязал его и ушел.

Через два дня, рано утром, из городского острога, под конвоем пеших и конных инвалидов, двинулся по пути к северу длинный строй колодников, скованных попарно. Гремел барабан.

Этап вышел за город и двинулся степью к Новочеркасску, чтобы, сделав там привал в крепком казацком остроге, направиться далее по донским станицам. Тут было немало беглых, которые было нагрели себе в Ростове такое теплое и уютное место.

— Вот она, воля-то! — сказал Илья, провожая с другими колодников.

— А что? — спросили его из толпы.

— Да ничего! Я говорю только: вот она, прочтенная-то нам воля!

— Обожди, паренек, — отозвался какой-то купчик, — долее ждали; все объяснится.

— Жди, сват, пока живого съедят! А мы ждали-ждали, да и жданки поели! — сказал Илья, нырнул на улицу и скрылся.

Перед грустным отрядом колодников замелькали каменистые бугры Дона, курганы, стада курдючных овец, каплички у ключей в оврагах и скачущие вдали табунщики. Вон в стороне извив голубого Аксая, а вот на голой и лысой горе, обдуваемый со всех сторон ветром, Новочеркасск: домики с воздушными крыльцами и с резными галерейками вокруг стен; чистые, пустые и сонные дворики, цветы на окнах, шапочки на головах женщин; страшная пыль, безлюдные тротуары; громадный начатый собор среди главной площади; чиновный люд при саблях, в шпорах и в синих

сюртуках; учителя музыки и словесности при саблях и шпорах, мирные секретари правлений также.

Илья знал, когда поведут колодников. Накануне он особенно кутил в кабаке за Доном, угощая кучки самых отчаянных головорезов и буянов. На другой день у них было положено собраться тайно в поле, в овраге за Нахичеванью. Боясь, чтобы дед Зинец не одумался и не решился его отыскивать, он прятался и не входил в город. Но он случайно забрел к одной пристани, где готовился отойти пароход в Таганрог и далее. Ожидая рокового отхода колодников, Илья в последний раз присматривался к суете шумного городка.

У пристани он заметил кучку людей, игравших на берегу в орлянку в ожидании отчаливания парохода. Он подошел к этой кучке, стал сам глядеть на игру и вдруг остолбенел. Перед ним стоял, одетый матросом, один из музыкантов в Есауловке, скрипач Ванька. Ванька также узнал Илью. Они улыбнулись друг другу, отошли в сторону и там крепко обнялись.

— Какими судьбами? — спросил Илья.

— Волю прочитали и у нас...

— Ну?

— Ничего с той воли не вышло, я и решил дать тягу.

— Куда же ты?

— В Турцию, брат!

— Как же ты это едешь?

— Э, как! Были еще деньжата, ну, все и сварганил. В матросы взяли, а в Одессе пересяду в трюм какого-нибудь англичанина, да и дальше, в Турцию... А что твоя невеста, Настенька, от которой я тебе отсюда письма представлял? Жива, здорова? Что каретник, ее отец?

Илья все рассказал. Ванька покачал головой, сходил на пароход, который уже пыхтел и разводил пары.

— Ну, Илья Романыч, пароход уйдет еще через час! Мы успеем и выпить, и побеседовать на прощание. Пойдем в кабачок. Тебе горе, выпьем.

— Что дома у нас? Что нового! Говори.

Знакомцы пошли опять за мост.

Ванька ударил себя по лбу.

— Ах, я дурак, простота! И забыл! Тебе много нового. С этого надо было бы начать.

— Ну, говори, говори скорее.

— Малый, вина! Слушай. Во-первых, как только прочитали нам эту волю, народ сильно запечалился! Ждут тебя, вот как. Прошли слухи, что воля не та. Учителя Саддукеева помнишь?

— Как же не помнить; к нему я насчет жены отца Смарагда ездил. Ну?

— Выгнали его из этой гимназии. Я заходил в город и слышал это. В день отставки, с горя ли или так, он заснул, забыв в спальне погасить свечку. Загорелась сперва, видно, занавеска на окне, а потом весь дом. Он с детьми и прислугой едва выскочил, в чем был. Весь двор сгорел. А это только и было его имущество.

— Бедный, бедный! Эк у нас пожаров-то! Где же он теперь?

— Рубашкин принял его к себе в управляющие. Только, слышно, прижимает в жалованье Саддукеева, хоть тот ему и самый-то Сырт предоставил. Насчет пожаров тоже. Хутор Перебоченской сгорел! Да что, она живучая: опять строится. А про жену попа Смарагда слышал?

— Что?

— Померла вскоре после твоего побега.

Илья перекрестился.

— Господи! Вот все какие несчастья! Жаль, жаль его...

— Что жалеть! Он теперь счастливее тебя со мною.

— Как так?

— Видно, при жене только и крепился отец Смарагд. Чуть умерла, он куда-то, сказывают, написал, за ним явилась тройка, он забрал детей, что осталось утвари да и уехал без вести. Иные толкуют, что где-то наверху, за Волгой, в вятских лесах, в раскольничьи попы передался, рясу нашу ски-

нул, надел простой зипун, да так им и служит по-ихнему; а другие — что его схватили и он в Соловки угодил, сослан...

Илья вскочил.

— Вот не ожидал я этого! В какой-нибудь месяц... Что же его взманило, не понимаю?

— Как что? У нас, с доходами-то от мужиков, он получал всего целковых полтораста в год, а там посадили его сразу, говорят, на три тысячи целковых. Надоело бедствовать-то. Ведь от бедности и попадья его померла.

— От кого это ты знаешь?

— Наш дьячок сказывал. Теперь у нас на обе церкви один поп, отец Иван старый.

— Ну, а что ж наш мир? Что наши православные?

— Тебя, Илыоша, ждут и невесть как. Иди скорее туда, не мучь их. Прочитай им все по совести. Тебе верят.

— По правде? Так это говорят?

— Ей-богу.

— Ну, так я же им теперь все прочту и объясню. Многое я тут узнал из того, что прежде и не снилось.

Илья допил вино и ударил по столу. В это время раздался звонок на пароходе. Ванька выскочил из кабака.

— Прощай, Илыоша! Когда-то опять увидимся?

— Прощай, Ваня! Должно быть, на том свете.

— Да, — шепнул уже с лестницы парохода скрипач, — еще одно забыл: тебя велено схватить, как воротишься домой...

Ударил третий звонок. Ванька взошел на борт, колеса зашумели, и пароход пошел книзу, в гирла.

Через день Ростов взволновался. Прошла весть, что близ Черкасска в степи, под вечер, на этап с колодниками было сделано нападение шайки бродяг; солдат осилили, освободили всех арестантов, расковали, и те разбежались без вести. В числе убежавших была и Настя Талаверка.

Илья с Настей, скрываясь в оврагах и лесах, дошел до Калача, там ночью переправился через Дон на рыбачьей лод-

ке и пошел по Волге по пути к родному околотку. Но войти в Есауловку он не посмел.

— Ну, люди добрые! — сказал Илья, войдя на бугры, с которых была видна Есауловка. — Вы ждали меня; теперь я пришел. Пришел на счастье свое и ваше или на погибель вам и себе. Долго мы ждали воли и дождались!

В сумерки он вошел в хутор Терновку, где жил знакомый ему старик сапожник, и там решился устроить себе временный привал.

— Мужик вздорожал! Настоящая воля пришла! — сказал он, входя к старику с Настей.

XIV

Сельский агитатор

— Агитатор, агитатор, в нашей губернии новый Стенька Разин, новый Пугачев! — говорили помещики по деревням, куда вскоре воротился Илья. — Ведь это было их гнездо. Тут они действовали и семена бросили после себя.

— Неужели? Где? Как? Когда?

— На днях, на Волге, в заброшенном и глухом закоулке; он из Есауловки, дворовый человек князя Мангушки, а избрал себе притоном соседний хутор Терновку.

— Что же он пока делает, чем себя заявил?

— Его народ давно уже наметил; он два раза был в бегах. Малый смышленый, грамотный и воротился теперь опять из бродяг, чтоб, как говорит, добиться чистой воли. В Терновку и в соседние с ней овраги с мая месяца теперь сходятся толпы черни. Этого парня уже молва провозгласила пророком. У него же завелась и своя пророчица, тоже беглая девка тамошней помещицы, которую он добыл где-то этой весной. Их не венчают, и они живут так себе открыто, как муж и жена.

— Что же народ?

— Парень этот овладел всеми, отменяет везде барщину, собирает поборы на расходы для мирских дел, рассылает по окрестностям возмутительные письма. К нему верхами и на тройках съезжаются совещаться из других уездов и даже губерний такие же вожаки. И долго этого никто не подозревал, хотя все чувствовали какое-то сильное влияние на умы крестьян в том околотке. Даже отец этого парня, есауловский приказчик, живя от него в десяти или пятнадцати верстах, целый месяц ничего не знал о новом приходе сына и его укрывательстве в Терновке...

Да сперва и трудно было заметить влияние отдельных лиц. Все были взволнованы, все потерялись — и крестьяне, и дворяне.

Весна кончилась.

Весть о воле пронеслась во все концы; сорвало старые плотины и мосты, и все унеслось навеки шумными волнами могучего половодья. Поля окинулись зеленью. На Волге опять замелькали сотни пароходов. Народ задвигался у ее берегов. Леса и байраки зазвучали птичьими голосами. Холмы и бугры подернулись голубыми туманами. Орлы зареяли над долинами и заклектали на столетних дубах. Освобожденный пахарь повел первую вольную борозду. Первое дуновение воли по селам и хуторам принесло осязательные льготы переходной поры: безусловное увольнение от барщинных повинностей стариков, девушек и мальчиков-подростков, увольнение дворовых, которые по ревизии числились в крестьянах; свободный брак, отмену ночных караулов, уничтожение добавочных сборов с крестьян и первые намеки на жалованье дворовым. Не все добровольно решились сразу дать эти льготы. Освобожденные мальчуганы явили множество лукавых демонстраций и в раннюю пору недолгой весны не шли на работу за самую выгодную цену. За ними явились демонстрации горничных и должностных лиц из крестьян. Мгновенно опустели целые дома и усадьбы. Умеренные смирились, зная, что ловкий кормчий на практике может обойти

всякие подводные камни. Радикалы старого закала подняли крики и вопли.

— Слышали вы? — кричали одни. — Многие помещики ездят уже сами кучерами, а помещицы стряпают себе обед.

— Нет, не слышали. Кто же это?

— Михаил Павлыч, Федор Ильич, жена Ивана Юрьича! В Есауловке у князя Мангушки мужики самовольно, чуть прочли им манифест, запустили свой скот в барские луга по Лихому и выбили их в несколько ночей так, как вот эта ладонь.

— Ах, мерзавцы!

— В Конском Сырте у генерала Рубашкина соседние мужики в саду срубили ночью пять лучших берестов и липу на боковой аллее... Слушайте дальше! Везде только и слышно: мужики рубят леса, выбивают овцами и скотом поля и луга, вытравляют даже яровые и озимые всходы хлебов. У губернского предводителя на крыше дома в деревне поймали трех мальчишек. Они, верно, пробирались в трубу, чтобы обокрасть дом, как то случилось в Есауловке прежде, а становой, подлец, решил, что они лазали за воробьиными гнездами. Но печальнее всего история с тем же Рубашкиным. Он в первый день велел наемному кучеру запрячь лошадей к церкви, а кучер напился пьян; генерал вышел во двор — ни души; все батраки до обеда засели в есауловском кабаке. Он за ворота, а за воротами бродят без пастуха его шпанские овцы и все перемешались — бараны с матками и ягнятами. Что же бы вы думали? А? Отвечайте!

— Сам запряг беговые дрожки и поехал за кучера?

— Именно, угадали! А овец поручил было пасти горничной девушке, живущей у него за экономку, но и тут вышла беда! Та разобиделась и затеяла отойти от него.

Бывший тут юноша, из либералов, рассмеялся.

— Так, по-вашему, это вздор? Вздор? — закричал рассказчик.

— Разумеется, плевое дело. Эка мученики! — заметил либерал. — Раз в жизни самому в деревне запрячь лошадь. Подумаешь: развенчанные Наполеоны на острове святой Елены! Людовики шестнадцатые в цепях!

— Я продолжаю! — яростно крикнул рассказчик. — Я продолжаю о Перебоченской.

— А! — крикнул либерал и захохотал. — О Перебоченской, о сей человеколюбивой волчице, с надпиленными ныне когтями? Продолжайте, нам приятно!

Рассказчик, в котором читатель, вероятно, узнал смененного некогда предводителя, защитника Перебоченской, оторопел от злобы и негодования, но, чувствуя, что и у него шальное время пообточило зубы и надрезало когти, смолчал, набил себе трубку папой-крионом, затянулся до тошноты, улыбнулся и, пуская дым, продолжал мрачным и сдержанным басом:

— Господа, наше сословие распадается, гибнет! Но что сталось с этой бедной Перебоченской? До чего ее унизили, разорили! Я не узнал ее, воротившись из высылки в другое мое имение.

— Как так? — спросили слушатели.

— Вы знаете, я всегда к ней был особенно расположен. Изгнанная из Сырта, она продала дом в городе и переехала было к себе на хутор, думая извернуться, прикупить еще земельки и повести хозяйство. Разместила она людей по избам; одних из них поставила в батраки, других — в должности к дому. Тут еще воротили ей из бегов несколько человек ее бродяг, каких-то двух баб из Астрахани, парня-кузнеца из Москвы. Дело же наше по доносам Тарханларова затихло по случаю манифеста о воле. Что же бы вы думали? Тут явился этот наш доморощенный агитатор, зашел из Терновки к ней на хутор и — как вы, господа, полагаете? — объяснил всем ее людям разные статьи положения по-своему. Те сговорились да на днях бросили ее двор и ушли все до одного в свои батрацкие избы, требуя земли, волов и, вместо

дворовой службы, трехдневной барщины мужчинам, двухдневной — бабам, так как они числятся крестьянами!

— Что же! Это по закону! — сказал либерал. — А вы думаете как?

— Но посудите о Пелагее Андреевне, о ней посудите! — кричал бывший предводитель, будто не расслыша последних слов. — Плотники бросили ее столярню, где ей кресло делали; кузнец-парнишка бросил кузницу и также требует поставить его на хлебопашество, то же самое и с бабами: и те бунт затеяли. А о девках нечего и говорить...

— Что же красные девушки? — отозвался либерал, хихикая. — Их бы этак розгочками посечь, репяшками, и дело в шляпе, усмирились бы.

— Представьте, — продолжал рассказчик еще мрачнее, — все девки Перебоченской сговорились и вдруг... бросили ее в одну ночь. Одни бежали к овцам, другие к женихам, в батрацкие хаты и в соседние имения; ушли в служанки, швеи, кухарки, прачки и кружевницы. Даже представьте — верная Палашка и та бросила Перебоченскую и ушла в город с каким-то солдатюгой.

— Ай, батюшки! Что же она не требует девок? — спросил либерал.

— Бедная Пелагея Андреевна из сил выбилась. Звала всех обратно, становому жаловалась, новому предводителю. Ничто не взяло. Не те люди теперь стали... Да-с! И представьте... сама теперь есть себе варит, кухню перевела в дом, сама стряпает и горькими слезами обливается. Два раза даже посуду сама мыла и воду, сказывают, черпала из колодца во дворе. Просто Содом и Гоморра!..

— Странно! — отозвался либерал. — Отчего же эта барыня не прибегнет к найму посторонних людей?

Отставной предводитель остановился среди комнаты и с грустной улыбкой посмотрел на всех слушателей:

— Слышите? Она? Прибегнет к найму? Да это кремень-женщина с характером древних героев. Она скорее погибнет от всяких огорчений и обид, чем уступит хоть крупицу

9*

своего достоинства! Она — честь и украшение своего сословия. А считать легко в чужих карманах. Отчего не нанимает? А зачем вся эта перемена? Нам служили и работали даром... Поневоле потеряешься... Вон наш патриарх, Борис Николаевич! Ведь не вынес. Шестьдесят лет хозяйничал, сидя в кресле, приказания раздавал и не верил толкам о воле. А приехал становой с манифестом, он как встал с кресла, зашатался, грохнулся об пол — и дух вон! И таких жертв у нас немало-с...

Либерал подошел, посвистывая, к окну. Хоть санкюлот в душе, но в то же время сам богатый человек, он позволял себе вообще быть спокойным и не стесняться. Его ненавидели, но боялись и даже порою искали его расположения.

— А Палашка, Палашка, — возглашал рассказчик, — эта верная, преданная служанка!

— Ну? — отозвались некоторые.

— Представьте. Как ушла с солдатом в город, да и не возвращалась долго. О ее измене в особенности скорбела Перебоченская. И что же бы вы полагали? На днях к крыльцу ее на хуторе подкатил с бубенчиками тройкой тарантас. Кучер с павлиньим пером. На гривах лошадей ленты. Из тарантаса вышли молодые, разодетые: девка и солдат, прямо из-под венца. Это и была-с... была сама Палашка, с своим суженым! Чуть Палашка с мужем вошла в дом к ней, солдатюга и брякнул: «Сударыня, позвольте у вас взять сундук с вещами и с платьем моей жены». — «Какой сундук? — спросила Перебоченкая. — У нее ничего этого и в заводе не было!» — «Как можно, сударыня! — отозвалась Палашка. — Я новому предводителю стану жаловаться! Мало вы над нами издевались! Голодом нас морили, без белья целые годы ходили. Я у вас два года на свои деньги обувалась. Я ли вам еще не служила?» Перебоченская на это вскрикнула, зашаталась и упала в обморок... Вот до чего мы дожили. Скоро чернь заберет страшную силу благодаря своим коноводам...

— Не верю!

— Не верите? Мы зато верим и все понемногу обзаводимся оружием, револьверами и прочим.

— И этому не верю!

— А это что? — спросил оратор, вынимая из кармана револьвер.

Хозяин дома, где шел этот разговор, тоже вынул пару каких-то еще дедовских пистолей, притом заряженных.

— Так и сплю теперь! Нельзя! — прибавил он, отошел к двери и еще там показал в углу палку с потайным стилетом в пол-аршина.

В других местах толковали несколько иначе. В уездном городе, в доме исправника, удаленного было от места вскоре после истории Тарханларова с Перебоченской, но потом оправданного и вновь допущенного к должности, собирались все недовольные из старой уездной партии. Тут, между прочим, велась большая карточная игра и разговоры об эмансипации шли, попеременно прерываясь восклицаниями.

«Дама бубен.» — «Плие!» — «Шестерка!» — «Атанде!» — «Убита! Пожалуйте денежки.»

Как-то раз, когда игра между помещиками была особенно сильна, кто-то спросил:

— А что, господа, слышно про есауловского Пугачева? Говорят, скверные вещи в уезде у нас происходят!

Исправник оставил карты.

— Да, именно скверные. Я уже десять рапортов послал губернатору. Но ведь вы знаете теперешнее время.

— Кто же, кто коновод беспорядков в нашем уезде? Добились вы толку?

— Долго я не понимал, в чем дело, и наконец уразумел.. В окрестностях Есауловки, как по чьему-то таинственному мановению, весь народ окрысился, как один человек... Положение толкуют по-своему; отказываются от добровольных сделок с владельцами. Здесь сегодня обидели барыню! Смотришь, за сорок верст в тот же день выругали барина, а за пятьдесят исколотили чуть не до смерти приказчика.

Коновод-то есть, господа, да крылья нам подрезаны, завелись мировые посредники; я пишу губернатору, а он говорит: пусть прежде посредник похлопочет. Да-с... Вот, когда что посерьезнее случится, тогда другое запоют...

Что касается до слухов, то исправник действительно не ошибался. И долго еще помещики тревожно толковали между собою и сообщали, что вот, вслед за возвращением своим из Италии, владелец Есауловки, князь Мангушко, испытал какое-то сильное оскорбление от своих былых подчиненных, что это дело разбирал уже местный посредник, но что на сходке и того сильно оскорбили крестьяне. Что по уезду пронеслось имя Ильи Танцура, сына есауловского приказчика, что генерал Рубашкин, сойдясь с князем Мангушко, ночевал как-то у него и на них ночью было сделано что-то вроде покушения на убийство, при этом Илья, вместе с Кириллом Безуглым, чуть было не поймался.

Губернский город, наконец, узнал о событиях того уезда в подробностях. Илью Танцура уже прямо называли коноводом всех своеволий крестьян.

— Новый Стенька Разин! Стенька Разин появился у нас! — передавали с ужасом друг другу обыватели губернского города, где, как водится, жизнь своих же уездов понимали менее жизни, например, города Ботофого или Рио-де-Жанейро.

— И в тех самых поволжских местах, где действовали Пугачев и Разин! — добавляли другие. — Есауловка — их гнездо!

— Что же слышно о нем? Каков он и как зовут этого агитатора? — допытывались дамы.

— Илья Танцур; он сын приказчика в Есауловке. Говорят, что он в косую сажень ростом, съедает по целому барану и выпивает чуть не по ведру водки. А наружностью так сущий Пугачев: окладистая черная борода, ястребиный взор и ожесточен, как сам Емелька. Наконец, правда ли,

нет ли, а уверяют, что, скрываясь в хуторах за Авдулиными буграми, научая всех и принимая депутации, он объявил себя пророком...

— Быть не может! Пророком? Как Магомет? — спрашивали, замирая от страха, дамы.

— Именно, как Магомет! Народ к нему идет на поклонение, он сидит за столом перед книгой о воле, всех допускает к руке, красная лента у него через плечо. По ночам он развратничает, а днем решает сомнения всех, кто к нему приходит. Говорят, что отцы ведут к нему дочерей, мужья жен, а братья сестер...

Дамы с ужасом затыкали уши и поднимали глаза к небу.

— Вся подкладка его характера, — пугливо ораторствовал какой-то приезжий в кабинете губернатора, — вся личность этого Ильи Танцура — двойник Разина. Это тот же меч Божий! Как он нагло оскорбил посредника и как хладнокровно заколол станового! Чужие страдания его забавляют; великодушие ему незнакомо.

— Ну, — перебил губернатор, — становой жив.

— Пусть жив. А посредник?

— От посредника я еще ничего не получал: видно, надеется и так успокоить околоток. А мешаться мне пока не позволяют инструкции...

— Все так, все так. Но этот коновод — зло опаснейшее... Он уже устроил прямые и непрерывные сношения с окрестными губерниями; сорок пять уездов уже в его руках. Ему несут хлеб-соль, сборы денег...

Губернатор встал. Он давно был встревожен и раздражен, давно хотел принять какие-то меры, но чем-то все стеснялся, чего-то боялся, ждал. В последнее время он сильно присмирел, часто сидел над бумагами, мягче встречал посетителей, заботливо советовался о разных намерениях с людьми опытными, с людьми старого порядка, с местными практиками, преклонялся перед временем, хоть и ворчал на Петербург. «Э... в виде нищих сюда никто не приходил, а

об есауловских делах, однако, надо подумать серьезнее!» Он позвонил, позвал своего секретаря.

Вошел румяный и щегольски одетый молодой человек в очках, из правоведов. В его руках была пачка газет.

— Насчет Есауловки от посредника еще ничего нет?

— Ничего-с...

— Странно!

Губернатор стал медленно ходить по кабинету.

— А вы как полагаете? Проделки этого, как его, Ильи Танцура, пустяки, что о них посредник умалчивает и все еще не сдает дела местной полиции? Согласитесь сами: влезть на балкон, на трубу; не может же быть, чтоб приказчик это сочинил!

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, — начал молодой человек, поправляя очки, выпрямляясь и стараясь придать себе как можно более достоинства, спокойствия и благородной смелости и откровенности, — до меня дошли еще другие, более важные слухи... Известный-с итальянский агитатор Гарибальди через своих эмиссаров давно уже старается взволновать Венгрию, Грецию и славянские земли в Турции... Ну-с, по секрету объявляют, что его портреты с недавнего времени в громадном количестве привезены, как слышно, через азиатскую Россию, на Кавказ, а оттуда в Крым, на Дон и сюда, в низовые губернии...

— Как, вы полагаете, что между Гарибальди и нашими местными мятежниками есть солидарность? Это забавно!

— Имею ясные подозрения, — продолжал совершенно спокойно секретарь.

— О, это уж слишком! — перебил губернатор.

— Очень рад, ваше превосходительство, что на ваше сомнение могу отвечать фактом. Везде, по Дону и здесь внизу, по Волге, с весны еще народ ожидает со дня на день прибытия некоего гетмана Загребайлы... Понимаете-с? Загребайлы... Это и есть Гарибальди! Этот гетман Загребайло, по толкам народа, теперь за морем, пока освобождает, де-

скать, итальянцев, потом побьет немцев и турок, освободит славян... а там...

Губернатор остолбенел...

— Надо принять строгие меры, — сказал гость-помещик, — иначе после не расплатитесь...

— Вот вам и должность наша! — решил губернатор, расставя руки. — Что нового в газетах?

— Везде толкуют о крестьянских мятежах, о насилиях, упорстве...

Губернатор позвонил. Вошел жандарм.

— Поезжай, попроси господина Тарханларова ко мне. Надо действовать! — сказал губернатор уходящему гостю. — Что делать, не мы виноваты.

Не успел губернатор успокоиться, как к вечеру к его квартире подъехали разом два нарочных верховых с пакетами от станового и от посредника. В обоих пакетах доносилось о новых беспорядках в Есауловке и в окрестностях и испрашивалась присылка войск.

XV

Князь Мангушко также, наконец, воротился

Что же в это время сталось с Ильей Танцуром?

В Есауловку весной, с первой навигацией, через Триест, Дунай и Одессу воротился, наконец, старый князь Белоконь-Мангушко. Живя зиму в Италии, на берегу моря в Генуе, князь занимался живописью, ходил в кофейни читать газеты и болтать о политике, волочился за шляпницами и цветочницами, носил костюм двадцатилетнего юноши и несколько лет сряду копировал масляными красками дюжинный ландшафт какого-то туземного артиста из римлян и ждал только новых денег из России, чтоб переехать в Сиену, где, по слухам, жил другой артист, бывший в моде по случаю рисования в особом, однако, виде обнаженных женщин. Ни

из киевских имений, ни из Есауловки денег, однако, не приходило. Князь как-то зашел в мастерскую своего учителя-живописца и вдруг услышал от него такую новость: «Tiens mon cher, prince![1] Вы читали una[2] телеграмму из России?..» — «Какую?» — «Ваши serfs[3], ваши рабы, освобождены, наконец, одним росчерком пера... Ваш император издал третьего дня в Петербурге великую хартию свободы двадцати миллионам ваших крестьян.» Князь кинулся в кабинет для чтения и в маленькой местной газетке действительно прочел в телеграмме, переданной из Петербурга в Париж, извлечение из манифеста о крестьянской воле. Читальная зала библиотеки была полна. Более сорока угрюмых лиц, уткнувшись в итальянские и французские газеты, хранили мрачное и красноречивое молчание. «Русские!» — подумал князь, и под его ложечкой почувствовалось легкое давление. В тот день он не ходил гулять в общий сад, даже не обедал и выпил множество шипучей воды. На другой день, вместо артистического визита в Сиену, он сосчитал последние деньги, скромно выехал в Триест и через две недели в каком-то отставном мундире, вместо недавней художнической куртки, сурово стоял в Киеве в соборе, попав туда случайно на один официальный праздник и на молебствие, причем, впрочем, ему дали место в кругу губернской знати. Киевские имения не улыбнулись князю. Доходы оттуда были давно исчерпаны за год вперед. Он поспешил в Есауловку, так как незадолго перед тем в ней произошла известная кража в доме и ожидалась большая сумма за продажу партии пшеницы, скопленной приказчиком Романом в несколько дешевых лет.

Князь явился в Есауловке как снег на голову. Дом найден в порядке, хотя был не топлен. Наскоро протопили и освежили сперва две-три комнаты. По совету Романа, к соседу

---

[1] Да, милый князь! (*фр.*)
[2] Одну (*итал.*)
[3] Рабы, крепостные (*фр.*)

в Конский Сырт поскакал гонец с записочкой от князя, что тот просит у Адриана Сергеича Рубашкина позволения с ним познакомиться, приехать к нему и на первое время дня четыре или более погостить у него. Рубашкин поспешил к князю, увидел перед собою сморщенного, но розового, сладенького, изнеженного и веселого, с белыми волосами, старичка. Рубашкин его разглядывал. У князя весьма подозрительно дрожали нежные ручки; голубые, небесные глазки были несколько мутны; во время ходьбы одна нога будто отставала от другой, а голова порою сама собой покачивалась, как у алебастрового котенка. Старики нашли друг в друге много общего и тотчас сошлись, даже пустились в откровенности. Оба оказались одинаково либеральны, считали, что лучшие из дворян продали свое сословие, и, хихикая, решили, что теперь остается им только перепрыгивать с одной льдины на другую, спасаясь в общем наводнении, и только, пока есть огонь в душе, развлекаться насчет женщин.

Князь Мангушко переехал в есауловский дом. Явилась наемная прислуга. У конюшни показались молодцеватые конюхи. У кухни задвигалась бочка с водой, запищали под рукой повара невинные куры, взревели телята и овцы. На поварских столах бойкую дробь забили над котлетами и паштетами вновь отчищенные ножи. Наемный из города лакей развесил возле крыльца платья барина. Приказчица Ивановна, ни жива ни мертва, суетилась в буфете. Роман Танцур старался изо всех сил угодить князю.

Тут-то и началась история. Рубашкин вечером сидел у князя. Они ожидали милых гостей. А тем временем в саду в потемках ходили две тихие фигуры: Илья и Кирилло. Илья давно добивался случая повидаться с князем, объявить ему обо всем, что он знал о своем отце, но Роман его бы не допустил. Кирилло тоже хотел проситься на оброк, а его заставляли работать с крестьянами. Приятели решились попозднее, когда приказчик уйдет, явиться к князю и лично добиться дела. Вдруг они увидели впотьмах, у решетки дома, двух девушек, подкрались и подслушали их речь. Кирилло

узнал Фросю. Девушки ушли на крыльцо. Дверь за ними щелкнула. Приказчик сошел в контору. Огни в доме стали погасать. Светилось только окно в спальне князя, близ балкона, во втором ярусе дома.

Кирилло зашипел от ярости:

— А! Фроська, подлячка! Узнал ты ее?

В уме Ильи мелькнул первый вечер его возврата домой, голубятня, стоны и та же Фрося. Приятели переждали и решились подсмотреть за девушками. Кирилло взлез на балкон по трубе к окну спальни с целью заглянуть в окно. Илья ждал внизу. Их застал Роман и крикнул караульных. Они убежали. Роман будто бы видел и Илью. Эта сцена сильно напугала и князя, и Рубашкина. «Ведь они могли нас убить!» — решили они и дали знать о дерзости Ильи посреднику.

Через два дня из-за Авдулиных бугров явился босоногий чужой мальчишка и принес в контору записку, писанную карандашом, от посредника такого содержания:

«Приказчику села Есауловки. Прошу созвать к барскому двору все общество бывших крестьян помещика князя Мангушки на завтрашний день с утра. Мировой посредник Ралов».

Мальчишка ткнул записку в руки Романа и исчез, пока тот успел прочесть ее и собраться с мыслями. Роман был поражен. Прочтя записку, он кинулся наверх к князю. Через пять минут в Сырт опять поскакал верховой, и Рубашкин явился снова.

— А, каково? — шептал князь, давая ему записку посредника. — «Прошу» вместо «приказываю», и кому же, мужику? И потом, как ядовито: бывших крестьян князя? Какой-то Ралов! Да это забавно! Записка по такому важному делу на клочке дрянной бумажки и карандашом. Да это террор!

— И фамилия какая скверная! Ралов! — перебил генерал. — Какой-нибудь нищий!

Рубашкин прочел записку и плюнул.

— Ему жалуются на разбои, негодяи лезут в окна, а он пишет в контору! Нет, это бесчестно, подло! Я к министру буду писать. Завтра я у вас непременно буду опять, чтобы все видеть.

— О, пожалуйста, ваше превосходительство!

Рубашкин уже с весны не останавливал никого, когда его титуловали по-генеральски.

Рано утром Рубашкин уже явился к соседу и застал его за стаканом кофе еще неумытым, в ермолке и халате.

— Вы еще нежитесь?

— Да-с! День будет, надо полагать, тяжелый.

— А что? Разве этот, как бишь его, Ралов скоро будет?

— О, нет еще! Куда им, этим молокососам. Я думаю, еще спит. Только для форсу с утра требовал сбора людей. Разве к вечеру будет. Не хотите ли чаю или закусить?

Князь потянулся, позвонил. Вбежал Власик и не своим голосом крикнул: «Посредник едет!»

— Вот-те и на!

Приятели бросились к окну, из которого было видно, как толпа мужиков у ворот задвигалась. Издали, версты за две, по косогору спускалась коляска четверней.

— Однако коляска! — сказал князь. — Так они у вас в колясках ездят!

Крестьяне заранее один за другим сняли шапки. По зеленой луговине от двора навстречу посреднику поскакал приказчик Роман.

— Это зачем? — спросил Рубашкин. — А, понимаю! Верно, пригласить его прямо к нам.

Князь кинулся одеваться. Рубашкин, оставшись один, спустился в залу и стал перед зеркалом, принимая разные внушающие положения. В это время за воротами раздался стук колес, но коляска к крыльцу не подъезжала. Рубашкин пошел сперва в переднюю, потом в кабинет. Там уже стоял князь. Князь глянул на Рубашкина: на генерале явились звезда и фрак. Рубашкин глянул на князя: на князе звезды не было, но он также облекся во фрак и белый галстук и

нацепил на себя заграничный орден какого-то овна девы, полученный им за жертвы в пользу иностранных богаделен. Приятели были в сильном волнении. В окно было видно, как посредник у ворот вышел из коляски с письмоводителем, как крестьяне скромно ответили на его приветствие, и он тотчас стал опрашивать крестьян. На нем были: беловатое драповое пальто и старенькая помятая фуражка. Письмоводитель был тоже в старой шинельке.

— Что же это? — спросил князь. — Они, кажется, идут под амбар?

В комнаты стремглав вбежал приказчик, крича лакею:

— Стол посреднику, стул и чернильницу!

— Ты-то чего мечешься? — шепнул ему сердито Рубашкин. — Отчего к князю не идет?

— Не можем знать-с; говорят: я не в гости приехал, а по делу; кланяйся им и скажи, что я прошу их прийти и при обществе объявить все, чтобы крестьяне знали, что я посредник, а не гость князя.

— И это он сказал при всех?

— При всех.

Князь и генерал переглянулись.

— Вы пойдете туда? — спросил Рубашкин.

— А вы?

— Нет, вы скажите.

— Нет, вы.

Словом, приятели остались, угрюмо уселись во фраках у окна и не пошли на следствие посредника о беспорядках в Есауловке. Из окна была видна у амбара куча народа и стол, за столом перед бумагами на стуле посредник. Он говорил, вставал, садился. Был слышен ответный гул голосов. Из дверей конюшни, из окон и из-за углов кухни и других зданий везде торчали взволнованные лица любопытных. Тут были и выпущенные из острога музыканты, и несколько призванных нарочно в свидетели жителей соседних имений. Власик взобрался на крышу амбара и оттуда с другими ребятишками также слушал,

что говорилось на той небывалой сходке. Илья Танцур и Кирилло стояли в толпе крестьян. Роман стоял с письмоводителем за стулом посредника. По приказанию князя верховой поехал в Сырт за Саддукеевым. Посредник не в первый раз уже являлся убеждать есауловцев покориться новому положению. Потравы лугов, рубка леса и всякие ослушания продолжались. Посягательство Ильи и Кириллы на спокойствие князя в ночь, когда их застали у балкона, переполнило чашу терпения посредника. Долго он высчитывал вины общества, долго горячился, кричал, даже охрип и грозил все дело передать земской полиции.

— Это ты всему зачинщик! — сказал он, наконец, Илье и прибавил: — Сотские! Взять его и отправить в стан. Пусть с ним с первым ведается полиция!..

Илья выступил.

— Коли отец мой и тут гонит меня, — сказал он, — так я молчать не буду. Он погубил отца моей невесты, доносил на меня, что я с ворами лазил в дом барина, теперь донес, что видел меня опять ночью у балкона, выставляет, что я людей смущаю, не так законы им читаю. Православные, полно батьке моему над нами властвовать, кровь нашу пить! Сечь людей через становых да на вас жаловаться. Ваше высокоблагородие! Я ребенком бегал от немца-изверга, а нынче весной уходил от отца родного. Воротился я всю правду про него сказать. Был в суде дорогою, просьбы моей не приняли, не так написана; был у станового, и тот не принял. Знайте же вы, я про отца своего теперь при людях говорю: он с помещицей Перебоченской фальшивые ассигнации в Нахичевани покупал да после распродавал; тем они и обогатились. А доказать мои слова могут: помещик Хутченко в остроге, горничная Перебоченской Фрося, что у генерала Рубашкина в ключницах нанимается, и один армянин в Ростове, Халатов. Этот знает и ту книгу, где барыня эта с отцом моим расписывалась в получении тех ассигнаций.

— Ваше высокоблагородие! Велите ему замолчать! — вскрикнул Роман, чуть помня себя от злости и испуга.

— Это ко мне не относится, — сказал рассеянно Ралов, — а впрочем, господин письмоводитель, запишите все это.

Письмоводитель кинулся писать.

Толпа молчала.

— Это все ты скажешь перед судом, — обратился опять посредник к Илье, — а теперь за то, что через тебя вся деревня волнуется, иди под арест. Сотские, взять его!

Илья сунулся назад.

— Не трогайте его, — загудела толпа. — Он правду говорит: мы все за него.

Посредник глянул: все лица были бледны, глаза опущены к земле.

«Эге-ге, — подумал посредник. — Да какой же я был болван, что до сих пор с ним нежничал, потерял столько времени, когда все прямо его считают коноводом...»

Он начал было опять кричать, грозить. Письмоводитель выручил его.

— Видите, какое здесь село; напрасно вы тут скромничаете, — шепнул он ему, — эта деревня была заброшена. Народ тут незабитый, смелый, так вот все и стоят щетиной, букой. Посмотрите на их морды: волки, звери! Тут без станового вам не обойтись. Советую приказать послать за ним нарочно...

Посредник услышал кругом себя ропот толпы, крикнул ей: «Молчать», — и, когда крестьяне через выборных отказались даже подписать протокол сходки, повторяя, что, пока князь не сменит приказчика Романа, до тех пор они не пойдут на работу, он прибавил:

— Господин письмоводитель! Пишите повестку к становому. Пусть он заставит их опомниться. Я не выеду отсюда до тех пор, пока вас силой не заставят слушаться меня и выдать Илью.

В это время тихо подошел к толпе подъехавший на беговых дрожках и запыленный Саддукеев. Подойдя к посред-

нику, он поклонился ему, расспросил его, сначала не взял в толк, в чем дело, но потом отозвал его в сторону.

— Извините меня! — сказал он. — Вы не выдержали. Одумайтесь, будьте хладнокровнее. Смотрите сами на эти лица: какие же они звери? Вас сбил письмоводитель, переждите, не дайте вмешаться в это дело полиции. У вас немалые силы в руках. А иначе вы наделаете такого, что и сами не будете рады.

Посредник обиделся и ответил:

— Я знаю, что я делаю! Терпение мое лопнуло. И то мне совестно перед губернатором и перед всем этим околотком.

Через четверть часа один из сотских поехал в стан с повесткой. Посредник, забыв роль, сидел у князя, и все ругали наповал крестьян.

— Оставайтесь, господа, ночевать у меня! — сказал князь гостям. — Мне скучно, да теперь и не совсем безопасно, а становой будет только завтра.

Весь вечер хозяин и гости то подходили к окнам, то выходили на крыльцо, прислушиваясь и приглядываясь к тому, что делается в селе. Власику велели растопить камин в портретной галерее и там сели ужинать. Есауловка заволновалась. В сумерки среди нее оказалось много посторонних лиц из других слобод. Они явились узнать новости о заезде посредника. Все тихо шушукались, глядели на барский дом. Кабак, сверх ожидания, был пуст. Тревожные кучки народа ходили по улице, садились под хатами, у ворот, у церквей, и к ночи все столпились у двора Ильи. Илья с вечера воротился в свою хату на Окнине. Всякого нового, подходившего к его двору, окликали словами: «Кто идет?» — «Казак!» — отвечали подходившие. Бабы и дети заперлись по своим хатам. В избе Ильи светился огонь.

— Что там делается у него? — спрашивали те, кто стоял, за теснотою, на дворе.

— Царское положение читает со стариками народу про посредников и про становых.

— Да нам же читал посредник.

— То подложное. Там главные страницы вырваны. А на самом посреднике царских знаков нет; он только кричит, ничего не поймешь, да бородой ковыляет.

На дворе зашумели.

— Идет, идет с книжкою.

— Кто?

— Сам Илья Романыч.

Илья вышел из хаты. Сзади него держали фонарь.

— Православные! — сказал он, кланяясь на все стороны. — Старики согласились и положили не сдаваться. Мне что? Отстоите меня, спасибо; нет, голову за вас положу.

— Будь спокоен, не выдадим тебя. Как можно! Всех пусть берут! — загудел народ.

Илья поклонился опять.

— А сечь нас не полагается. Приедет становой, просите; не послушается, не сдавайтесь. Силой станет брать, гоните его понятых. Что нам теперь? Мы вольные... А чтоб лучше столковаться, пойдем за слободу в поле.

— Пойдем, пойдем! — заговорили есауловцы, а с ними авдулинцы, чередеевцы, савинские и прочие поселяне и посланцы от разных сел и хуторов, между которыми находились и старые знакомцы Ильи, сапожник и квасник. Они особенно благоговейно его слушали, с трепетом в толпе произносили его имя, восторженно выхваляя его народу.

Огромная толпа двинулась впотьмах к Кукушкиным кучугурам. Есауловка вдруг стихла. Кое-где только отзывались собаки, жалобно в потемках лая в ту сторону, куда пошел народ.

— Ну, слава Богу, затихли! — сказали про себя князь, гости и приказчик, засыпая в разных местах. Завтра будет становой; он их уймет сразу и окончательно. Еще беседовать думают с мужичьем, кротостью брать!

Заря застала Есауловку такой же тихой. Все мирно спали. Спал в своей хате и Илья Танцур, крепко обняв напуганную Настю, которая одна в целом селе не спала,

прислушиваясь к дыханию Ильи, приглядываясь к его усталому, бледному и изнуренному лицу, и при занимающемся рассвете думала многое, многое, повторяя про себя: «Ах ты, бедный, бедный! Завязал ты себе глаза от света божьего. Пропали наши головушки; пропала и моя доля навеки. Не видала я счастья; не видючи и в гроб лягу!» Но кроме Насти не спал еще один человек в Есауловке, именно флейтист Кирилло Безуглый. Как друга Ильи, его все теперь уважали, заискивали перед ним. Он лежал на нарах в общей квартире музыкантов и думал: «Ишь ты, как Илья-то силы забрал. Князь тут, ждут станового, а он с Настей перешел себе в свою хату, да и баста. Сила-человек. Попрошу его отнять Фроську у Рубашкина; и уж коли захвачу пропащую девку, забью до смерти. Пусть знает, как я люблю ее и как изменять мне!»

XVI

Бунт

На другой день есауловские крестьяне на работу не вышли. Десятский ходил по селу нахмуренный и для виду усовещивал всех. Он знал о ночном сборище крестьян за слободой и донес обо всем Роману, а тот князю. Князь и Рубашкин перепугались; посредник тоже погрузился в мрачное раздумье.

Становой в тот день не приехал, а явился на следующее утро, в праздник. Народ хмуро прохаживался после обедни по улице. Не было слышно ни громких разговоров, ни песен. Даже дети не играли под хатами. Становой был тот самый юноша, который когда-то приезжал в Конский Сырт. Как у всякого другого станового, и у этого против новых мировых учреждений в душе уже было предубеждение. Рубашкин его сразу не узнал. Он пополнел, был смелее, ходил переваливаясь. Представившись князю, он сказал, что все эти вол-

нения чепуха и что в его стане никогда не было да и не будет более таких выходок со стороны черни. Выразился, что если господин посредник уже вспомнил его, то он сразу уймет толпу негодяев, опросил созванных сотских, узнал, что понятые из окрестностей еще с вечера готовы, и, добродушно покуривая трубочку, велел нарезать добрые пучки розог и привести ко двору Илью Танцура, а с ним и Кириллу Безуглого, по указанию приказчика, главных коноводов затеянного движения.

— Кстати же, Илью еще подозревают в поджоге хутора Перебоченской и в разбитии с товарищами этапа под Ростовом, откуда он, вероятно, сам увел и дочку покойного каретника Перебоченской. Я его возьму-таки, отправлю в острог, а для внушения другим еще высеку при всех!

Сотские кинулись исполнять приказания станового. Князь, Рубашкин и сам посредник вздохнули свободнее.

— Не лучше ли эту грустную экзекуцию произвести вам в другом месте, а не во дворе князя? — сказал Рубашкин становому. — Знаете ли, как-то неловко; это напомнит былое... теперь не такая пора... надо оставлять исподволь старые привычки... притом же праздник, народ раздражен...

— Извольте-с! — весело ответил на все готовый юноша и, по совещании с Романом, приказал собрать виновных на барском хлебном току. Рубашкин еще до приезда станового послал к Саддукееву записку такого содержания: «Приезжайте скорее, прошу вас, к князю; останетесь, может быть, и ночевать у него; да захватите, кстати, мое ружье и пистолеты». Роман в новом сюртуке внес на подносах с лакеем закуску становому. В доме настала тишина.

— Не отложить ли лучше до завтра? — спросил князь Рубашкина. — Народ, чернь, эти негры, может быть, перепились, набуянят вдвое, сделают насилие, сюда кинутся...

— О! Помилуйте! — перебил становой, услыхав слова князя и осушая третью рюмку водки. — Вот как я всыплю главным буянам по-нашему, знаете-с, по-былому, розог этак

по триста, да при этом раза по два водой оболью, так вздорто у них из головы выйдет...

— По триста! Mon Dieu![1] — шептал в ужасе по-французски князь, не покидая софы и греясь под кучею мягких клетчатых пледов.

— Им не впервые. Это не Италия-с, где Венеры купидонов на картинах алыми цветочками секут. Не бойтесь... — прибавил становой и громко рассмеялся.

— Люди готовы-с! — сказал Роман, показываясь в дверях.

— Идем! — решил становой и, проходя мимо Рубашкина, шепнул ему: — Князь меня видит в первый раз; если все к вечеру будет как рукой снято, потрудитесь насчет благодарности.

— О, будьте спокойны!

Становой ушел.

В доме и во дворе стало еще тише. Князь, не изменяя положения, мрачно посматривал по зале. В голове его невольно мерещилась кроткая Генуя, его длиннобородый учитель живописи, сборы в Сиену и непобежденная копия ландшафта. Рубашкин подошел к окну, в которое было видно, как по улице к току бежали, вероятно, последние из запоздалых любопытных видеть разделку станового с ослушниками воли посредника. Даже наемный лакей не шел принимать со стола закуски, а стоял у крыльца и также напряженно посматривал за ворота.

— Я схожу взглянуть с бельведера в трубу! — сказал Рубашкин князю. — Не видно ли этой картины оттуда? Только странно, что Саддукеев до сих пор не является. Не проедет ли он прямо на ток?

Рубашкин пошел наверх. Но как он ни наводил трубу с бельведера, тока не было видно: он был скрыт за церковью. Рубашкин спустился во второй ярус дома и стал ходить по

---

[1] Боже мой! (*фр.*).

комнатам, выбирая окно, из которого можно было бы видеть ток. Но отсюда ток был еще менее виден за верхушками деревьев. Адриан Сергеич снова спустился в кабинет, собираясь распечь князя за то, что главное место сельских работ у него не было видно из дома. На пороге кабинета явилась бледная и растерянная фигура: то был Саддукеев. За ним обрисовался на пороге Роман; на приказчике лица не было...

— Что вы наделали? — сказал Саддукеев, бросая шапку на стол и забыв даже поклониться князю. — Ах, что вы наделали!

— А что? — спросил Рубашкин.

Саддукеев стал обтирать лицо.

— Я к вам бежал целую версту. Вы меня вызвали и не написали зачем; я увидел сборище людей на току и прямо туда подъехал. Спасибо вам, уж и удружили.

— Что же там? Пожалуйста, без обиняков, — перебил его Рубашкин.

— Что там? Очень просто: бунт, да уж теперь, поздравляю вас, настоящий!

Саддукеев перевел дух и глянул на стариков: князь и генерал стали бледны как мел.

— Я подоспел туда, становой кончил уже угрозы и брань. Народ стоял между скирдами; понятые по бокам. Главные виновники впереди, то есть Илья, Кирилло и Власик. «Ну-с, а теперь розог!» — крикнул становой. Понятые зашевелились. Положили прежде Власика и стали его сечь. Мальчишка молчал. Народ тоже молчал. Но когда становой приказал раздевать Илью Танцура, несколько голосов отозвалось: «Да за что же это? Коли его сечь, так секите и всех нас!» Становой разгорячился, первого попавшегося съездил в зубы, крикнул понятым: «Взять Илью, положить и сечь!» Те было двинулись, а есауловцы на них. «Нет, стой, ребята! Тронете его, так и свои бока берегите!» Произошла свалка. Сперва народ напирал на понятых, потом сотских стали нажимать. Я все порывался было вперед, думая образумить станового: куда! Тот, весь красный, махал руками,

ругался, наконец, схватил за грудь Илью, крича: «Ты разбойник, поджигатель, бунтовщик! В кандалы его!» Толпа ожесточилась. «Всех нас бейте! Всех нас режьте! Все в Сибирь готовы идти, а Ильи не выдадим! Что мы за бунтовщики? Не тронь его, а не то и тебе не сдобровать!» Становой остановился. «Что стоишь, мерзавец! — спросил он Илью. — Попался? Теперь не уйдешь! Понятые не возьмут тебя, я возьму, меня не тронешь, я царский.» — «Не смеешь, ваше благородие: не за что! Ведь и я царский!» — ответил Илья. «В зубы его, сударь! — кричал сзади станового Роман. — Своими руками я бы его придушил!» Илья оглянулся на отца и громко сказал: «Батько, берегись! Ты вор: царя обворовал. Православные! Али выдадите?» Становой обратился к понятым и сотским: «Если вы его сейчас не возьмете, вот вам Бог — все в Сибири будете!» Но тут в толпе кто-то крикнул не своим голосом: «Не тронь его! Ребята! Бей! На осину его, в колодезь! Огня к барским хоромам!» Что дальше было, я не могу уже себе дать отчета...

— Упаси нас, Господи, и помилуй! — простонал у дверей приказчик, утирая расшибленный висок. — Конец свету пришел!

— Произошла невероятная свалка! — продолжал Саддукеев. — Все перемешалось: и виновные, и понятые, и все село. Я отшатнулся с конем на поводу в сторону. Вдруг слышу возле меня баба орет: «Батюшки! Станового бьют!» Я бросил и коня, кинулся вперед, силясь всей грудью протесниться. Толпа расступилась... Из средины ее выскочил в разорванном сюртуке и без галстука становой. Я не без страха подошел к нему. Прошло одно мгновение. «Спасите меня! — прошептал он, ища фуражку. — Тут надобно войско...» Я указал ему мою лошадь. Он быстро вспрыгнул на нее, толпа не успела опомниться, и он ускакал. Куда? Я и сам не знаю; вероятно, в стан, с целью известить обо всем губернатора...

Князь вскочил с софы. Пледы разлетелись по ковру.

— Это ужас, ужас! На станового подняли руки! Мы пропали! О Боже, что нам делать? Посмотрите, не идут ли они сюда! Люди, Роман, смотрите в окна, запирайте двери, ворота, ставни...

— Оружие мое привезли? — спросил Саддукеева Рубашкин.

— Извините, не взял; я не ожидал такого исхода дела. А впрочем, располагайте мною: я готов идти уговаривать народ. Но извините меня, господа, более вы сами виноваты. Господин посредник обиделся упорством сходки, не выждал, послал за полицией; вы сами, князь, не пошли на сходку, где одно присутствие ваше...

— Ну, уж извините! Благодарю вас за совет. Жизнь мне дороже, и я предпочитаю на ваш либерализм смотреть издали...

— А я с господином Саддукеевым совершенно согласен! — сказал со вздохом посредник. — Я сделал ошибку, и, кажется, неисправимую. Нечего делать: надо требовать войско. Становой тоже, вероятно, напишет об этом. Пожалуйте бумаги.

— Войско? — спросил Саддукеев. — Да пустите меня к народу; дайте им успокоиться сегодня, а завтра я готов с ними говорить...

— Э, милый мой, — сказал Рубашкин, — делайте свое дело в Сырте и не мешайтесь здесь.

Саддукеев вспылил и долго еще говорил с посредником.

Посредник задумался, взял перо и долго не решался писать к губернатору.

— Если вы не напишете, мы напишем! — сказал ему сухо Рубашкин, и он стал писать.

В ночь с пакетом посредника в губернский город поехал сам Роман Танцур.

— Мне больше нечего тут делать пока! — сказал посредник и, печально раскланявшись, также уехал.

Рубашкин остался снова ночевать у князя, а Роману посоветовал заехать к Перебоченской и также ее пригласить к

князю, как ближайшую соседку, разделить в дружеской компании общую участь.

Губернатор, получив пакеты от станового и посредника, обратился за советами к Тарханларову. Бывший советник, а теперь вице-губернатор, Тарханларов, прочел рапорт станового со словами: «Мне сделали насилие, изорвали на мне мундирный сюртук, даже нанесли мне побои, и я едва ускакал верхом на лошади управляющего Сырта», — вспомнил и свой подбитый когда-то висок, и запорошенные глаза, отдал обратно губернатору бумаги и сказал:

— Да! Этот парень, Илья Танцур, был когда-то надежен... а теперь... теперь точно, ваше превосходительство, надо послать туда военную экзекуцию. Волнение растет.

В Есауловку был назначен к выступлению эскадрон драгун, квартировавший в сорока верстах оттуда.

— А если и это не поможет, я сам туда поеду, — сказал губернатор, — и вперед пошлю артиллерию.

События между тем быстро шли своим чередом.

Прошло три дня после отъезда станового и посредника.

На тройке обывательских прискакал в Есауловку исправник, призвал стариков, выборных и сотских и сказал: «Наконец-то я до вас опять добрался! Согласна ли деревня выдать зачинщиков?» — и, получив отрицательный ответ, прибавил: «Так не прогневайтесь же! Завтра будет войско! Я вам припомню и понятых у Перебоченской, и все старое!» — и опять ускакал.

Народ начал тревожиться, сходиться кучками. В окрестные села и обратно скакали лощинами и окольными проселками за буграми верховые. В Авдуловке, в Карабиновке и в других особенно забористых хуторах, где проживали старые бродяги Гриценко и Шуменко, происходили шумные сходки. Содержатели одиноких постоялых дворов на большой дороге в город стали задумываться о безопасности своих бочек; крупные побранки и смутный говор жалоб и всяких похвалок слышались в шинках, на перекрестках и на базарах.

Вслед за Романом, который привез князю утешительные вести из города, в княжеский дом явилась в трауре Перебоченская. Князь ее давно не видел и сразу не узнал. Рубашкин, гордясь дружбою князя, по случаю нездоровья его сиятельства, взялся хозяйничать в есауловском доме и угощать ту самую барыню, которая год назад чуть его собственноручно не поколотила на первом его знакомстве с провинцией. Дом князя принимал все более и более торжественный вид. Перебоченская, войдя, объявила, что в ее хуторе обокраден кабак.

Есауловцы между тем сменили выбранных весною своих старшин и поставили головою Илью, а его помощником Кириллу Безуглого. Вечерами они и многие из окрестных сел сходились к Илье на советы.

— Что нам делать? — спрашивали они.

— Будет чистая воля, а это все обман. Батька мой денег наделал, так и скрыл с князем настоящие бумаги.

— А войска? Слышно, на нас идет и конница и пехота.

— Исправник только так грозит. Не за что нас бить.

— То-то, ты уж, Илья Романыч, того, подумай, как нам себя спасти!

Снова прошел день. Любопытство со всех сторон напряглось еще сильнее. Князь опять сидел, укутанный пледами, и молча посматривал на голубой штоф залы, на амуров и муз на потолках, на раззолоченную мебель и на разноцветные стекла окон.

«В Италию бы опять, в Италию, — думал он, — да дела надо уладить с этими скотами: денег мало будет!»

Перебоченская охала и все шепталась с Рубашкиным, поглядывая в окна, не идут ли на них крестьяне

По условию, перед вечером следующего дня из-за Малого Малаканца снова прискакали в Есауловку исправник с рассыльными и письмоводителем. Уезд и прежде прославлял его за умение подавлять вспышки черни без дальних проволочек. Едучи по Есауловке, он встал в тарантасе, завидел толпу парней, почтительно скинувших перед ним шапки, вы-

тянулся и, грозя кулаком, весь в дорожной пыли, крикнул, едучи:

— Всех вас, подлецов, в Сибирь! Всех запорю!..

Есауловцы пуще прежнего бросились советоваться с Ильей. Его двор окружили правильной стражей. Роман на каурой кобылке метался между барской усадьбой и Сыртом.

Хата на Окнине, мечта и счастье Ильи Танцура, стала шумным притоном нескольких сотен разгоряченных и отуманенных страхом, незнанием дела и негодованием голов. С бельведера дома находчивый Рубашкин, князь, барыня и гости стали на нее наводить подзорную трубу, восклицая:

— Видите, видите? Опять к нему идет толпа; с фонарями ходят. Вон, это, кажется, он вышел, что-то опять говорит, все слушают...

Стемнело. Село затихло. По улицам точно кто метлой смел обычных гуляющих по вечерам. Огни в окнах светились только кое-где. Опустела и хата на Окнине. У двора Ильи, боясь его ареста, сменялись только сторожа. Илья Танцур остался в хате с Настей.

— Прощай, Настенька! — сказал он. — Бог не дал счастливо с тобой пожить. Погубила нас доля да мой отец. Войско, слышно, идет... Куда-то меня денут? Напрасно я шел так далеко за тобою, отбил тебя от конвоя. Коли узнают откуда как-нибудь, что это я все сделал, погорячился, так мне еще хуже будет; веры ни в чем не дадут. Вон надо на бумаге про все написать, как отец с Перебоченской фальшивыми ассигнациями разбогатели. Поджег я Перебоченскую, уцелела проклятая; ушлют меня за народ, так хоть чем-нибудь доведу ее и батьку.

Настя тихо плакала, сидя на лавке.

— Илюша... оставь эти дела... И так мы в грехе живем... бросим Есауловку... Сейчас же уйдем навеки, с глаз отсюда долой! Илюша! Ты же хотел в Молдавию, к тому трактирщику, помнишь?

— Поздно, Настя. Теперь за мир надо постоять. Отца-то моего, отца-изверга, да и эту барыню под ответ бы

подвести. Они изверги, а я не повинен ни перед кем. Одно только: у того деда Зинца я силой взял денег, как шел тебя отбивать. Ну, да я ему ворочу вдвое; у меня вон такой же старик было коня украл, а отдал. Кончим тут дела с миром, уйдем... Бог с ними, с этими местами: тогда с Зинцом расплатимся. А теперь давай перо, бумагу, напишу еще сам про отца и про Перебоченскую; меня возьмут, ты отнеси мое письмо к самому губернатору. Слова мои докажут еще тот барин Хутченко, Фроська и Палашка: грек все разыщет. Лишь бы не отперлись.

Илья сел писать. Настя сидела сбоку и смотрела на него. Голова у нее часто кружилась, в груди сосало. За день перед тем она сказала Илье, что чувствует себя беременной.

— Постой, кончим все, добьемся правды; пойдем к отцу Смарагду. Он тут за сто верст опять на приходе и вовсе к раскольникам не передавался; место лучшее нашел. Он нас отмолит у Бога и перевенчает.

Илья кончил письмо и отдал его Насте.

— Спрячь за пазуху.

Настя опять кинулась ему на шею.

— Ильюша, голубчик! Убьют тебя, коли в Сибирь не сошлют... На кого ты меня бросаешь? Ильюша! Не пожили мы с тобою! А год-то назад, в Ростове? Ночи, Ильюша? Наш двор? Улица? Наши прогулки, как я тебе стишки читала? Ильюша, оставь эти дела; убежим, нас скроют.

Настя билась на груди Ильи и страстно, судорожно его обнимала. Плошка в хате чуть теплилась. Валетка во время второго побега Ильи пропадала без вести, а тут опять явилась. Сверчок где-то трещал под лавкою.

— Как тебе, Настя, сказать. Мне что-то вовсе не страшно, как подумаю! Что я сделал, чем повинен? Меня становому сечь не дали. Да ведь так теперь и сказано. Не может быть, чтоб за правду истязали нас, ссылали. Что, в самом деле, куражится исправник? И на него есть управа. Да хоть бы и войска. Вряд ли еще их и пошлет губернатор. Нас только стращают. А меня знают, Настя, и в губернии. Тот

чиновник-грек, как заезжал сюда, хвалил меня при всех. Я за правду стоял тогда на следствии; меня подкупали и отец и барыня отказаться от моей подписи на бумагах; я не послушался. Чем же я еще провинился? Народ смущаю? Да ведь меня выбрали! Ну, мир приказывает, я и говорю. Не будет войска; душа моя чует, что не будет.

С надворья кто-то с силой стукнул в окно. Настя вскочила... Вошел Кирилло с Фросей.

— Как, и ты, Фроська?

— Одумалась, бросила генерала; я и не бил ее.

— Илья, пропали мы! — сказал, входя вслед за тем, десятский.

— Что такое?

— Войска вступают в Есауловку; сабли за околицей звенят, кони в потемках храпят; сам я у винокуренного завода слышал и побежал к тебе сюда. Народ опять собирается.

— Да это и впрямь по нас стрелять будут? — спросил Кирилло.

Илья, Настя, Кирилло, Фрося и десятский опять поспешно вышли на улицу.

На дворе не было зги видно. Мертвая тишина кругом. Вдали за Лихим, со стороны Конского Сырта, отдавался переливистый лай собак; войска вступали впотьмах через мост оттуда.

Послышались шаги на улице. Кто-то быстро бежал и с размаху наткнулся на десятского.

— Тише, разобьешь!

— Нешто стеклянный стал? Довольно побарствовал: служи теперь и нам.

— Кто идет? — спросил Илья.

— Илья Романыч, идите за околицу войско встречать: мир зовет вас и помощника. Все уже готово: стол и хлеб.

— Кирюша, пойдем! — сказал Илья. — Ты ведь мой помощник.

— А баб куда девать?

— Настя, воротись в хатку и возьми к себе Фросю. Эх, Фрося, Фрося! Продала было ты нас, да хорошо, что одумалась. Не такая ты была прежде; помнишь голубятню?

— Илья Романыч, голая я ходила у барыни; опять же Кирюшу в острог сажали. А я вам по гроб жизни благодарна и теперь уж моего душеньку Кирюшу ни на кого не променяю.

— Ну, иди же с ней, Настя; знакомьтесь!

Фрося и Настя пошли переулком опять на Окнину.

Два эскадрона драгун, сделав на рысях несколько переходов форсированным маршем, подоспели в Есауловку к сроку, назначенному губернатором и Тарханларовым. В княжеском доме не успели узнать о приближении команды, как передние шеренги драгун уже показались в околице Есауловки.

Старший дивизионер, полный и добродушный майор Шульц, бывший прежде не раз по соседству с Есауловкой на охоте, в самой Есауловке на охотничьем перевале у отца Смарагда, ехал впереди. На улице впотьмах перед ним нежданно обрисовалась густая толпа народа и что-то белое среди нее.

— Что это? — спросил озадаченный Шульц, останавливая коня.

— Святая икона и хлеб-соль вам, отцы родные, слуги царские! — ответили несколько голосов впереди крестьян, в том числе и Илья Танцур. Среди улицы стоял наскоро покрытый скатертью стол, на нем икона. Старики поднесли дивизионеру хлеб-соль. Он оглянулся: солдаты сзади, сняв кивера, крестились. Перекрестился и он.

— Спасибо вам, братцы! — сказал весело Шульц. — Встреча ваша христианская; только и вы по-христиански поступайте. Идите по домам и ждите приказаний начальства. Исправник тут?

— Тут. Слушаем, батюшка! Слушаем, ваше высокоблагородие! Мы вас знаем; не раз видели. Не обидьте нас.

Эскадроны тихим шагом стали вступать в Есауловку. «Что за странность? — подумал Шульц, приятно предвидя близкий отдых от ускоренного неприятного пути. — Извещают о бунте, а крестьяне встречают нас такие покорные». Конь под майором отрадно храпел и фыркал, чувствуя скорую дачу овса. Шульцу также рисовался в уме вкусный ужин у князя. С другого конца села влетел с колоколами в то же время становой. Он верно рассчитал срок прихода войска и ехал теперь спокойно. В окнах княжеского дома замелькали огни. В пространные пышные горницы вступило еще несколько помощников Шульца, всё молоденьких офицеров. Тут же откуда-то вынырнул французик Пардоннэ с красным носиком, сахаровар князя. Компания составилась большая. Подали закуску перед ужином.

Исправник и становой узнали между тем от молодых офицеров о встрече крестьянами войска с хлебом и солью и вспылили.

— А вам-таки наше мужичье и демонстрацию сделало? — спросил исправник флегматического дивизионера.

— Какую?

— Будто не понимаете? Жаль, что меня там не было!

— Сотских! — крикнул нарочно во все горло исправник, выйдя со становым на крыльцо.

Сотские, стоявшие тут же, подошли.

— Теперь уж розог! Да побольше! — возгласил с крыльца еще громче исправник. — Сейчас отправиться в соседние байраки и привезти оттуда по крайней мере три воза розог, да самых добрых! Слышите?

— Слушаем.

В полночь по Есауловке проехали к барскому двору три воза розог. Мужики всю ночь напролет не спали и видели это. Зато мирно уснули усталые солдаты, господа офицеры, полиция и князь с гостями. Перебоченская избрала себе для ночлега бельведер.

Давно рассвело. В гостиной еще спали вповалку все гости. Вошел приказчик Роман и тихо тронул за плечо генерала.

— Что тебе? — спросил из-под одеяла Рубашкин.

— Вся деревня-с, все мужики, забрали до зари баб, детей и стариков и с возами, имуществом и скотом выступили в поле. Табор протянулся большущий. Отец Иван их уговаривал, не послушались. Был бы отец Смарагд, наверное, их уговорил бы. А мы с конюхами с колокольни на все смотрели в поле.

— Куда же это они выступили?

— Сам не знаю-с. Посылал я это вскоре после верхом верного лазутчика по кабакам тут поблизи узнать. Так он догнал их уже за Авдулиными буграми. Они стали там, между Емелькиными Ушами и Горбами Стенькиными, в долине лагерем и говорят, что пусть их перебьют, а они в Есауловку более не воротятся, Ильюшки не выдадут, бумаг никаких не подпишут и уйдут за Волгу, в Киргизскую орду, на вольные степи. Окружились возами, ходят с косами, с топорами; бабы, дети и все добро их внутри табора, а у иных и ружья в руках. К ним пристали уже кое-кто из авдулинцев, хуторские разные. И коновод над всеми иродово отродье, мой Ильюшка. Ходит в красной рубашке промеж возов и всем заправляет. К вечеру ждут еще подмоги из Карабиновки, хотят опять сняться и переправиться за Волгу против Емелькиных Ушей. Карабиновский помещик уже в город уехал с детьми.

— Слышите? — крикнул Рубашкин и вскочил.

Все спавшие также проснулись. Нежданные вести о выступе есауловцев всех изумили. Поднялись десятки предположений. А на бельведере гости нашли Перебоченскую уже у подзорной трубы. Она указывала костлявыми пальцами вдаль и предлагала всем смотреть в трубу, в которую действительно ясно был виден вдали, верст за десять, между зеленых холмов, в долине, лагерь крестьян, уставленный возами. Среди него дымились костры. Кое-где в поле мелькали отдельные пешеходы.

XVII

Белая Арапия

Исправник сказал: «Надо, господа, действовать, а иначе завтра уже будет поздно. Другие слободы могут соединиться с есауловцами; может быть, у них заранее припасено и оружие, тогда наши два эскадрона с ними не справятся. По рапорту станового, губернатор мне дал самые строгие предписания. Время смутное. Прикажите, майор, седлать лошадей, пока мы еще потолкуем».

Поглаживая черные громадные бакены, Шульц поклонился, вышел и сделал нужные распоряжения. Перебоченская покинула бельведер, распустила розовый зонтик, взяла палочку и пошла на улицу.

— Смотрите же, голубчики, солдатики, эскадрончики, не выдайте нас! — лепетала она, обходя кучки солдат. — Уж коли велят покорить бунтовщиков, так покоряйте как следует.

Вахмистр отдал приказание майора. Солдаты стали выводить и седлать лошадей. Возле церкви, у ворот священника, у значка ходил часовой. Там и здесь стояли сложенные в козлы ружья. Вышли на улицу из княжеских ворот, в белых чистеньких кителях, в новеньких фуражках и с новыми часовыми цепочками на груди молодые офицеры. Заложа руки в карманы брюк и изредка раздавая приказания от себя, они стали тихо прохаживаться вдоль улицы, рассматривая церковь, опустелые хаты и дворы. Отец Иван, позванный к князю, сумрачно с дьячком пошел в дом. Исправник с сигаркой вышел к офицерам, поболтал с ними и опять озабоченно ушел в дом, прибавя шепотом: «Однако же, господа, вы примите меры, чтоб у всех солдат ружья были заряжены как следует. Может быть, придется... ведь дело нешуточное... пять сел взбунтовалось...»

Офицеры взяли под козырьки и проводили исправника, с которым все были знакомы и не раз играли в карты, словами: «Слушаем-с! Только насчет грозного боя напрасно

пугаете. Все кончится пустяками: этого Илью нам выдадут головой; ему и его приятелям вы пропишете к вечеру ижицу, есауловцы вернутся домой, князь на радости задаст им пир, а вы должны нам устроить здесь завтра же охоту на лисиц и волков: говорят, в байраках здесь их тьма». — «Шутите, шутите. Вы еще не знаете русского мужика. Это тот же зверь лесной. Не побьешь, он тебя побьет!»

Между тем исправник, при первой вести о самовольном уходе есауловцев из села, послал новый рапорт губернатору со своим рассыльным казаком. В рапорте он говорил, что, вероятно, для спокойствия вверенного ему уезда придется прибегнуть к оружию, но что он постарается еще раз лично отнестись к крестьянам и уговорить их воротиться по домам, и прибавил: «Бунтовщики стали табором в Терновской долине. Их шайка увеличивается из окрестных деревень. Я сделал обыск в избе Ильи Танцура и полагаю, что этот бунт имеет основою и воспоминания о Стеньке Разине. Притом же ходят в народе еще слухи о некоем гетмане Загребайле, в имени которого нельзя не угадать происков Гарибальди. Для блага уезда и края я полагаю и надеюсь взять сегодня же из этой толпы Илью Танцура силою и препроводить его на суд к вашему превосходительству. Солдаты рвутся исполнить долг чести. Заболевших во вверенном мне отряде не имеется. Исправник Тебеньков».

Князь Мангушко с утра, от нового волнения, озяб и, сев на софу, окутался, да так и не вставал. Кругом его говорили, ходили, спорили, курили. Он молча то поднимал, то опускал белые пушистые бровки, жался более и более в глубь софы, в мягкие гарусные подушки, и повторял про себя: «То ли дело Италия, Генуя, Сиена! Море, живопись, цветы!» Рубашкин также как-то осунулся и обрюзг. Перебоченская шушукалась с отцом Иваном. Французик Пардоннэ не присутствовал. С утра он вдруг почувствовал расслабление в желудке и, забравшись в контору к Роману, улегся на его постели, а Ивановна,

охая о сыне и опять сильно выпив, ставила ему на живот припарки.

Молодые офицеры, застегнутые на все пуговки, сидели молча, напряженно, по стульям. Один дивизионер, флегматический и толстый майор Шульц, добродушно смотрел на все происходящее и от нечего делать то расчесывал гребешком свои громадные черные бакены, то раскачивался на стуле и думал: «Экие шуты гороховые! И из-за чего они в набат бьют, создают неведомые страхи. От наших мужиков ждут теперь разиновщины! Дурачье! Я убежден, стоит только выдвинуться, построиться, скомандовать «заряжай» — и все кинутся врассыпную...»

— Вы, кажется, майор, не разделяете моих убеждений? — спросил его исправник.

— У вас инструкции; мы же должны исполнять волю начальства и не рассуждать.

Положили сперва попробовать последнюю тихую меру: отрядить к бунтовщикам парламентеров.

— Какая досада, — сказал Рубашкин, — мой Саддукеев Бог весть из-за чего с вечера вчера ускакал в город, даже без спроса взял моих лошадей и тарантас. Или он письмо какое получил, или так. Вот был бы парламентер: он мастер говорить с народом, и его любят.

— Не по-хорошему мил, а по милу хорош! — перебил его исправник.

Парламентеры, однако, поехали за Авдулины бугры. Это были: исправник, Рубашкин, отец Иван и два офицера. Священник поехал на беговых дрожках, остальные — верхами. Генерал и исправник взяли в карманы по револьверу. Когда их кавалькада скрылась за селом, Перебоченская подошла к Шульцу.

Эскадроны стали строиться у церкви. Перебоченская объявила, что теперь не слезет с бельведера и будет следить за всем в трубу. Роман опять сел на каурую кобылку, опять заметался по селу, ускакал в поле, въехал на бугор и стал смотреть.

10*

Парламентеры ехали скоро мимо зеленых лугов и холмов. Дичь и глушь в эту сторону были особенно суровы и пустынны.

В десяти верстах от Есауловки, в Терновой долине, обставленной со всех сторон новыми высокими буграми, на площадке обрисовался лагерь есауловцев. Парламентеры остановились на окраине последнего отвесного холма, шагах в пятистах от бунтовщиков, бывших под их ногами в долине.

— Да! — сказал Рубашкин, вынимая карманный бинокль. — Подлецы ловко стали! Из возов устроили правильное каре. Скот, имущество и дети внутри, а они на часах по краям... Смотрите, действительно косы, топоры, дым; костры разложили, есть варят!..

— Проголодались, бестии! — прибавил исправник. — Эх! Кабы артиллерия! Вот картечью-то брызнуть бы в мерзавцев; как овцы кинулись бы врассыпную.

— Вон, должно быть, сам Илья Танцур! — сказал офицер, взяв бинокль у генерала. — Я догадываюсь, что это, верно, он; только вовсе не в красной разбойничьей рубахе; вон посреди лагеря стоит, будто распоряжается, рослый такой, окружен всеми...

— Ах ты, варвар, шельмец! — крикнул Рубашкин. — И в самом деле, он, узнаю его; он еще в Сырте мне помог. Как люди-то меняются!

В лагере между тем тотчас заметили появление господ на окраине холма. За полчаса перед тем только кончилось укрепление первого становища табора. В числе нескольких сотен взрослых тут было человек восемь с охотничьими и солдатскими ружьями. Старики Гриценко и Шуменко привели к табору своих хуторян и стали одними из главных помощников Ильи.

— Да, теперь мужик не дешев стал, теперь вздорожает! — говорил Гриценко, несмотря на свои годы, хлопоча у постановки лагеря. Он знал, как здесь некогда жители отбивались от татар, и взялся руководить устройством первого стана. С шутками и со смехом все принялись уставлять по

его указаниям кругом себя возы. То там, то здесь раздавался плач детей, вой и причитывание баб. Но мужчины храбрились.

— Лишь бы нам за Емелькины Уши пробраться да на перевозе за Волгу уехать. А там уже степями уйдем. Отчего не уйти? Кто остановит? Тут сейчас пойдут царские земли, а не пустят туда, далее уйдем.

— Куда же вы уйдете, беспутные? — причитывала, кашляя, одна старуха. — Ой, переловят вас всех, перевяжут и пересекут.

— В Белую Арапию, тетка, уйдем, коли так!

— Да вы сдайтесь, беспутные! — голосила старуха, сидя на опрокинутом бочонке. — Ну их! Жили, жили, а теперь броди по свету нищими. Ну куда вы затеяли, в какую такую это Белую Арапию? Где она?

— На вольных землях за Астраханью, где рай-житье, на речке Белорыбице.

— Да вы меня послушайтесь, ребята! Муж, покойничек-то мой, на эту Сырдарью ходил. Ну... тьма тьмущая народу тогда тоже было поднялась. Ну... не доходя этой Сырдарьи, и переловили, воротили да и дали каждому на дорогу по сто розог, а придя домой, опять по сто, да еще в оба раза и обобрали. Так-то и с этой, с Белой Арапией, вам на сиденьях будет. Покоритесь, ох, воротимся; вон скотинка целый день не емши стоит, детям побегать, побаловать негде. Куда вы наши старые кости волочите? Не дождаться нам той воли во веки веков.

Поднялись было крики других баб. «Чем вам отбиваться, безумные? Их сила, а вы? Куда вам против господ идти?»

— Мы вольные теперь! — отозвался Кирилло. — Идем, куда хотим, коли тут теснят, истязают, вот что...

— Бабам глотки заткнуть! — крикнул Гриценко. — А не то Волга недалеко, придем — перетопим всех, кто трусит

— Идти назад! — закричали одни.

— Идти вперед, сниматься! Сниматься опять, в поход! — закричали другие. — Илья, приказывай!

— Как мир скажет, так тому и быть, — отозвался Илья, — а я вам, православные, не сказ!

— Да нет... да ты, Илья Романыч, сам скажи, как думаешь. Сам, ничего; вона еще их слушать! — заговорили десятки голосов. — Оно, конечно, мир — главное... Кто против мира? Однако же скажи и ты.

— Что православные! Надо отбиваться и идти вперед. Тут милости теперь не жди; как мух, нас теперь передушат дома.

— А идти, так идти! Поднимайтесь, братцы, запрягай возы, выезжай. Гайда, вперед! Эка невидаль!

— Какие войска! — заговорил кто-то, — то не войска, ребята, то обман опять! Выжига-исправник савинских понятых переодел, а городские чиновники офицерами переоделись. Ей-богу, так! Эка пугать...

Толпа загудела и разделилась на две стороны. Одни настаивали идти вперед, другие — воротиться.

— Да вы слушайте. Переберемся через Волгу, к нам пристанут другие села. Вон асеевцы, зеленовцы, головиновцы присылали спрашивать, приставать ли к нам.

— Нет, ребята! — перебил Гриценко. — Даром мы на старости лет воротились из бегов. Мы воли чаяли. А где она! Аль опять нам в бродяги идти, разбежаться по волчьим билетам с холоду да с голоду?

— Ой, воротитесь, безумные да беспутные! — голосила баба на бочонке. — Не сносить вам головушек! Эки прыткие какие, в Белую Арапию! А где она, вольная-то Арапия? На том свете только и будет нам волюшка, братцы, в могиле, вот что!

— Ой, не голоси, тетка, кишки выпустим!

— Вперед!

— Назад!

— Где капиталы у нас? С чем идти?

— Бог поможет!

Илья вскочил на воз, замахал шапкой и стал кланяться. Все затихли.

— Братцы, православные! Назад нам не идти более. Что Бог даст, пойдемте далее. Войска тронут — отбиваться до последней капли крови.

— Отбиваться, отбиваться! — закричали все

— Все теперь согласны?

— Все, все!

— Выходите же опять далее, запрягайте возы, стрелкам идти по бокам!

Гул и шум усилились. Все кинулись снова запрягать возы. Небо перед тем нахмурилось. Стали сбегаться тучки. Ветер подул. Дождь было закапал и перестал.

Тут на обрыве косогора появились над долиной господа парламентеры. В лагере их сразу заметили, озадачились, стихли мигом и стали переглядываться. Исправник что-то сказал отцу Ивану. Священник замахал с обрыва платком.

— Цыть-те, цыма-те! — загудела толпа в лагере. — Поп о чем-то сказать хочет.

— Что вам, батюшка? — спросил из толпы Илья.

— Вас надули, ребята, образумьтесь! — начал отец Иван с обрыва. — Воротитесь, только с уговором: выдайте зачинщиков исправнику — Илью, Кириллу и десятского.

— У нас нет зачинщиков, мы все зачинщики! Коли брать силой нас, берите всех!

— Илью Танцура с товарищами выдайте!

— Не выдадим, не выдадим! Мы все зачинщики! — ревела внизу толпа.

— Бога вы не боитесь, образумьтесь! По вас стрелять будут!

— Не выдадим не выдадим!

Священник вынул крест из-под рясы и, подняв его над головой, пошел по откосу обрыва к лагерю.

— Нейдите, батюшка! — крикнул вдруг Илья — Нейдите, сами не продавайте Бога!

— Выдайте его, ребята! — сказал опять священник, не переставая идти с крестом над головой.

В лагере настала мертвая тишина.

— Убью, батюшка! — крикнул Илья и поднял ружье. Исправник кинулся к священнику и остановил его.

— Нейдите, отец Иван, довольно. Тут все надежды потеряны.

— Да их бы так пустить идти! — сказал офицер. — Пусть бы себе шли, ведь далеко не уйдут! А пыл остынет.

Исправник с злобной иронией взглянул на офицера.

— Какие вы, господа, я вижу, еще дети. Стыдились бы говорить! Не видите вы, какие это звери?

Офицер покраснел, замолчал и стал в бинокль опять разглядывать лагерь. Исправник выступил вперед, покричал, погорячился, погрозил и, наконец, объявил, что, если бунтовщики сейчас же не выдадут Ильи, Кириллы и десятского, он уезжает, явится с войском, и тогда уже им пощады не будет.

В это время сзади его на холме раздался скач лошади. Парламентеры оглянулись: ехал на каурой кобылке приказчик Роман. Не доезжая шагов за десять до исправника и других господ, он остановился. Кафтан на нем был расстегнут, седые волосы развевались от ветра, лицо было в поту. Разгоряченная скачем лошадь не стояла на месте под ним.

— Так вы не сдаетесь? — закричал Роман бунтовщикам, кружась на лошади и стараясь подогнать ее к окраине обрыва. — Так вы все слушаетесь этого подлеца, Илюшки? Илюшка, будь ты проклят за все твои дела! Слышишь? Покорись, собака! Не обижай господ, не мути людей. Идите все вы, сорванцы, к князю и просите прощения! А ты, собака, Илья, будь проклят!

— Коли так, батько, коли ты гибели, моей крови захотел, так знайте меня! Православные! Более не сдаваться! Пусть нас бьют, режут, секут саблями! Мы свое дело отстоим! Все ляжем, а не сдадимся. Но с тобой, батько, у меня другие счеты...

— Какие счеты, подлец?

— Ты нажился фальшивыми бумажками, царя обокрал с той барыней, людей своих истязал, погубил отца моей не-

весты, скрыл волю от всего села, князя подговорил земли нам не давать и вызвал суд и войско на нас. Бог меня с тобою рассудит за твою клятву, а я тебе конец положу своими руками. Я тебе не сын, а ты, христопродавец, мне не батько!

С этими словами Илья схватил ружье, приложился из лагеря в отца, и выстрел грянул.

Исправник, Рубашкин, священник и офицеры в ужасе отшатнулись. Дым рассеялся. Роман скакал обратно в Есауловку. Илья промахнулся. Парламентеры вскочили на лошадей и поскакали также обратно. Через час бунтовщики двинулись далее. А в Терновую долину из-за Авдулиных бугров стали показываться первые шеренги идущих из Есауловки драгун.

— Залп по ним, залп без рассуждений! — шептал между тем Рубашкин майору Шульцу, едучи возле него также верхом. А Шульц, поглаживая громадные черные бакены, лениво и стройно покачивался на молодцеватом, бешеном и раскормленном вороном коне.

Но вернемся еще раз в губернский город, куда уехал нежданно Саддукеев.

Слухи о происшествиях в Есауловке и вообще в том уезде сильно одолевали губернатора. С утра он велел никого не принимать, полагая заняться вплоть до обеда петербургской перепиской. В тот день отходила почта. Суета затихла. Кого-то лакей и дежурный чиновник с успехом выпроводили. Было часов восемь утра. Окно кабинета было в нижнем этаже дома. Под окном послышались шаги и сердитый голос: «Тьфу ты, Полинезия проклятая! Да тут не сто лет, не тысячу, а две тысячи надо прожить, чтоб добиться толку в любезном отечестве!» Губернатор кинулся к окну и из-за шторы узнал взъерошенную и разобиженную фигуру Саддукеева. Губернатор вспомнил, что этот оригинал по выходе из

гимназии был управителем у Рубашкина, значит, соседом князя Мангушки по Есауловке, куда пошли войска, и что-то сказало ему, что недаром чудак к нему ломился и спорил с лакеями. Губернатор быстро открыл окно, перевесился на улицу, завидел Саддукеева уже вдали и подозвал его.

— Что вам угодно, господин Саддукеев? Вы были у меня? Извините, я занят...

— Ах, Боже мой!.. Но вы принять меня должны, должны, ваше превосходительство, если не желаете сделаться... притчею во языцех! Извините, ради Бога, за выражение. Я вне себя... Полиция, исправник готовы сделать в Есауловке ничем не поправимое преступление...

Губернатор иронически улыбнулся.

— Ну-с? Что же там за чудеса готова сделать моя полиция?

— Минуту времени!

— Пожалуйте, войдите ко мне.

Саддукеев опять ввалился в сени и в приемную, скинул пальто, толстые замшевые перчатки, ткнул оторопевшему чиновнику в руки дорожный синий зонтик, быстро застегнулся и устремился к кабинету. Губернатор сам отпер ему дверь в кабинет.

— Говорите, не стесняйтесь! — сказал губернатор как можно спокойнее

Саддукеев наскоро передал губернатору обо всем, что произошло в Есауловке, как выезжал посредник, потом становой и как становой сам был причиной нанесенных ему неприятностей. Он клялся и божился, что преступники в Есауловке не крестьяне, а сперва посредник, потом исправник и становой, что они выдумали и раздули ими самими произведенный мятеж народа против властей. Тут же он изобразил трусость Мангушки и Рубашкина, которые увидели в этом что-то чудовищно грозное и кровавое, и заключил словами: «Этот мнимый бунт — только продолжение той же истории о торговле фальшивыми ассигнациями Перебочен-

ской и старика Танцура. Илья для них бельмо в глазу, и они его положили извести во что бы то ни стало; становой и посредник затеяли тревогу по собственной вине, а исправник — по старой мести Илье Танцуру за дело выезда Тарханларова к Перебоченской».

Губернатор начинал бледнеть и кусал ногти.

— Что же мне, по-вашему, надо делать? — спросил он, не поднимая глаз.

Саддукеев с шумом встал. Его красное лицо было в поту. Большие толстые губы дрожали. Скулы и широкие уши двигались. Серые выпяченные глаза сверкали лихорадочным огнем.

— Ехать! Сию же минуту ехать туда вам самим! — сказал он, заикаясь и закидывая назад голову.

Губернатор позвонил.

— А не поздно?

— Не поздно, не поздно еще. Но, ради Бога, скорее! Я поспел к вам в одну ночь. А у вас в распоряжении и курьерские и помещичьи лошади.

Губернатор велел лакею приготовить все к выезду и, отпуская Саддукеева, сказал:

— Мы едем вместе?

— Согласен-с...

— Вы, я думаю, заметили, что я во многом изменился? — спросил губернатор.

— Да-с...

— Вы честный человек, господин Саддукеев, и я вами совершенно доволен.

Были позваны Тарханларов и Лазарь Лазарич Ангел.

— Войска через вас я так поспешно послал! — сказал губернатор Тарханларову. — Боюсь, не вышло бы чепухи!

Грека он взял с собою, пригласил его и Саддукеева закусить. Коляску подали. Губернатор, грек и Саддукеев сели и покатили, провожаемые с крыльца злыми и завистливыми глазками щеголя-секретаря, пустившего утку о гетмане Загребайле и бывшего издателем местных губернских ведомо-

стей. Лошади были запряжены курьерские. Вперед для заготовки новых смен обывательских лошадей поскакал на другой тройке жандарм.

Ямщик гикал, охал, свистал. Четверня неслась в полную скачь. Пыль густыми клубами далеко оставалась позади коляски. Было часов десять утра.

— Успеем ли мы, однако, захватить команду до ее действий? — спросил губернатор, не имея сил отбиться от разных тревожных мыслей.

— Пехоту, вероятно, предупредили бы. Ну, а насчет драгун, вероятия мало захватить их до начала действий. Еще с вечера они должны быть в Есауловке. А сегодня исправник и прочие имели уже довольно времени, чтоб снова насочинять себе страхов и решиться на крайние меры!

Два раза уже коляска останавливалась; вместо курьерских лошадей впрягались при помощи разных веревок и ремешков обывательские, и целые деревни крестьян с бледными лицами хлопотали и возились тут, снаряжая далее на грустное дело губернатора. Ямщики из поселян несмело вспрыгивали на козлы и в седло, суетливо помахивали кнутами, коляска выбиралась опять на зеленые бугры и неслась далее и далее.

Грек, страдавший в последнее время печенью и желтый оттого, как лимон, уставя вдаль красивые грустные и пасмурные глаза, думал: «Не послушались меня, выпустили из рук Перебоченскую, не арестовали приказчика Танцура, допустили опять в исправники Тебенькова — вот и хлопочите, а дело об ассигнациях я раскрыл бы. Да и трех живодеров тех, Кебабчи, Хутченко и Рахилевича, предлагает выпустить теперь на поруки Тарханларов, благо, сам добился хорошего места!»

Коляска шумно подлетела к дому князя Мангушки. Садукеев побежал в дом, где в зале наткнулся на Перебоченскую, приготовлявшую на тарелке горчичники.

— Губернатор приехал! Где князь? Где исправник, офицеры, войско?

Тарелка выпала из рук Перебоченской.

— Князь сильно заболел, за доктором поехали.

— А офицеры? Эскадроны?

Перебоченская оправила чепец, переложила заново крест-накрест платок на груди и, поклонясь входившему губернатору, сказала:

— Бунтовщики бросили Терновую долину и пошли далее. Илья Танцур во время увещаний исправника выстрелил в своего отца. Теперь исправник повел вдогонку им драгун.

— Можно видеть князя? — спросил губернатор.

— Он сильно заболел.

— Велите скорее перепрячь лошадей, поедем! — сказал губернатор Саддукееву.

— Да, ваше превосходительство, — заговорила Перебоченская, — теперь только на вас и надежда. Не оставьте нас, не дайте погибнуть от этих зверей-мужиков.

Коляска снова выехала за околицу.

Летя во весь опор за Терновую долину, губернатор впервые в жизни почувствовал все значение мгновений, которые он теперь переживал. Стоя в коляске и с тоскливым волнением смотря в синеющую даль прибрежных поволжских холмов и долин, он невольно покрикивал кучеру князя:

— Скорее, братец, скорее.

Мелькали кусты и камни, косогоры, ручьи и овраги. Вот Авдулины бугры, вот за ними новая черта туманного небосклона. Тучки на небе, справа Волга, слева сплошной лес на косогоре, прямо склон к ровной карабиновской степи. Слух и зрение губернатора напряглись. Ему чудились выстрелы; вдали как будто мелькал дым. Коляска летела и летела. В ней стояли, замирая от волнения, губернатор, Саддукеев и грек.

— Боже! Мы, кажется, спасены! — вскрикнул по-французски губернатор. — Вон возвращаются драгуны, вон стан ослушников. А вот завидели нас и едут к нам Рубашкин и исправник. Ну, погоди же ты, негодяй Тебеньков! Увернулся из дела Перебоченской, а тут уж я тебе не прощу и поблагодарю за тебя Тарханларова.

На душе губернатора отлегло. Он даже вынул лорнет и оседлал им нос, готовясь встретить спешивших к нему на дрожках Рубашкина и Тебенькова.

Дрожки подъехали. Издали тянулись шеренги драгун. Офицеры не отделялись от своих мест, не скакали навстречу губернатору.

— Ну, что? — спросил губернатор исправника.

— Все кончено-с! — ответил Тебеньков, вскакивая с генеральских дрожек.

Губернатор взглянул. Рубашкин сурово поклонился; глаза его были красны; сам он был не похож на себя.

— Как кончено? Стреляли? — спросил, задыхаясь, губернатор.

— Стреляли! — ответил исправник. — Иначе нельзя-с было поступить. Дали всего один залп, и бунтовщики покорились.

— Есть убитые?

— Восемь человек убитых и около двадцати раненых.

. . . .

— Кто же убит? — спросил Саддукеев.

— Бывшие впереди! Вы их всех лично знаете! — подсказал, качая головой, Рубашкин. — Убиты Илья Танцур и его невеста Настя, флейтист Кирилло Безуглый, десятский, два старика из соседних хуторян, бывшие прежде в бегах с Ильей, горничная Перебоченской Палашка и еще какой-то парень, также из бродяг, вернувшихся в последнее время...

Губернатор молчал.

— Теперь и дело Перебоченской и трех ее друзей кончится иначе! — шепнул грек Саддукееву. — Пропадут и мои поиски насчет ассигнаций! А я было так подогнал уже это дело.

— Что ж, господа? — сказал губернатор. — Я полагаю, что иначе нельзя было и поступить. Ведь этот бунт мог принять нешуточные размеры!

— Позвольте, ваше превосходительство, осмотреть убитых? — спросил грек.

— Я уже осматривал и ничего не нашел! — перебил исправник.

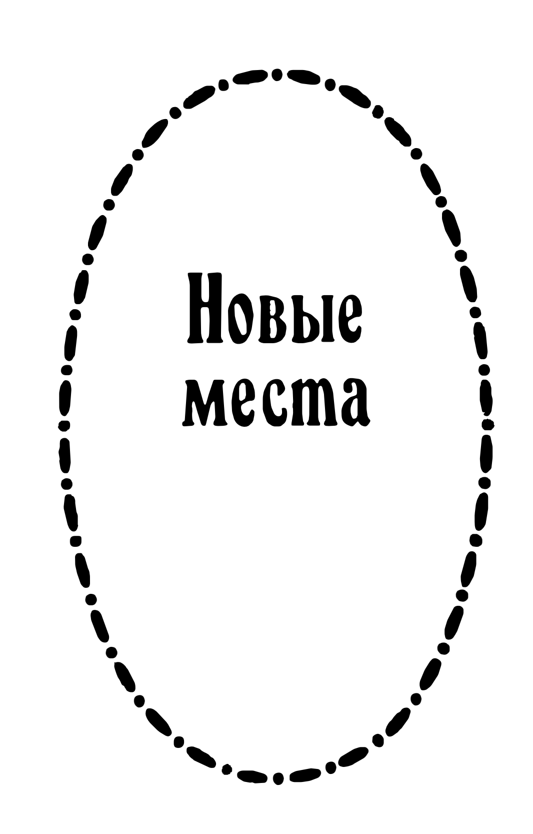
Коляска и дрожки поехали обратно в Есауловку. Раненым мятежникам тотчас были оказаны все нужные пособия. Убитых похоронили на другой день. А вечером того дня, как приехал губернатор, в княжеский двор были созваны усмиренные бунтовщики, и губернатор долго их усовещивал, стыдил, грозил им судом, обещал за полное раскаяние испрошения им помилования и уехал, сам растроганный донельзя.

Исправник за дорогую цену продал Перебоченской донос Ильи, найденный на убитой Насте. Перебоченская вздохнула свободнее и на радостях щедро расплатилась с Романом Танцуром, хоть при этом все-таки его прижала.

Стали лелеять приятные надежды о близкой свободе и сидевшие в остроге Хутченко, Кебабчи и Рахилевич. Роман Танцур выпросил себе у князя раньше срока вольную, приписался в губернском городе в мещане, перевел туда жену и сейчас же занялся огромным подрядом хлеба и дров на войска. Рубашкин начал реже ездить к Мангушке, затосковал еще сильнее по милому северу и с началом осени снова уехал в Петербург.

Рубашкин в Петербурге занимает теперь место в одном из ведомств, соприкосновенных к комитетам по части реформы не то земских, не то судебных учреждений. Саддукеев остался управлять Сыртом, детей пристроил в гимназию, стал ездить к князю в Есауловку поиграть в карты и поболтать от скуки. Поговорку о ста годах он вскоре перестал вовсе употреблять, потому что, как-то присутствуя на полевых работах осенью, простудился, схватил горячку и без всякого пособия, в присутствии подслеповатой, глухой и отупевшей от старости бабки-знахарки, умер.

Губернатора к зиме нежданно отставили. На место же его назначили совершенно новое лицо из университетского поколения времен конца тридцатых годов. Он приехал скромно, тихо, объявил, что все чиновники могут оставаться на своих местах, лишь бы хорошо и честно служили, заперся в кабинет, стал читать все дела до последней страницы, и губерния, ждавшая по былым временам балов и всякого блеска и шума, сильно огорчилась. Новый губернатор только сделал пока два видных дела: устроил так, что Тарханларова от него перевели в другую губернию, а дело Перебоченской и трех ее приятелей получило новый и, говорят, грозный для негодяев ход.



Новые места

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УКРАИНСКИЙ РОБИНЗОН КРУЗО

На нови — хлеб сеют.
Шей новый кафтан, к старому примеривай.

Пословицы

I

Где это?..

Александр Ильич Чулков решился раз навсегда покончить с прошлым, уехать и затеряться в такой дали и глуши, чтоб и во́рон не нашел его костей...

Махнув на все рукой, он простился со старым, постылым окружающим и ехал-ехал, чтобы никогда более не возвращаться назад. Почтовые лошади сменялись. Тележка уносила его вдаль. Виды становились другие. Степь дичала. Воздух с каждым днем нежил более.

Южное море посылало своих предвестников: то в перелетных птицах, то в красноватой ранней зелени соленых лиманов. Дружная весна неслась навстречу. А еще пять-шесть дней назад, по пути от севера, по сторонам тележки расстилались оледенелые равнины и погребенные под сугробами снега безжизненные поля и леса. Еще перевал. Утро сверкает чисто весеннее. Желтые и синие анемоны мелькают по краям дороги, сменяясь то стрелками полевых гиацинтов, то алыми островками рано цветущего дикого персика. Вот колоколь-

чики сон-травы, вот первые степные тюльпаны, а вот, по склонам балок и оврагов, красные махровые шапки дикого пиона, воронца.

Лошади мчались. Разбитый и усталый, Александр Ильич задумался, вспомнил недавнее прошлое и удивился, как это все с ним случилось. Было же это вот как. Два года назад, после одной печальной, тяжелой истории в столичном обществе, из-за которой погибли несколько человек в кругу лучших его друзей, он в первой горячке тоски и отчаяния решился бросить отечество. Ему тогда сопутствовал один из его случайно уцелевших приятелей, Ваня Сладкопевцев, душа честная и добрейшая.

— Куда же мы, наконец, с тобой теперь? — озабоченно спросил Чулков приятеля, когда они, бодрые и смелые, ступили с невской набережной на борт заграничного парохода.

— Не знаю, как ты, — решительно отвечал, стараясь быть спокойным, приятель, — я же потолкаюсь по старой Европе, и если не найду себе по вкусу дороги и работы, уеду в Америку; ее леса и равнины давно ждут к себе в помощь русский вольный топор и русскую вольную соху!

Приятели, оба сослуживцы одного из министерств, уехали как бы в отпуск, но с мыслью не возвращаться назад. Средств у них было мало. Это были два отпетых бедняка, которым родители дали, однако же, хорошее образование. Приятель Чулкова был более идеалист, верил множеству теорий, часто влюблялся и писал стихи. С запасом кое-какого платья и белья в саквояжах да с несколькими десятками червонцев, уцелевших от служебного жалованья и работ в одном журнале, они переплыли море и вышли на чужой берег с горьким восклицанием: «Прощай, старая, бедная родина! Ни ты нам не дала счастья, ни мы тебе ни в чем не пригодились! Авось, пригодимся другим!» Запад Европы охватил и оглушил их пестрой панорамой. Туда они везли свои молодые двадцатилетние силы и светлую, искреннюю жажду деятельности, пользы другим, счастья и наживы себе. Там, на фабриках Англии или в торговых конторах Гамбурга и

Парижа, меж виноградников Рейна, на хозяйственных полях Баварии и Бельгии или в ученых кабинетах германских университетских городов, думали они создать себе обновленную, более светлую жизненную карьеру. Искренно и болезненно-прискорбно, хотя со смелыми надеждами, прощались они в мыслях со старою Россией, по их выражению, с ее сонными, сытыми и детски-самодовольными людьми, с ее мертвыми, ничего не делающими и ни о чем не думающими городами, с ее бедными, дикими и, как кладбища, тихими деревнями, с ее полинялым, всем знакомым, сереньким общественным колоритом, с ее торными житейскими дорожками, по которым целые века, целое тысячелетие шла, чуть не одним и тем же размеренным шагом, гордая своим невежеством и дикостью людская тупость и обидная, вплоть до самой могилы спокойная, людская безнадежность. Такое понятие о родине сложилось у молодых эмигрантов. Долго приятели, сперва с любопытством, потом с тревожной озабоченностью, толкались по Европе. Молодая решимость была слишком сильна. Сперва они приискивали себе работу вместе, пробуя свои способности и вкусы на разных поприщах. Лейпцигская типография Брокгауза видела их кудрявые русые головы у станков наборщиков по славянским наречиям; в то же время они оба стали прилежно и с горечью в душе писать обличительные статьи о России в иностранные журналы, но увидев, что за это дают им гроши, да еще морщатся, бросили. Износив последнее платье и белье в Лейпциге и прожив там последние русские червонцы, они поступили в какую-то международную торговую контору в Париже, где от начальника предприятия, черномазого буржуа-француза, встретили такой холодный мещанский деспотизм и такие наглые прижимки, что тут же перешли на другое место. Послали об этом протест в какое-то парижское издание, но его там не поместили. Техническая компания для разработки мин в Арденнских горах сменилась бухгалтерией при одной из громаднейших баварских бир-галле. Потом вкусы самих приятелей разошлись. Озлобленные и исхудалые, в рыночном платье с чужого пле-

ча и зачастую по суткам голодные, они разъехались, хотя остались искренними друзьями. Чулков уехал в Силезию учиться земледелию, а Ваня Сладкопевцев — в Лондон, работать в тамошнем музее, по части летописной литературы. В конце второго года добровольной ссылки Чулков послал адрес домой, получил от далекого родича из России известие о неожиданной смерти его отца и матери, мелкопоместнейших из бедных помещиков в крайней северной губернии. Как ни были бедны его родители, однако же известие о них кончалось словами, что после них осталось именьице — земля, усадьбы и лес. При известии был приложен переводный вексель на получение денег для возврата в Россию. Чулков, долго болевший и потому рассчитанный силезским хозяином-помещиком, у которого он состоял в качестве странствующего конторщика для сношений с купцами по продаже хлеба и в то же время учителем арифметики его детей, — впал в это время в такое безденежье, что готов был идти в кельнеры первой гостиницы за кусок хлеба. Он убедился, что и в Западной Европе бедность также бедна, голодна и беспомощна, что богатство, связи и искательство владычествуют и там. Он убедился, что на Западе, при закрепощении труда капиталу, — работники Жан и Фриц так же голодны на фабриках де Пена и фон Шульца, как долговязый набиватель трубок был голоден у их курителя, седовласого поручика Тычинкина. Чулков, однако, не сдавался. «На линию, значит, еще не попал!» — думал он и решил только на время съездить в Россию, навестить могилы родителей, распродать оставшееся после них имущество и снова уехать за границу, тем более что Ваня Сладкопевцев в это время извещал его из Англии, что он окончательно убедился в несостоятельности старой Европы для славянской природы; что он после музея работал на какой-то стальной фабрике и с тремя другими русскими земляками, так же, как и он, не вынесшими холодности бульдогов-англичан, уезжает на днях в Америку, где они, в Калифорнии или в плодоносных девственных саваннах Висконсина, надеются в скором времени разбогатеть.

В последних письмах они обменялись адресами, куда им в случае надобности писать. Назначены Нью-Йорк и Петербург. Чулков возвратился в Россию, поблагодарил вызвавшего его родича, распродал родовое свое наследие, очистил все бумаги по именьицу, взял с собой портрет матери, выручил с небольшим две тысячи рублей, только мимоходом взглянул на знакомые улицы хлопотливой северной столицы и на здание былого места его службы, с грустью пробежал несколько наудачу взятых русских журналов и газет, которых он не читал более двух лет, и снова решился без замедления и навсегда ехать за границу. «Теперь я иначе поверну свою судьбу!» — подумал он и поехал. Но в этот раз он положил отправиться не севером, а через юг, где надеялся завербовать себе в спутники еще одного университетского товарища. «Займусь торговлей во Франции или пущусь за Ваней Сладкопевцевым!» Делу, однако же, суждено было разыграться совершенно иначе. В уездном степном городке, куда прежде адресовал он письма к университетскому товарищу, он узнал, что камрад его недавно умер. Делать было нечего. Надо было спешить захватить первый отходивший с юга за границу пароход. Он рано утром остановился в городке и пошел справиться об отходе из соседнего порта пароходов. Город состоял собственно из нескольких скученных по тощей степной речонке деревень. Жители города еще помнили, как откуда-то к ним явились первые чиновники и как эти деревни назывались улицами. Но крестьянин-степняк, обитатель двора на одном краю этого города, едучи на паре волов и на скрипучем возу к приятелю в гости, на другой его конец, по-прежнему еще запасается здесь на проезд харчами для себя и для волов на целый день, потому что этот уездный город по песку, по горам и по камышам раскинулся с конца в конец без малого на пятнадцать верст. Усталость взяла свое. Чулков, согретый весенним теплом, решился отдохнуть. Он потребовал на постоялом дворе при станции отдельную комнату, выспался, умылся, освежился, оделся, закусил и собрался пройтись по главной площади города. Было еще

часов одиннадцать утра. За стеной, в соседней комнате, слышались голоса. Несколько человек живо толковали о каких-то торгах, упоминая сотни и тысячи десятин земли.

— Что это за господа? — спросил Чулков лакея из жидов.

— Ох, то теперь торги на Безлюдовку.

— На какую Безлюдовку?

— Ох! На Опалихе!

— Да чего же ты вздыхаешь?

Жидок бережно оглянулся и потряс курчавой головой.

— Наехали опять чиновники и отдают в аренду казенные земли в Опалихе. Земли — ох, да уж и земли ж; а деньги, разве у кого они теперь есть? Ну, и идут за бесценок. Вот бы и я взял, кабы деньги, даром, что еврей. По полтине да по сорока копеек отдают за десятину... Ох!..

— И точно земли хорошие?

Жидок зачмокал.

— Целина все, вековина, что ни плуга, ни бороны с того еще веку не знала, как наш народ в Ерусалиме жил, да как пророки ходили по земле...

Чулков вышел на крыльцо, прочел объявление на дверях от какой-то палаты о сдаче в аренду с публичного торга лишних пустопорожних государственных земель такой-то губернии и такого-то уезда и пошел бродить по городу. В мелочной лавчонке, при которой был и мучной лабаз, он зашел купить спичек и вместе узнать о пароходах. Там также шел разговор об аукционе. Тщетно он расспрашивал о порте, бывшем оттуда всего в семидесяти верстах: никто ничего не знал о сроках рейсов; зато он выслушал бойкий рассказ хозяина-лабазника, Ивана Ивановича, о том, как тот за какой-то долг взял у соседнего помещика на лето в аренду клочок земли, близ той же Опалихи, где, между прочим, было несколько десятков десятин целины, спаханной с осени, которую сам помещик не мог засеять своими средствами; как он, Иван Иванович, посеял на ней лен и как получил с каждой десятины чуть не по пятидесяти рублей чистого до-

хода, что почти впятеро превосходило ценность самой земли. «Э-эх, кабы деньги, забрал бы я в аренду всю энту Опалиху! — тоскливо прибавил рыжий толстяк-лабазник. — А тебе, ваше благородие, прямо советую!» Чулков еще с ним поговорил, как бы что-то нежданно задумав, повернул в переулок и закурил папиросу. День был превосходный. Из обывательских тихих двориков несся тонкий запах цветущих груш и яблонь.

«Не судьба ли?» — вдруг подумал Чулков, остановившись в переулке и опершись на убогий плетень. Точно колокол вдруг ударил над его ухом. Он ухватился за сердце: оно шибко и громко билось.

«Не судьба ли? — мысленно повторил он, и сам себе не верил, как это разом все пришло ему на ум, — да и чем эти новые, непочатые места хуже самой Америки? Отчего бы и здесь не попытать счастья выходцам старых мест и старых обществ? Свобода и независимость, труд и заботы о собственной наживе — разве этого всего и здесь, вдали от света, нет? Не остаться ли мне здесь?.. Не попробовать ли?.. За океан недолго уехать. Десятки, сотни тысяч людей до меня туда ездили; но все ли они наживали там счастье? Отчего не попытать бы того же и здесь?»

Александр Ильич был бледен, пот выступал на его лице. Ему совестно было за свою торопливость.

«Или это тоска по родине?»

Еще постояв, он подумал: «Ваня Сладкопевцев, видишь ли ты меня в эту минуту здесь из-за океана? Будешь ли ты доволен? Но как бы то ни было, я решаюсь! И посмотрим: чья взяла? Кто-то из нас с тобою выиграет лучше?»

Он выбрался из переулка, затоптал папироску, осмотрелся, оправился и решился пойти на площадь, где, по словам лабазника, в суде кончались в это время торги на казенные земли по речке Опалихе. И долго после того он помнил это мгновение: переулок, робкие лучи полдневного солнца в тихом, пустынном городке, мысли о дальнем приятеле и свою решимость. Он обогнул еще несколько улиц и переулков,

вышел за огороды, постоял и отправился в присутствие, вошел, встал к столу, наскоро прочел условия, взглянул на торговый лист, прислушался к аукциону и с трепетом сел в стороне. Все глаза обратились к нему.

— Вы торговаться? — спросили его, переходя, члены аукциона.

— Если позволите... Не опоздал ли я?

— О, нет, еще полчаса времени вы имеете по закону Теперь кончается последняя переторжка на словах. Дешево дают за один участок. Не хотите ли?

— За какой?

— Безлюдовский.

— Где это?

— На Опалихе; изволите знать?

— Слышал... Сколько десятин?

— Пятьсот; последняя цена дана вот ими по двадцать две копейки.

Чулков оглянулся: сбоку, возле него, на почетном кресле, горделиво посматривая по сторонам, но, очевидно, также в волнении, сидел белый и полный, как пшеничная булка, господин в дворянском мундире и в ордене.

— Позвольте взглянуть на план.

Чулкову передали план. Земля шла ровною полосой и квадратом к речке.

— Есть водопой?

— То-то и беда, — подхватил соперник в мундире, — задерживается в балке только дождевая вода. Зато речка летом пересыхает; это ведь Опалиха. А будь возможно вырыть в степи колодези, разве этому клочку такая цена?

— Не будет там колодезей; рыли по соседству, да тысячи даром бросили! — ввернул и другой соперник, постоянно пьяненький старичок из однодворцев, державший, впрочем, ту землю перед этим что-то более двенадцати лет сряду.

— Сколько денег платить сразу?

— Половину теперь, а остальную часть через полгода, по утверждении контракта; контракт на восемь лет.

— Сорок копеек десятина! — сказал Чулков.

— Что вы, что вы? — зашипел ему на ухо старичок-однодворец, распространяя запах лука и водки.

Мундирный соперник отвел Чулкова в сторону.

— Вы меня не знаете? — спросил он.

— Не знаю...

— Ардальон Аркадьич Музыкантов, предводитель здешнего уезда...

— Что же вам угодно?

— Не торгуйтесь на эту землю: она мне нужна...

Чулков, смерив его с ног до головы глазами, холодно ответил:

— Почему же вы полагаете, что она мне не нужна? — и снова подошел к столу.

Предводитель стал шептаться с чиновниками,

— Сорок пять копеек! — произнес однодворец.

— Сорок девять! — сказал, пыхтя и утирая лоб, предводитель.

— Полтинник! — объявил Чулков.

Воцарилось молчание. Презус записывал цены. Под скрип его пера однодворец опять нагнулся к уху Чулкова.

— До какой цены станете торговаться?

— Хоть до целкового, хоть до двух...

— Я отстаю! — заявил однодворец.

— Отстаю и я! — объявил сердито предводитель, пожирая Чулкова глазами.

— Земля за вами! — сказал презус Чулкову. — Пожалуйте задаток.

— Кто это? Кто это? — зашептали кругом. — Откуда он взялся?

— Имя и звание ваше? — спросил презус.

Чулков назвал себя, достал бумажник, отсчитал задаток, расписался на торговом листе, и пока торги пошли на другие

участки, возвратившись на станцию, встал среди комнаты, ударил себя по лбу, да так и остался.

«Какову штуку отмочил! А? Ну ожидал ли я этого еще вчера? Чудеса!» Он чувствовал, что сделал смелый и неожиданный шаг. Он понимал, что брался за дело, которое не могло же ему сразу улыбнуться ни калифорнийскими золотоносными россыпями, ни баснословной наживой хлопчатных плантаций Висконсина, ни стопроцентными барышами французских эписье. Он понимал, что речка Опалиха все-таки речка Опалиха, что она протекает по русской губернии или в русском уезде и что над нею витает не орлиная тень статского джентльмена, фрачного Цезаря-мещанина, обитателя Белого дома в Вашингтоне, а тот же какой-нибудь исправник, майор Васильев 3-й или становой, подпоручик Иванов 16-й.

Был теплый апрельский полдень, когда Чулков в крытом фургоне лабазника Ивана Ивановича, с которым он невольно сошелся дня в два-три, задержанный формальностями аренды, на паре его лошадок приехал на свою землю. Ни у него, ни у его соседей не было там никакого признака жилья, а степной вид не оживлялся ни лесами, ни озерами, ни горами. Молодая решимость не отступала назад.

«Что же! Я хотел выехать из старой России, ну и выехал! — думал он. — Здесь все не такое, как там: и люди, и небо, и земля! Буду же работать здесь!»

С планом земли в руках, верхом на выпряженных конях, Александр Ильич с толстяком Иваном Ивановичем объехал арендный участок по межам, высмотрел самую высокую на нем точку, въехал на нее и увидел, что у его ног простиралась глубокая зеленеющая балка, с кустарниками в нижней и с рощицей в верхней ее части, а кругом шли совершенно пустынные равнины, кое-где только очерченные одинокими курганами да оврагами.

«Тут заложу себе на склоне балки усадьбу!» — подумал Чулков; спросил Ивана Ивановича, не напиться ли тут чайку; пустил на траву лошадей, вынул ковер, обвесил его в защиту

от солнца вокруг фургона, достал мешок с закуской, котелок, разные припасы, и пока Иван Иванович собрал сухого бурьяну, сам сходил в балку, добыл там во впадине дождевой воды, развел огонь, поставил самовар, и новые знакомцы не заметили, как в толках о предположениях ведения аренды кончился день, наступил вечер, а за ним и ночь. Рано утром лабазник сказал:

— Теперь ты, ваше благородие, нанимай людей, раздавай землю с копны да стройся; что нужно, спрашивай: все тебе расскажу. А мне пора в город. Будешь сам про все хлопотать, пойдет ладно; сдашься на людей, ничего не выйдет, хоть бы и из эвтой землицы. Кормила она нас, сиволапых, да рублевики растила; а залежишься, так дворянством твоим, как бурьяном, сразу зарастет.

Что же это, однако, за новые места, где так неожиданно очутился Александр Ильич Чулков? В какой они губернии и в каком уезде находятся? Надо ли, впрочем, это тебе, читатель, называть? Какая от того особенная польза? Мало ли таких мест по лицу русской земли!

Если бы спросить у ветра-суховея, облетающего русские земли, он сказал бы, что ему весело гулять тут, на просторе, срывая плодотворную пыль с цветов и разнося ее по молчаливым степям и долам. Он сказал бы, как торжественно страшны здесь редкие и шумные грозы, как мертвенно стихают перед ними обгорелые и засохшие летом, жадно зовущие дождя и грома равнины. Если бы спросить у птиц и мелких пташек, налетающих из-за синих морей на русские леса, сады и сенокосы, они рассказали бы, как знакомы им эти новые места, этот первый отрадный перевал их у скалистого, глубокого взморья. Стаи ласточек рассказали бы, как, пролетев длинный путь над Черным морем, они, усталые, падают тут невдалеке, над обрывистыми известково-глинистыми береговыми утесами и, облепив их, отдыхают и греются тут на солнце, распустив истомленные крылышки, до нового отлета к полям встающего из-под снегов богатого мошками и комарами севера.

Она почти все та же, как была в далекие времена, эта черноморская, гайдамацкая Новороссийская степь. Вряд ли много она изменилась от темных кочевых времен, от Атиллы и Владимира Святого. Плуг еще не вырыл, а борона не выкинула из нее на мороз последних диких луковиц, анемонов и гиацинтов, тюльпанов и воронца. Тут еще девственно белеет, волнуясь по ветру, шелковистый султан ковыля. Тут еще обильно цветут, оплетая собою стволы трав, стебли белого и пурпурного горошка, так везде убегающие от косы и от овечьих стад. Здесь еще и теперь, в майский день, человек, как во времена Тараса Бульбы и героя Гребенки, Чайковского, по грудь спрячется в траве, идя полем, так называемой сеножатью, и раздвигая рукой цепкие и бьющие по нему душистые стебли донника, буркуна, синяка и далеко в полях видного желтого дрока.

II

Робинзон Крузо, что на Опалихе

Чулков не унывал. Так нежданно-негаданно оставшись здесь, он горячо взялся за дело. Кстати, случай помог ему для Петербурга и для немногих оставшихся там приятелей стать окончательно покойником. Уезжая с Ваней Сладкопевцевым в первый раз из России, он никому из знакомых не дал и намека о том, что он затеял с ним эмигрировать; он втихомолку вышел в отставку и уехал будто бы для научных целей. Теперь же, в краткий заезд на север для распродажи наследства, он кое-кому откровенно исповедал задушевную мысль о переселении в чужие края и скоро нежданно поверг всех знакомых в печаль: первый весенний пароход, на котором он, по расчету времени должен был выехать в чужие края, столкнулся с другим пароходом у турецких берегов и пошел ко дну со всеми путниками. Чулкова оплакали

немногие деревенские и столичные знакомцы, пожалели и вскоре, как все на свете забывается, о нем забыли.

«Кто же мои теперешние ближайшие соседи?» — спрашивал себя Александр Ильич, приискивая по окрестным хуторам и базарам рабочих, закупая разные припасы и знакомясь вообще с местностью, в то время как фургон Ивана Ивановича, обвешанный ковром, сменился соломенным куренем на склоне балки.

Ответы давались не совсем ясные. И в самом деле, кто их знал, этих ближайших соседей? То были, большею частью, сгонщики скота и овец, которые летом нагуливали, а к осени продавали или сами резали на сало свои стада. Они жили по окрестным степям чисто кочевою жизнью, в шалашах и в землянках. Невдалеке было несколько немецких и славянских колоний. Кое-где, в тумане неясных толков, назывались еще разные хутора и усадьбы, то с управляющими, то с хозяевами, жившими летом в деревнях, а зимой в собственных домах в соседних приморских портах. Называли еще, невдалеке от Чулкова, на берегу большой судоходной реки, впадавшей в море, красивую усадьбу со старым тенистым парком, одного моряка Чемодарова, пропавшего без вести в одно из плаваний нашей эскадры в Тихий океан. Его жена, по слухам, жила за границей, а имением управлял, за ее отсутствием, ее знакомец, местный предводитель дворянства. Деревня носила восточное, во вкусе той местности имя — Таганча.

«Уж не **тот ли** это предводитель Музыкантов, — думал Чулков, слушая рассказы об этом имении, — у которого я отбил на торгах аренду и который похож на булку?»

Может быть, в соседстве были еще помещики. Но, вероятно, они жили наподобие степных байбаков и сусликов, свистящих только у своих норок, и то лишь для поощрения друг друга при отыскании пропитания для травоядного брюшка. О них не было ни слуху, ни духу Да, наконец, и не до расспросов о них было теперь Чулкову.

Конец весны и начало лета Александр Ильич кочевал в курене, пряча припасы еды под ним, в землянке. Но надо было думать и о зимнем помещении. Приходилось строить домик «Построю я его в две комнаты, с кладовенькой, да попроще и подешевле, лишь бы прожить, тепло и сухо восемь лет!» — думал Чулков, съездил в город, опять посоветовался с Иваном Ивановичем и решил строиться. Для него началась первая, самая скучная, чернорабочая пора.

На одном из соседних участков, в нескольких верстах от выбранного им места, он нашел в кротовьих, особенного рода землянках на склоне балки чуть видный от земли поселок так называемых в том крае мещан. Большей частью таинственные выходцы из разных губерний, сами недавно беглые или потомки прежних бродяг, они были записаны в мещанство соседних портовых городов и, не имея своей земли, но прискуча шатанием по свету, занимались хлебопашеством и скотоводством на наемных полях. Эти мещане подрядились устроить ему усадьбу.

Домик в три комнаты среди лета был сложен из лампачей, то есть из смеси глины и навоза с соломой, высушенной в виде больших неопаленных кирпичей. Стены вышли чистые и уютные. Дерево на потолки, двери и крышу было, однако, добыто не без большого труда. Иное бревно или хорошая сухая доска доставались с пристани из-за десятков верст. Слух о постройке Чулкова разнесся по окрестности. Подвозили ему и неизвестно где добытый лес. Нередко ночью, заснув в одной из временно отделанных комнат, он слышал в неогороженном дворе скрип колес, стук в окно и оклик: «Леску, барин, не надо ли, леску?» Не подвергая себя неприятностям, по обычаю, следовало отвечать: «Давай!» — а иначе пригрозят и красным петухом.

Домик покрыт камышом. Стены выбелены мелом. Оконные рамы со стеклами куплены на сельском базаре и вставлены. Плотные задвижки и крючки укреплены на всех дверях. На высохшем, как камень, глиняном полу поставлена складная железная кровать, разостлан старенький, по случаю

купленный коврик. На стене повешена заряженная двустволка. Револьвер постоянно брался в карман или клался под подушкой. Кто из поденщиков готовил есть рабочим, тот стряпал и хозяину. Кухня состояла из земляной ямки на склоне балки, где на двух кольях висел котелок и ставились к огню горшки. Тут же, на траве, помещались вразброску и другие принадлежности стряпни. Амбар помещался под крышей домика, на гладко смазанном глиной чердаке. Чулков с первых же дней стал отыскивать опытных землекопов, чтобы добиться редкого в тех местах счастья — иметь свой собственный хороший колодец, а следовательно, и возможность завести хорошее скотоводство. Берега Опалихи были сильно болотисты, да притом эта река касалась его земли в конце, где за болотами нельзя было ни пользоваться водопоем, ни устроить переезд на другой ее бок.

— Ты, барин, только добудь хорошей да обильной воды на своей землице! — говорил ему за пузатым самоварчиком, навещая его, пузатый лабазник Иван Иванович. — Проведывай, твое благородие, людей таких, чтобы нашли; неужто не найти? Молебны служи Илье али Моисею Пророку: он Израилю в пустыне из камня воду иссек. А найдешь воду, сразу будешь богат, помяни!

Александр Ильич завел верховую лошадку, буланку и беговые дрожки. Но по своей земле он более ходил пешком. Вставая за час и за два до зари, он с наслаждением подходил к столбу, где на цепи на замке стояла его буланка, сам огребал у нее навоз, сам подкладывал ей сено, водил ее на водопой в балку, всыпал ей с чердака овса, гладил ее и слушал, как, стоя у его домика или взбираясь от водопоя на верх балки, она заливалась звонким, далеко раскатистым ржанием, посматривая и прислушиваясь к чуткому, ясному воздуху степи, не отзовется ли на ее оклик где-нибудь другая буланка.

Из бледного и сухощавого джентльмена Чулков в первые же месяцы жизни в степи, среди запеченных на солнце мещан и однодворцев, стал сам до того загорелым, что и го-

11—1528

лубые глаза его, нежные, но вместе строгие и печальные, будто загорели и стали еще строже и печальнее, и кудрявые белокурые волосы его потемнели, точно их солнцем опалило и ветром защетинило. Шея его стала медно-цветною, с ушей и с носа слезала третья кожа, руки потрескались, плечи стали плотнее, от заграничного сюртучка остались одни клочки. Проезжий путник не угадал бы, кому принадлежал здесь маленький, нежданно возникший над склоном балки домик. Двор еще не был и рвом намечен. Целинная зеленая травка устилала его и была потоптана только по отвесу балки, от глиняного крыльца ко впадине с дождевой водой, да от этой тропинки к воздушной конюшне, то есть к столбу, где стояла буланка. Выходя утром умываться с крыльца или вечером со стаканом чая сидя у крошечного окошка и глядя в степь, Александр Ильич любовался теплым очерком степей и соображал, что с новою весной тут же, у самых окон, выйдут из целинной земли и зацветут дикие тюльпаны, гиацинты и анемоны.

Первые ночи, однако, жутко было Чулкову в его новом помещении. Непривыкшие к появлению людского жилья, дикие крикливые птицы по-прежнему слетались на ночь в его балку; одни к ее дождевому озерку, другие на ее кусты и деревья. Навещая буланку, которая по ночам зачастую паслась в железном путе по балке, Чулков шел с ружьем в руках. В темном воздухе раздавался порывистый шелест, и на него нередко налетала справа и слева дружная стая перелетных птичек, чуть не ударяясь в него и обдавая его шорохом и холодом резвых крыльев. Буланка, отыскивая лучшего корму, переходила впотьмах за балку. Чулков, не будя работника, измаявшегося на других делах за длинный день, при полном свете месяца выходил из дому, отыскивал и отгонял обратно в балку лошадь, а сам, пойдя в обход домой, ложился к земле и нередко, любуясь сценами ночи, лежал в траве до рассвета, забыв сон и с замиранием сердца следя, как незаметно белел восток, как откуда-то, будто кто незримый и сильный вздохнул в степи, тянуло ветром над

полями и как навстречу заре колыхались головки, султаны, чашечки, стрелы и усики цветов и трав.

Раз, лежа в верховье балки под явором, Александр Ильич увидел, как откуда-то из сумеречных, еще предрассветных высот прилетел длинноногий, статный серебристый аист, тихо и бережно склоняя голову и трепетно задерживаясь в воздухе, глянул вниз, никого не заметил и спустился на голый сук явора. Он, очевидно, ушел с разоренного где-нибудь гнезда. В его носу был распластанный, еще бесперый детеныш. Полураспущенные его крылья пугливо дрожали; увлажненная росой грудь порывисто дышала. Он сидел и как бы раздумывал: куда ему теперь полететь, где спрятать бедного голого детеныша? Александр Ильич, лежа под деревом, так и порывался крикнуть ему: «Ко мне, ко мне, на крышу, свободная тихая птица, у меня никто тебя не тронет и не обидит!» Он следил за диким крылатым великаном. Но вот голова аиста дрогнула, его зоркий глаз приметил человека: перья черного хвоста мгновенно шелохнулись, аист беззвучно взмыл и, как белый корабль, на широких крыльях поплыл далее, как бы реша, что люди везде одни и что тут небезопасно. Впрочем, через сутки на кровлю безлюдовского поселенца прилетела пара других аистов, нагромоздила из прутьев огромное черное гнездо и, к утешению Александра Ильича, осталась там на все лето.

«Боже! Какая здесь свобода, какое приволье, какая чудная дичь и глушь! — повторял сам себе Чулков. — Как здесь счастлив и ни от чего в мире не зависим человек!»

Чулков видел, как просыпалась степь, как из норы выползали желто-бурые лохматые сурки, как они становились на задние лапки над сурчихами и сквозь белые зубы пускали оглушительный свист. Он видел, как по пути к камышам Опалихи, из-за недалекого пригорка, выбегала худая и рослая степная волчица, как легким взмахом, точно перекати-поле, неслась она, запоздавшая где-то на добыче, как с обвислыми сосцами, неся в зубах порванного зайца, она садилась на взгорье, переводила дух, смотрела вдаль, подо-

11*

зрительно принюхивалась к синему воздуху и убегала опять. В версте от его балки, в глубоком размытом овраге, лисица вывела семью. И Чулков, пробравшись туда, по целым часам прислушивался по зорям, как она поднимала в бурьяне беготню с лисятами, уча их ремеслу добычи, и как на глазах Чулкова, сидевшего за пригорком, то ползла по траве, как бы крадясь к зайцу или к птице, причем за нею, пища, ползли детеныши, то вдруг вскидывалась, как обожженная, прыгала на легких лапках то туда, то сюда и бойко помахивала пушистым хвостом.

В первое же лето Чулков испытал немало возни и борьбы против разного рода стихийных бедствий. Прежде всего, в громадном количестве одолели его неустроенное жилье комары, мошки, мухи, блохи и другие насекомые. Гусеница объела цветы и завязь на деревьях его рощицы. Завел было он близ дома кур, но лисицы выкрали их всех до одной в первый же месяц. Он завел другую смену кур на чердаке; это удалось, и он рад был их кудахтанью по утрам, с перекличками петухов, их кавалеров, всю ночь над его головою. Поросят также вскоре не стало. Волки поделились с ним и двумя овцами, гулявшими вокруг балки на свободе. Зато он устроил среди двора, на высоком столбе, голубятню, и скоро у него развелась огромная стая голубей, весь день летавшая над его двором или по зову к корму устилавшая всю его кровлю. Борьба с непогодой и бурями была упорнее. То дождь промочит новую крышу и хлынет в комнаты, то ветром сорвет ставень или разобьет стекло, то печь дымит, то скошенное сено попортит нежданным ливнем, и некому его убрать и просушить. Недели проходили, пока отыскивались кровельщик, столяр, печник или стекольщик. Чулков кончил тем, что обзавелся некоторыми инструментами и припасами и сам стал исполнять починки жилья. «Вот бы увидели меня министерские товарищи!» — думал он, чиня окно или дверь. Время шло, высыхали слегка попорченные покосы, дыры в окнах заделывались,

и дождь более не лился на голову безлюдовского переселенца. Александр Ильич не убавлял труда. Сегодня с утра до ночи ходил он в широкой шляпе и, от жары, буквально в одном белье по степи, завтра на буланке верхом скакал в колонии или к мещанам за новыми поденщиками, давал задатки, приценялся к рабочим на базарах, с какого-нибудь перекрестка вел за несколько верст пешком встреченных молотильщиков, балагурил с ними, угощал их. Лен и пшеница, посеянные у него с копны, разделены, свезены и вымолочены. Близость моря и торговых гаваней показали выгоду аренды: в начале августа не только временной сарайчик, но и все его комнаты были засыпаны зерном; в первые дни сентября, после двух-трех визитов купцов, явились пароконные греческие и немецкие фургоны и умчали рысцой первую жатву Чулкова прямо на корабль. Александр Ильич, по отъезде агента итальянской конторы, купившего его продукты, от радости не помнил себя, пошел в степь и долго там ходил без цели, раздумывая, как все это кстати для него случилось и устроилось. И было от чего радоваться Чулкову: он получил в очистку по двадцати рублей дохода с десятины пшеницы и более тридцати рублей с десятины льна. Сенокос тоже дал ему изрядный сбор стогов и скирд. С каким наслаждением сосчитал он свой первый бойкий заработок и с какою бережливостью, отсчитав часть его для дальнейших оборотов, остальные деньги отвез в губернскую банковую контору. С какою отрадой он умылся, приоделся в чистое белье и платье, сел со стаканом чаю вечером на глиняное крылечко глиняного домика, откуда был вид на балку, на рощицу, на шалаши рабочих, разметанные по склону косогора! О чем думалось теперь Чулкову? Вспоминал ли он в эти минуты свое недавнее прошлое, скрипение пером в Петербурге, душный воздух министерской канцелярии, нахлебничество в пятых этажах закоптелых домов или двухлетнее бездольное шатанье по чужим краям? Куда ему! В будущем предстояло

так много. Новые предположения росли. Голова создавала столько замыслов в этом бойком и деятельном крае спекуляций, риска и наживы. Не успел он воротиться из банка, как к крыльцу его (по пути к колонии за табаком и мукой) подъехал лабазник Иван Иванович; узнав, в чем дело, похвалил его за успех и сказал: «Да ты, барин, молодец, не белоручка; теперича, значит, твое благородие, за овечек: сена вдоволь, оно дешево; продать не продать, а купи, ваше благородие, овцы али рогатины, выкорми зиму — сорвешь опять барыш. Помяни...»

Прошла зима. Усадьба Чулкова обстроилась более. Кроме дома, в черте будущего двора явились конюшенка и амбар, ледник, погреб и жилая глиняная избушка для батраков. Против крыльца раскинулся молодой палисадник из белых акаций, сирени и каштанов, среди которого с весной сами собой выткнулись и цвели дикие луковицы. Стены комнат были те же глиняные, сами комнаты маленькие, но зато чистые, зимой теплые, а летом донельзя прохладные. С новой весной Чулков из тех же лампачей пристроил к домику еще две комнаты, кабинет и приемную, продал скот, съевший прошлогоднее сено, а на новый барыш решился уж побаловать себя. Из недалекого приморского порта явились легкая и дешевая марсельская мебель, охотничьи гравюры, на всех полах ковры, на этажерках и на письменном столе красивые безделушки, сподручный арсенал всяких сортов бумаги, карандашей, записных тетрадей, пресс-папье, вески для писем и стенные часики. Над изголовьем его кровати был повешен портрет его матери. Внутренность его жилья представляла уже зачатки цивилизованного вкуса, но окрестности были такою же дичью и глушью; через неогороженный двор был проезд в степь во все стороны, а на чердаке стон стоял от воркованья голубей, кудахтанья кур и крика петухов. Новый летний оборот хозяйства Александр Ильич начал уже несколько иначе. Он купил небольшое стадо шпанских овец, а пахотную землю отдал частью, по-прежнему, с копны, а частью засеял сам и своими семенами. Прошлая зима далась

ему особенно тяжело. Сперва он крепился, никуда не ездил, упорно и лично следил за кормом купленного на продажу скота и не хотел выписывать ни одной газеты и книг. «Подпишусь на газету, как колодец вырою, — думал он, — скука без чтения поневоле заставит подумать о том, что всего нужнее.» И он выдержал бы с чтением, но не выдержал с одиночеством, в обществе единственного слуги, повара и кучера, отставного южного матроса Захара Залетного. Захар Залетный был горчайший пьяница, и когда напивался, то прежде всего весьма рассудительно искал топора, хватал его и ложился в какую-нибудь дыру спать, рыча оттуда, как цепной пес, и грозя, что если кто-нибудь его тронет хоть пальцем, он всех изрубит в куски. В остальное, трезвое, время он был мрачен, все делал молча и, почуя близость запоя, подходил к Чулкову и просил его: «Барин, свяжи меня, завтра запью, а как запью, то не ручаюсь, али себя зарублю, али зарублю тебя!» Если успевали принять меры, его связывали, если же нет, то дня три-четыре все ходили в тревоге, поглядывая на тот угол, где Залетный лежал, сверкая глазами, с топором, на все лады ругаясь и всем грозя. Раз зимою домик Чулкова так замело в одну ночь метелью, что его насилу отрыли, и он вышел наружу, как из могилы, в отверстие; чтоб рассеяться, поехал в город к Ивану Ивановичу, прогостил там двое суток и возвратился оттуда с пачкой разрозненных номеров старого «*Телеграфа*», почему-то и как-то уцелевшего у лабазника еще от тех времен, когда отец его явился сюда слугой при одном учителе и тут остался. При этом Чулков переменил и свою прислугу.

Перечитывая под свист снежной вьюги истрепанные странички журнала тридцатых годов, Александр Ильич невольно сравнивал себя в этой глуши и в этом одиночестве с Робинзоном Крузо и, поглядывая на единственного собеседника, на портрет матери, думал: «Долго ли я, однако, протяну так? Не сжалится ли надо мною судьба и не пошлет ли мне хоть кого-нибудь для развлечения». И развлечение судьба ему послала.

III

Пятница

Был серый денек второй осени. По временам моросил мелкий дождик. Чулков поехал осмотреть озимые всходы. Разжиревшая буланка, с подвязанным хвостом, бережно переступала по целине, обходя рытвины и лужицы. Александр Ильич долго ездил, исколесил всю степь аренды, миновал крутой овраг, от которого в его глазах старик пастух угнал стадо овец, и уже собирался поторопить буланку и рысью воротиться домой, как увидел, с версту в стороне, под курганом какого-то человека, по-видимому, не из простых. Незнакомец лежал на траве и курил. На его плечах, как у молельщика или солдата, идущего домой в отставку, была кожаная сумка, возле лежало ружье. «Уж не визит ли какого-нибудь вновь прибывшего соседа?» — подумал Чулков, проезжая мимо, и, с одной стороны, невольно обрадовался живой человеческой душе, а с другой — тут же смутно пожалел о нарушении своего свободного и тихого, хотя подчас и мертвящего одиночества. Незнакомец, между тем, молча приподнял при его проезде серую помятую шляпу, но более не шевельнулся и, глядя на него большими и строгими карими глазами, продолжал курить папироску. Поравнявшись с ним и также отдав ему поклон, Чулков разглядел, что это был плечистый, огромного роста господин, нечто вроде гвардейского тамбур-мажора или переносчика тяжестей в одной из хлебных гаваней, с длинными усами и бородой, в темном суконном пальто и высоких дорожных сапогах.

— Охотитесь? — спросил Чулков.

— О нет! Какая теперь в степи охота! Ружье только взято для дороги.

— Позвольте огонька.

— С моим усердием-с...

Незнакомец встал и подал Чулкову кусочек зажженного у папироски трута, причем его рост показался Александру Ильичу еще больше.

— С кем имею честь говорить? — спросил незнакомец.

— Здешний арендатор, Александр Ильич Чулков. А вы?

— Ипполит Панкратьич Гуслев, русский офицер в отставке, но владелец только вот этой сумки, да вот этого ружья, да вот этой папиросницы, любитель природы и, ремеслом, если комически выразиться, странствующая кукушка и не совсем счастливый человек, уже хоть бы потому, что вот и теперь я, милостивый государь, целые сутки ничего не ел и пробиваюсь одним курением.

— Так позвольте вас запросто попросить к себе. Мое жилье тут верстах всего в трех-четырех. Вон отсюда видно: это — крыша моего дома, а это вот видны деревца моей рощи.

— Очень благодарен! — сказал Гуслев и прибавил: — Вы не думайте, г-н Чулков, чтоб я был ловкий пролаз или надуватель-попрошайка. Я действительно сильно проголодался: это факт; потом я увидел дымок над кровлей вашего дома, и, не найди вы меня здесь, я сам бы зашел к вам и попросил бы закусить у вас, как у доброго дворянина-товарища.

Говоря это, Гуслев заботливо сдерживал свой точно в корабельный рупор басивший голос и, несмотря на обношенность костюма, старался ему и себе придать не только известную долю элегантности, любезности и щегольства, но даже некоторый оттенок внушающей представительности и веса.

— Откуда же вы идете, Ипполит Панкратьич?

— Гостил у одного знакомого помещика на границе Бессарабии-с, а теперь иду через эти-с места в Тавриду-с, а может быть, и на Кавказ.

— Как! Так далеко и пешком?

— Что делать, г-н Чулков! Поневоле в этакий эдем пойдешь и пешком.

— Вы с научною целью путешествуете?

— Не столько по части наук, как по части наслаждения природой и жизнью-с...

— Милости же просим пока ко мне в Безлюдовку.

— Это село или хутор? Вы женаты? Может быть, у вас есть дама? Детки есть?

— О, я холост и живу один. А Безлюдовка — как бы вам сказать? — не село и не хутор, а так, еще пока одна усадьба.

Новые знакомцы отправились, один верхом, другой пешком. Чулков хотел было слезть и также идти пешком, но Гуслев его до этого не допустил. Они посматривали друг на друга. «Вот молодчина-кавалер! — думал Чулков, глядя на Гуслева. — Что за грудь, что за ноги и руки, какой голос! Вот бы из тебя вышел работник!..» Гуслев, шагая возле, смотрел на Чулкова и думал: «Арендатор, чем-то ты меня угостишь?» Настали, между тем, сумерки, дождь в темноте заморосил сильнее, а потом зачастил, как из ведра. До усадьбы оставалось еще с версту. Землю по дороге быстро и сильно разгрязнило. Буланка скользила и шла ощупью.

— Ух! — говорил в потемках Гуслев, шлепая широчайшими ступнями по лужам, но все-таки не отставая, и так брызгаясь и шумя, как будто он сам сидел в телеге и как будто эту телегу везла тройка дюжих коней. — Не лейся за шею, ничего бы! А то плоховато, что чуть ли я не промок до костей, да зги не видно!

На глиняном раскисшем крыльце домика он поскользнулся, а входя в сени, ударился головой о перекладину дверей.

«Ну попал в терем! — подумал он, держась за руку Чулкова, шагнул из темных сеней в неосвещенную комнату и в ожидании, пока Чулков искал на столе и по окнам спичек, с тоской помыслил. — Черт побери! Теперь бы вот ромку с чаем да мягкую постель; а тут в этом глиняном курятнике, пожалуй, кроме косарских щей с ломтем хлеба да лошадиной полости на сене, ничего не обрящешь!» И он стал впотьмах обнюхивать воздух, ожидая увидеть убогую обстановку жалкого, хоть, казалось, и доброго арендатора-степняка. Каково же было изумление Гуслева, когда вспых-

нула спичка и зажглась свеча! Коренастый, загорелый, волосатый и бородатый, как на берегах Ганга молящийся факир или, скорее, как темный столетний дуб, стоял он среди светлой, чистенькой, обвешанной картинками и устланной коврами комнаты, и с его груди, с усов, с бороды и расставленных рук, как по ветвям, струилась вода. Перекрестившись на угол, где должно было быть иконе, и снова пожав руку хозяину, он глянул на пол, на стены, на мягкие кресла, на этажерки с безделушками и, главное, на совершенно готовый к ужину стол, радушно ждавший хозяина, отступил и воскликнул:

— Извините, г-н Чулков, извините! Каюсь перед вами, согрешил! Никак не мечтал и не думал увидеть то, что здесь вижу! Как, в этой хижине! Комфорт, изящество, простота, и притом, как по мановению волшебника, накрытый к ужину стол... Какое счастье! Блюдо котлет, сосиски с капустой, а это — лиссабонское... Да вы с превеликим вкусом! И в такой глуши, на Опали́хе — чудеса! Я голоден, и сильно, это правда; но позвольте же мне теперь как истинному любителю всего дельного и хорошего приступить к этому с уважением, то есть прежде всего переодеться, а иначе я вам перемараю всю мебель, ковры и все. Истинный поклонник природы, я дарами ее люблю наслаждаться не как-нибудь, а так сказать, священнодействуя, систематически, с тактом и с уважением притом к их обладателю...

Он поклонился. Поклонился ему и Чулков.

— Так не угодно ли вам сюда! — сказал с улыбкой Александр Ильич. — С ужином меня подождут еще. Вот вам спальня, вот вам свеча и вода. Что сухо ваше, надевайте, а то берите мое, пока просохнет ваше...

По-прежнему роняя с себя обильные струи воды и не теряя сходства с дубом, Гуслев ушел в спальню хозяина, с полчаса возился там, пока Чулков еще кое-чем уставил стол, и, наконец, вышел в чистой, простого холста рубахе, в туфлях и в зеленом шелковом, хотя сильно заношенном, халате, весь красный и распаренный от умыванья и вытиранья, даже, как

показалось Чулкову, надушенный теми известными бердичевскими духами, под именем амбре, которые почему-то обыкновенно отзываются более запахом корицы и перца, чем амбре.

— Откуда вы этот костюм достали? — спросил, поднимая брови, удивленный Чулков, не помня, чтобы с гостем был чемодан с поклажей.

— О! Вас это удивляет? Это все со мной странствует в той сумке, что вы видели. Там всегда к услугам моим и этот халат, и эти туфли, и ермолка. Я люблю себя понежить, побаловать на перевалах. «Пловец, пловец, куда плывешь? Все ль паруса с собой берешь?» — помните? Это сказал один поэт, кажется Пушкин. Кийждо-с умудрися... а это — водка?

— Коньяк.

— Ура! — крикнул Гуслев и осушил объемистый стаканчик. — Непостижимо, кстати! Вот прелесть! Вот роскошь! Да это, просто, бал... Так и пошло по груди, так и пошло...

Сели за ужин. Тарелки по обычаю переменял один из батраков. И постарался же над ужином Чулкова Гуслев. Он ел так, как едят только семинаристы в первые дни каникул в доме родителей, где-нибудь в зажиточном селе, съедая сразу горшок вареников, полгуся и блюдо блинов со сметаной, или как едят после суточной гоньбы за зайцами борзые собаки. С неизъяснимым наслаждением, уставя локти в стол, откинув на спинку стула воротник халата, с широкою, раскрытою косматою грудью, Гуслев уплетал одно блюдо за другим, и пар стоял над его вспотелой, вымытой, но непричесанною головой и над его богатырскими, мясистыми и обнаженными плечами. Он наелся, отпил вина, стал было опять говорить и что-то снова есть, но нечеловеческая усталость одолела и его. Отвечая на расспросы Чулкова, он начал щурить глаза, все еще боролся, чтобы не заснуть, улыбался, отпускал шуточки, попивал из стакана, утирался и вдруг на какой-то паузе в общем разговоре совершенно неожиданно и с

раскрытыми глазами громко всхрапнул и сам даже озадачился.

— Что? Теперь спать, дружище? — спросил, улыбаясь, Чулков.

— Ах, Боже мой! Я, кажется, вздремнул! Извините, извините!..

— Помилуйте, ничего. Пожалуйте, вот вам и ночлег.

Чулков повел Гуслева в спальню, где была уже приготовлена другая кровать. Сняв бережно халат и туфли, уложив их снова в сумку и повесив ее на гвозде над головой, Гуслев с наслаждением окунул свои утомленные долгою ходьбой члены богатырского тела в свежее постельное белье, в пух подушек и перины и под байковое мягкое цветное одеяло хозяина, протянулся и так от удовольствия вздохнул, что погасил свечу на столе кровати, хотел было легким перышком вскочить и опять ее зажечь, но только промычал Чулкову: «Извините, шерами; вот так-то, зажгите ее сами, ей-Богу устал! Бонь нюи!» — и подумал: «Да уж не искушение ли во сне сие мне, смердящему грешнику? Откуда, как и почему слетела на меня снова такая благодать, когда, казалось, мир опять для меня сошелся клином!» И богиня сновидений унесла его в седьмое небо, причем, однако же, дом долго еще оглашался басистым, переливистым храпом его, который он и во сне, казалось Чулкову, деликатно и вежливо, хотя и тщетно, сдерживал, точно какому-нибудь ребенку показывал вещицу с музыкой и то захлопывал ее клапан, то пускал ее механизм играть, шипеть и звенеть во всю ивановскую.

Чулков проснулся довольно рано и, не желая без надобности будить усталого гостя, спавшего рядом с ним, взглянул на его кровать. Но Гуслев, как оказалось, еще раньше его проснулся и пристально и молча большими карими глазами смотрел на него из-под одеяла и курил папироску.

— Так вы тоже проснулись?

— О, Боже мой, Боже мой, да где же тут спать!

— Вот как, что же вас побеспокоило?

— Да помилуйте! У вас рай земной! Петухи горланят, голуби на крыше стонут, гуси по двору гогочат, овцы за домом перекликаются. Адам и Ева в раю видели только такие картины. Да и денек какой, чудо!

День был, точно, превосходный. Солнце взошло яркое, степь весело дымилась после тихого ночного дождя. На дворе отзывались хлопотливые голоса рабочих. За стеной давно стучали чашки, пыхтел самовар.

— Ну-с, так вставайте, будем пить чай! — сказал Чулков.

— Пора, сейчас, сейчас! — ответил Гуслев, но, между тем, опять прилег, разговорился, курил папироску за папироской — и новые знакомцы вышли к чаю чуть не в двенадцать часов.

Сели за стол.

— Так вы, Ипполит Панкратьич, служили в военной? — спросил Чулков, разливая чай.

Гуслев отпил из стакана, вздохнул, крякнул и ответил:

— Эт, славное и незабвенное было когда-то мое житье, Александр Ильич. Таков ли был я прежде, как теперь? В юношестве, кадетом, я наделал шалостей, и меня из Питера перевели юнкером в отдаленные батальоны в пехоту. Долго я тер там лямку. Но зато общество было хорошее. Это все были, знаете, старинные, широкие русские натуры. Нет более на свете таких людей, или они и есть, да очень мало. Утром — ученье, в обед — попойки, а вечером — картеж. Полковой командир у нас был душа-человек. После уже говорили, что он солдат обсчитывал; но нам это не шло в голову, а в квартире его всегда и везде было разливанное море кутежей. Теперь это вспомнить совестно, а тогда было не до того молодежи. Блонды явятся на платье полковницкой жены: это значило, как после объяснилось, что несколько сот солдатских подметок подтибрено, новая шуба ей привезется из города — штаны солдат в экономию пошли. Барыш на каше шел офицерам на шампанское, а половина денег от

новых солдатских мундиров спускалась иногда в два-три вечера в банк. Впрочем, и то сказать, он брал, потому что все брали. Он где-то пропал под судом. Тут замешалась у меня любовь; дочки своей полковник за меня не отдал; я покушался на самоубийство, но потом взял перевод на Кавказ. Здесь опять, что за житье... Я недолго там был, проигрался и уехал. Но, знаете, эти горы, эти черкесы, черкешенки... Увидел их, так и повеяло Марлинским. Куда вашему Лермонтову! Уж вы, наверное, его поклонник! Не люблю я его: у него все как-то проще вышло, беднее. Зато Амалат-Бек! Ах, Александр Ильич! Отчего мне везде и во всем душно, тесно? Душа всегда рвалась и рвется на простор, к огню, к бурям, к страстям. Но, увы! Золотое время, кажется, уже миновало. Мир стал какой-то серый, будничный: нет того огня. Теперь возьми я гитару, сядь в уединении аллеи да запой «Кисейный рукав», или «Синей, синей, чужая даль», или «Чижик парень был удалый», — так не только в журналах, а даже теперешние мальчишки-гимназисты засмеют. Мы прошлые, мы лишние, мы теперь никому не нужные люди... Вот с той-то поры, как я это все понял да увидел, что ни на что нынешнее не гожусь, я и начал шататься. Слышно, и на Кавказе тоже стало теперь глухо. Наши братья-офицеры, говорят, сойдутся там в крепости друг с другом, сядут за полштофом от тоски и молчат; один скажет: «Так-то, брат, так-то!» — и выпьет, а потом другой скажет: «Так-то, брат, так-то!» — выпьют, вздохнут, посидят и опять выпьют.

— Где же вы после Кавказа служили?

— Приехал домой, а родные мои были все мелкопоместная сошка. Приняли меня упреками, насмешками: ты ничего, дескать, не нажил — ни чина, ни денег. Хотел я поступить в кавалерию; но где взять денег на лошадь, на экипировку! Рост мой и мои формы, как видите, требовали много материи, да и желудок-то мой тоже, как, верно, изволили заметить, просил всегда немало пищи. Денег мне родные не дали. Я на севере-с и познакомился с одною

страстною вдовой, матерью многих крошек, и она дала мне сразу все: свое сердце, свое покровительство и порядочную сумму на вступление в кирасиры; замуж, однако, за меня не пошла. «Я, — говорила она, — буду вашим другом, но подожду; я боюсь вашей уж слишком страстной натуры: разлюбите — бросите». Так я прослужил пять чудных лет; но вдова меня из-за одной пустой истории, где я было приволокнулся за другою, первая сама оставила, и я, помыкавшись еще в отставке, с горя поступил в монахи-с.

— В монахи?

— Да-с, я всегда и прежде был любителем тишины и уединения. Но тогда избрал себе путь отшельника еще и с печали. И, скажу вам, не раскаялся. В пустыни, куда я поступил, я нашел компанию не менее добрую и веселую. В монастыре я пробыл более трех лет, как и в полку. Там выписывались газеты, стол был дивный, игумен — душа-человек. И с той поры, где бы только я ни был, на бале ли у богача, деревенского магната, в городе ли, в театре, или в гостинице с кием за шумным бильярдом, — чуть вырвалась минутка, я бегу под сень дерев, где птицы, где небо, где травка... И вы ведь меня застали в степи под курганом. Да-с! Я молюсь и плачу, я изнываю, слагая гимны в душе над мудрою книгой жизни; а иногда отрадно вспоминаю о прошлых кавказских временах и тамошних битвах, хотя, собственно, я не ранен нигде, о кирасирском палаше и о монашеском уединении. Пока люди меня любят, я с ними друг и гость на их брачном пире-с; а отвернутся от меня, прямо опять возвращаюсь к жизни отшельника. Как это Марлинский сказал: туда, туда, к воздушной келье, в соседство Бога-с унестись... У вас есть *«Альф и Альдона»* Кукольника?

— Нет, не имею.

— Хорошая книга. Не могу ли у вас тоже другой книги достать? Я все еще не дочитал *«Эвелины де Вальероль...»*

— И этой нет, не успел еще завестись книгами...

— Так, так, разумеется, вы правы, вы — деловой человек. У вас есть цель, есть занятия. А у меня нет. Кругом вас жизнь кипит, и жизнь полезная. Где вам до романов!

— Ошибаетесь: я сам люблю чтение, но некогда все пока. Давно вы в отставке?

— Лет десять-с, то есть не вполне десять: после монашества я было опять... того-с, в кирасиры поступил...

— В кирасиры после монахов?

— Именно-с. Знакомые товарищи в квартермистры перезвали. Ты, говорили, беден, честен, мы за тебя поручимся, а ты нам предоставишь удовольствие быть в твоей веселой компании. И точно: я еще года три упивался жизнью с бранными товарищами...

Гуслев затянулся папиросой, замолчал и задумался.

— В последнее же время у кого вы гостили?

— У одного помещика-старичка, на границе Бессарабии: он через газеты вызывал себе читальщика. Да что! Повторяю вам: наше время прошло, мы как мухи осенью. Теперь романтизм уже не в моде. Горе белоручкам! Везде всплыло мещанство, лавочники становятся законодателями чувств и мнений, моды и удовольствий. Везде и от всех требуют нынче пользы и личного труда. А на что я теперь способен? Хоть живой в гроб ложись.

— Что же вас заставило бросить этого помещика?

Гуслев вздохнул.

— Собственная совесть, Александр Ильич, собственная совесть. Сперва, читая ему, больному глазами, журналы и книги по вечерам, я поселился у него в кабинете. Вижу, не по плечу я ему: он все выписывал книги нынешние, знаете, сухие, деловые. В газетах налег тоже на одну политику, на этих французов, молдаван и турок. Стихов терпеть не мог. Я стал дремать над чтением. Перевели меня на хоры: в зале такая комнатка под потолком у него устроена, с особым ходом из лакейской. Полагаю, перевели за то, что я прямо высказал нерасположение к его любимому чтению. Но и там, на хорах, нашли меня клевета и людская зависть. Жало змеи,

в образе языка его свояченицы, проникло ко мне и туда. Она влюбилась в меня, но я был и к ней, как к газетам ее родича, холоден. Я сам, видя начало драмы, с хор ушел в сад, где стояла такая пустая каменка, значит, недостроенный кирпичный флигель. Я там поселился, думал дни свои тут кончить. Но помещик вскоре нашел другого чтеца из студентов, а меня рассчитал. Я ушел, и мне приходилось где-нибудь либо замерзнуть на пути, либо с голоду пропасть, как собаке, либо спиться с кругу, а не то пулю в лоб, по-гусарски...

— Что вы, что вы, Ипполит Панкратьич, как вам не грешно!

— Да, да, не спорьте! Это я уже знаю: вся наша братия, добрые гуляки старого времени, так обыкновенно кончают, а многие уже и раскончили свои судьбы. Нынче широта былых времен ударилась в другое, в открытое мошенничество и грабеж. Мы же только любили покутить...

В свою очередь вздохнул и Чулков. Он подумал: «Не попытаться ли мне этого добряка обратить на путь истинный? Или и в самом деле он прав, и все его поколение, возросшее на старой закваске, умрет неисправимое и не своею, как он говорит, смертью?..»

Новые знакомцы кончили чай. Чулков предложил гостю осмотреть хозяйство. Они обошли дворовые строения, овчарню, скотский загон, балку, рощицу, дождевую запруду, прошлись в поле, на ближайший курган, с которого когда-то Чулков впервые обозревал свою аренду, и возвратились поздно к обеду, наговорившись вдосталь обо всем: о южном хозяйстве, о России вообще и даже о последних политических известиях, что немало заняло Чулкова, который, кроме вестей лабазника Ивана Ивановича да чтения страничек «*Телеграфа*», за эти полтора года о событиях мира почти ничего не слышал. Говорили даже об Индии и Китае. Насчет Китая Гуслев сбрехнул, и довольно сильно, выразившись, что будто бы там, как пишут, от Пекина к нашей Камчатке ведут, и чуть ли уже не провели, железную дорогу и что тамошний

император принял наше православие и посылает своего сына в Москву в университет.

«Э-ге-ге-ге, — подумал при этом Чулков, — да ты, брат, превеселый господин, и с виду тихий, и брехать подчас умеешь. Предложу-ка и я тебе у себя гостить, как ты гостил близ Бессарабии; не исправлю тебя, так по крайней мере и тебя развлеку, и сам развлекусь!»

И когда дня через четыре, после поездки на беговых дрожках на уток к Опали́хе, Гуслев за ужином рассказал Чулкову о том, как, будучи монахом, но не кидая привычки изредка являться в общество, он в чьей-то коляске, в богатой рясе, въехал в один город, и как жители приняли его за архиерея и увлеклись до того, что ударили в колокола и духовенство вышло из церкви в полном облачении, — Чулков не вытерпел, налил ему в конце ужина полный стакан вина и сказал:

— Ипполит Панкратьич, у меня к вам неотступная просьба!

— Как? Я весь к вашим услугам...

— Вам у меня понравилось?

— О, да-с, еще бы!

— Мне скучно; я одинок, я занят. Останьтесь погостить у меня на год, на два, сколько хотите. Куда вам идти против зимы? Смотрите, какие наступают дожди, слякоть, холода.

Гуслев задумался.

— Нет, не могу у вас остаться. О!.. ни за что, ни за что! Очень вам благодарен. Я бы даже, пожалуй, и остался, но не у вас. Вы — дельный человек, вы лично трудитесь с утра до ночи; я гожусь только в шуты. Совесть не позволяет; таким деловым людям, как вы, приживалки да прихвостни вроде меня один житейский тормоз... Я вам не пара!

— Полноте, как вам не стыдно так мало себя ценить! И что я за деловой человек: так себе, безлюдовский арендатор и только. Меня никто тут и не знает.

— Нет, нет и нет! — ответил Гуслев, не поднимая глаз, — я должен вас благодарить и не далее, как завтра

же, чуть перестанет дождь, уйду своей дорогой. Это решено-с...

— Но куда же?

— Куда глаза глядят. Я и так вас оторвал от ваших занятий. У подошвы Казбека или Чатырдага сложу свои кости, обниму великанов и умру.

Делать было нечего. Чулков замолчал и перестал упрашивать гостя. Через сутки, однако же, среди какого-то постороннего разговора, Гуслев сам опять вспомнил о словах Чулкова и совершенно неожиданно, как бы отвечая собственной своей сокровенной мысли, сказал:

— Притом же, Александр Ильич, я вас чисто объем и обношу; у меня все платье, как видите, давно истрепалось; главное же, вы труженик, вы, как орел, носитесь и парите по хозяйству; а я — кукушка, и орлу далеко не товарищ.

В другой раз, суток опять через трое, беседуя с Чулковым о соседней ярмарке скота и, по-видимому, еще не затевая сняться и уйти, Гуслев встал, взглянул исподлобья на Чулкова, вздохнул, и когда Чулков при этом вышел и сел на дрожки, отправляясь в поле, он поправил сбрую коня и сказал:

— Удивляюсь, право, как это вы решились намедни пригласить на житье к себе меня; еще бы принять меня в качестве компаньона, поверенного, положим, это бы я понял еще, а гостя — не понимаю!

Еще прошло с неделю. Александр Ильич, проездив на ярмарку более двух суток, возвратился, стал искать Гуслева и не нашел, стал спрашивать о нем и узнал, что в первый день после его отъезда он еще навертывался в комнаты, обедал, пил в свое время чай, а во вторые сутки его почти и не видали.

«Где бы мог деться, однако, этот чудак?» — подумал Чулков и пошел его искать.

Он вышел в поле, прошел версты две, долго смотрел кругом, но гостя не было видно.

«Уж не ушел ли он совсем от меня? Так не может быть: походная сумка, кажется, по-прежнему, висит на гвозде в кабинете. Где же он?»

И Чулков нашел Гуслева под тем самым курганом, где его впервые увидел. Гуслев лежал плашмя, лицом к траве. Не то он спал, не то был болен или пьян. Заслыша шаги Чулкова, он встал и сильно смешался: лицо его было заплакано. Молча поздоровавшись, хозяин и гость пошли домой.

— Позвольте! Остановитесь! — порывисто сказал Гуслев, когда они подходили ко двору, уже подернутому последними лучами сухого, багрянцем и золотом горевшего осеннего вечера.

— Что вам угодно?

— Согласны вы принять меня в качестве вашего не гостя, а помощника и поверенного?

— Как помощника? — спросил, смешавшись, Чулков.

— Именно-с... я буду ваш товарищ, как бы участник в ваших паях. Допустите меня к хозяйству?

— С великим удовольствием, но мне не хотелось бы вас утруждать. Притом же мои дела не так сложились...

— Не беспокойтесь. Вы сравнивали себя с Робинзоном Крузо, я буду вашим Пятницей. Как тот дикарь на американском острову, я буду вашим собеседником, но вместе и вашим работником. Я вам, так сказать, зонтик из козьих кож сделаю; из одного зерна целое поле турецкой пшеницы распложу; от нашествия цивилизованных хищников-с всякого рода, как от диких, пещерку вашу в неприступную крепость обращу. И с какой отрадой, запершись от всего мира и оградясь, мы втащим за собою туда саму лестницу! Согласны?

— Согласен.

— Так по рукам! Отныне я — ваш сожитель. И неужели мне не удастся доказать, что в новые трудные дни и наш брат, былой тунеядец, способен на что-нибудь полезное?

Друзья ударили по рукам, и Гуслев остался.

Новые сожители не скучали. Наступила и с новыми лишениями прошла зима; новая весна сменилась новым летом. Гость, действительно, оказался премилого, домовитого и вместе забавного нрава, а главное, — чего трудно было ожидать, — действительно решился трудиться. Сломалась как-то молотилка Чулкова; слесаря, по обыкновению, негде было достать ни за золотые горы, а молотить запроданный хлеб надо было в срок. Гуслев скинул верхнее платье, засучил рукава, достал инструмент и собственноручно в соседней колонистской кузнице сковал скобки, высверлил нужное отверстие, наладил бичи, винты, и молотилка пошла в ход. Оживленный успехом собственного первого труда, он, правда, было замечтался, стал ходить с насупленными бровями, начал подговаривать Чулкова завести целую мастерскую и выписать нужные припасы, готовальню, сверла, паяльные трубки, подпилки и даже дорогой, новейшего устройства металлический токарный станок, который он видел где-то на фабрике в Киеве. Но дело на том пока и окончилось. Склеив еще кое-как ножку стула и вырезав для забавы из вишневой косточки корзинку, а из ореха клетку, Гуслев заговелся. Пожалуй, он оказался знатоком и в земледелии, и в овцеводстве, и даже в новейших дворянских коммерческих оборотах. Но в поле к пахарям он прошелся с Чулковым всего только один раз, и то вначале, причем они, правда, сделали пешком что-то около пятнадцати верст, страшно спорили о химии и еще о чем-то из новейшей агрикультуры, поминутно свертывая папиросы, и так много курили, что когда сели за курганом, то издали представляли из себя трубы двух маленьких локомобилей, и Гуслев устал при этом до того, что, не дойдя до дому, залег в степи, и за ним прислали в поле дрожки. В толках об овцах Гуслев вначале также пленил было хозяина какими-то соображениями, из-за которых тот должен был переменить все стадо мериносов на простых курдючных овец. Но когда в течение всей зимы на овчарный загон Гуслев сходил счетом, за версту, всего три раза, то осторожный Чулков призадумался, улыбнулся и мериносов положил не

сбывать. Да Гуслев на невнимание к себе и не сетовал. Не далее как через два-три дня он первый забывал о своих советах и более о них не говорил никогда. Опять сломалась как-то у Чулкова молотилка; но Гуслев взял инструмент, без толку провозился над ним, сказал, что мигом все починит, занялся, между тем, клеткой из горошины и про молотилку забыл.

Подкараулив день именин Александра Ильича, Гуслев заперся в отведенной ему комнате, в пристройке к дому, выпросил у Чулкова лошадь, съездил в город, еще сутки просидел взаперти, и вечером именинного дня между домом и балкой вспыхнул на шестах весьма недурной самодельный фейерверк. Несколько фальшфейеров, ракет и бураков и разноцветные бенгальские огни озарили безлюдовскую балку, домик с голубятней, дворовые постройки и раскинутые по склону балки землянки рабочих. Правда, большая часть ракет падала не далее как за сотню шагов, не взлетая на воздух; одним бураком сильно опалило бороду подвернувшегося ротозея из батраков. Зато заключительная ракета взвилась, на диво всем, под самое небо, описала в нем, как падучая звезда, яркую дугу, уронила с высоты несколько разноцветных, медленно скользивших и гасших огоньков и канула за Опали́хой, вспугнув в мрачной степной дали огромное стадо диких гусей, долго сновавших в небесной темноте и оглашавших ее. И в то же время сам Гуслев, тайно ускользнув в потемки от фейерверка, бацнул где-то невдалеке из ружья за усадьбой и крикнул оттуда почему-то по-латыни: «Vivat academia! Унд vivat professores»...

В одном оказался совершенно неутомим гость Чулкова — в охоте. В серенькие, нежаркие дни весны и лета он исчезал с ружьем, патронташем, папиросницей и узелком со съестными припасами по целым суткам. Дичи приносил он вообще мало, но являлся усталый, снимал с себя охотницкую сбрую, в бессилии падал на постель и повторял:

— Ах, места, места у вас, рай! Даром, что глухие степи! Ненаглядная пустыня, у тебя бы только учиться мудрости

да счастью, свободе да труду! Где только я не выходил эти дни! И разве охотник — не делец? Вспомните, Александр Ильич: Давид был ловец пред Господом и оценен за то, и попал в цари...

— Ну, за охоту мы с вами в цари не попадем.

— Смейтесь, смейтесь. Я же, ходючи, все высматриваю, все изучаю; кроме того, хорошее знакомство свел. Встретился с дьячком села Таганчи, что от нас в двадцати верстах, где Музыкантов, здешний предводитель, правит хозяйством барыни, у которой муж без вести пропал. И какую семинарскую песенку с гитарой он поет.

— Кто? Музыкантов?

— Нет, дьячок!

— Какую же?

— Ох, ох, ох, семпер горо́х; квоти́дие каша, мизерия наша! Сиречь: одиночество — вещь хорошая, но не всегда! Это заметьте, и сами чаще развлекайтесь охотой после труда.

Время, однако, летело и летело. Безгрешный и безвредный лентяй Гуслев и не заметил, как прошло чуть не два года его жизни у Чулкова, а обещанной пользы он, как товарищ и поверенный, не сделал ему по хозяйству ни на грош. Порывы, стремления к труду у него действительно были, и даже не простые, а какие-то исполинские. Так, один раз, когда в отсутствие Чулкова в жилище у них не оказалось чаю и сахару, а все лошади были в разгоне, Гуслев, недолго думая, пошел в уездный город за тридцать верст пешком и из лавки Ивана Ивановича к приезду Чулкова принес полфунта чаю и фунтов пять сахару, а потом опять залег на кровать и, куря папиросы, лежал тут, беспардонный счастливец, по целым неделям, среди общей хлопотни во дворе. Чулков его не трогал и с любовью смотрел на этого последнего из Могикан былых времен. Но Гуслев вскоре спохватился, что ничего не делает, и опять затосковал.

«Постой-ка, — подумал он как-то, останавливаясь над одной из книжек «*Телеграфа*», — тут вот я намедни прочитал одно хорошее средство... Если мне удастся его при-

менить, да прославится имя мое здесь, и все да убедятся тогда, что недаром я бременил землю. Если же не удастся моя мысль — баста! Полно сибаритничать даром, я отсюда окончательно уйду тайком, так что не узнают!» Не говоря никому о задуманной мысли, Гуслев выпросил у Авдотьи Алексеевны — миловидной ключницы и вместе с недавней поры стряпухи Чулкова, сменившей пьяницу матроса Залетного, — два простых кухонные горшка, налепил глиняных шариков и ушел с ними в степь. Куда он их ставил и что с ними делал, не было известно никому. Видели только, что он начал, как в первые дни пребывания в Безлюдовке, пропадать по целым дням, пожелтел, исхудал, лицо его осунулось, глаза стали тусклы, всклоченных волос на голове и бороде он не расчесывал и на все вопросы о причине его задумчивости отмалчивался, вздыхал или отвечал нехотя и двусмысленно.

«Ну, теперь уже окончательно задумал Гуслев отчалить от меня!» — решил в уме Чулков.

Был конец осени четвертого года пребывания и трудов Чулкова в Безлюдовке. Погода стояла сухая, ветреная и пыльная. Ничего не подозревавший, с утра и до ночи занятый и по обычаю для всех нужный и всеми поминутно отвлекаемый, Александр Ильич сидел все на том же глиняном крылечке, смотрел через балку в степь, откуда в вечернем полусвете, с облачком пыли вслед, медленно двигалось домой обширное и сытое стадо овец, и в ожидании, что вот-вот его опять кто-нибудь и куда-нибудь кликнет за советом, мыслил: «Так, так, дела мои улучшаются, завелся в банке и порядочный капиталец; а где-то и что поделывает Ваня Сладкопевцев? Хорошо бы узнать его адрес», — как вдруг услышал издали странный и глухой, не то печальный, не то радостный крик. Вслушался, и ему показалось, что кто-то в сумерках тяжело и вместе поспешно бежит к его двору, даже как будто слегка земля при этом гудела. Он подозвал красавицу Дуню, шедшую из погреба с разными припасами для ужина и с ключами, и только что шутливо спросил ее: «Ав-

дотья Алексеевна, что значит этот гул и топот? Не конская ли голова из вашей сказочки бежит?» — как из-за спины его у крыльца обрисовалась совершенно растерянная фигура Гуслева. Как ни было сумеречно, он разглядел, что Гуслев был бледнее прежнего, что пиджак и руки были не то в крови, не то в грязи, а с мокрых и облипших на коленях брюк, как у избивателя волов или рьяного рыболова весной, ручьями стекала какая-то жидкость.

— Что с вами, Ипполит Панкратьич? Не несчастие ли на охоте у Опалихи? Не подстрелил ли вас дьячок или вы тонули?

— Учитель! — торжественно и не своим голосом, даже с хрипотой в горле, проговорил Гуслев. — Вставай, иди и смотри, хоть уже темно, но ты увидишь, ты увидишь плоды рук и сметки твоего ученика!

Обнаженная голова Гуслева была всклочена, длинная борода развевалась по ветру, строгое лицо было обращено к багровому закату солнца, а глаза горели огнем вдохновения и торжества.

— Да что же там такое? — спросил, вскакивая, Чулков.

— Я... я... то есть «*Телеграф*»... Ивана Ивановича... то есть нет, тьфу! Я окончательно дурею! Одним словом, я, прочтя одно средство, открыл ручей, ключ, бездну ключей... и где же? Вон, вон, в полуверсте, и не внизу, а в горе, и чуть сам не утонул в том месте, где их нашел и где сам их открыл, смотрите, вот этими руками... видите? Замараны!

Чулков крикнул фонарь. Дуня уронила связку с ключами и все свои припасы. Не прошло мгновения, как дворня собралась, и все побежали к вершине балки, куда указал Гуслев. Он был прав: из ребра балки, под его заступом, ударил ключ, и такой обильный, что вскоре от него полился ручей быстрой, студеной, легкой и, как слеза, светлой воды.

— Я прочел в «*Телеграфе*» о том способе, — объяснял он, суетясь и подводя всех к отверстию ключа, — каким арабы в пустыне узнают присутствие по-земной воды, а именно: я начал ставить в разных местах пустые глиняные

горшки и по зорям наблюдал на их поверхности отсед паров. И горшки Авдотьи Алексеевны сделали чудо. Я давно ломал себе голову и думал: отчего именно рощица выросла вверху нашей балки, а не внизу, где чаще бывает влага, и отчего верховье балки всегда зеленее, чем низ? Поставил я тогда горшки именно тут, взвешивал в них шарики, смотрел, наблюдал, а наконец, перекрестился, тихонько нынче перед вечером взял заступ, начал рыть, и, как видите, ключ хлынул такой, что чуть не потопил и меня самого.

Восторгу обывателей Безлюдовки не было конца. Всю первую ночь у ключа горел костер, батраки пили водку, выставленную хозяином, а Чулков и Гуслев, обнявшись, гуляли.

Из ручья наскоро устроили обширный, обложенный каменною стеною колодец, назвали его Богатым, освятили воду, и впоследствии у Богатого колодца, что в Безлюдовке, как толковали кругом, разминуться нельзя было от подвод и от проезжих путников. Вся транспортная дорога к морю от окрестных колоний повернула на его степь через Опали́ху, где, кстати, на прежде осушенных им берегах, он устроил мост, а у моста выстроил и открыл постоялый двор, сдав его родичу Ивана Ивановича.

— Ну, спасибо же вам, Ипполит Панкратьич, — сказал Чулков через неделю после освящения Богатого колодца, — вы мне доставили много удовольствия, но еще более барышей. Позвольте вас отблагодарить...

И он подал ему несколько ассигнаций; Гуслев отклонил подарок.

— Не возьму!

— Отчего?

— Лучше вы мне... того-с... дадите после, когда будет нужно от вас ехать; а теперь вспомните свое слово: подпишитесь хоть на одну газету, хоть на один какой-нибудь журнал либо выпишите партийку хороших книг. Ведь мы, как Наполеон в Египте-с, не знаем столько времени ничего о свете, о Европе-с, отстали от людей и событий...

— Не только на одну газету, что хотите выпишу теперь. А кроме того, назначаю вам жалованье, как помощнику.

И домик Чулкова через три недели был завален книгами и свежими номерами столичных газет и журналов. Чулков обрадовался им не менее Гуслева. Еще в Петербурге, вырвавшись со службы из департамента, он наскоро перекусывал у кухмистера и спешил в ближайшую гостиницу или ресторан, закуривал папироску и кидался к газетам. Малейшее политическое событие волновало и приковывало его внимание к себе. Он даже работал для газет по части переводов. Чужие края несколько охладили было это любопытство; да и понятно: в добывании куска насущного хлеба ему было не до пестрой болтовни иностранных газет, не до людских вестей, слухов и предположений. Теперь же дело другое: он сознавал, что его материальное состояние начинало весьма недурно обеспечиваться, что он сам для себя, как и для ближайших к нему работников и для всего своего домашнего обихода становился чем-то имеющим немалое значение, необходимость и важность. А главное, он видел, что делом его рук создавалась его собственная независимость, самостоятельность и свобода. И он с жадностью кинулся к газетам, ища сведений об оставленных в Петербурге товарищах и знакомых. «Какое счастье! — думал он, — и как скоро это счастье из мира снов стало переходить в мир действительности! Ведь там, в Петербурге, я был чуть не тот же Гуслев!» Но еще радостнее он соображал, как устроилась его самостоятельность. Не надо было ему теперь идти в узком вицмундире в душную, пропитанную чернилами и песком канцелярию; не надо было более трепетать и вытягиваться перед директором департамента, не надо было тоскливо соображать всякие лазейки на случай разных министерских ломок, сокращения штатов или нежданного сажания подчиненных на шею начальников, по одному почерку пера капризной богини-бюрократии. Он сам теперь был и работник, и начальство, и штаты. Амбар его ломился от зерна,

отборное стадо овец гуляло по равнинам аренды, а с переходом транспортного тракта на его степь, мимо его колодца, он ежедневно с глиняного крыльца любовался сотнями подвод и пешеходов, поваливших от севера к близкому морю, через соседние с ним берега Опали́хи.

«Мир перестраивается. Заново перестраивается! — твердил Гуслев. — Полагаю, что теперь я и в монастыре соскучился бы, и Кавказ, вон, замирен, Шамиль в губернском клубе в шашки с чиновниками играет, а встал бы Марлинский, не о чем ему и писать! Каков и я! Получаю жалованье! На сорок пятом году начинаю понимать отраду личного труда, прелесть собственным уменьем нажитой копейки. Вот заразительная местность! Чудеса, да и только! Ну, чем я начал? Открыл место у колодца; заработал выписку газет и книг, и пошла писать. Чрево разыгралось! Захотелось, вишь, еще наживы; принял жалованье от Чулкова. И жизнь-то наша какая, диво! Тишина, пустыня; никто у нас не бывает, и мы ни у кого не бываем. О нас и то толкуют, и другое; клевещут, вероятно, на нас, врут всякую всячину эти туповые и дрянные люди. А мы и ухом не ведем. Богатеет этот Чулков, да и баста. Все купоны отрезывает в банке, да проценты опять сюда же, в хозяйство, кладет. А я в поле езжу, за рабочими смотрю. Не видишь, как время уходит. И коли я умру, попрошу его меня похоронить возле рощи, на верху балки, невдалеке от Богатого колодца, открытого мною... Да-с, именно так! Но чудак Чулков: очевидно, в приятных отношениях с этой ключницей и стряпухой Дуней, а мне и не говорит. Штука он! Да и славная бабенка, впрочем, эта Авдотья Алексеевна. Белая, как пух, с полными вертлявыми локтями, темно-русая, с голубыми ласковыми глазками, все улыбается, как идет; добрая такая и хлопотунья; славные супы варит, по праздникам кофе мне сама в кабинет носит. Ее не видно, почитай, и не слышно. Разве бы и мне, на старости лет, — гм! гм! — тоже найти какую поселяночку или мещанку... Похлопочу-ка. Вон в постоялом нашем есть субъект».

И Гуслев уносился в мыслях далеко-далеко. А через несколько недель, в качестве поверенного Чулкова, он перезвал в сан коровницы и огородницы некую Глашу, совершенно черномазую хохлушечку, работницу сидельца в их постоялом дворе на Опали́хе. Чулков это также увидел — ни слова ему не сказал, и все пошло по-былому, хорошо.

IV

Следы диких

Итак, начался новый, по счету — пятый год жизни Чулкова в местах, где застал его этот роман. И если тебе, читатель, не по вкусу был роман об американском переселенце, то советую тебе этот рассказ о русском переселенце бросить на этой же странице. Но если ты, вопреки некоторым судьям, безвыездно проживающим в комфортных квартирах, не без внимания прочел повесть о человеке, заброшенном в пустыню, если ты с доверием встретил там картины горького одиночества и упорного труда, то давай мне руку и пойдем далее со мной. И верь мне, что, вслед за прочтенным тобою рассказом о том, как Чулков строил и убирал первое свое глиняное жилье, как он собирал плоды первой жатвы и продавал произведения первого стада, — будет речь и о многих бурных и печальных событиях, посетивших места, где, казалось бы, старые человеческие страсти и старое людское зло еще не имели времени и сил пустить в девственную почву края прочных и глубоких корней.

Нежданное появление Чулкова и его смелая решимость остаться с перепутья в этом околотке, выбор для хозяйства совершенно пустынной и почти необитаемой местности, таинственность его одиночества, неизвестность происхождения, целей и объема его хозяйственных и торговых оборотов — все это с первого же раза возбудило любопытство ближних и дальних его соседей. С истечением четырех лет сведения

о прошлой и настоящей жизни Чулкова нисколько не подвинулись вперед. Он не переставал быть для околотка во многих отношениях загадкой, хотя ни для кого не было секретом, что он в первые же два года аренды зашиб порядочный барыш, а в остальные два года доход его еще более увеличился.

Молва не оставляла в покое ни первых хозяйственных удач Чулкова, ни хода дальнейших его оборотов. Заезжий в тот околоток путник, если не на первый, то на второй же день, услышал бы от шинкарей, приказчиков и купцов имя Чулкова и между речью о том, о сем, наверно, ему включили бы рассказ или о том, как неутомимый Чулков сорвал несколько тысяч, распахивая наймом и с копны вековечную целину, или о том, как три года сряду брал он также по несколько тысяч за шерсть овец, за нагул скота и покупал в окрестностях хлеб на барыши. Но не об одних хозяйственных оборотах Чулкова говорили в уездном городе и в околотке. Многие не верили тому, чтоб он в такое короткое время личным трудом нажил большие деньги. «Он либо с родины еще привез большой капитал, либо делает там в глуши фальшивые деньги!» — толковали некоторые соседи. Немало также возбуждали толков его заботы о рабочих. Больше всего, разумеется, любил об этом с гордостью беседовать с знакомцами-горожанами первый приятель Чулкова, лабазник Иван Иванович. Кряхтя над чаем и в двадцатый раз отирая лысину, он говорил: «Душа человек, хоть и барин! Вот что, господа, скажу вам! Это он выстроил батракам, заместо землянок, хаты хорошие. Стали заболевать у него косари да гребцы лихорадкой — дохтура выписал на всю косовицу. А зимой взял, да для годовых, то ись наймитов, больницу построил, как есть это, с аптечкою, фельдшер из жидков при ней, и дохтур наезжает. И всех это соседов еще подговорил на фельдшера сложиться. А теперича, господа, слыхам-слыхать стало: для батрацких детишек училищу завел, и на слободе сам евтой грамоте их учит, а то еще такого тоже старичка приналял из солдат, Михеича: выучи, говорит,

Михеич, их уму-разуму, а я тебе за это чистою монетою платить буду, все равно, значит, и так, то ись, пискуны шатаются. И был я, господа, в Безлюдовке, и видел: куда робята посмирнее стали, отцы не нахвалятся. Вместе это, как в церкви, поют, да все рядышком сидят, умытые, прибранные, а и вся училища-то неказистая: сарайчик возле конюшни, и все тут!» Наконец, некоторые лица из уездного общества заговорили о том, что двум соседним волостям Чулков предложил сделать складчину и устроить, при его помощи, сельскую богадельню для обессиленных, калек и стариков из рабочих людей, в видах, между прочим, прекращения в околотке нищенства и попрошайства. Но не все сразу и скоро удавалось ему. И этим в особенности пользовались уездные остряки. Так, слышно было, что в больницу Чулкова посторонние не шли, а заболевшие из нанятых у него рабочих, лечась там, требовали, чтоб им от него платилось и за то время, которое они пролежат в больнице. «А иначе, — грозили они, — мы лучше пойдем к бабкам в Ганновку либо на Чагладар, так те пошепчут, авось-те, хвороба-то и кинет...» И действительно большинство больных шло в Ганновку и на Чагладар. Отцы и матери школьников, по уездным слухам, также на первых порах, являясь к Чулкову, говорили: «Что же, ваша милость? За то, что Петька наш али Мишка тебя в школе тешат, надо бы с вас, значит, что получить».

— Как, с меня?

— А разумеется; вы хоть его и учите уму-разуму, да малый-то вон все плачет, бает — лучше бы я поиграл али коровенку попас...

— Да корова твоя у меня же даром ходит в стаде?

— Ну, воля ваша, хоть оно и так, а я его возьму...

И чтобы не отпускать Петьки или Мишки, Чулков их же еще и одевал на свой счет, а родителей дарил. Но умер один из безлюдовских рабочих. Священник за двадцать верст приехал его хоронить; школьники, под предводительством учителя Михеича, спели отпевание над покойником, и их

стройный детский хор произвел такое впечатление, что родители-батраки сразу помирились со школой и, сойдясь к крыльцу Чулкова, объявили: «Дураки мы были и свиньи: прости нас, темных, и все позабудь». Больница и богадельня прививались еще хуже, да и еще было накликали на Чулкова немало нежданных хлопот. Молва о его сердобольности разошлась далеко. Сперва было разные кулаки стали ездить к нему, прося денег взаймы, и привозили залоги, полагая, что если он даром лечит больных, так уж, наверное, и деньги раздает под небольшие залоги, и даже старались выторговать у него порядочную скидку процентов.

— Калеку Шапаря хочешь взять на харчи; ему что: помирать пора! Лучше меня выручи, — говорили ему разные бородачи.

А то один раз целая артель его молотильщиков явилась к нему с току и простосердечно объяснила, что если он уж такой добрый, что заботится о больных, слепцах, безногих и безруких, так не лучше ли бы он сделал, если бы велел им вот, здоровым, удвоить порцию водки или вместо житного хлеба давать пшеничный.

— Извольте! — нашелся озадаченный Чулков, — в ваших словах есть дело; другие из моих соседей вам этого не делают, считая вас, и подчас весьма справедливо, лентяями и обманщиками. Я вам это сделаю, но с уговором. Вас вон с косарями в день у меня бывает до ста и более человек, так и вы мне сократите расход на хозяйство. Над вами во время работы везде заведен постоянный надзор. Сам я не могу быть разом в нескольких местах; я сокращу этот надзор, не буду более ставить над вами десятников и сам буду являться к вам только рано утром да поздно вечером, для проверки количества и доброты работы, а за это сокращение моих издержек пищу вам улучшу, порцию водки увеличу, а уж вы вырабатывайте уроки и с нерадивыми справляйтесь сами. Одним словом, сделаемся по общему согласию. Я — человек, как видите, расчетливый, ни вашего лишнего не хочу, ни своего не дам. Барыш за барыш. Согласны?

12—1528

— Согласны, — порешили работники.

С первой же недели Чулков сдержал свое слово; водка полилась щедрою рукою, черный хлеб для всех батраков и поденщиков сменился пшеничным, а по праздникам всем годовым и поденным рабочим стали давать еще мясную порцию, чего, разумеется, сами рабочие не слышали в той глуши испокон веков. Но — увы! — нерадивых и плутов никто из среды самих наемщиков не удерживал. Вымолоченная и сложенная в скирды солома оказалась, после отхода одной партии рабочих, до того с зерном, что пришлось ее снова молотить вторично. Годовые батраки вспахали поле под озимый хлеб так же дурно, криво и с огрехами, как пахалось оно и до улучшения пищи. А один раз Чулков, возвращаясь с поля от овец, случайно среди дня наехал в степи на срочных молотильщиков и веяльщиков льна, с которыми именно он и заключил договор о пище. Он еще за пять дней назад раз десять подтвердил им, что лен продан на срок и должен быть ими смолочен и очищен особенно хорошо; а потому, узнав от самих рабочих, что артели их достаточно было окончить молотьбу и чистку льна в четыре дня, надеялся застать их уже на погрузке его в кули. Каково же было его изумление, когда он нашел большую часть льна еще нетронутою, большака артели спящим под кустиком в соседнем овраге, а всех остальных рабочих, что-то более сорока человек, мертвецки пьяными, врассыпную вокруг временного степного тока, причем драгоценные вороха́ льна без зазрения совести расхищались стаями ворон, галок, голубей и всякою полевой мелкою пташкой. Покачал головою Чулков и уехал, не решаясь, от стыда и досады, будить спящих обманщиков. Он еще покрепился, подождал, усовещевал народ, пускался с ними в объяснения наемного хозяйства, потом махнул рукой и, не желая даром бросать деньги, начал снова давать рабочим если не общую в том крае пищу, то далеко не такую, как было ввел для них на экономию от рассчитанных летних сотских и десятских, и последних, скрепя сердце, до времени снова завел. Но он не терял надежды на прививку в том

околотке своих нововведений и особенно усиленно занимался школой. Он говорил: «Не нам, так внукам нашим придется пожинать плоды наших опытов; но оставлять эту жалкую общественную почву без плуга и без семян невозможно. У меня пока пятнадцать школьников. Они все умеют уже читать и писать. Каждый из них через год, через два у меня и в других местах выучит, может быть, десяток других. И моя колония принесет свою пользу, а за мной, авось, пойдут другие. Моя школа в сарайчике, возле конюшни, с Михеичем во главе, это — своего рода колодец в здешней Сахаре. Берега его скоро, со временем, зазеленеют и наполнятся иною, воскреснувшею жизнью. Не правда ли, Ипполит Панкратьевич?»

— Да-с, — отвечал Гуслев, — все это верно; но подите же: три богача, у которых я жил до вас, совсем другого мнения. Они говорят, что из этих грамотных как раз расплодятся подделыватели паспортов, пьяницы да фальшивомонетчики!

Чулков возражал, и в оживленных беседах часто проходили часы тихого вечера друзей. Ночь покрывала дом и окрестности. Мечтали они о разном. Чулков нередко видел во сне блестящий Петербург, щеголей-товарищей по ученью и по службе, лысого министра, снимавшего теперь почему-то перед ним шляпу, железную дорогу от вершины Безлюдовской балки прямо к Невскому проспекту, что против магазина гуттаперчевых изделий, а себя самого на платформе локомотива, летевшего туда на всех парах, с саквояжем, набитым червонцами и депозитками, и с каким-то флагом в руке, причем петербургские журналисты, встречая его с толпой его знакомых, кричали с тротуара: «Не стыдно ли, Александр Ильич, так устроить свои дела и ни строкой не известить о том публику через наши журналы?» Гуслев видел во сне совсем другое, Он усматривал соломенный курень у открытого им колодца над балкой, себя самого седым, как лунь, старцем-бакшевником, а возле себя молоденькую чернобровую и румяную Глашу и кучу резвых детишек кругом

по траве. Высоко уносились в царстве грез приятели. И время, казалось, не пророчило им бурь. Никакой корабль из дальних стран не показывался и не терпел крушения на горизонте их острова; они не строили плота для спасения уцелевших его обломков, и до конца четвертого года жизни в новых местах ни Чулков, ни Гуслев на песках своей пустыни не натыкались, в трепете и страхе, на следы неизвестно откуда и как появившихся дикарей.

Судьба, однако, их не спасла. Дикие появились и надолго, если не навсегда, нарушили покой их мирного, по-видимому, забытого остальным человечеством пристанища.

Было это так.

Сперва, как бы соглядатаем-вестовщиком другого, чуждого им мира, в Безлюдовке нежданно явился некий юноша. Как-то Гуслев охотился по пороше с дьячком из Таганчи на зайцев и возвратился из отъезда в поле не один, а с каким-то худеньким молодым и плохо одетым господином в охотницкой вычурного покроя шапке, опушенной мехом рыжей собаки, в тесном и куцем, сильно потертом пальто, без шубы и в летних, донельзя истоптанных сапогах до колен. Опушенное на подбородке редкими волосиками лицо юноши, когда он слез с саней и вошел в комнату, было иссиня-бледное. Серые, красноватые снаружи и припухшие глазки его жалостно бегали по сторонам. Он отрекомендовался, похлопал руками, постучал ногами и со стучанием зубов кинулся греться к печке.

— Представьте, шубу сонный потерял, как ехал из города! — сказал он, не спрошенный о том никем, Чулкову.

— Кто это? — спросил Чулков, поговорив с полчаса с гостем и потом шагнув из приемной в кабинет, причем он извинился, что его ждет одно хозяйственное дело.

— Евгений Андреич, или, попросту, как его тут в уезде зовут, Еня Разноцветов, двоюродный брат владелицы Таганчи́, той самой Чемодаровой, если помните, что за границей живет... Еще она...

— Ну чего же он сюда затесался? — с досадой перебил Чулков.

— А прах его побери! Я его не звал; сам навязался. Выехал тоже на зайцев из Таганчи́ с дьячком, моим приятелем; мы встретились у гречаного яра; он зверски перезяб — как видите, в такой холод в одном пальто выехал, — до Таганчи́ оттуда было дальше, чем к нам, он и привязался ко мне. «Обогреюсь, — говорит, — завтра конторщик сестры хоть попону какую-нибудь пришлет, и я поеду». Не рассчитал такого холода: думал, если февраль, так уж и тепло.

— Что же он там торчит в пустой усадьбе? Разве при каком деле состоит?

— Ни при каком. Дьячок рассказывал, да и сам он кое-что сообщил. Он из небогатой родни этой Чемодаровой. Она его сюда в губернию выписала также чуть ли не из Петербурга, поместила в пансион, а потом в здешнюю гимназию. Но из гимназии его выключили; после того он маялся везде, кое-как приготовился и поступил в соседний университет. Но и там недолго протянул. Сперва корчил из себя артиста, страшно злился, когда другие не верили в его призвание к искусствам. С год назад его откуда-то привез в эти места на паре кляч еврей, ссадил в Таганче, во флигель конторщика, и два месяца жил тут с лошадьми, не выезжая и ежедневно поднимая у конторы невообразимый крик, чтоб ему за этого барина заплатили, пока, наконец, конторщик снесся с барыней, и та из-за границы написала, чтобы с евреем, привезшим это сокровище на покой, рассчитались; самому же Ене дозволила, до новых распоряжений, жить на ее счет в Таганче. Вот он там и живет.

— Куда же он думает теперь?

— Разное думает. То сперва все, по словам дьячка, в другой университет хотел поступить, уверяя, что в прежнем была против него интрига профессоров, и прямо что-то во второй или третий курс; потом хотел поступить в Петербурге в инженеры, чтобы строить потом железные дороги, так как

это теперь в моде. Мне он говорил сегодня утром, что его один князь зовет куда-то и в какие-то небывалые чиновники особых поручений, где разом он будет получать жалованья две тысячи целковых в год, и он потому только туда не едет, что плохо обмундирован и ждет от сестры денег на платье и на отъезд. Наконец, едучи уже сюда, объявил мне, что много слышал о ваших хозяйственных удачах, что сам не прочь пуститься на аферы, и если раздумает служить, то полагает перехватить где-нибудь денег и строить какую-то необыкновенную мельницу, которая будет действовать сама собою, без воды и без ветра, и даст ему в год что-то тысячи три, если не больше, барыша. Пустельга мальчишка, да еще с самолюбием; воробей с орлиными крыльями — и все тут.

— Скоро ли он уберется отсюда?

— Бог его ведает.

Чулков поговорил еще и вышел снова в залу с решимостью выпроводить этого молодчика от себя елико возможно скорее. Но Еня Разноцветов так развязно и умильно грелся, стоя тут у печки и куря сигару, взятую без предложения хозяина со стола Чулкова, и так развязно заговорил о том, о сем, а потом спросил, скоро ли господа пустынники сядут обедать, что Чулков пришел в смущение. Весь вечер юноша проговорил об уездных и губернских сплетнях, выразился, что не постигает, как человек такого образования и состояния, как Чулков, может сидеть в глуши, в этой глиняной лачуге, и не старается сблизиться с окрестным обществом; что его, Чулкова, многие за то укоряют, считают гордецом, даже еще другие наименования ему дают, и что если он на это не смотрит, то во всяком случае не худо бы ему вспомнить пословицу о неплевании в колодец, из которого потом можно напиться. Чулков на это отмалчивался, не считая нужным возражать. Возражал зато и даже горячился Гуслев. Но Разноцветов почти его не слушал, а говорил далее без умолку. Поужинали, указали ему постель, дали газету читать. Евгений Андреевич усмехнулся и объявил, что этою литературой он не занимается и что в жизни не прочел ни

единого листка газет, а из книг любят только роман Дюма *«Монте-Кристо»*, и то из-за того, что в нем идет рассказ о том, как дивно этот герой разбогател. Он простился, попросил тряпицу и мелу и сел у кровати чистить свое довольно невзрачное ружьецо.

— Эх, — сказал он, прощаясь на сон грядущий, Чулкову, — если бы вы мне указали верный способ скоро нажиться, это — другое дело. Будь это в вашей там какой-нибудь газете, я бы, делать нечего, сто верст прошел бы за ней и прочитал бы, сделал бы вам приятное.

— Что же вы так рано отказались от идеалов молодости? В ваши годы все читают страстные романы о людской любви и сами влюбляются! — кольнул его Гуслев.

— Все это — чепуха, батюшка, бабушкины сказки. Вы вот дайте мне пять тысяч дохода, так я вам покажу, как живут на свете. А то беда, что денег нет: родители мои были непозволительнейшие голяки, а сестрица моя разбогатела, но в чужих краях жуирует; я же ведайся с конторщиком Филькой, да ходи вот в этом рубище. А чем я хуже хоть бы предводителя Музыкантова, что́ Таганчею и всеми ее делами правит? Возьми она меня в управители, я бы всякого Музыкантова заткнул за пояс. Трудное дело управлять имением! Нанял хороший персонал исполнителей, а сам лежи.

Утром друзья проснулись. Разноцветов исчез. «Ну, слава Богу, избавились от него!» — сказали они. А он и вернулся к обеду со словами:

— Извините, что задержал с обедом! Я в поле за куропатками ходил, но ни одной не нашел.

Пробыл снова день, остался и на другой.

— Не послать ли к вашему конторщику, чтобы за вами приехали? — спросил его Чулков.

Но Еня сидел с подпилком, поправляя пряжку ружья, и сказал:

— Не беспокойтесь, они, скоты, должны сами догадаться и прислать. — И между тем, передал среди толков о

том, о сем, следующее о своей сестрице: — Вы хотите, господин Чулков, знать, кто такая моя сестрица? Извольте. Она была замужем за здешним уроженцем, капитан-лейтенантом, по фамилии Чемодаровым. У этого Чемодарова, с материнской стороны, была и есть тетушка, вдова богатого греческого купца и банкира в одном здешнем порте, по фамилии Фафаки. Эта Фафаки-с, после смерти единственного своего сына, убитого в деле с турками, воспитала сироту, сестрина сына, Чемодарова, в Морском корпусе в Петербурге, дождалась его первого офицерского чина и, провожая его обратно на север, сказала: «Я одинока; ты — мой единый наследник; женишься, откажу тебе Таганчу и все имение, нажитое моим покойным мужем, а твоим дядею. Добейся только командования кораблем и отомсти туркам!» А дядя этот, надо вам сказать, был в начале своего поприща также бойцом за родину, бежал оттуда сюда, был тут торговцем фиников и рахат-лукума, а потом пошел в гору, разбогател и стал банкиром. Молоденький Чемодаров известил вскоре тетушку, что корабль кораблем, но что до капитанства еще он, на выпускном бале в Смольном, познакомился с одною красавицей монастырскою, что выследил по ее выходе оттуда ее квартиру, — а она поселилась тогда где-то в столичном закоулке, у глухой и слепой бедной ее и моей бабки, — что он влюбился в Варю (это была моя кузина), видится с нею в церкви по праздникам и что задумал на ней жениться. Я еще был тогда ребенком и учился тоже в одной там школе. Тетка, разумеется, в ожидании капитанства, на его просьбу согласилась. Он съездил сюда на юг, испросил у тетки благословения на женитьбу, вскоре взял отпуск и привез к ней в Таганчу молодую жену. Аглая Федоровна (тетушка-то Фафаки) с невыразимым восторгом встретила его жену, Варвару Аркадьевну, или, попросту, Вареньку, осыпала ее тысячами ласк и в первую же неделю, взяв с племянника в саду Таганчи, на могиле мужа, клятву, формальным образом, по дарственной записи, закрепила за ним в вечное и потомственное владение завещанную ей по-

койным ее мужем Таганчу, оставя себе в память тут где-то одну первую мужнину наследственную лавку греческих конфет. «Теперь ты — богач и молодец, — говорила тетушка Фафаки Чемодарову, лаская и целуя молоденькую Варю, — а я отныне снова — простая лавочница. Пока буду править имением, а ты с женой поезжай, служи, добейся капитанства и отомсти за дядю. Когда же все сделаешь и выйдешь в отставку, я стану опять лавочницей, и когда дети твои придут ко мне лакомиться, я скину с носа очки, чтоб они не боялись меня, старого пугала, греческой бабушки, когда ты их ко мне в лавку приведешь, — и стану их подчивать всем сладким до того, что и сами они станут сладки, как айва или рахат-лукум!» Надежды тетушки, казалось, сбылись ранее срока. Племянник ее через пять месяцев после женитьбы, как вы можете себе вообразить, утопая в неге первых брачных восторгов с моею кузиночкой, неожиданно получил депешу от начальства. Это было в конце лета, в Таганче. Чемодаров стоял, как рассказывают, на балконе над садом и, обняв Варю, наподобие итальянца в гондоле, любовался, так сказать, закатом солнца в изгибах реки. Тетушка, оставя книгу на коленях, любовно смотрела на них. Он вскрыл депешу и в сумерках зари прочел приказ начальства: немедленно возвратиться к флоту в Кронштадт, чтобы безотлагательно принять командование над шхуной «Волна» и ехать с эскадрой в плавание из Финского залива. Куда же это? На юг, на север или океан?» Нечего вам говорить, как эта весть поразила счастливую чету. Сначала было решили Чемодарову сказаться больным и потом выйти в отставку, но тетушка воспротивилась. «Как? Ты теперь будешь капитаном и отказываешься? Да в нашем роду еще никто не был капитаном. Может быть, эта эскадра в Грецию, и, наверное, в Грецию! Соглашайся!» И Чемодаров положил ехать в Кронштадт, а жена и тетка решились отправиться сухим путем вперерез эскадре, и если она командирована в дальнее странствие, то Варе где-нибудь пересесть к мужу на шхуну, хоть в костюме юнги или матроса, и с ним не разлучаться.

Таким образом, Варвара Аркадьевна трижды полагала захватить мужа: в Штетине, в Копенгагене и в Дувре. Но командир эскадры миновал все эти гавани и прямо вышел в океан. Более Варя мужа не видала, хотя получала его письма сначала с африканских, а потом с азиатских берегов. Тетушка рвала на себе волосы: возвратиться ему было уже нельзя. Тут, наконец, случилось, действительно, великое горе. Вы верно о нем слыхали. Вскоре калькуттские, а потом и европейские журналы разнесли телеграфическую депешу ост-индской почты о большом несчастье русского флота, о пропавшей без вести в Тихом океане русской шхуне «Волна», капитаном которой был Чемодаров. Это известие пришло к моей сестре и к ее тетке через полгода, застав их в скромной квартире на каких-то водах в Германии. Настала пора невыразимых страданий. Вы, господа, разумеется, легко можете себе представить скорбь такой юной супруги. Делались вызовы в газетах и в листках морских торговых агентств всех стран. Долгое время, что-то около трех лет, лондонская газета, кажется *«Таймс»*, что ли, на самом видном месте печатала вызов на премию в тысячу фунтов стерлингов со стороны печальной русской леди тому, кто укажет местопребывание капитан-лейтенанта Чемодарова, или адрес того лица, кто знал или знает, куда он делся, или, наконец, хотя бы той особы, которая бы могла передать к нему известие от его близких. Не правда ли, чистейший роман? Да-с, и какой еще роман! Собирались справки в различных консульствах китайских и индийских берегов, куда в первое время могли дойти сведения о погибшей шхуне. До малейших подробностей при этом наши печальные дамы узнали, где мореходы разных стран и наций света видели несчастную шхуну «Волна» в последний раз, как она шла под такими-то широтами, как вступила в полосу пассатных ветров и как затем, на какой-то точке моря, следы «Волны» исчезли. Еще несколько лет наши дамы прожили в чужих краях, обивая пороги всесветных торговых контор в Германии, Англии и Голландии. Греческая тетушка просто обезумела от горя, осо-

бенно сознавая, что она была виновницей решимости племянника ехать, и впала в ханжество. Она молилась во французских и итальянских монастырях, свозила даже измученную странствиями Варю на поклонение в Иерусалим и, наконец, решилась навестить Россию, куда, незадолго перед тем, пришла обратно в Кронштадт эскадра, при которой погибла шхуна; и так как наше морское начальство сделало вызов в газетах о явке вдовы капитана Чемодарова за получением одного, найденного в делах главного командира эскадры, акта ее погибшего мужа, племянница и тетушка явились в Петербург, и там Варе, в морском министерстве, вручили пакет бумаг с надписью: «Вскрыть моей жене по возвращении эскадры в Россию, в случае моей смерти». Акт оказался сделанною и засвидетельствованною по закону, заблаговременно в Петербурге, дарственною записью Чемодарова на имя жены, которой он, в память пяти месяцев счастья с ней перед выездом в море, передал все имение, полученное незадолго перед тем в дар от тетки. Представьте же положение тетушки! Из богатой женщины, затевавшей месть туркам, она стала приживалкой бывшей смолянки Вари, которую, с приездом их в Таганчу, немедленно, разумеется, и бесспорно ввели во владение имением мужа. С той поры тетушка Фафаки ее не оставляет, опять увезла за границу и все уверяет, что Чемодаров должен быть жив, что он где-нибудь в Индии в плену и что вот-вот воротится. Она бы и желала увидеть опять племянника, и боится потерять имение, которое барыни сдали, по общему совещанию, в управление общему угоднику, защитнику и покровителю всех здешних страждущих и угнетенных смертных, известному вам предводителю Музыкантову.

— Хорошо он правит делами вашей сестрицы?

— Помилуйте, мошенничает. Я лично от скуки в этом убедился, пересматривая бумаги конторы, и стал с некоего времени подбивать конторщика Филиппа разоблачить этого гуся перед сестрой и тоже, если нужно, взять паспорт да и прокатиться к ней прямо за границу. Подлец! Раз попросил

я у него денег, ну сущие пустяки — двадцать пять целковых. «Вы, — он отвечал, — баклуши бьете. Лучше в университет поступите!» А что университет? Чему он научит? И кто ему дал право советовать?

— Из-за чего же ваша сестра живет доныне за границей.

— А спросите ее! Так, от нечего делать. С жиру с тетушкой бесятся. Скоро семь лет, как муж ее пропал; могла бы, кажется, и замуж выйти опять за хорошего человека. А та возит ее теперь уже по греческим монастырям, все уверяет, что Чемодаров вот-вот явится опять. Я так думаю, что Варя хитрит, ждет только конца семи лет, чтобы попусту ее не бесить, и до времени покоряется ей; там возьмется за ум — либо впрямь там поглупела.

— Вы же к ней писали?

Еня даже позеленел на этот вопрос.

Сорок писем настрочил! А как ненавижу эту словесность и эти ваши писания; руки перепачкал в чернилах, и все даром. «Давать Ене по десяти целковых в месяц на табак и все что́ нужно!» — пишет Фильке, а мне не отвечает ни на одно письмо. И сиди на проклятой норе. Что́ нужно? Денег больше нужно! Вот и все! Что́ прикажете делать с дурой? И сама там, простота, чего застряла! Узнавал я от других: не завела ли себе хоть любовника? Так нет, и на то ума не хватило. На весну опять в Италию едут, а там чуть ли не в Индию хотят пробраться...

Много еще говорил Разноцветов, на что́ уже Чулков и Гуслев и внимания не обратили. Плел он целые вороха рассказов и протомил друзей дней шесть сряду, поминутно куря и безбожно соря пеплом по коврам, по мебели и по окнам. Наконец, не вытерпел и пустился еще, в отсутствие хозяев, в любовные шашни: сперва приударил за Дуней, а когда та выгнала его кочергой из кухни и пригрозила еще облить помоями, то он приволокнулся за предметом Гуслева, Глашей, и, вероятно, ветреница Глаша была не так строга, потому что Гуслев сразу заметил что-то недоброе, окрысился, освирепел, долго ходил мрачный; наконец молча сам запряг

в санки буланку и сказал юноше: «Садитесь, уже пора, я вас сам отвезу» — и повез его в том же пальто, в собачьей шапке и в летних сапогах, в такой мороз, что Чулков сжалился и вдогонку, верхом, через батрака, передал Разноцветову до Таганчи свою дорожную бурку, которую тот, кстати, почему-то вплоть до весны счел долгом ему не возвращать, и ее от него едва вытянули назад через дьячка, всю в дырах, порванную собаками, как бы в подтверждение известного замечания, что ни одно доброе дело на свете не остается без наказания.

— Ну, слава Богу, отделались от лихача! — решил Чулков, когда Гуслев возвратился. — Как еще судьба нас спасла, что он денег не просил взаймы?

— Увы! — признался со вздохом Гуслев, — дорогой выканючил-таки у меня пять целковых. Жалкий и пропащий человек. В прежнее время такие люди шли хоть в военную службу и исправлялись на бранном поле. А теперь этим презирают. Чего захотел! О чем мечтает: сразу и сильно разбогатеть! Шалишь! Не те времена!

— Как бы там ни было, а дело кончено, он отчалил, и я надеюсь, мы отныне снова застрахованы от непрошенных гостей.

— Я велю всем и каждому говорить, что нас нет дома. Хотите?

— Отлично.

Друзья успокоились. Но судьба опять решила иначе.

В начале новой, пятой весны, совершенно неожиданно, как это здесь иногда бывает в первых числах марта, на растаявшую, но еще не пустившую зелени землю упал глубокий снег, ударил сильный мороз, поднялась буря, с нею метель, и в два-три дня снова занесло сугробами степь, балку и усадьбу Чулкова до того, что пришлось опять рыть туннели и траншеи от крыльца к дворовым службам, а подводы, пробираясь за сеном для поставленной опять в сараи овцы, ехали мимо амбара и сарайчика, где, пригретая солнцем, как пчелиный рой, снова закопошилась резвая школа Михеича.

Чулков, утомленный выходившею в эту пору из ряду вон хлопотней с сухим кормом для скота, раньше лег спать. Гуслев, отпуская сено на подводы со степи, слегка простудился, завязал горло фланелью, напился липового цвету, лег также очень рано в постель, сперва читал, а потом задул свечу и решил заснуть.

С вечера шел сильный снег. Ветер стих. И вдруг среди глухой морозной ночи, часу в десятом, сперва Чулков, а потом и его друг услышали какие-то оклики, будто звук бубенчиков и визг саней, то приближавшихся к заметенным стенам дома, то как бы опять уезжавших со двора. Наконец, в тиши холодной ночи раздался среди двора сперва один ружейный выстрел, потом почти у самых окон разом два.

— Что́ это такое? — вскрикнули друзья и вскочили.

Вслед за выстрелами, на дворе поднялась суета, послышались голоса и шаги людей к крыльцу. Чулков, не постигая, что́ бы это значило, наскоро зажег свечу, оделся; Гуслеву посоветовал опять лечь под одеяло, чтоб еще более не простудиться, растолкал в передней мальчика из школьников и отпер засов в сенях. В ту же минуту, со словами: «Ух, батюшки, чуть не замерз от холода! Извините, но как угодно, а принимайте гостя и обогревайте», — с крыльца в сени шагнул рослый и тучный господин в медвежьей черной шубе, в собольей боярской шапке, в красном шарфе и весь, как медведь в берлоге, запорошенный снегом. Он вошел в переднюю, ткнул своему слуге сперва одну ногу, а потом другую, чтобы снимал с него теплые сапоги, и сказал Чулкову:

— Вы меня, вижу, не узнаете?

— Не знаю.

— Ардальон Аркадьич Музыкантов, ваш, батюшка, предводитель. Не стыдно ли — своего вожака не знаете? Ну да я шучу. Помните, однако, мы с вами столкнулись на торгах на эту самую аренду! И каким вы молодцом повели свои дела! Со всех концов только и слышно, что о вас да о ваших успехах. Вы к нашему брату не ездите, все делом заняты! Пустынником живете. Дай, думаю, заеду мимоходом

к нему, обогреюсь, потолкую, теперь же по всему возникает столько вопросов...

— Но... что́ значат эти...

— Выстрелы, хотите вы сказать? Очень просто. Возница мой блуждал, блуждал — никак к вам все не попадет. Возьмем налево, натыкаемся на гребешок какой-то крыши; возьмем направо, опять в степи. А по приметам кучера, вы тут именно жить должны. Я и стал стрелять: авось, услышат: тем только и вызвал вашу дворню. Степь, батюшка; тут самого помещика украдут, так никто ближе недели и не узнает. Водочки бы рюмочку... извините, прозяб. Нельзя ли тоже овса перехватить коням? Да который час? Тысячу раз извиняюсь. Не лучше ли лечь спать, а говорить утром?

Хотя было еще не поздно, но по-хуторски тут все уж спало. Чулков сам принес гостю водки и кое-что закусить. Ему не были по сердцу ни этот шум, ни эта развязность и светская болтовня.

Ардальон Аркадьич Музыкантов, незадолго перед тем, как богатейший из уезда, щеголь и бонвиван, избранный на новое трехлетие в предводители дворянства, еще при первой встрече с Чулковым смахивал на белую пшеничную булку. А теперь он и вовсе представлял из себя нечто в роде взбитой, надушенной и прикрытой кусками модных материй копны пуху. Толстый и куцый драповый сюртучок его напоминал курточку барченка-пансионера на вакации; широкие клетчатые, яркого цвета триковые шаровары были точно сейчас сняты с картины, изображающей чистейшего парижского дебардёра; роскошные, длинные и бородообразные каштановые бакены, с гладко пробритым двойным подбородком, красиво оттеняли его белые, с легким румянцем щеки. На нежных полных, с длиннейшими ногтями пальцах сверкали перстни; на детски-обнаженной шее весеннею бабочкой была повязана цветная ленточка игрушечного галстучка; а полные и розовые губы, при постоянной улыбке, выказывали два ряда мелких, подпилками и щеточками ежедневно отчищаемых, зубов. Все в нем — и легкое, несмотря на тучность,

тело, и джентльменский вид, и надушенный костюм, и частый смех, и громкие речи, и любовные карие глазки, и всем приятное, волосатое и сытенькое рыльце — все говорило: я — молодец, я — счастливец, гуляка и мот, я жуировал, жуирую и буду жуировать жизнью; делайте так и вы, дрянные и недальновидные ослы; а остальное все нелепость и чепуха, мещанство, тупость... Он и теперь ввалился в низенькие, крошечные комнатки глиняного дома Чулкова, как будто бывал тут сто раз, с такою же бесцеремонностью, шумом и запанибратством, с какими он вообще на свете встречал и озадачивал каждого постороннего человека. И в то время как Музыкантов, насытившись, остановился перед Чулковым, расставил руки, склонил к нему бакены сытенького рыльца и круглое брюшко и шутливо сказал ему: «А теперь, выпимши, и закусимши, и отогремшись, мы, батюшка, с вами и за дело!» Чулков ни на волос не изменил своего положения, продолжал, подперши рукою подбородок, молча сидеть и вежливо, сухо смотреть, следя за речью и движениями этого, с одной стороны, как амур, легкого и благоуханного, а с другой — такого солидного, почтенного, обширного и для всех кредитного гостя.

— Вы... Александр Ильич, кажется?.. Так-с... Вы, вот, Александр Ильич, нажились и наживаетесь с моей легкой руки. О, не качайте головой! Рука моя легкая. Нечего вам бояться. Вы перебили у меня эту аренду и хорошо сделали, ей-ей! От души вас с этим поздравляю. Да теперь и эта маленькая аренда была бы мне в тягость. Много воды, батюшка, ушло с тех пор. Освободили, как вы знаете, крестьян. И это все бы еще ничего. Я сам был в первом комитете, и в Петербург ездил совещаться, и могу сказать: народ не только здешнего уезда, но и всей губернии, смотрел и смотрит на меня с доверием и с покорностью, как на патриарха. Но вот беда — не всем повезло с тех пор. Мои земли перестали давать доход, я уменьшил стада овец, из-за новых распорядков закрыл два винокуренных и один сахарный завод; паровую мельницу с отдельною лесною дачей продал,

а выкупною ссудой за крестьянский надел думал покрыть кое-какие долги, нажитые на службе высшему обществу. Вы знаете понятия нашего общества? Буду говорить откровенно. Обеды, балы, угощения властей, поездки в губернский город, помощь бедным представителям оскудевших родов нашего сословия... Что делать! Вы стоите на другой почве, вы, если здесь не ошибаются, демократ и социалист...

— Это вы откуда взяли? Вот хорошо!

Чулков чуть не привскочил на стуле и подумал: «Что это? Он допрашивать меня приехал?»

— О, успокойтесь! Не смею спорить и поднимать завесу над вами. У всякого свои вкусы. Я же притом сам уважаю новейшие теории, чту и этот ваш социализм, и этот коммунизм... (Музыкантов еще налил вина, выпил и закусил)... Даже я... гм... находился в бытность мою в одной высшей школе, в Петербурге... Ну, да вы не поверите, и хвастать, батюшка, я не люблю... К делу, однако же. Теперь поздно... (Он опять посмотрел на часы.) Я заехал к вам по дороге. Надеюсь, мне, как вашему предводителю, вы простите такое позднее посещение. Завтра к обеду я должен быть у губернатора. Нас всех опять требуют туда по одному вопросу свыше. И к чему? Все равно нас не послушают! Но у меня в городе есть еще и свое дело. Я и решил попытаться по этому делу переговорить по пути с вами.

— Чтó же вам угодно?

— Вы, надеюсь, слышали о соседке вашей, Чемодаровой?

— Да, кое-что слышал.

— Я заведываю ее делами.

— И это я слышал.

— Уж не Енька ли Разноцветов отрапортовал? (Предводитель нахмурился.)

— Нет, не помню кто; но я слышал от многих.

Музыкантов заходил из угла в угол по зале, то останавливаясь и задумчиво снимая со свечи, то снова продолжая ходить. Он передал Чулкову, как Чемодарова и Фафаки

обратились к нему, как неотступно просили его принять в управление Таганчу.

— У меня у самого было тогда до десяти тысяч десятин. Но я из жалости принял в ведение и это имение. Я аккуратно высылал им доходы, они продолжали жить и шататься за границей. Но тут настала крестьянская реформа; наши хозяйства, как вы знаете, пали, и я, разумеется, сперва крепился, мало вникал, за общею ломкой, даже в свои собственные дела, а для них трудился, как батрак, и еще год назад выслал им несколько тысяч. Но вот, в минувшую осень, продав хлеб, лен и шерсть, свел счеты и вдруг увидел, что посылать им ровно нечего... Тут встретилась к тому же просто гадость. Буду говорить вам совершенно откровенно... Плут и пьяница, конторщик Филька, которого я за шашни хотел было прогнать, в конце этой зимы похитил конторские тетради и бежал из Таганчи — как бы вы думали, куда? — прямо во Флоренцию, в Италию, где живут теперь мои доверительницы. Он, слышно, подвел в книгах ложные итоги, как следует оклеветал меня, уверил барынь, будто бы прошлою осенью Таганча дала не убыток, а какой-то чуть не баснословный доход; словом, поклялся мне отомстить. Не знаю, поверили ли ему мои барыни или нет. Но слух идет, по письмам этого конторщика Фильки к его родным, что они, после своего долгого отсутствия в России, хотят возвратиться сюда, что вскоре истекает семилетний срок для Чемодаровой, что она, не получая о муже вести, хочет выйти замуж за другого и что во всяком случае они считают: я обязан им дать, по счету Фильки, сумму мнимого барыша сполна. Александр Ильич! Если вы не знаете меня, то, верно, слышали о моей репутации! Конторщик наклеветал, это вы, надеюсь, сразу решили сами. Но я не хочу, чтоб и тень сомнения о мне закралась в душу Чемодаровой. Решил лучше отдать ей все, что имею, чем терпеть подозрение; но денег в это время у меня нет, и я должен их занять. Вы — такой счастливец, так нежданно стали богатеть и разбогатели. Александр Ильич, пока я в июне продам в Таганче шерсть

и овец или, наконец, по доверенности заложу ее и извернусь, займите мне под вексель несколько тысяч... Несколько дико, что я так сразу ночью заехал и прямо прошу взаймы: мог бы я это сделать и завтра, и после, все равно. Вы — умный человек, вы понимаете, каково мне, в моем звании и положении, терять перед обществом. Тут и о пуле в лоб подумаешь. Помогите, я лечу сейчас прямо в город и ей отошлю...

— Денег у меня нет, — сказал Чулков и вздохнул, — да и где бы я их взял?

— Где? — перебил Музыкантов, шутливо подняв брови. — В столе, ну в сундуке, ну в вашем бюро...

Чулков опять ответил:

— Денег у меня свободных нет, а под вексель незнакомому человеку я бы и не дал.

Чулков думал, что на такой резкий отказ Музыкантов рассердится, обидится и тотчас уедет. Ничуть не бывало. Ардальон Аркадьич сделал большие глаза, развел руками и сказал:

— Люблю за откровенность, молодец! Так и следует, никому не давайте... а особенно тому, кого не знаете! Я сам бы так поступил и от души уважаю осторожных людей.

Он еще прошелся и остановился.

— Но разве вы меня не знаете, не слыхали о моем состоянии? Притом, ответьте: и под залог мне взаймы не дадите? И за два процента в месяц не дадите?

И когда опять услышал: «Не дам!» — подумал, почесал указательным пальцем пробритый подбородок и прибавил:

— В предикое, однако же, положение я поставлен теперь: там надо оправдать себя перед клеветами конторщика, а тут, вот-вот, чего доброго, подъедут и сами барыни. Ну, как тут извернуться? Нечего делать. Будем терпеть. Поеду. Прощайте. Вот какой вы недобрый! Впрочем, прибавлю, мой обычай таков: вы мне не помогли, так я вам, может быть, пригожусь... Уверяю вас ж таково мое правило!

Музыкантов велел подавать лошадей. Чулков проводил его на крыльцо. На дворе было еще совершенно темно. Но снежные равнины в одной части поля уже яснели. Близился рассвет.

— Если бы даже были у меня свободные и лишние деньги, — сказал ему вслед Чулков, — я бы их скорее употребил на расширение своих хозяйственных и торговых оборотов.

— О, помилуйте! Это — ваше дело, ваше дело! И я охотно этому покоряюсь! Я только хотел убедиться, можете ли вы мне помочь. Прощайте!

Сани, гремя бубенчиками, улетели. Гуслев встретил Чулкова в сердцах. Обвязанный фланелью, он высунул из-под одеяла взъерошенную голову и зашипел:

— Все слышал, все; и вы с ним возились чуть не всю ночь? Удивляюсь вашему терпению! По шее бы этих франтов, по шее! Картежники, бонвиваны, тунеядцы! Их одних время не укротило и не урезонило. Прежде ели готовый хлеб крестьян, проматывали заработки даровых рук; теперь вдались в чуждую им торговлю, в подряды и всякие спекуляции и — слышите ли? — хотят, сидя в кабинетах, чтоб и торговля, и всякие спекуляции сами покорно несли бы к их ногам готовую прибыль! Река времен взломала лед и уносит их в своем половодье, а они несутся на льдинах и сразу думают исполинскими аферами выскочить на обетованный берег. Однако же, нет! Шалишь! Вот повозись ты в холод на стоге сена в степи или ночью пройдись взглянуть в сараи на овец, да простудись... вот, как я... да! Тогда и жди барышей, вот что... Я же кое-что, кстати, и слышал еще об этом гусе от дьячка в Таганче, после расскажу! А, впрочем, что откладывать! (Гуслев вскочил на постели и продолжал.) Отменный шильник: просто — московский мазурик, чуть не карманник! Даром что предводитель, а взглянуть на него, какой вид, какая сановитость — пятьдесят пудов кредита в одном брюхе! Я вставал и в щелку двери видел... Метит в камер-юнкеры, на ближайших выборах в губернские предводители хочет баллотироваться. Вот почему и шныряет теперь,

вот почему и денег ищет, чтобы заткнуть горло злой молве отсылкой их вдогонку сбежавшего конторщика. Но не удастся! У этой барыни ни один тут доносчик. Помните рассказ Ени Разноцветова? Тот бы его, кажется, в ложке воды утопил, и уж, разумеется, утопит. Послушать только купцов или крестьян, что́ они говорят о Музыкантове: никому долгов не платит, взаймы хватает, где только можно, не то что тысячами — сотнями, десятками рублей! Его векселя уже скоро по четвертаку за рубль будут ходить. Одно из его имений уже описывалось; чтоб спастись от аукциона, он его тайком спустил кредитору за бесценок. А его служба? По целым месяцам не бывает в уезде и в своем городе, круглый год живет в губернском городе, играя в карты, ораторствуя и толкаясь в клубе да у губернатора. Дела дворянской опеки в адском запущении; дворянские суммы не проверены никем лет пять. Все знают, что он в молодости замучил родную сестру, в гроб вогнал мать, ограбил родных племянников. Но странное дело: или уж общество тут такое гнилое, или чем подлее человек, тем он более счастлив! Вы, жалко, никуда не ездите. Но если бы вы знали, каким сочувствием пользуется этот Музыкантов в здешнем уезде! На него тут чуть не молятся. Забывают, что он чрез фальшивое духовное завещание и братьев жены ограбил. И то еще странно: все знают, что теперь его дела в таком виде; все знают, что долгов и всяких начетов, частных и казенных, на нем без числа и что, не будь он здешним предводителем, не имей связей, не толкись день и ночь у губернатора, при коем он, говорят, состоит чуть не в качестве лакея, — давно бы сидел в тюрьме. Тьфу! (Гуслев закашлялся.) И теперь, как видите, перескакивает с аферы на аферу, чтобы только протянуть дело, авось, на чем-нибудь выедет: если не на проделке над какими-нибудь богатыми сиротами, опекаемыми в его дворянской опеке, так на казенном подряде; если не на подряде, так в темную ночку в собственном салоне, перед солнечными карсельскими лампами и на бархатной мебели, за безигом или за штосом...

— Не клевещите, старче Ипполит! Может быть, между вами и Музыкантовым есть личности...

— У меня? Да он меня и не знает! Я только скорблю, что эти Караибы и Ирокезцы начинают являться на наш остров, поглядели нашу пустыню. Скорей бы тепло, оградить бы наш двор высокою стеной, ворота на замок, злейших собак на ночь с цепи спускать. Видите ли! Как приспичило! Предводитель! От нетерпения занять деньги стрелял даже из ружья, не находя двора! Тьфу, тьфу! Кхе!

Гуслев до того закашлялся, что упал на подушку и долго не мог отдохнуть...

С первым теплом Чулков воздвиг вокруг двора давно задуманную высокую ограду из булыжника, заготовленного еще прошлою зимой. Но начало высадок на тихий остров Безлюдовки уже было сделано. Через месяц мимо двора Чулкова проскакала телега тройкой, на которой сидел с каким-то золотушным юнкером уже лучше одетый Еня Разноцветов. Он по пути крикнул шедшему мимо Гуслеву, что из-за границы чуть ли уже не приехала в Таганчу его сестра, что он у нее сразу займет пятьсот, коли не более, и ему уплатит должок. Еня сказал это и умчался, размахивая бичом и гикая на тройку ухарских коней его приятеля юнкера. А через две недели после этого произошло следующее.

Чулков с Гуслевым и с лабазником Иваном Ивановичем сидел в тени, под амбаром, и сам на рогожке, для пробы количества шерсти, стриг жирного заводского мериноса-барана. Руки, колени и фалды всех троих были в сале, фуражки слезли на затылок. В это самое время с балочного косогора въехал во двор щегольской и рослый конь, в шорах, запряженный в модное двухколесное тильбюри. В тильбюри сидели двое молодых людей, статский и военный. Военный держал ружье, а статский правил конем. Чулков не без труда узнал в последнем Еню Разноцветова, а в юнкере уже виденного его приятеля. Но какая разница! Теперь Еня был

в пикейной белой паре, в густо накрахмаленных воротничках, в лаковых полусапожках, в свежих сиреневых лаковых перчатках и также с ружьем и с охотничьею гарусною сумкой через плечо. В две недели из завалящего уездного недоросля он стал первейшим щеголем, и даже вожжи взмыленного коня держал теперь именно так, как держат их на модных картинках у губернских портных парижские великосветские кутилы, едущие гулять в Булонский лес, то есть не всею рукой, а только концами пальцев и не поворачивая чопорной головы.

— Господин Чулков у себя? — спросил преображенный юноша, подъезжая к крыльцу и чуть поднимая над гладко выстриженною скулистою головой белую пикейную с дворянскою кокардой фуражку.

Чулков нехотя встал, отозвался: «А, это вы!» — и медленно пошел к крыльцу, держа в руках ножницы и часть шерсти с барана и раздумывая: «Опять эти каннибалы! пропал мой остров; чтобы вас черт побрал! Все мешают делом заниматься...»

— Что вам угодно? — спросил он, кланяясь гостям.

— Не узнали? Евгений Андреевич Разноцветов, брат вашей соседки. Зимою у вас гостил...

— Как не узнать! Отлично помню-с. Что́ же вам угодно?

— Я от Вареньки, — начал Евгений Андреевич, встав с тильбюри, встряхивая пыль с платья и с фуражки и не без иронии посматривая на грязные колени, на засаленные фалды и на шерсть и ножницы в красных, загорелых руках Чулкова. — Варвара Аркадьевна, моя сестра, с своей теткой Аглаей Федоровной Фафаки приехали на этих днях из чужих краев и нашли, как я вам слегка о том намекал, в страшном запущении и беспорядке свои дела в Таганче; но, много наслышавшись здесь о вас, моя сестра решилась просить вас — и верьте, что это ее собственное решение, и я тут ни при чем, — не отказать ей пожаловать к ней посоветоваться, помочь ей в ее недоразумениях.

— Ах, право... не знаю, как вам и сказать. Извините меня перед вашею сестрой, Евгений Андреевич: мне, право, некогда; вы видите, я — человек простой, занятой, да и какой я дамский советник и гость! Пятый год я фрака не шил, среди овец толкусь, дегтем пропахло мое платье. Я и говорить-то с дамами среди моих дел разучился. Увольте!

— Вы же ездите куда-нибудь? Ну хоть мимоходом? — поощрил его Разноцветов.

— Я никуда не езжу; вы это знаете сами.

Разноцветов, как будто не слыша этого, потрепал шею лошади, вынул часы, скривя губы через туго накрахмаленный воротничок, взглянул на них, подумал и сказал:

— Ехал я всего-то два часа и десять минут. Вот бы и вам всего полдня употребить. Не думайте, что я прошу, мне до этого нет дела; скажу, что вы не хотите ехать к сестре, может быть, тогда она к вам приедет сама.

«Так, так! — подумал в ужасе Чулков, — еще баб недоставало сюда! И что́ им нужно от меня? Что́ им нужно?»

— Послушайте, — начал он заискивающим голосом, не зная, куда перед Енею деть ножницы и шерсть, — неужели вы не можете найти вашей сестрице другого советника? Мало ли их тут в городах? Маклеры, адвокаты, всякие хорошие чиновники... Почтительнейше вам докладываю...

— О, это уж ее дело, а не мое! — ответил Еня, поклонился и начал собираться обратно, считая свое скучное поручение конченым.

Нахальный вид мальчишки окончательно взбесил Чулкова.

— Проучу же я, однако, этих господ раз навсегда! — мысленно решил он и сказал:

— Извините, г-н Разноцветов! Мне некогда, вторично извиняюсь через вас и перед вашею сестрой; но быть у нее не могу, да и ко мне ей ехать незачем: я ничего не смыслю в спорных и в тяжебных делах!

Как танцор-мазурист шпорами, щелкнул Чулков ножницами и пошел опять к Гуслеву и к лабазнику, под амбар. Еня с насмешкой посмотрел ему вслед, повернул под уздцы коня, сел в тильбюри, вслух сказал компаньону-юнкеру: «Вот езди с поручениями этих кринолинщиц-барынь, еще собаками притравят!» — и выехал.

— Фу, и от этой отделался! — сказал Чулков, отирая пот и опять принимаясь за жирного, пыхтевшего в тени барана.

Но через два дня тот же Еня, хотя с меньшим форсом, явился снова с умоляющим коротким письмом Чемодаровой; через неделю после нового отказа явился с другим, более длинным письмом, где говорилось, что, если недобрый сосед Чулков не приедет к ней тогда-то, так она приедет к нему сама и не отойдет от его крыльца до тех пор, пока он не примет и не выслушает ее. Еня приехал в этот раз верхом и на разгонной лошади. Чулков плюнул; плюнул и Гуслев. Оба они достали суконные, некогда бывшие парадные платья, долго чистили их щетками, мылом и водкой, оделись и поехали, проклиная непрошеные знакомства, в Таганчу.

— Воображаю! — говорил, едучи, Чулков. — Семь лет таскаться в чужих краях по монастырям! Надо думать, что эта Чемодарова — избалованная, пустая бабенка, сухая и черствая, как все эти заграничные великосветские барыни-ханжи, побывавшие в переделке у патеров-иезуитов.

— Кроме того, думаю я, — поддакнул Гуслев, — она и немолода. Если вышла как казенная воспитанница из Смольного, то, наверное, отбыла еще там и пепиньеркой, стало быть, ей теперь под тридцать лет. Когда я сам был когда-то в монахах, видел я такую барыню-постницу и молельщицу. Была такая желтая, костлявая, вечно с флюсами, кислая и плаксивая. Тьфу!

Гуслев при этом воспоминании снова плюнул.

V

Пир каннибалов и освобожденный с вертела пленник

Чулков и Гуслев поехали рано, разумеется, в единственном их летнем экипаже, на беговых дрожках. Буланка быстро пробежала Безлюдовскую степь и перевалилась через Опали́ху, где на постоялом дворе отвесил им поклон кудрявый сиделец, племянник лабазника Ивана Ивановича. Скоро они, въехав на высоту плоского обширного косогора, в синеющей дали, в утреннем тумане, увидели внизу берега обширной реки и у одного из ее зеркальных заливов избы и усадьбу Таганчи. Странное дело! В поисках за рабочими и за разными припасами, исколесив далеко все окрестности, Чулков ни разу не был здесь. Зато теперь, подъехав к Таганче, он невольно пленился видом реки, с островами ее зеленых плавней, еще потопленных недавним половодьем, рядами белых мазанок обширной деревни, церковью, построенною, как и дом, в старом тенистом саду, и белыми стенами высокого двухэтажного барского дома, который со взгорья виднелся далеко, с флигелями и прочими службами, отражаясь в реке, и кругом, до маковки, как бы окутанный зелеными опахалами яворов, лип и вязов. Проехав по круглому объезду двора, усыпанному песком и окаймленному свежею зеленью дерна, запыленные гости узнали от молодого веселого лакея, одетого в голубую ливрею, в перчатках и штиблетах, что обе хозяйки у ранней обедни в церкви, и сами садом пошли туда.

«Сегодня же будни!» — сказал Гуслев. «У нас каждый день служба для барынь», — ответил франт-лакей, поглядывая на себя в зеркало.

Обедня была на половине. Запах ладана, легкими клубами вырываясь на воздух и мешаясь тут с запахом сирени и белых акаций, приятно шевельнул обоняние путников. Они стали сзади двух-трех старух-молельщиц. Народу в церкви

более не было. Служил молодой черноволосый и еще щеголеватый священник, как видно из недавнего выпуска семинаристов. Чулков глянул в сторону: у правого клироса стояла разряженная попадья, а у левого клироса стояли две дамы, обе в белом: одна — старая, с желтыми лентами, другая — молодая, с голубыми. Священник со вздохами и громко, несмотря на безлюдие, читал, а в растворенные окна церкви врывались голоса птиц и весь этот весенний шум вод и земли, с ликованием и шорохом расцветающего сада. У растворенного окна церкви, в ветвях сирени уселась длинноносая желтая иволга и высвистывала, как флейта, то дерзко прерывая возгласы красивого юноши-священника, то замолкая и как бы робея от мысли, как смела она, непрошеная вертлявая пташка, в эти священные минуты мешать церковной требе голосистыми извивами своей любовной, испокон веков неизменной песенки.

Обедня кончилась. Дамы приложились к кресту, опустили вуали и вышли, точно не замечая появления гостей. Из-под вуали старухи-тетки Чулков рассмотрел только ее бледный, тонкий и длинный нос, ущемленный пружинкой очков, причем она, поводя по сторонам большими черными и несколько сердитыми глазами, как бы говорила: «Я ни на кого не сержусь в особенности, но недовольна всеми, и сто́ит ли, вспоминая моего ненаглядного племянника, этого красавца и героя, любить вас, хитрые, недобрые, завистливые и злые люди?» Чемодарова же ушла из церкви так скоро, что гости ее и не разглядели. Дьячок с улыбочкой выкатился из алтаря и торжественно поднес Чулкову и Гуслеву огромные просвиры, многократно и любезно кланяясь второму. Друзья вышли, снова миновали сад и вошли в дом.

— Постойте, оправимся, — шепнул Гуслев.

— Незачем, скорее нас, нерях, отпустят! — ответил Чулков.

Они были тем же франтом-слугой введены в залу, а оттуда в гостиную. Слуга, проходя мимо зеркал, поглядывал в них на себя, поправлял себе волосы и слегка усмехался,

точно говорил: «А что? Видели? Наши барыни постоянно молятся!»

Не успели друзья оглядеться, как в противоположную дверь разукрашенной гостиной вошла Чемодарова, легким поклоном ответив на угловатый поклон степняков-гостей, которые наскоро назвали себя, и с улыбкой медленно села. Чулков, соображавший в ту минуту роман о ее пропавшем муже, не ожидал встретить в Чемодаровой такую пышную, свежую и миловидную особу. Мигом переодевшись в пеструю блузу, с прошвами из лент, полная и статная, с роскошными плечами и роскошно взбитою прической, Варвара Аркадьевна мало чем напоминала былую худенькую, тонкую и простодушную смолянку, какою она семь лет назад приехала сюда в качестве жены Чемодарова и портрет которой, масляными красками, висел тут же, в гостиной, над резным старинным диваном.

— А это — моя тетушка, Аглая Федоровна Фафаки! — сказала Чемодарова, все еще оправляясь и протягивая руку в правый угол гостиной.

Чулков и Гуслев подумали: «Где же бы это, однако, была эта тетушка, что мы, входя, ее не приметили?» — оглянулись и в боскете из олеандров, лавров и араукарий увидели сердитую и седую, в огромном чепце, старушку-гречанку, меланхолически и не без насмешки уставившую на них большие очки и бледный длинный нос. Перед их приходом она уселась тут с своим вязаньем и с чашкой кофе; но так как гости, войдя, ее не заметили, то она изумилась их невниманию, оставила чашку на столике, нацелила в них презрительный насмешливый нос, да так и осталась, как на портрете воительница Филоксена, торжественно и вопросительно покачивая огромными оборками белого накрахмаленного чепца. Гости ей низко поклонились.

— Моя племянница! — в свой черед в сторону Чемодаровой ткнула своим вязаньем старушка. — Мы просили вас к себе в надежде, что вы не откажетесь помочь нам скорее отсюда выбраться!

Гости снова поклонились.

— Садитесь, пожалуйста! — покровительственно и вместе печально сказала тетушка, встала и, будто рассердясь, как Филоксена, зажигающая греческий брандер, вышла.

Чемодарова улыбнулась.

— Не удивляйтесь на тетушку. Она смотрит неприветливо и вечно ворчит, но, уверяю вас, предобрая старушка. Многое в жизни ей не удалось. Сперва погиб молодой герой, ее сын, похороненный здесь, потом она ждала подвигов от другого...

Варвара Аркадьевна пересела против Чулкова, не без кокетства разместила по креслу свое пышное платье и молча взглянула на гостей, точно хотела сказать: «Вот, любуйтесь мною: вы верно не ожидали, какая я статная, красивая и интересная особа».

— Александр Ильич! — отнеслась она к Чулкову. — Помогите мне, умоляю вас, как доброго, — надеюсь, что именно доброго соседа! У меня никого нет, к кому бы я могла здесь обратиться. А о вас идет молва как о человеке, готовом на помощь всякому.

Чулков покраснел, мельком взглянул на себя, на свое одеяние и от души пожалел, что, приехав сюда, не очистился, по совету Гуслева, от пыли, не умылся и не причесался. Гуслев с тою же мыслию, сердитый, сидел возле него и с притворною рассеянностью мрачно разглядывал картины по стенам гостиной.

— Помогите мне, если не делом, то хоть советом, одним вашим словом. Поможете? О, вероятно, поможете!

Не дождавшись ответа, Чемодарова вскочила, ушла и вскоре возвратилась с кипой экономических книг, бумаг и писем.

— Вот вот мои дела... документы... вот его письма, отчеты. Да! Ах, Боже мой! Я и не сказала? Не сказала я вам, что здешний предводитель Музыкантов, приятель и однокашник моего мужа... и как лицо, всеми уважаемое, вы-

сокой репутации... был мною приглашен... Вы, верно, знаете этого господина, уездного идола и Аристида? И... может быть, слышали...

Она не договорила. Слезы покатились по ее щекам; голос надорвался. Но она быстро оправилась, отерла слезы, и, видя, что сконфуженный Чулков неловко двинул креслом и протянул руку к ее бумагам, продолжала:

— Вы оцените общее наше нелепое женское неуменье вести сношения с поверенными. Имение досталось мне. Мы с теткой доверились этому Музыкантову вполне, уехали спокойно за границу... и... и... что же тут скрывать? Он нас обманул самым недостойным образом, как последний плут и негодяй! О! Я теперь на него так зла, так зла и все о нем расскажу.

— Как же он вас обманул? — спросил Чулков, пробегая бумаги и ласково посматривая ей в глаза.

— Он уже два года назад перестал присылать нам полный доход, но мы еще кое-как перебивались; потом он начал писать фальшивые известия о мнимых неурожаях, о падеже овец и скота; наконец, за последний год не только не выслал нам в чужие края ни копейки дохода, а еще известил нас, что имение дало несколько тысяч убытка, в то время как — представьте! — мы получили достовернейшие сведения о том, что в этот именно последний год он получил с моего имения чуть не десять тысяч чистого дохода, разом продав запас урожая двух лет...

— Достовернейшее сведение о его подлоге у вас состоит в чем?

— О, самое верное, и Музыкантов теперь не отвертится! Наш конторщик Филька — вот верная и преданная душа! — представьте, добрался к нам в самую Италию и все нам передал, все, все...

— На словах?

— Нет, он и книги вот эти привез.

— Писанные им самим, Филькой?

— Нет, извините, под диктовку Музыкантова...

Чулков пожал плечами и отодвинул книги обратно на столе.

— Еще какие у вас доказательства?

— Каких же вам еще? Больше никаких...

Чулков пробежал копию с доверенности Чемодаровой Музыкантову, еще две-три бумаги, опять сложил все на место и вздохнул.

— Пропало ваше дело! Отречется от всего этот идол уезда, и все тут!

— Но ведь следствие можно сделать! — внушительно уверяла Чемодарова, заплаканными и умоляющими глазами ловя строгие и затуманенные раздумьем и досадой взгляды Чулкова. — Хлеб был в амбарах и продан при наших людях разом, в минувшую осень, а нам не выслано ни копейки! Потом, овцы и скот вовсе не падали.

— Позвольте! Вы доверили ему все: управление имением, продажу хлеба, шерсти, все расходы, даже залог и продажу самого имения? Хорошо! Он и даст отзыв вам и суду, что, положим, доходом прошлой осени он только покрыл недобор минувших лет, а доходами прежних лет...

— Но конторщик Филька?.. Он ведь свидетель!

— Музыкантов скажет, что книги подделал сам Филька. Их ведь Музыкантов не скреплял своею подписью? Тут одна рука Фильки.

— Так поэтому мы ничего не добьемся и все эти деньги пропали? — вскрикнула, всплеснув руками, Чемодарова.

— Пропали сударыня. Нечего вас и обнадеживать. И я думаю теперь уже не о них, а о том, не заложил ли еще Музыкантов вашего имения, не занял ли на ваше имя какого капитала. Об этом сто́ит подумать!

— Что́ же мне делать? Что́ делать, Боже мой, научите.

— Сию же минуту и прежде всего послать в здешние и столичные ведомости публикацию, что вы доверенность вашу на имя такого-то, Музыкантова, уничтожаете. Знает он о вашем приезде?

— Потому-то я и спешила посоветоваться с вами, что он ничего не знает и по поводу одного дела находится теперь, как говорят, в порте. Домой будет не ближе двух недель!

Варвара Аркадьевна встала, принесла чернильницу и перо и спросила, что же далее?

— Далее ничего не могу сказать. Если имение не продано, не заложено и останется в ваших руках, то надо знать ваши мысли, чтобы дать совет относительно дальнейшего устройства ваших дел.

Чемодарова ожила.

— Переменить управляющего? Искать для этого хорошего и честного человека? Вот, если бы вы посоветовали кого...

Чулков улыбнулся и ничего не ответил.

— Не то?

— Разумеется, не то.

— Почему же?

— Очень просто. Где вы найдете теперь на свете ту грядку, на которой сеются и растут безусловно честные и хорошие люди, а особенно управители больших имений, да еще с такими соблазнами, как счеты по вольнонаемному труду?

— Так поэтому нам всем прямо погибать?

— О, далеко этого не думаю. Но позвольте задать вам один вопрос. Как думаете вы сами устроить вашу жизнь? Надеюсь, сознавая трудность нынешних времен, вы останетесь жить в Таганче?

Чемодарова покраснела.

— Нет!.. Нельзя... тётушка... мы с нею... о, никак нельзя! Мы опять с нею думаем ехать за границу.

— Для чего? — спросил Чулков и строго посмотрел в то место, где при входе их в гостиную сидела тетушка.

— Тетушка решительно этого желает... притом, наконец, — что же? И жизнь там много дешевле. Ей-Богу!..

Чулков при этом невольно вспомнил свои собственные шатания.

— Жизнь в чужих краях, — сказал он, — ничуть не дешевле, если принять во внимание потерю доходов от дурного управления домашними делами, не считая других существенных потерь. Признаюсь вам, мне странно видеть, когда люди, получившие большие наследства, как ваше, не желают сами заняться их управлением и улучшением.

Чемодарова опять зарумянилась и даже слегка нахмурилась.

В это время в зале верхнего этажа, над головами беседующих, раздались печальные и торжественные аккорды шопеновского marche funèbre. Потрясенный этими нежданными звуками, Чулков спросил:

— Кто это играет?

— Тетушка! В молодости она страстно любила музыку и до сих пор ее не бросает.

— Я хочу сказать, — продолжал Чулков, — зачем вы хотите опять отдать судьбу такого состояния, как ваше, в руки наемщика? Кого бы опять вы ни призвали, поверьте, всяк будет, по старому обычаю, считать, скажу откровенно, своим долгом надуть вас елико возможно лучше и тоньше. Отчего бы вам самим не заняться управлением вашею Таганчей? Что́ тут трудного, особенно с таким имением, как Таганча́!

— Палестина такая-с цветущая! — поддержал друга и Гуслев, оправляя галстук.

Чемодарова вздохнула.

— Много надо, господа, на это говорить. И прежде всего, Александр Ильич, нужно сознаться, что я к этому не готовилась и вряд ли буду когда-нибудь готова и способна.

— Успокойтесь! Будете и способны, и готовы. Не вы одни так думали.

— Сударыня, не робейте! — вмешался Гуслев. — Это вам и мой совет. Вот и я-с... Что́ я был? Горемычная кукушка, приживалка разных господ. Теперь же, единственно увлеченный примером Александра Ильича-с, я также занялся кое-чем и, как видите, одет и обут уже на собственный свой

заработок: сено вожу, овец смотрю, колодец открыл, да еще какой...

— О, я и о вас, Ипполит Панкратьич, слышала от брата Ени...

— Да, кстати, — перебил, оглядываясь, Чулков, — что же я не вижу Евгения Андреевича? Где он? Вы останетесь здесь; вот вам сразу пока и помощник.

— Хорош помощник, нечего сказать! — с досадой перебила Чемодарова и даже отвернулась. — Столько времени даром бил здесь баклуши, поминутно требовал от меня и от конторы денег; я платила его долги, а теперь, когда отказала ему в платеже новых, он наделал мне и тетушке дерзостей и вчера уехал, бросив меня на произвол судьбы. От него все станется: еще меня же и продаст! Он даже и не стесняется. «Не дашь денег, перейду, — говорит, — к Музыкантову!»

Чемодарова встала и собрала бумаги.

— Постараюсь, Александр Ильич, последовать вашему совету. Делать нечего! И прежде всего надо послать публикацию об уничтожении доверенности Музыкантову. Надеюсь, вы не откажете сами ее набросать мне. Но надо прежде спросить тетушку. Она, бедная, — вы, верно, знаете? — все ждет возврата моего пропавшего мужа... Что́ делать! Ее не переуверишь.

Чемодарова печально и озабоченно ушла. Не успели друзья перекинуться несколькими словами, как музыка наверху затихла, и в растворенной двери гостиной, с вязаньем в руках и с тою же суровой осанкой, показалась старушка. Она оправила очки, осмотрела через их ободок гостей и сказала:

— Я совершенно одобряю мнение Вари: мы останемся здесь. Но не терзайте моего сердца! Нельзя ли устроить тут все поскорее, чтобы собрать денег и ехать? Может быть, мой племянник, муж Вари, теперь уже на возвратном пути, и нам надо выехать к нему навстречу!

— Я убежден, что Варвара Аркадьевна все устроит скоро! — ответил Чулков. Старушка ушла.

Чемодарова подвинула Чулкову чернильницу и перо, и когда тот стал писать проект публикации, вздохнула и сказала:

— Да, действительно, всего один у меня и есть родич с моей стороны, этот Еня Разноцветов; он поручен мне его матерью! Но если бы вы знали, что это за испорченная природа! Не следовало бы мне говорить как сестре, но не могу. Голова у него решительно ничем порядочным не занята: то по целым дням сидит за подпилком, кряхтит и делает какой-нибудь ни ему, ни кому другому не нужный ключ (Гуслев передернулся на кресле), то вдруг фотографией начнет заниматься, купит что нужно, перепачкается, снимет два-три аляповатых оттиска и все опять бросит (Гуслев подумал: а я вот уже исправился!), то пропадает на охоте, у знакомых и незнакомых, либо в карты проиграет последний костюм, оденется малорусским мужиком, в невероятную серую теплую шапку... да так и шатается везде. И кого же я пошлю теперь с публикацией в город?

Гости молчали. Но Гуслев давно уже нетерпеливо двигался в кресле и придумывал, как бы подъехать к молодой соседке с услугами.

— Если ваш родич вам изменил, и если вам угодно, сударыня, — отнесся он, — то я могу слетать для вас куда угодно, хоть на край света! Дайте мне только лошадей, так как...

Чемодарова от души поблагодарила его и даже пожала ему руку, не спуская, впрочем, глаз с Чулкова, и с особенным любопытством, пока тот писал проект публикации, рассматривая его будничную, невзрачную фигуру, его загорелые, грубые руки, красный, обгорелый на солнце затылок и сильно потертый наряд.

— Вот и все! — сказал, вставая, Чулков. — Пока довольно и этого; а там устроитесь, и все, вероятно, пойдет на лад. Лишь бы только не было долгов на Таганче, и все устроится!

Он поклонился Чемодаровой; забывшись, крепко, по-мужски, пожал ей руку, тут же спохватился, смешался и неловкими шагами, не переставая кланяться, пошел к выходу в залу, а оттуда в сени и на крыльцо.

— Я постараюсь все сделать, все, что вы мне советовали! — говорила, провожая его, Чемодарова. — Сама займусь хозяйством, книгами, отчетностью; буду, если Бог поможет, ездить в поле, следить за рабочими... Когда-нибудь и вы, г-н Чулков, меня похвалите.

Гости подошли к дрожкам.

— Постойте однако же! (Чемодарова расхохоталась.) Вы, г-н Гуслев, куда? А ваш милый вызов ехать от меня с публикацией в город и забыли?

— Ах, Боже мой! — спохватился Гуслев, вскакивая с дрожек, — извините; но, впрочем, как мой сожитель и хозяин решит: я теперь по найму-с...

— С удовольствием! — объявил с дрожек Чулков.

Гуслев снова не взошел, а, точно на крыльях золотого сна, сладостно всплыл опять на крыльцо, уладил все нужное в тот же день и помчался в экипаже Чемодаровой в губернский город. Через три дня, когда Гуслев еще не возвращался, к Чулкову явился от Чемодаровой гонец, ее веселый ливрейный лакей.

— Что надо?

— Барыня приказала у вас просить аглицких ножниц для стрижки овец. С простыми много пропадает шпанской шерсти, говорят они.

— Да разве у вас нет? Чем же вы прежде стригли?

Лакей улыбнулся.

— А разве у нас был, хоть в каких ни на есть малостях, порядок с энтим хоть бы Музыкантовым?

«Гм, — подумал Чулков, — значит, дело пошло на лад, коли уж и люди знают о ее решении!»

— Кто же у вас теперь всем заправляет?

Лакей опять усмехнулся.

— Сама барыня-с. Подите, какое наваждение! Все амбары перерыла, все сама перемерила, описала; утром в поле едет, день-деньской все осматривает во дворе, а вечером пишет и сама приказы отдает... Не думали, надо полагать, проживаючи в Неметчине или в Италии-с, во все и про все мешаться!

— Так уж вы и овцу решили стричь?

— Да узнали, что вы остригли, так и наша барыня засуетилась.

Чулков поспешно исполнил просьбу соседки и отдал ножницы.

Гуслев возвратился от Чемодаровой в большой радости. За поездку в город и за успешно исполненные поручения Гуслев получил в подарок от Чемодаровой дюжину тончайших носовых платков и два флакона дорогих духов. Он стал этими духами курить на раскаленной плитке и напустил в доме столько аромата, что Чулков сперва крутил головой и говорил: «Пощадите, зачем так много!» — а потом на некоторое время стал держать окна приемной и своего кабинета настежь.

Через неделю после этого к Чулкову явился нарочный рассыльный с циркулярным письмом от Музыкантова. Ардальон Аркадьич извещал его, как и других знакомых уезда, что такого-то числа будет освящение перестроенной в его имении церкви, а потому и просил всех не отказать ему пожаловать в Ганновку, к священному торжеству, на обед в честь события и на ужин.

«Раз отказал ему в деньгах! — подумал с досадой Чулков. — В другой раз откажу ему в просьбе приехать на торжество — беда будет! Сплетут обо мне такое, что и не расхлебаешь: уж и так он, помнится, угощал меня названиями демократа и социалиста; а то еще и атеистом прозовет!»

— Надо ехать, Ипполит Панкратьич!.. Как вы думаете? — сказал он.

— Надо, о, непременно надо! Это ведь сила в уезде! Отделаемся, и баста.

Друзья поехали в Ганновку на тех же беговых дрожках, взяв на этот раз узел с платьем и чистым бельем. Буланка миновала уже колонии и три кургана, под именем трех братьев, бывшие от Безлюдовки на расстоянии пятнадцати верст. Чулков ехал мрачный, молча правя и не отвечая на речи Гуслева, который в дороге всегда делался особенно разговорчивым. За курганами Чулков остановил буланку, встал с дрожек, отдал вожжи Гуслеву и сказал:

— Нет, воля ваша, поезжайте вы одни, Ипполит Панкратьич. Не могу я выносить этой тины. Банкрот, негодяй, все это знают, и затеял еще духовное торжество. Может быть, я не прав, но так мне чуется... Рассчитывает, что народ повалит толпами, а он кругом снимет, если уже не снял, все кабаки; у себя ярмарку учредит. Поезжайте вы, а я останусь и возвращусь домой пешком.

Как Гуслев не уговаривал, Чулков настоял на своем и в Ганновку не поехал.

Ганновский барский двор был запружен множеством экипажей. Наскоро подправленный, хотя уже валившийся, некогда пышный дом глядел празднично. Перед его ветхими, но разрисованными службами и перед крыльцом отдыхали богомольцы поотборнее.

Музыкантов встретил Гуслева еще на крыльце, где внушительно объяснял одному из подгулявших окрестных сельских старшин важность события того дня. Полагая, что сзади Гуслева едет Чулков, он принял Ипполита Панкратьевича радушно, поблагодарил его за приезд, хотя косо взглянул на неказистый костюм и на старые, сильно поезженные, скрипевшие и звеневшие беговые дрожки гостя, и ввел его, по его желанию, переодеться в особую комнату. И едва Гуслев, умытый, причесанный и чистый, снова вошел в залу, Музыкантов особенно любезно стал представлять его чуть не всем гостям, отчего Гуслев не запомнил сперва почти ни одной фамилии. Особенно хозяин старался познакомить его с двумя своими лучшими друзьями, как он выражался: с иногородним рентьером

или капиталистом, Макдональдом Егоровичем Зиньзиньским, и с местным сквайром или помещиком, Афанасием Андреевичем Чабаненком. Зиньзиньский был господин молчаливый и наблюдательный, белокурый, костлявый и худой, с редкими, точно где-нибудь в дороге потертыми или молью выеденными бородкой, усами и бровями, с серыми, мертвенно-тусклыми глазами, которые, между тем, все замечали. Он недавно появился в этой губернии, имел в свое время, по слухам, капитал, построил один из винокуренных заводов Музыкантова, спустил по ветру значительную часть денег Ардальона Аркадьевича на разные, вернейшие будто бы, обороты, а теперь был арендатором одного его хутора и агентом за известный процент по его подрядным делам с казной. Никто не знал, есть ли теперь у Зиньзиньского свои деньги, но жил он недурно. Чабаненко, напротив, был короткий мясистый, хорошо откормленный брюнет с жирным, всегда по-военному гладко выстриженным затылком, с висками, зачесанными в виде клапанчиков, с пухлым, постоянно старательно выбритым лицом, напоминавшим сытого и дремлющего бульдога, и с робко бегавшими, плутоватыми и вместе трусливыми арестантскими глазками. Представляя их Гуслеву, Музыкантов сказал:

— Новороссия нуждается в таких людях, как вы, как они, как ваш приятель Чулков и, скажу без хвастовства, как я. Надеюсь, мы сойдемся; наш край — страна наживы; на нашем знамени написано «вперед» — к червонцам, во что бы то ни стало! Не так ли? Где же, однако, г-н Чулков? Он опоздал.

— Александр Ильич вовсе не будет! — отвечал Гуслев, оглядывая шумное собрание.

— Вот... Это отчего?

— Заболел-с; вчера еще заболел и слег, а меня послал! Должно быть, лихорадка-с...

— Жаль, жаль! — забормотал Музыкантов и тут же, подумав: «Из-за чего же это я с тобой, дубиной, тут вожусь,

коли он не приехал?» — оставил его, отошел и более к нему не обращался.

«А! — подумал Гуслев, увидя в толпе Еню Разноцветова, — недаром Чемодарова жаловалась на него и предрекала, что он не замедлит ее же продать... Сам же подговорил Фильку уехать с доносом на того, у кого теперь в гостях!»

Но Еня раскланялся с ним, как ни в чем не бывало, и даже с удовольствием старался ему показать, что он здесь — не простой гость, а домашний человек.

Гимназист, сын хозяина, Вава, то есть Варфоломей, по-вакационному одетый в парусиный клетчатый сюртучок, с длинными отложными воротничками и с ухарски, назад, а la Liste причесанными реденькими волосами, идя куда-то мимо Гуслева, на минуту остановился, тихо спросил о нем Разноцветова, улыбнулся, подошел к нему, пожал руку и сказал:

— Сосед с Опали́хи? Знаю! Говорят, вы недурной охотник; если же играете в безиг, пожалуйте в бильярдную! Пятиалтынный фишка.

Гуслев подумал: «Какое отекшее, бледное лицо! Или он рано начал жить, или не делает моциона; ножки жиденькие, а сам тучен».

В общем говоре первых речей слуги незаметно накрыли обеденный стол. Городские певчие пропели молитву, потом многолетие хозяину и гостям, и обед начался. Кроме самого Музыкантова, застольные спичи, недавно перед тем вошедшие в моду и в этих местах, говорили еще Чабаненко и Зиньзиньский: последний о горькой доле современных капиталистов, о том, что дашь деньги и не получишь их обратно, что теперь нельзя верить даже самому себе, что вследствие такого порядка не всегда и не во всем можно укорить даже злостного банкрота или иного общественного вора.

— О, это уже чересчур! — возражает Музыкантов. — Я, в качестве презуса нашего пира, обязан вас, мой друг, призвать к порядку!

Зиньзиньский делает глазами и продолжает:

— Я не хочу бросать тени на правительство, но всему виной наша среда! Какова почва, таков и умолот! Мы быстрыми шагами идем к общему нищенству. Одно спасение: быть всем как можно дружнее, спасать и поддерживать один другого. Ура!

Гуслев, озадаченный этою, еще невиданною им приправой обеда, притих и робко выглядывал из-за тарелки. Но когда Музыкантов сказал: «Да что́, господа, мы все — своя семья!» и стал громить и общество, и администрацию, то Гуслев, тронутый потоком обличительных речей, приосанился, вздернул плечи и голову и, едва касаясь еды, сидел, пыхтя, покрякивая и сам бросая на всех строгие взгляды, точно изрекая виновным приговор. Сам хозяин дома особенно занял Гуслева. Широко и живописно рассевшись в конце стола, против совершенно невзрачной и ни с кем из соседних дам близко не знакомой своей жены, дочери местного богатого салотопенного заводчика, Музыкантов говорил:

— Кушайте, господа! Каждый такой наш дружеский обед — это пир во время чумы! На кого нам тут надеяться! Главные капиталисты здешнего края — иностранцы. Но присмотритесь, они все сюда явились как бы в изгнание: одни ушли в этот край от общественных невзгод; другие — от семейного горя или от неудач. Всех влекла сюда, к новым здешним людям и местам, жажда перемены жизни, но больше всего, попросту... нажива... Это, повторяю, знамя Новороссии. Наш край пришел к простому и совершенно верному заключению, что выше материального благосостояния мало есть хороших вещей на земле. Это все сознают, но не все имеют храбрость в этом сознаться так просто и без ходуль, как я... Привлеченные сюда желанием нажиться, здешние капиталисты, не привязанные никакими другими выгодами к стране, которая не имеет для них значения родины, в первое время смотрят на этот край как на место своего временного изгнания, потом как на тропинку, по которой, поправив свои обстоятельства, они могут возвратиться домой — в Неметчину, в Грецию, во Францию, во внутреннюю Россию...

— И Новороссия, по-твоему, папаша, опустеет? — спросил Вава, опорожняя объемистую рюмку портвейна и выбирая на поднесенном блюде соуса самые вкусные кусочки.

— Я этого, дружище, не говорю. Годы проходят; некоторые из переселенцев не успевают нажить здесь то, чего хотели; другие теряют силы и решимость возвратиться к давно забытой старой родине; третьи остаются потому, что от привычки и времени невольно полюбили свою тюрьму и не хотят оставлять насиженного в ней места. Но я вас утешу: есть и исключения. Некоторые остаются сознательно и с охотой...

— Кто же?

Гуслев подумал, что хозяин сошлется на него и на Чулкова.

— О, это прямо надежды края! — громко и эффектно заключил Музыкантов, утирая губы и любезно раскланиваясь в направлении друзей своих, Зиньзиньского и Чабаненка.

Не успел Музыкантов сказать эту любезность, как отворилась дверь, и в зале явилось новое лицо: местный исправник Капканчиков, простой и неказистый на вид отставной пехотный офицер, не охотник до россказней, сдержанный, робкий, беднейший, честнейший и усерднейший служака, имевший одно, ничем не отвратимое несчастье: жену, которая в течение десяти лет сожительства родила ему одиннадцать человек детей и снова, как слышно, была беременна. «Я исполнял бы закон во всей строгости, — говаривал Капканчиков, — руки на подлецов, особенно крупных, так и чешутся; но коли не я им, а они мне свернут шею, кто защитит моих птенцов и жену?»

— Стул и прибор г-ну Капканчикову! Милости просим сюда, ко мне, — сказал, засуетившись, хозяин, очищая исправнику место возле себя.

Все как-то присмирели. Один Вава с Еней, вынув pince-nez, оседлали ими себе носы и стали разглядывать исправника, посмеиваясь и толкуя о нем шепотом между собой.

Капканчиков сел, не поднимая глаз, утолил первый аппетит, медленно отпил налитого хозяином вина и тихо стал извиняться перед Музыкантовым, что несколько опоздал на его праздник.

— Откуда же вас Бог несет?

— Издалека-с! — вполголоса сказал исправник. — Сделал верст полтораста со вчерашнего вечера, и все по нашему уезду. Обширная-с местность. Всю спину расколотило.

— Что́ нового? — спросили его несколько голосов.

— Как вам сказать? И мало, и довольно! Только как бы не напугать дам? — тихо прибавил Капканчиков.

Но его слова услышали.

— Что́ такое? Что? — заговорили несколько голосов.

Все смолкло. Тарелки перестали звенеть. Даже пестрая и разнокалиберная приезжая прислуга остановилась с тарелками и блюдами в разных концах залы. В околотке все знали хорошо, что уж когда неразговорчивый Капканчиков собирался сообщить какую-нибудь новость, то новость его сразу выходила из ряда вон.

— Дело в том, — робко объявил исправник, — что я получил депешу от губернатора: из соседнего острога убежали двое самых опасных и закоренелых арестантов, дезертиры Савка Молодичка и известный по множеству самых дерзких грабежей Зоська Отченаш!

— Батюшки-светы! Отченаш! Экое богохульство! — воскликнул Музыкантов. — Уже за одну бы эту дерзость следовало по старине бить батоги нещадно.

— Куда же направились беглецы? — тихо отозвалась никого и ни о чем обыкновенно не спрашивавшая мадам Музыкантова, которой невзрачный чепец с лиловыми лентами, от одного известия о разбойниках, слез с затылка и повернулся бантом на лоб.

— След арестантов, сударыня, показался в направлении к нашему уезду. Бояться нечего, но, конечно, лучше быть наготове. Удвойте караулы. Приметы же

их разосланы, и меры к поимке их приняты самые энергические...

— Достойнейший начальник уезда! — оппозиционно перебил Музыкантов. — Извините меня, но это — общая фраза всех полицейских заявлений и публикаций! Приняты меры — и только! Того ли заслуживают эти негодяи? Того ли, спрашиваю я вас, когда мы и наши хозяйства кровью исходят?

— И, господа, — перебил Капканчиков и сам, кажется, удивился, что решился противоречить, — забыли разве, в каком мы крае? Трудимся, бьемся; барыш ли принесет последняя пущенная копейка или завтра же полное разорение? Вам и мне разорение, остальным какое дело? Остальные будут еще счастливее. Плоха полиция, мало у нее средств? И отлично! Пусть еще более вы, господа, страдаете от всяких грабежей и злодейств, и тогда поневоле сами опомнитесь, сомкнетесь плечом к плечу и придумаете способ выйти из затруднений. Не все же, господа, ждать подачек от правительства. Пора ж облегчить труды всеобщего опекуна...

— Однако, вы того-с! — перебил Музыкантов, подмигивая исправнику, — еще вас сочтут революционером, проповедником этаких учений... Исправнику не годится...

— А хоть бы и сочли! Я хочу сказать, что потери отдельных жертв только проложат путь к процветанию остального края. Положим, я трудился и разорился, пострадал и мой сосед. А в итоге является засаженный в овраге сад, глядишь, возле вырос поселок, по степи бродят раскормленные волы; чумацкий путь, сотню лет шедший в далекий обход, благодаря новому колодцу сворачивает влево, напрямик, через глухой дотоле хуторок, не зная даже, следует ли и благодарить кого за это уменьшение тяжелого пути... Вот, хоть бы такая штука у нас в уезде произошла с Безлюдовкой, арендой Чулкова...

Музыкантов, указав на Гуслева, объяснил исправнику, что это — компаньон Чулкова. Исправник раскланялся и сказал:

— Очень рад, но вы с вашим другом платите исправно подати, и мы, полицейские, поэтому вас и не знаем... Предлагаю, господа, тост! Вы пили их несколько: позвольте и мне провозгласить один — за здоровье тружеников Новороссии!

Громкий туш музыки завершил последние слова. Все пили и повеселели, так как все сочли себя тружениками и пионерами. Наконец, гости с шумом и говором встали из-за стола и разбрелись по комнатам. Начало вечереть.

Капканчиков, давно искавший случая познакомиться с Чулковым, обрадовался, что мог узнать о нем кое-что от его компаньона, и пригласил Гуслева побеседовать с собой. Они вышли в сад, долго ходили там и говорили.

— Вы как находите здешнего хозяина? — спросил как бы в рассеянности исправник.

— Ничего, как все здесь. Жуирует себе, в почете...

— Ну-с, а здешние места вам понравились? — спросил исправник.

— Как-с?..

Гуслев остановился. Сад одевался сумерками. Из предводительского дома, где гости уже сели за карты, неслись отрывочные голоса, смех и звон убираемой посуды.

— Как бы вам сказать? — продолжал Гуслев. — Здесь мало... пищи для души, мало... этих высоких-с идеалов! Оттого ли, что небо здесь так всем пригляделось, только в этой Новороссии глаза всех постоянно смотрят под ноги, в землю, а не вверх.

— Так вы полагаете... Но позвольте! Все-таки вы мне не ответили на главный мой вопрос: как вы находите здешнего хозяина?

Гуслев опять замялся и откровенно не ответил.

— Извините меня за вопрос, но я давно о вас обоих слышал. Видите ли, я здесь новый человек, всего полгода как переведен сюда, и хотел бы знать ваш правдивый взгляд на Музыкантова. Ничего вы в нем не замечаете? Скажите откровенно. Я вовсе не готовился быть исправником: семья

одолела-с, одиннадцать человек детей, но я взяток не беру. Погнался за даровою квартирой. А прежде учил музыке, даже типографию держал.

— На Музыкантова, кажется, многие здесь жалуются; зато другие хвалят, и чуть ли не весь уезд. Странно; кажется, он прожился...

— Да, это правда! Я просто не знаю, что́ делать с кучей жалоб, поступающих на него. С некоторого времени он решительно перестал платить казенные и частные долги. Все говорят, что он давно промотал и свое состояние, и капитал жены; а между тем, держится и, как видите, не унывает. Я к нему сюда ехал описывать его имение за начет по одному подряду. Что́ вы прикажете с ним делать! Как тут описывать его дом, мебель, овец, когда у него такой благочестивый пир? А напиши губернатору, еще самого тебя вздуют. Ведь он там как свой. Но как ему еще верят: вот, привез ему свидетельство на залог Чемодаровой Таганчи́.

— Таганчи́? Кому? Быть не может!

Гуслев отвел его за кусты.

— Как не может быть: он закладывает имение по законной доверенности самой владелицы!

Гуслев торопливо полез в карман, достал оттуда спичечницу с восковою свечой, из другого кармана вынул номер местных ведомостей и, держа зажженную свечку, сказал:

— Читайте, кстати же я случайно захватил номер с собою! Чемодарова доверенность Музыкантову уничтожила, вот и публикация. Я ее сам из города на днях и привез.

Исправник прочел газету, спрятал свидетельство на залог Таганчи́ в карман, и новые знакомцы молча пошли обратно к дому.

В окнах, между тем, стали зажигаться огни. Поговорив еще с исправником, Гуслев решил, незаметно для всех, скорее ехать домой, пошел к конюшне, попросил предводительского кучера напоить и запрячь буланку, зашел за шапкой в кабинет и после сто раз досадовал на себя, что пошел туда.

В кабинете шел картеж. У зеленого стола кто-то ораторствовал на тему, что «у жителей Мадагаскара и Филиппинских островов собственность и спокойствие гораздо более обеспечены, чем у нас!»

— Вот, хоть бы и я! — отнесся к публике Чабаненко. — Во время эмансипации крестьян все кричали, что следует продавать землю и всякую при ней движимость, что вольнонаемный труд не окупает издержек, что надо спешить все обращать в капитал. Я не обратил, но кто поручится, что завтра же налог с десятины не превзойдет дохода с нее? А тут еще всякие дневные и ночные грабители.

— Что же после этого делать? Чем поправить зло? — произнес кто-то.

— Виселицу поставить, — решил Музыкантов, — на воров и грабителей, столько их здесь расплодилось! А не то, годика бы на три нашу Новороссию объявить в осадном положении!

Юнкер, сын Чабаненко, малый рябой и здоровенный, которого Гуслев уже видел раз, с белыми испуганными глазами и золотушный, отчего в ушах его всегда виднелась вата, уже два раза перед тем с Вавой и Еней ходил в буфет к хозяйской экономке, оба раза выпивал с ними там по рюмке коньяку и теперь стоял, покачиваясь, у карточного стола, силясь уследить за штосом. Вава Музыкантов в свой черед также охмелел, но не спускал глаз с пальцев отца, ловко и с шуточками метавшего тысячный банк. Он сбегал в сад, пробрался там в кусты, стал на колени и несколько минут преусердно и от души молился, кладя земные поклоны и шепча: «Господи, помоги папаше обыграть гостей — я тогда тоже свечку поставлю». Запустив руки в карманы нарядных брюк, он стоял, чуть дыша, бледный и старообразный, и благоговейно, наподобие дипломатического агента, слушающего на конгрессе королей доклад первой государственной важности, смотрел то на карты, то на груды ассигнаций и золота. Этот

избалованный гимназист, посылавший из губернского города дважды в месяц послания к отцу о деньгах, где подписывался «Варфаламей Музыкантов», и на экзамене, два года назад, на вопрос об арифметике ответивший: «Арифметика есть числа, которые...» — тем не менее в карточной игре был с малолетства дока первой величины. И теперь уже он дважды выходил из кабинета в залу, где и Еня в уголке метал банк трем драгунским офицерам, и шептал ему на ухо: «Папаше, Еня, не везет, туз дан, а после того сряду даны еще три валета; он понадеялся на даму треф; бац, и дама...» Еня, впрочем, сам проигрался в пух и в прах и, красный, как рак, просил у своих противников позволения заложить в банк бирюзовое колечко сестры Вари Чемодаровой с ее вензелем («А у него, я с нею разошелся и кольца не надо!»); заложил и тоже проиграл. Он занял, через Ваву, у Музыкантова-отца двадцатипятирублевую бумажку и ее спустил тут же. Юнкер Чабаненко решил выручить друга во что́ бы то ни стало. Он отозвал офицера Воронова, победителя Ени, в сени, показал ему запертые на то время в чулане и всюду возимые с ним легавую собаку Калипсу и тульское подержанное ружьецо и заложил их в банк за Еню. Но молодцеватый драгунский штаб-ротмистр Воронов, видевший такие виды не раз, сел за стол, с расстановкой откатил обшлага сюртука и батистовой рубашки, причем всем и каждому показал дивную белизну рук и белья, сказал Разноцветову: «Мечите» — поставил карту, загнул ей угол, потом целый бок, накрыл ее жирным пальцем с перстнем и сразу выиграл у Ени и собаку юнкера Калипсу, запертую в чулане, и запертое там юнкерское ружье.

— Что же теперь нам делать? — спросил юнкер, моргая бледными глазами. — Ни ты, ни я, ни Вава ничего не выиграли.

— Ничего, — ответил Еня, — наверстаем после...

В это время в зале грянула музыка.

Начались танцы. Еня Разноцветов, с блуждающими глазами, вышел к танцующим, взъерошил волосы и сказал: «Кутить — умирать, и не кутить — умирать, так уж лучше кутить!» — почему-то пригласил увесистую хозяйку дома и, как бешеный, понесся, вертя ее, в вальсе.

За ним, с другою дамою, поспешил пуститься на сухих, жиденьких ножках ни в чем от него не отстававший Вава Музыкантов. Разноцветов кончил круг вальса, оставил оторопевшую от прыганья m-me Музыкантову, наткнулся в дверях гостиной на Гуслева, потрепал его по животу, любезно сказав:

— Барабанчик, душка! — и видя, что Гуслев на это освирепел, громко прибавил: — вы меня сменили у сестры: то я был у нее на посылках, а теперь вы. Плоха, однако, надежда на поживу у нее: скупа и себе на уме. Проведет и вас, и Чулкова.

Гуслев схватил его за руку и потащил в кабинет.

— Извиняйтесь, — гаркнул он, — или я выкину вас в окно!

— Что́ вам нужно, что́ вы? — спросил, ретируясь от него и садясь в стороне, Разноцветов, — чего вы ко мне пристаете?

— Извиняйтесь! — прибавил еще громче Гуслев, крутя по-былому усы и не поднимая от полу глаз, — извиняйтесь сейчас!

— Шалишь, камрад! Я сестре Вареньке прямо напишу, чтоб она тебе не давала комиссии в город за покупками! Ишь ты, платочками, духами отдариваешься...

— Извиняйтесь! Все это — пустяки-с; вы обидели своим отзывом даму...

— Дудки, старче, — отрезал Еня, весело закидывая ноги через ручку кресел и смотря в pince-nez на концы лаковых ботинок.

— Еня, закрой клапан! Лишние пары пошли! — сказал Вава Музыкантов.

— Я — закрой? А пусть он лучше расскажет, почему у него лицо такое смешное, и для какого резона он напомадил себе затылок, а виски оставил так, без помады?

Гуслев невольно тронул себя рукой за голову. Присутствовавшие начали смеяться.

— Это бы, наконец, еще ничего, — продолжал Еня, лежа в кресле, смотря себе на жилет и болтая в воздухе ногами и ругами, — но я бы хотел знать, как у вас там, новые пустынники, на острову насчет женского пола?.. Надеюсь, что Вар...

Раз-два — крак! Гуслев в один взмах подхватил с кресла долговязого Еню, шагнул с ним по кабинету, и не успели гости ахнуть, выкинул его в открытое окно в сад.

— Вот тебе теперь и лезь. Да-с! — резко заключил Гуслев, дико озираясь кругом и как бы вызывая других на борьбу с собою.

— Ловко! Как кошка, стал прямо на ноги в саду. Но, увы, попал в кусты крапивы... Ха-ха-ха! — рассмеялись гости и побежали смотреть на Еню.

Музыкантов подошел к исправнику.

— Ах, как я досадую! — сказал он тихо Капканчикову, — что этот оригинал позволил себе сделать такую вещь, и еще с родственником моей доверительницы Чемодаровой, и где же? У меня! Еще бы с нею не поссориться...

— Не думаю; нечего вам, Ардальон Аркадьич, и беспокоиться об этом! Вы, я слышал, покончили счеты с Чемодаровой и бросили ее?

— Кто вам сказал? Это неправда!

— Странно, как вас не предупредил Евгений Андреич! В газетах помещена ее публикация о прекращении данной вам доверенности...

— Разве она приехала домой?

— А вы этого и не знали?

— То есть я... ах, да! Что же я! Так, так; во всем мы с нею условились еще по письмам, я и забыл за хлопотами...

— Следовательно, свидетельство на залог Таганчи вам теперь не нужно?

Музыкантов подумал, помолчал и сказал:

— Да, не нужно, разумеется, не нужно! Я хотел даже вам об этом писать.

Музыкантов смешался. Но глаз Капканчикова ясно видел, что он потерялся не совсем и что, вероятно, была у него лазейка и тут.

В зале опять раздалась музыка. Гости еще потанцевали. Еню с Гуслевым постарались свести и кое-как, хотя для виду, опять помирили.

— Господа, кушать! Ужин готов! — произнес хозяин, и все веселою толпой снова двинулись к накрытому столу.

И опять гости много и сытно кушали, и снова лилось шампанское! Один Еня, похрамывая, сел за ужин сумрачный и помышлял: «Постойте же вы, пустынники, я вас проучу...»

«Да, — размышлял Капканчиков, слушая звяканье ножей, тарелок и ложек, — пир на славу; но что же это теперь так задумался и более не ораторствует сам виновник пира? Он, кажется, понял, что лучшая жертва его освободилась. На кого-то теперь поведет приступ? Любопытно бы знать, любопытно! Не будь я Капканчиков, если не узнаю...»

Но обладатель обширного чутья и еще более обширного семейства не знал в эти мгновения мыслей Музыкантова. Ардальон Аркадьевич, простившись с ним, подумал:

«Хорошо же, ты мне подставила ногу по Таганче, я тебя проучу иначе. Сама ты мне с глупа-ума оставила такую бумагу, что Таганча́, когда только захочу, будет моей».

Через неделю после этого торжества Евгений Андреич Разноцветов был зачислен Музыкантовым в должность предводительского секретаря, причем стал выполнять и другие поручения по делам Музыкантова и в два-три месяца, под рукой Ардальона Аркадьевича, свел знакомство с людьми самых невероятных ремесел и наклонностей: с шулерами, содержателями губернских танцклассов, с ростовщиками и проч. Денег, по слухам, однако же, у Ардальона Аркадьевича не прибывало. Он кое-где хватал еще взаймы по мелочам, но в то же время друг его Зиньзиньский, нежданно-негаданно сняв в аренду чей-то

глухой хуторок за Опалихою, по имени Ульяновку, стал затевать в нем громадную ссыпку хлеба, по казенному подряду, и отделывать какой-то, особенного устройства, кожевенный завод с улучшенными машинами, выписанными из-за границы, на тайную складчину трех друзей: Музыкантова, Чабаненка и самого Зиньзиньского. Недоставало им для их предприятия только одного, а именно: такого дельного и капитального компаньона, каким бы мог быть Чулков. Поэтому они стали увиваться вокруг Александра Ильича, но пока без успеха.

VI

Волка ноги кормят

В городе и в уезде скоро заговорили о том, что Музыкантов окончательно разорился, что он уже ищет казенной службы с хорошим жалованьем, хочет распродать остатки заложенных и перезаложенных имений и уехать из губернии; что его векселя стали ходить у соседних ростовщиков чуть не по четвертаку за рубль и что вот-вот кто-нибудь, не уважив его сана, в одно прекрасное утро посадит его за долги в тюрьму. «Этакое огромное состояние, и так нежданно повихнулось! — говорили одни. — Как пошатнулось такое здание! Еще на наших глазах, чуть не вчера, это была полная чаша всего и чуть не первое имение на несколько уездов. Где эти солеварни, винокуренные сахарные заводы? Где тысячи десятин земли?» — «Э! — возражали другие, и в том числе Чулков, — что́ тут удивительного! Сотни десятин земли у людей средних привычек труднее проживаются, чем десятки тысяч у иных господ крупного полета, кидающихся в аферы.»

— Что́ обидно, — заметила однажды Варвара Аркадьевна в разговоре с Чулковым, — это совершенно непостижимое сближение моего Ени с этим господином. Еня

решительно стал его клевретом, и Музыкантов мыкает этим ветрогоном, как пешкой, заставляя его, по своим делам, вращаться в самом подозрительном обществе.

Чулков незаметно для себя стал чаще и чаще бывать в Таганче. Соседка чаще и чаще советовалась с ним насчет своих хозяйственных забот. Сперва Александр Ильич уверял соседку, что дорожит временем, что время — золотая руда и что он не может долго у нее оставаться, почему постоянно и спешил уехать. Потом, продолжая говорить на тот же лад, стал невольно засиживаться в Таганче по целым дням. Богомольная тетушка Чемодаровой сперва присутствовала при этих свиданиях, по-прежнему копаясь над вязаньем, вздыхая, крестясь и подозрительно поглядывая на гостя.

— Скоро ли вы нас устроите? — спрашивала она. — Пора бы нас уже и отпустить. Как бы не разминуться нам с мужем Вари.

Потом она в гостиной уже почти не появлялась, лишь изредка напоминая о себе мрачными и торжественными мелодиями, которые в вечерней темноте по-прежнему иногда раздавались в верхней зале, над головами Чулкова и его собеседницы, и часто не умолкали до полуночи.

Чемодарова, к удивлению соседей, делала чудеса по хозяйству. За овечью шерсть она выручила втрое против прежних годов, хлеб закупили у нее на корню, кстати, урожай в этом году вышел великолепный. Она послушалась Чулкова, последнюю свободную копейку минувшей весной затратила на посев льна и, получив за него осенью деньги прямо с корабля, приехала домой, разочла стоимость будущего посева и будущей уборки хлебов, отсчитала чистый доход и пришла в такую радость, что, запершись в спальне, вымыла и щеточкой вычистила каждый полученный червонец, а ассигнации даже собственноручно разутюжила и с замиранием счастливого сердца прислушивалась, как звонко щелкнул ключ в комоде, куда она спрятала первый барыш.

— Вы правы, — сказала она на другой день Чулкову, который приехал к ней по обычаю с новыми газетами и журналами, — здешний воздух... близость торгового моря... так все здесь пахнет прелестями наживы, что я боюсь, как бы не сделаться самою алчною и скупою, как рыцарь Пушкина... Мы проживаем в год две тысячи, а я получила разом пять. Вы смеетесь? Я так обрадовалась вчера вырученным деньгам, что, кажется, как заперла их, так уж никуда и ни за что теперь их не выну!

— Не бойтесь, вынете! Вы сеяли двести десятин льна и получили пять тысяч, кроме барыша с пшеницы, а на весну, пожалуй, разохотитесь, заготовите пахати для льна четыреста десятин и, разумеется, получите в один куш десяток тысяч! Вот по неволе опять и станете тратить.

— Неужели десять тысяч сразу? Да, лучший двигатель-опекун и советчик для человека — его собственный карман. Лишь бы сила воли да здоровье!

Чемодарова не могла прийти в себя от мысли о десятитысячном доходе.

— А не посеять ли уж сразу шестьсот десятин льна? — спросила она.

Чулков улыбнулся.

— Слишком торопитесь. Это возможно, но смотрите: пожалуй, денег на уборку не хватит! Как поспеет, тогда давайте сразу куш; не то осыплется! Подождите лучше; зачем все сразу? Посеете шестьсот десятин через год.

Чемодарова, однако же, думала иначе и, после некоторого колебания, сама с собой решила к новой наступавшей весне заготовить под лен шестьсот десятин, а под пшеницу еще четыреста, итого тысячу десятин под посев.

— Эх, барыня, — говорил конторщик Филька, — много вы затеваете сразу сеять, не успеем убрать.

— Разбогатеть сразу, Филя, хочу! Другие же ведь богатеют.

— Богатеют-то богатеют, да помалу, а не сразу. Надо подумавши...

— Дурень думкой богатеет, а не умные, как мы с тобою, Филя! — шутила барыня, присутствуя в амбаре при очищении льна на будущий посев.

— У нас, сударыня, места глухие: иной раз и за деньги не найдешь. Опасно.

Но барыня положила поставить на своем.

— Ляд его побери! — ворчал в свою очередь Гуслев, которому, с учащенными поездками приятеля в Таганчу, приходилось поневоле одному следить за работами в Безлюдовке. — Или он лениться стал, или втюрился в эту барыню-монашку и забыл свою Дуню?

Белолицая Дуня также от этих поездок задумалась и, в ожидании поздних возвратов Чулкова из-за Опалихи, стоя за воротами усадьбы, не раз потихоньку плакала. Гуслев же один раз даже освирепел, что Чулкова не было опять дома. А именно, в Безлюдовку опять нежданно заехал Музыкантов.

— Александр Ильич дома? — спросил Музыкантов, входя на крыльцо.

— К сожалению, нет, — ответил Гуслев.

— В Таганче? За соседкой ухаживает?

Гуслев промолчал и покосился на гостя.

— Пусть, пусть, дело хорошее! И я, разумеется, ему не соперник! Чемодарова обидела меня неуменьем ценить услуги, я ей, впрочем, простил, Бог с ней... Но... делать нечего... скажите, однако, г-ну Чулкову, что у меня для него приготовлено дело получше. Так и скажите: лучшее и гораздо лучшее дело!

Гуслев поклонился. Музыкантов закурил сигару, медленно спустился к коляске, запряженной парой рысаков, занес ногу в экипаж и опять возвратился на крыльцо

— Послушайте, г-н Гуслев! — сказал он, слегка изменяясь в лице и, что́ удивило Гуслева, с заметным дрожанием нижней губы, — могу я говорить с вами совершенно откровенно?

— Сделайте милость, можете вполне положиться.

Музыкантов оглянулся.

— Извините, позвольте переговорить наедине в комнате.

Они вошли в спальню Гуслева, где Музыкантов бережно припер дверь и, оглядевшись кругом, взял Гуслева за пуговку пиджака и тихо спросил:

— Скажите, каким путем так неожиданно разбогател ваш компаньон? Говорят, что у него в банке за десять тысяч... один чиновник банковой конторы в клубе проговорился.

— Да-с... мм... довольно! — ответил Гуслев, сам впервые, впрочем, слыша, что неусыпные и упорные труды Чулкова увенчались таким успехом, — земледелие-с, скотоводство-с, ссыпка хлебов, ну и прочие источники-с...

— Так скоро разбогатеть! Непостижимо, удивительно! Мозг поражается! И где: на той же земле, что и мы тщетно топчем. А мы, здешние старожилы, только разоряемся и лезем в петлю.

Гуслев не без гордости подбодрился и оправил галстук, как бы говоря: «Н-да-с... вот мы каковы! Не чета вам!» Музыкантов встал, прошелся по комнате и вдруг, остановясь с совершенно изменившимся, бледным и точно сразу осунувшимся лицом, причем Гуслев опять увидел у него дрожание губы, спросил:

— Послушайте... не обижайтесь. Мне можно намекнуть... Уж не делаете ли вы тут с ним, батюшка, фальшивых ассигнаций?

И, склонясь к самому носу Гуслева, Музыкантов прибавил:

— А если и делаете, то ничего тут нет удивительного с нашими порядками, ей-Богу! Дело выгодное! О, выгоднее его нет! Вас разорят; ну, и вы их того-с... Волка ноги кормят! Ведь у нас только и может быть киргизское отношение гражданина к отечеству. От трудов правильных не наживешь у нас палат каменных. Это и слепцы нам в песнях поют...

— Что вы... Бог с вами... какие шутки! — сказал и буквально отпрянул от него Гуслев. — Вот у вас какие о нас мысли!

Гуслев позеленел и принял угрожающий вид.

Музыкантов опомнился, хотя не сразу опять пришел в себя. Невероятное предположение, что домосед и затворник Чулков мог в этой глуши заняться подделкой ассигнаций, налетело на него, как взрыв минутного, необъяснимого помешательства.

— Я пошутил! — спохватился Музыкантов. — Извините меня, достойнейший Ипполит Панкратьич! Вы меня не поняли... Но шутка моя необидна. Поневоле у нас подшутишь над человеком, который честно наживает свой хлеб. Извините еще раз!

Гуслев отошел, решив, что Музыкантов действительно пошутил и сердиться на него не стоит. Гость собрался ехать и сказал ему:

— Да, кстати, я главного вам все-таки не передал: если у Александра Ильича будет свободное время, попросите его заехать ко мне. Я затеял кожевенный завод. Если он не захочет идти со мною в долю, пусть хоть даст совет. У него счастливая рука. Да он у меня в долгу: ни разу у меня не был.

— Передам все это непременно.

— Да прибавьте... что вещь действительно доходная. Как он ни богатеет со льном да с гуртами, а и ему не мешало бы разбогатеть еще больше...

Гуслев передал это предложение Чулкову, но, не желая его ссорить с Музыкантовым, выходки последнего насчет подделки ассигнаций и о том, что волка ноги кормят, ему не сообщил. Чулков махнул рукой и решил: «Бог с ними; не мешался я в здешние дела и не буду мешаться. С меня довольно и моих затей и хлопот. Не ездил я к нему и не поеду».

Частые поездки Чулкова в Таганчу, между тем, очень скоро привели к случаю довольно неожиданному. Привыч-

ка сесть в дрожки, взять вожжи, тихо выбраться на буланке за Опали́ху, выехать на косогор, спуститься к чемодаровской усадьбе, видеть привлекательную Варвару Аркадьевну, слушать ее речи, читать ей хорошие вещи — словом, отводить с ней душу, сделала то, что один раз Чулков, читая ей что-то через пяльцы, за которыми она гарусом и фольгой вышивала, по желанию тетушки, воздухи в церковь, сложил вдруг книгу, посмотрел на Чемодарову и тихо сказал:

— Варвара Аркадьевна, вы не обидитесь?

— Нет.

Он помолчал.

— Знаете вы новость?

— Какую?

— Один господин здесь в вас влюблен и жить без вас скоро будет не в силах.

Рука с иглой у Чемодаровой дрогнула, гарусная нить оборвалась.

— Вот еще! — покраснев и не спуская глаз с узора, ответила Чемодарова. — Так и влюбился? Не верю...

— А между тем, правда.

— Кто же это?

— И почему вы не верите?

— Очень просто: потому... потому, что я все о вас знаю, все...

— Что же вы знаете обо мне?

Чемодарова, продолжая искоса рассматривать узор, нагнулась ниже к пяльцам, выдернула из клеточки надорванную гарусинку, ласково взглянула на Чулкова и ответила:

— На то уж провинция, почтенный сосед, чтобы все знать... Да-с! Знаем, что есть на свете ключница Дуня... весьма милая и красивая особа: русая и с голубыми глазами. Скажите, не правда? Ответьте откровенно.

И Чемодарова с наслаждением ожидала, как это Чулков окончательно смешается и не найдется, что́ отвечать ей.

Чулков никак не ожидал услышать такое возражение; однако же выдержал себя, перевел дух, вынул табачницу и с рассчитанным спокойствием стал делать папироску.

— Что́ сказать? Мы — люди простые, Варвара Аркадьевна, не сказочные великаны, не образцы добродетели! — ответил он. — Я не рисуюсь перед вами. С Дуней я точно подружился, мимоходом, запросто. Со мной было, как бывает у нас, мужчин, сплошь и рядом. Идеалы на ту пору молчали...

— А теперь?

Чемодарова продолжала шить, не поднимая глаз и еще более склонив к пяльцам разгоревшиеся щеки, уши и глаза.

— Какая разница! Вас я увидел, как видят хороший и несбыточный сон; я исподволь узнал вас, оценил и, наконец, сознательно, всею душой влюбился в вас. Отнять у меня это чувство вы не можете, потому что оно свободно, не вредит ни вам и никому другому, а мне доставляет много счастья. Сказать же это вам, действительно, я не собирался и не думал, да так уж случилось...

Чемодарова усмехнулась.

— Дуня знает об этом?

— Догадывается... Я все улажу...

Чемодарова оглянулась, встала, собрала гарус, узоры и закрыла работу.

— Очень жаль, Александр Ильич, — сказала она, остановясь у стола, — вы — хороший и честный человек; благодарю вас за откровенность. Но вряд ли мысли ваши могут остановиться на мне... Я — вдова и вместе с тем не вдова...

— И после семи лет вы будете то же говорить?

— Послушайте: все, что я имею, досталось сперва моему мужу, а потом мне, от тетушки; и хотя бы я могла теперь выйти замуж, я не пойду: это убьет старушку, а я так ее люблю. Она долго меня убеждала и наконец взяла с меня клятву — молиться, ждать и не выходить ни за кого...

— И вы дали ей эту клятву?

— Дала, потому что поручиться нельзя: мой муж, может быть, давно погиб, а может и каждую минуту явиться опять. Останемся же друзьями, как были, Александр Ильич. Мне жаль, но неужели же из-за моего чистосердечного ответа нам ссориться? Лучше будем видеться по-прежнему; вы нам помогайте скорее устроиться и уехать за границу. А я к утренним и вечерним молитвам прибавлю еще одну: «Господи, спаси и помилуй меня и не дай мне и самой влюбиться в Чулкова».

Она шутливо подала руку Чулкову, сказав снова:

— Не правда ли? Мы будем видеться, как прежде?

«Отказала она мне или не отказала? — думал Чулков, возвращаясь домой. — Да, не будь этой невероятной тетушки, может быть, теперь же...»

И через день он опять поехал к Чемодаровой, стал попрежнему беседовать о том, о сем, о литературе, о хозяйстве, читать Бальзака и строить планы о посеве на будущий год.

Ардальон Аркадьевич Музыкантов еще протянул несколько месяцев, выезжая то на том, то на другом предприятии и порываясь спастись от неминуемого банкротства. Наконец он увидел, что для него нет выхода, и решился осуществить давно задуманный, необычайный план. Это было осенью пятого года пребывания Чулкова в тех местах. Музыкантов созвал к себе в Ганновку неизменных, промотавшихся, как и он сам, друзей своих, Чабаненка и Зиньзиньского. Вечером, в проливной дождь, затворился с ними в кабинете, предложил им последние столичные газеты, долго в волнении ходил тут взад и вперед, обращаясь к ним с отрывочными фразами по поводу вычитанных новостей, наконец, посмотрев, заперта ли как следует дверь, стал посреди комнаты и сказал:

— Ну-с, господа, теперь я приступлю к окончательному решению... Вы знаете... Так как я с обоими из вас порознь давно обсудил задуманное вами дело и получил одобрение

и согласие, то теперь нам остается решить сообща последние подробности... Я говорю...

Музыкантов затруднился говорить далее. Его глаза неопределенно мигали, щегольское платье стало как будто чужим, молодцеватый вид исчез, точно улетучился куда-то.

— Я, господа, говорю... то есть я окончательно... или, иначе, не я, а все мы о нашем решении втроем... ну, вы знаете? Говорю проще — о нашей мысли составить компанию в складчину для того, чтобы... вы знаете, делать и выпускать фальшивые ассигнации... Согласны?

Чабаненко и Зиньзиньский, один красный, а другой бледный, с присохшими языками, хотели было развязно улыбнуться, но напрасно. Услыша эту речь, они сперва боязливо взглянули друг на друга, потом на Музыкантова, подумали: «Что же это, однако, ты струсил?» Хотели что-то сказать, но, не сказав ни слова, молча разом ударили по его рукам.

— Значит, идет? Канаты обрублены и якоря брошены в море?

Те кивнули головой. В это время на дворе раздался звон колокольчика.

— Это Скардачевский, верно, армяшку привез! — сказал Музыкантов.

И, действительно, в кабинет скоро вошли щеголеватый отставной гвардейский капитан и игрок Скардачевский и один из главных местных ростовщиков армянин Халатов. Скардачевский уже был украшен сединами, но его морщинистые щеки еще были румяны, ходил он на мягких ступнях, с развальцем, и вообще напоминал бойкого и неутомимого пристяжного коня в тройке кутилы-любителя. Армянин Халатов был бледный, страшно худой шестидесятилетний старик, на памяти многих местных жителей торговавший спичками и ваксой, а теперь ворочавший порядочным капитальцем. Музыкантов повторил и им сказанное выше.

— Итак, господа, — сказал он в заключение, — компания наша, с помощью Аллаха, составлена, существует и отныне открывает свои действия. Но, позвольте. Всем нам пятерым надо спросить: почему она составилась? Резюмируюсь: одни из нас разорились, обнищали и хотят спастись от петли; другие пристают к нашей компании, чтоб еще более нажиться. Не забудем, что мы — не алтынники, что в камышах куют из олова целковики да четвертаки. Мы сразу выпустим по сто, по двести тысяч рублей фальшивых депозиток на человека. Люди у нас, как вы знаете, приготовлены, машины и место избрано. Под моим руководством никто нас, разумеется, в этом не заподозрит; да наконец я найду и уже почти нашел, кроме нас пятерых, охотников, готовых поделиться с нами этими фабрикантами, и в таких, прибавлю, губерниях и даже столичных сферах, где нам легко помогут спрятать концы всякого рода дел и куда не проникал и без сомнения не осмелится проникнуть ни единый глаз нашей убогой и бездарной полиции. В заключение скажу еще два слова и о вас, друзья мои. Вы, Афанасий Андреевич, вы, Макдональд Егорыч, и вы, господа Скардачевский и Халатов, все вы, окунув носы в это дело, становитесь равными ответчиками в нем. Вероятно, вы обдумали случайности всего. Закон за это дело определяет всем и каждому — вы знаете — каторгу. Значит, осторожность не будет лишняя никому из нас. Теперь перейдем к вопросу о средствах для скорейшего и неотложного устройства этого дела. А до той поры не закусить ли нам и не выпить ли?

Хозяин позвонил, слуга внес закуску и вино. Музыкантов продолжал:

— В нанятом за Опали́хой хуторе Ульяновке Зиньзиньский положил для виду устроить склад хлеба по подрядам и завод для машинной выделки кож. Мною в прошлом еще году приторгованы машины для подделки денег, не простые, а самые лучшие, заграничные, через одну из типографий. Цена за все три машины: гравировальную, печатную и гласировальную — двенадцать тысяч; наем хутора, бумага, кра-

ски, наем резчика и печатника — три тысячи; всего пятнадцать: по три тысячи на каждого. Вы, господа, когда внесете ваши деньги?

Срок сообща был тут же назначен такой: через неделю взнос по тысяче на задатки, остальные деньги, по две тысячи с брата, через два месяца.

— Деньги будут? — спросил Музыкантов.

— Будут.

— К сроку и сполна?

— К сроку.

— То-то же, не подведите меня. Надо сразу укрепить наш кредит и нашу почву в этом деле.

— Кто же печатник и резчик? — спросил, оглядываясь, Скардычевский. — Вы меня извините, я пристал к вашему делу из одной охоты к риску, к тревоге. Я имею пять тысяч дохода в год... Все ли у вас хорошо устроено?

Музыкантов лукаво прищурил глаз, щелкнул пальцем, даже подпрыгнул и сказал:

— А вы думали, что у меня дело идет вяло и как-нибудь? — подошел к другой боковой двери кабинета, ведшей в отдельную темную угольную, и ввел оттуда двух новых лиц. — С той поры, как мы еще впервые и шутя об этом перемолвили, я уже договорил нужных нам людей; они у меня два года жили на жалованье, ожидая призыва, один на Кавказе, а другой на Дону, и теперь оба к вашим услугам. Имею честь рекомендовать: резчик герр Липпе и печатник Дроздов.

Герр Липпе и Дроздов поклонились. Это были две совершенно темные личности, на одном оказался долгополый мещанский кафтан, на другом — дырявые штаны и грязная немецкая зеленая куртка.

Недавно еще богач и гордец, любимец целого уезда, Музыкантов заегозил возле проходимцев, усадил их в мягкие кресла, налил шампанского, провозгласил тост за успех компании, шутил, суетился, не поднимая, впрочем, глаз, точно только что обокрал кого-нибудь.

— Ловок, бестия, — шепнул Скардачевский Халатову о хозяине, с которым он еще недавно был постоянно в конторе, — как все вел! То о замысле устроить фотографию слухи пускал, чтобы с арестантов, на случай их бегства, карточки в остроге снимать. Потом пустил молву о ссыпке хлеба, о кожевенном заводе, и такого пройдоху к себе взял, как этот Зиньзиньский. Откуда он?

Халатов заморгал отвислыми веками красных и больных глаз и тихо ответил:

— Ицка говорил, чуть ли не с каторги.

— Ульяновка, однако, всего в десяти верстах от квартиры станового! — сказал громко Чабаненко, наливая шампанского и не без отвращения косясь на рожи главных техников будущей фабрики. — Кажется, это будет не совсем ловко и небезопасно для дела.

— Напротив, тем лучше: меньше будет подозрения! — перебил Музыкантов. — Разве не понимаете? Кому придет в голову такая фабрика под самым носом уездной полиции? Ведь и у нашей полиции тоже есть самолюбие...

— Когда же приступим к работам? — спросил армянин.

— Через неделю мы внесем в общую кассу задатки и кто-нибудь из нас поедет за машинами! Хотя бы вы, почтеннейший! — ответил Музыкантов. (Халатов согласился.) — По доставке машин на место вышлются за них остальные деньги. Я получил известие: машины уже готовы. Мы сдадим их с припасами... ну, хоть Макдональду Егорычу, в Ульяновку. Купим для виду кож, для виду начнем ссыпку овса или ржи там, в амбарах, и дело пойдет как по маслу. Резьба несколько задержит нас. Не правда ли, герр Липпе? (Липпе смеется и кивает: o, ja!) К осени, однако же, доски будут готовы? (Липпе снова кивает.) А к Новому году, вероятно, мы соберемся здесь у меня уже для дележа первого выпуска. Полагаю, что лучше всего печатать пятидесятирублевки; их и без того немало фальшивых идет из Нахичевани: следовательно, не так скоро обратят внимание на их случайное, от чего Боже сохрани, открытие в руках

наших будущих меновщиков. Их, наверное, тоже сочтут за нахичеванки. После первого выпуска и раздела денег, машины, доски и прочее разберем и спрячем по частям друг у друга; а вам, господа рабочие, мы заплатим должный пай настоящими деньгами и выпустим вас тогда на все четыре стороны до нового призыва. Так делали и делают доныне все... наши предшественники... фальшивые монетчики.

Последние слова застряли было в горле хозяина, но потом свободно и легко вышли оттуда, так как общее настроение беседующих было спокойное и более веселое, чем мрачное.

Дроздову и Липпе тут же даны задатки, по сто рублей, причем хозяин дал часть денег, а Скардачевский и Халатов добавили своих; и техники, жившие уже более месяца наготове у Музыкантова, под видом его конторщика и машиниста для кожевенного завода, были отпущены из кабинета.

— Еще, господа, вина! — сказал Музыкантов, наливая собеседникам полные стаканы.

Все пили, тихо и благоразумно шутили и покуривали.

— Как бы, однако, не попасться, — произнес, будто про себя, Чабаненко, до той поры скромными жирными глазками рассматривавший то ковер, то потолок кабинета и старавшийся сохранить полное спокойствие свободного в своих речах и действиях джентльмена. — Эти оборванцы могут уйти до срока и выдать нас с поличным...

Все притихли и стали в недоумении поглядывать друг на друга.

— А штуцер зачем? — отозвался молчаливый дотоле Зиньзиньский. — В качестве директора Ульяновского банка фальшивой монеты я приму всякие меры, выслежу беглеца где-нибудь за оврагом да и положу на месте, как собаку; ищи ветра в поле: допрашивай, кого знаешь, кто убит и кто убил. Все это, дяденька, предусмотрено, — продолжал он, кивая Чабаненке, — мертвеца похоронят, как неизвестно кому принадлежащее тело, напечатают о том в газетах, и баста.

Дяденька успокоился. И нельзя было не успокоиться. Безжизненные и всегда как бы потерянные глаза Зиньзиньского стали, казалось, еще бледнее и безжизненнее, но в них все прочли такую спокойную и холодную решимость распорядиться в случае нужды штуцером, что на том этот разговор и кончился. А Музыкантову даже показалось, что словно выеденные молью бородка, усы и брови Зиньзиньского стали густы снова.

— Наконец, — заметил Музыкантов, — я нанял этот хутор для разных надобностей у совершенно непричастного владельца. Если полиция найдет там машины для подделки денег, то мы все отречемся и скажем, что не знаем, кто и когда их туда завез и что ими делал. Не правда ли? Лишь бы отречься! Понимаете? У нас только отрекись — и спасен. Машины привезутся частями, на наемных фурах, под видом земледельческих орудий.

— Да, наконец, риск! Что́ и говорить! — молодцевато заключил Скардачевский. — Риск благородное и упоительное дело... без риска ничего не достигнешь, а тут сразу по сто или по двести тысяч на брата! Это — не пустяк! Голова закружится! Я же рисую, помогу вам при составлении красок...

— Выбрать Скардачевского в контролеры! — сказал хозяин.

Все согласились.

Новые компаньоны проговорили далеко за полночь, условились в малейших подробностях и, заночевав от дождя, на другой день опять заперлись и проговорили до обеда.

— О чем вы там все толкуете? — спросила жена Музыкантова, выходя к обеду и посматривая на всех своими сонными, ленивыми глазами.

— Баланс казенным подрядам, душечка, сводили!

— Что же, выгодно было в этом году? Купишь мне новую коляску?

— Куплю, матушка, непременно куплю.

— А мне ружье, папка, купишь? — спросил сынок Вава.

— Куплю и ружье.

— Слышишь, Еня? — объявил Вава Разноцветову, который еще с утра приехал из города с бумагами к Музыкантову и ныл, в тоске и досаде, толкаясь у дверей кабинета и горюя, что его туда почему-то не пускают.

— От сестры приехал? — спросил рассеянно предводитель, садясь за стол.

— Как от сестры? Да я с нею в ссоре!..

— Ах да, я и забыл! Верно, с Вавой затеваете на охоту? Оставайся, однако, после обеда, Евгений Андреич: ты мне очень нужен. Надо кое о чем с тобою переговорить.

Разноцветов подбодрился, увидев, что и в нем нуждались. По отъезде гостей Музыкантов с Еней заперлись в кабинете.

— Можешь ты мне, Евгений Андреич, сделать величайшее одолжение? — спросил Музыкантов.

— Какое?

— Через неделю на одно дело мне нужно тысячу целковых; они у меня имеются в виду и будут. Но через два месяца мне нужны еще две тысячи. Не можешь ли ты их мне, голубчик, Евгений Андреич, разыскать и достать хоть из-под земли? На дело великого барыша нужно. Повторяю: великого и небывалого барыша! Пахнет чуть не миллионом... Изобретение такое вышло.

Музыкантов говорил это так убедительно и столько вероятия и заманчивости было в его словах о небывалой новой афере, что Разноцветов, глядя на его сверкающие глаза и снова повеселевший, осанистый вид, возблагоговел, всему поверил и готов был легким зефиром лететь за тридевять земель, лишь бы достать ему опять и кредит, и деньги.

— Достанешь мне две тысячи целковых, не далее как через полгода после того я тебе за труд дам — сколько? Ну, как ты думаешь?

У Ени слюнки собирались потечь.

— Не знаю.

— Десять тысяч дам тебе за труд...

14*

Еня так и подпрыгнул, но вдруг снова затуманился.

— Что же ты?

— Не достанем мы более денег с вами, Ардальон Аркадьич, ей-Богу, не достанем; я и забыл, нечего и языки чесать...

Музыкантов готов был проглотить его, но удержался, лениво позвонил, велел человеку принести сельтерской воды и, притворно зевая и потягиваясь на диване, сказал:

— Эку новость выложил! Сам знаю, что трудно. Да ты постарайся и найди, вот в чем дело.

— Ну, где же я достану? Ваши векселя, Ардальон Аркадьич... вы знаете? Ходят уже меньше четвертака за рубль. Вы помните, когда я возил к портовым купцам ваш вексель в тысячу рублей, так его и за сто целковых никто не взял-с.

Музыкантов опять зевнул и, показывая равнодушный вид, переменил разговор. Лежа на канапе, он ни с того ни с сего стал рассказывать соблазнительные анекдоты, строить планы городских волокитств, не щадя и себя, и под конец рассмешил Разноцветова.

— Счастливый вы человек, Ардальон Аркадьич!

— Да что же и унывать! Не ты достанешь, другой постарается достать...

— Одно средство, — проговорил вдруг Еня, — ограбить этого гордеца и фанфаронишку Чулкова. — Все равно: никому неизвестно, как он богатеет; а, кстати же, у меня с ним и с этим прихвостнем Гуслевым еще и счеты есть, вот и поквитаемся.

— Ну, полно врать чепуху. Лучше иди себе и на досуге другое что придумай.

Музыкантов закрыл глаза.

«А право, — продолжал про себя Еня, — найти бы только таких людей, выследить, когда он получит деньги, там, за лен или пшеницу, наехать к нему, положим, будто в гости, заночевать этак в кабинете, цапнуть деньги, выдать в окно товарищу да и заснуть опять спокойно, а утром самому поднять тревогу, что взломан замок... и баста! Кто

догадается? Вот бы с охотой проучил молодца! Варвар, скряга! Недаром он сошелся с моею странницей! Книжки, видите ли, ей читает, учит и ее копить деньги! Изверги! Жить не умеют.»

— Кого это ты так костишь? — спросил спросонья Музыкантов. — С Чулковым, может быть, я еще и сойдусь. Он мне нравится, такой сдержанный кропотун: на черном хлебе, говорят, сидит, на войлоке спит! Не то что мы. А деньги найдешь, коли захочешь мне угодить, — заключил Музыкантов, — надо каждому на свете помнить пословицу: «Волка ноги кормят». Вот и все. Теперь же, извини, оставь меня. Спать хочу.

«То-то, и у тебя, видно, волчьи ноги!» — думал Еня, идя к Ваве, и хотя не вполне был посвящен в тайны патрона, тем не менее знал уже за ним не один его эксперимент на широкий лад, вроде того, какой тот произвел с двухлетним доходом Чемодаровой, о чем сам Еня еще недавно первый же усердно трубил, уговорив и Фильку донести о том Чемодаровой.

«Волка ноги кормят!» — думал он подчас с той поры, поглядывая на окна губернской конторы государственного банка, в тихую полночь идя мимо нее с какого-нибудь городского бала и удивляясь, как могут чиновники этого учреждения, храня там вороха денег, утерпеть, чтобы не поживиться ими и не уйти за границу, при таком легком способе побега, какой представляли те места.

Как-то в Безлюдовку привезли с ближайшей почтовой станции свежие журналы и газеты. В одном из номеров местной губернской газеты Гуслев за утренним чаем прочел Чулкову следующее происшествие, описанное тамошним присяжным фельетонистом.

«*Новый небывалый грабеж.* Почтенные наши читатели предупреждаются, что шайка неизвестных негодяев на днях убила у нас в губернском городе богатого старичка — во-

енного доктора. Убийцы выбрали заутреню нашего соборного праздника, когда старик отпустил слуг в церковь и один остался в верхнем этаже своей квартиры. Негодяи приперли снаружи двери на лестницу, а сами влезли в окна. Возвратившись из церкви, слуги нашли старика в крови на пороге залы, с проломленною головой, убитого наповал; сундуки были взломаны, а бумаги и неценные вещи разбросаны. Покойник, как видно, не успел или не сумел принять нужных мер предосторожности и защиты. Пистолет его найден в кармане его пальто, в передней; ставни же хотя и были заперты, но без железных болтов, и во всем доме и на дворе беспечный старик не держал ни одной собаки. Не ручаемся за слух, но говор ходит в народе, будто бы в нашем городе, на другой же день после убийства, эти смельчаки явились на ярмарочную площадь, сняли там на барыш качели и стали качать народ, чтобы лучше знать по слухам, где их ищут. Полиция послала гонцов по всем дорогам. Посланные, к сожалению, возвратились пока ни с чем; но для успокоения читателей смеем заверить, что для поимки их приняты самые строгие меры» и пр., и пр. «Есть подозрение, — говорилось далее, — что этими же злодеями совершено еще следующее преступление, о коем нашу редакцию извещает местный исправник, г-н Капканчиков. В ночь с прошлой среды, близ села Чердоклеевки, на чумацкой транспортной дороге через Опали́ху два неизвестных человека попросились ночевать в шинок, стоящий в степи, назвавшись покупщиками хлеба; поужинали и стали шептаться...»

— Ипполит Панкратьич! Чердоклеевка всего чуть ли не в тридцати верстах от нас? Вы там не были?

— Был-с.

— Ну, грабители, значит, уже переваливаются и в нашу палестину!

«Шинкарь как бы угадал по их лицам нечто недоброе и под предлогом взглянуть на тельную корову вышел во двор. Один из посетителей, минугу перегодя и переглянувшись с товарищем, вышел за ним и скоро возвратился совершенно

спокойный и без лишних слов потребовал у шинкарки денег. Затем последовала вопиющая сцена самого ужасного насилия: жену шинкаря, не дававшую грабителям денег, злодеи убили, раздробили ей голову топором и вместе с нею, тем же взмахом, убили на руках ее грудное дитя; старший сын шинкарки, бегавший обыкновенно у отца на посылках, проснулся в это время, увидел кровь на рубахе и на лице матери и с перепуга стал кричать. Его один из злодеев ткнул чем-то наотмашь в живот: тот упал и скоро умер. Семилетняя девочка, дочь шинкарки, еще в начале появления злодеев забралась в печь. Пока они грабили шинок, на дворе, между тем, стало светать.

— Что, оставить ее, что ли? — спросил убийца помоложе.

— Добивай и ее: неравно вырастет, щенок, еще выдаст, как узнает.

— Жалко, дядя, не могу!

Тогда старший со свечкой подошел к печке, где девочка дрожала и плакала, и сказал: «Вот тебе, девка, монисто!» — и когда та глянула на поднесенную свечу, он выстрелил в нее из большого солдатского пистолета, и та скатилась за откос дымопровода. Выстрел, однако же, каким-то чудом ее не тронул. Девочка, слегка опаленная порохом, по уходе злодеев очнулась, прибежала в соседнее село, дала там обо всем знать и теперь находится у следователя. Отца девочки нашли в ста шагах за шинком, у оврага, убитого выстрелом в спину из того же, вероятно, пистолета. Выстрела в шинке, однако же, не было слышно за ветром. Читатели видят, что в нашем уезде разбойники явились вооруженные. По солдатскому пистолету полагают, что они — дезертиры. А посему...» и пр. и пр.

— Что, дружище, Ипполит Панкратьич, добираются негодяи и до наших мест? Слышали? Ведь упоминаются уже наши окрестности. А?

— Нечего делать, на то воля судеб! Но пещера наша примет незваных гостей готовая. Я недаром настаивал, чтоб

обнести двор оградой, ставить ночных сторожей, обзавестись доброю цепною собакой.

— Так, значит, если на нас учинят набег и нападение, — спросил Чулков, — вы будете готовы?

— Мы, как наш американский предшественник, поднимем за собою лестницу, ружья нацелим в окна, как пушки, и тогда — милости просим к нам всякого, кто пожелает! Я отвечаю за безопасность нашего угла, и, надеюсь, все будет хорошо. Но скажу вам еще более: я сомневаюсь сильно, чтобы кто-нибудь осмелился нарушить наш покой! А иначе увидите: подобру-поздорову не уйдет!

— Вашими бы устами мед пить!

Через неделю невдалеке от Безлюдовки произошло новое событие. Была темная осенняя ночь. Время близилось к рассвету. Из терновника над оврагом вылез человек и сел на траве. «Эх, есть хочется! — сказал он сам себе. — Хоть бы кусок хлеба, хоть бы корень какой вырыть али луковичку». Он судорожно тронул кругом себя по траве, посидел еще, достал трубку, набил ее, выкурил с расстановкой и опять набил. Между тем, стало рассветать. Этот человек приподнялся, взошел на пригорок, долго смотрел кругом себя, точно узнавая виденную когда-то местность, пошел к западу, потом к северу, свернул опять назад и вскоре выбился на проселочную дорогу. Тут он опять остановился, начал соображать, что это за дорога, прошел по ней час, другой и снова сел. Сентябрьское солнце еще сильно припекало. Голод стал мучить его нестерпимо. Трубка курилась за трубкой; наконец не стало и табаку. Вдруг он вскочил. За спиной его невдалеке раздался мягкий стук тихой рысцой бежавшего фургона. Ближе и ближе. Скоро сквозь облачко пыли показалась пара сытых лошадок, которыми руки возницы правили из глубины фургона. Пешеход спрятал трубку, нерешительно было остановился, но потом бросился в сторону от дороги и упал в траву, охая и катаясь по ней, точно захваченный припадком болезни. Крики бедняка разносились по степи далеко. Фургон поравнялся с ним и остановился.

Курчавая толстогубая и курносая голова рыжего купчика выглянула из-под клеенчатой будки.

— Почтенный, а почтенный! Эй, слушай! Что-то приключилось? Подь сюда! — сказал возница, сдерживая коней.

— Ой, ой, ой, ой! — заливался бедняк, — не приведется и умереть-то по-христиански. Ой, ой, батюшки-светы! Кто в Бога верует, ратуйте!

— Да что́ с тобой, дуй-те горой! Говори ты мне: али тебя убило, али те зарезало. али леший те задрал?..

— Ой, ой, ой, ой! — заливался упавший, громко голося и катаясь по траве.

Возница плюнул, почесался, встал, замотал вожжи на сиденье, взял кнутик и подошел, покачиваясь, к незнакомцу. Тот перестал двигаться, точно смерть встречал. Возница ткнул его ногой.

— Эй, почтенный! Да говори же, что́ у тебя.

— Дай умереть по-Божьему, довези ты меня хоть до церкви али до попа; смерть моя пришла, заболел дорогой.

Возница постоял, подумал и сказал:

— Вставай, коли дойдешь, садись, коли доедешь — подвезу.

Возница был приятель Чулкова, лабазник Иван Иванович. Больной приподнялся, кое-как доплелся до фургона, упал в него и опять завертелся, охая и крича под мягкий стук загремевших колес. Иван Иванович пересел на козлы и не без волнения стал постегивать лошадок, высматривая, не мелькнет ли где впереди шинок или какое-нибудь село, где бы сдать умирающего, так как он был еще верстах в десяти от Опали́хи. Прошло с полчаса.

— Дядюшка, а дядюшка! — заговорил умирающий, — погоди маленько!

— Что́ тебе?

— Шапка упала с головы; може, жив останусь, поблагодарю тебя... подними, сделай милость!

— Да где же она упала с тебя, пес те драл?

— Шагов сорок али полсотни будет.

Лабазник остановил лошадей и пошел за шапкой, раздумывая: «Ишь ты, людское нутро; тут его смерть цапает, в землю тянет к червям, а он о шапке помышляет... Сказано: человек!» Оглянулся, а больной перелез на козлы, стоймя вытянулся, взмахнул вожжами да и давай стегать лошадей. Те подняли хвосты и, как угорелые, полетели.

— Эй, эй! — закричал ошалевший бородач, кидаясь за ним.

Но больного и след простыл... «Господи Спасе, помилуй нас! — подумал Иван Иванович, запыхавшись и весь в поту останавливаясь в пустой степи. — Уж не один ли это из острожников, что убежали недавно? Уж не Молодичка ли это? Что-то очень казистое дело со мной выкинул! Другой бы не смекнул! Хоть бы человек какой наехал на помощь!» Не успел он этого подумать, как сбоку, с другого проселка, действительно показался верхом на тощей запыленной и усталой кобылке проезжий мужичок, старенький, хиленький и чуть сидевший на лошади.

— Чего ты, землячок, убиваешься? — спросил его верховой.

Иван Иванович, охая и ахая, рассказал ему штуку, сыгранную с ним полчаса назад. Мутные старенькие глаза проезжего как-то странно при этом дрогнули, он отвернулся и, казалось, задумавшись, стал смотреть в сторону.

— И как мне не убиваться, как не горевать! — пел ему на все лады лабазник. — Запродал это я немцам в гавани гурт коровок одного тут барина, Чулкова, задаток взял да и спешу домой в город, давно там ждут меня. А тут такое горе. Ну, когда я теперь поспею?

— Так задаток-то он тебе оставил?

— Оставил.

— Давай же сюда, дядя, и задаток, — сказал проезжий, мигом спрыгнув с кобылки и вынимая из сапога здоровенный нож, который, со страха, показался лабазнику в аршин. —

То с тобой поздоровался мой сват Молодичка, а я — Отченаш, коли слышал.

Иван Иванович так и присел к траве. Не помнил он, как старый грабитель вынул у него из-за пазухи деньги Чулкова, как уехал на кобылке прочь и как он сам, пеший, попал в тот же вечер в Безлюдовку и все рассказал Чулкову и Гуслеву.

— В десяти верстах от нас! — воскликнул Гуслев. — Это уже неладно, хоть после такого грабежа трудно предполагать, чтобы негодяи надолго остались здесь. Они, вероятно, теперь передвинутся к морю...

Горю лабазника не было конца. Через сутки его фургон нашли в яру, близ Таганчи́, но задаток Чулкова пропал; и Иван Иванович голосил и надседался в воплях, как неугомонная крестьянская молодица-вдова на могиле скоропостижно умершего, на днях еще на все село молодца и козыря, ее мужа.

VII

Лестница поднята

Конец осени и наступившая зима прошли вполне спокойно для Безлюдовки. Грабители больших дорог, как и мелкие ночные воры, не потревожили приятелей ничем. Соседи-помещики тоже их не посещали. Музыкантов, увивавшийся было вокруг Чулкова с целью занять у него денег, хоть и не бросал этой мысли, но, видно, к сроку добыл нужную сумму каким-нибудь другим путем или, что́ вероятнее, получа на складчину для машин паи Чабаненка, Зиньзиньского, Скардачевского и Халатова, своего пая как распорядитель до времени нашел возможным не вносить. В конце Великого поста в Ульяновке резьба на камнях знаков для печатания фальшивых ассигнаций была окончена. Компаньоны съехались туда под разными предлогами: иной будто мимоездом, другой,

чтобы предложить свой хлеб для ссыпки, — и провели в доме целые сутки. Печатник Дроздов и резчик Липпе исполняли, для вида, роли слуг, Зиньзиньский играл роль поверенного Музыкантова. Кучера во дворе видели нарочно развешанную, будто выделанную здесь воловью кожу и даже, осмотрев ее, заметили: «Ишь, совсем иначе сделана! Мягкая, крепкая; из этой прямо сапоги проносятся целый год!» Скардачевский, недурно рисовавший, в присутствии остальных компаньонов составил краски, сделал пробу и собственноручно отпечатал первый пятидесятирублевый билет. Компаньоны на радостях достали из экипажей закуску, вина, карты; пробки хлопнули, и вся ночь прошла в игре, в попойке и в планах относительно дальнейшего хода дела. Халатов вызвался подыскать партию надежных меновщиков и одних предполагал отправить на Кавказ, других на Волгу, а третьих даже в Сибирь. Через месяц было решено кончить печатание первого выпуска, обревизовать его и разделить. Музыкантов затруднялся внести последние две тысячи своего пая за машины и стал опять налегать на Разноцветова и на других своих клевретов.

«Разве банкира Павлококина обокрасть? — думал Еня, сидя у первого городского парикмахера, завиваясь и собираясь к тому самому банкиру Павлококину на бал с аллегри в пользу бедных. — Нет, это будет слишком рискованное дело! У него замки́, вероятно, с музыкой, а не то и с адской машиной».

Между тем, в Безлюдовке была полнейшая тишина. Один Гуслев не дремал. Толки о разбоях в окрестностях особенно сильно его тревожили. После случая с Иван Ивановичем, он не иначе выходил и ездил в поле, как с ружьем.

— Это я беру для охоты, — говорил он, — может, встречу зайца или дроф.

Впрочем, с оружием стали тогда ездить по дорогам в том околотке и другие жители.

Гуслев каждый день придумывал новые меры. Корм дворовым и чабанским собакам стал отпускаться в удвоенном

количестве, чтобы кудлатая стая не разбегалась за поисками еды, стерегла овчарни и хозяйский двор. На ток, расположенный на взгорье, в версте от усадьбы, на ночлег наряжались по жребию сторожа из рабочих. У дворовых ворот построили на случай метелей и непогоды домик для особой, весьма злой и неугомонной цепной собаки Серка. На крыльце дома велено ложиться спать очередным караульным из рабочих. Сами друзья условились спать порознь: Чулков в кабинете, где были его рабочий стол и привинченная к полу несгораемая железная касса для документов и наличных денег, а Гуслев в угловой, прежней спальне Чулкова, отделенной от кабинета приемною залой.

Одно неожиданно удивило друзей. Ключница Дуня, видно, окончательно убедилась в привязанности Чулкова к Чемодаровой. В одно утро батрак, бывший за кучера и дворника, явился к Чулкову и сообщил, что Авдотья Алексеевна исчезла со двора неизвестно куда.

— Чт́о делать! Ушла, так и ушла! — ответил будто спокойно, но невольно покраснев, Чулков, сидя над счетами.

Гуслев, невольно полюбивший эту добрую, красивую и безропотную бабенку, громко вздохнул и, не без укора другу, сказал:

— Жаль... такое... хорошее варенье варила. И куда бы она могла уйти? Разве кто сманил?

Батрак переступил из кабинета через порог и опять воротился.

— Глашка тоже с нею, видно, убежала! И ее нету!

Гуслев стал краснее рака. Чулков в свой черед с улыбкой взглянул на него.

Александр Ильич с концом зимы, едва дороги пообсохли, снова участил поездки в Таганчу. Зимой Чемодарова отчего-то похудела, но стала еще интереснее. Чулков скрывал от Гуслева, но в душе с ума сходил по Варваре Аркадьевне.

— Эй, берегитесь вы ездить так-то, зря, по степи! Да еще по ночам! — говорил ему Гуслев. — Неравно наткнетесь на какого-нибудь головореза, чт́о тогда?

Чулков хотя и стал осторожнее, но ночных поездок не прекратил. Засидевшись иной раз в Таганче далеко за полночь, он возвращался на утренней заре и не мог налюбоваться, как строго соблюдались теперь в его усадьбе введенные Гуслевым меры караула и защиты. Сторожей он заставал на должных местах, ворота были на цепи и на замке, а овчарские и дворовые собаки с его приездом заливались таким лаем, как бы преследовали в болотах осенью стаю волков.

Варвара Аркадьевна Чемодарова, несмотря на видимую сдержанность, была, между тем, характера пылкого и страстного. Неопределенность положения сильно смущала ее сердечные помыслы и надежды. Ей и за границей нравился не один мужчина, но она, под неотступным влиянием богомольной тетушки, привыкла считать любовь навсегда запретным и недоступным для себя плодом. Нежданное признание Чулкова в прошлую осень сильно ее взволновало. По наружности, встречаясь с ним, она осталась тою же холодною и бесстрастною, но внутри нее все мгновенно перевернулось. В длинные ночи наступившей затем зимы она, теряя сон, металась в постели, вставала, склонялась на ковер и по целым часам молилась и плакала.

«Хоть бы уж умерла тетушка! — раз подумала она, — а то из-за нее я, кажется, с ума сойду.»

Весна встретила ее бледною и похудевшею, хотя попрежнему замкнутою и сдержанною.

— Дурно я чувствую себя, Стеша! — говорила она иной раз горничной. — Это цветение деревьев, крики птиц, шум половодья и все эти весенние ночные шорохи и шепоты в саду и кругом действуют на меня. Вот и теперь: звон в голове, сердце прыгает, замирает, а засну, вдруг точно кто к уху склоняется и шепчет сладкие речи...

— Замуж пора вам опять, сударыня, вот что́!

— Полно говорить вздор! Ты знаешь, я дала обет.

— Нет, пора вам, барыня, замуж. Шутка ли, семь годов! Уж либо ваш бы покойник-то проявился, да как сокол слетел

бы сюда с небеси, али бы кто другой прямо бы вас, что ли, украл, умчал бы отсюдова, да и вся недолга.

— Что ты, Стеша, полно! — смеясь и зажимая ей рот, возражала Чемодарова.

— А право бы... мало ли их кенкидатов-то, сыпни только зернами, как воронье налетят.

— Кто же бы по-твоему?

— Уж, разумеется, кому, как не антиресному кавалеру господину Чулкову: прелесть мужчина! Полный, глаза сахарные, а бородка такая шелковая, мягкая, что так бы, кажись, и потрепала!

— Нет, Стеша, он раз намекнул мне, я ему отказала наотрез, он с тех пор и замолчал, забыл, видно, и думать. Робок он как-то, уступчив, тих очень, кажется... хорошо ли это? Я люблю бурных, страстных!

Чемодарова сама на это засмеялась.

— У, мужчины! — зашипела не раз обманутая суровым полом Стеша, — все изверги, все хитрецы! С виду — тихоня, а дай ему потачку, сразу и погубил. Что вы! Да тихих-то нам и надо: легче ими властвовать и не погубят...

— Этот-то, точно, что не погубил бы, Стеша, я убеждена...

— Вот бы уж ни на какую тетку не посмотрела и не отказала бы такому красавцу-мужчине! — наставительно замечала Стеша.

Когда случалось долго не видать Чулкова, Варвара Аркадьевна невольно брала подзорную трубу, садилась с нею к окну спальни, бывшей во втором этаже, растворяла его, пользуясь первым теплом весны, и жадно вглядывалась в очертания окрестных степей и реки.

И Боже мой, сколько вечных прелестей и сколько жизни было в этих картинах! И как ей было устоять, не волноваться и не томиться самой! Все кругом нежилось и трепетало в тихих восторгах; все как бы таяло в любовных дуновениях весны. Солнце садилось за синими разливами половодья. Над рекою, в камышах и в плавнях, стон и рокот стояли от

несмолкаемых птичьих криков. Дерзкие и громкие зазывные крики зеленогрудых жирных селезней мешались со стонами и нежными аханьями серых худеньких самок. Коноплянка, прыгая по ветвям камыша, беспокойно металась и звала коноплянку. Неуклюжая рыжая птица бугай кружилась и плавала в воздухе, с трепетными стонами любви отыскивая свою пару. Стая журавлей, не по-обычному тихо курлыкая и щеголевато двигая звонкими широкими крыльями, быстро и низко неслась в вечереющем чутком воздухе, торопливо перегоняя друг дружку, вслед за притомленною и покорно смолкшею перед их гоньбой журавлихой. Тысячи соловьев, дроздов и горленок до того дружно и громко щебетали и гремели в каждой рощице, на каждом речном островке, вдоль каждой песчаной косы и в каждой гущине еще убиравшихся листьями кустов, что окрестный дол, казалось, ходуном ходил кругом и уплывал вместе с половодьем. Чемодарова выходила в сад, шла берегом мутной вздувшейся реки. На ее глазах, у каменистых спусков, в желто-песчанистых струях бешено играли и плескались карпы, щуки, сазаны и востроносые стерляди, всплывая и показывая наверх то сизые, то молочные, то золотистые спины. Сгустились сумерки. Окрестность смолкла и опять отзывается. Как безумные, в каждой лужице и вдоль берегов реки начинают перекликаться миллионы разноголосых лягушек. В их криках снова слышится та же вечная и немолчная песня любви.

В один из вечеров, устав ли от обычных забот или также под влиянием картин ожившей степной природы, Чулков, который долго читал, вдруг погасил лампу, сам оседлал буланку и, взяв последние газеты и не сказавшись Гуслеву, укатил в Таганчу верхом. Не въезжая во двор, он привязал коня к леваде парка за садом и, сам не зная почему, пошел к дому Чемодаровой не кругом, а садовою тропинкой. Заря догорела, над кущами сада всходил месяц. Чулков в перекрестке одной тропинки остановился. Впотьмах ему померещились чьи-то шаги. И действительно, что-то тихое, как тень, не то в воздухе, не то по земле скользнуло мимо него

по аллее, будто пролетела стайка птиц или раздался шорох женского платья в нескольких шагах от него и в направлении к полянке, где, заслоненная со всех сторон еще безлистыми старыми липами, стояла резная беседка. Чулков пошел вслед за шорохом. Пройдя несколько шагов, он остановился близ беседки и простоял там долго. Месяц взошел окончательно. Рассеялось облачко, его покрывавшее. Чулков взглянул и замер. В десяти шагах от него, по тот бок беседки, стояла и также будто к чему-нибудь прислушивалась или молилась, вся освещенная месяцем, Варвара Аркадьевна Чемодарова. К чему она прислушивалась и о чем молилась? Молилась ли о муже, семь лет назад безвестно погибшем в отдаленных морях? О своей ли глухо и праздно отцветающей молодости? О тайнах ли иной и для другого припасенной любви? Просила ли она радостей, звала ли помощь небес против жгучего, тяжелого горя?

Многое передумал в это мгновение, глядя на нее из засады, Чулков.

Невольно вспомнились ему при этом собственные его горести и отчаяние, недавние лишения и проклятия, безвременная гибель товарищей, измена сильных, предательство слабых, разочарование в службе, в собственных силах и мечтах и целый ряд страданий молодых годов. Кровь прилила к его сердцу. Руги дрожали. Он едва переводил дыхание. «Уйду! — думал он, — и чего я сюда и в такую минуту забрался? Чуть не полночь! Явился через сад! Что́ подумает, что́ скажет она обо мне?» И он хотел уйти, хотел скорее и незаметно снова уехать домой. Но ветка хрустнула под его ногой. Варвара Аркадьевна подняла голову, быстро обернулась и пристально взглянула в темноту кустов.

— Кто там? — спросила она, как бы сама удивляясь и своему голосу здесь, в этой ночной тишине, и тому, что ей в кустах и в такую минуту послышался шорох. Она, конечно, не ожидала ни с кем встречи в саду и вышла подышать чистым воздухом, соскучась толками с теткой об одном и том же.

Чулков молчал.

— Да кто же там? — повторила она опять и гордо выпрямилась, не переставая дрожать...

Чулков подумал, решился и вышел; и как ни странно казалось ему самому в это время его поведение, молча подошел к Чемодаровой, молча взял ее за руку и тихо спросил:

— Вы меня не ожидали? Не правда ли?

Чемодарова выдернула у него руку и отскочила.

— Это вы! Какими судьбами?

— Я.

— Но в такой час, ночью? Как вы нашли меня здесь? Как решились?

Она оглянулась и оправила на себе шаль.

— Умоляю вас, сядьте и выслушайте меня.

Чемодарова подумала, еще отступила и быстро и резко ответила:

— Александр Ильич, мы уже объяснились с вами. Вы знаете мое решение и мою клятву.

Она хотела идти и остановилась.

В это время, чуть не над самой их головой, звякнул соловей. На зов его откликнулся другой.

— Вы все ждете вашего мужа? — спросил Чулков.

— А хоть бы и ждала?

Чулков подошел к ней, точно хотел ей тихо что-либо сказать, нежно обнял ее, прижал к себе и горячо поцеловал ее пылавшую щеку.

— Что́ это значит? — вскричала она. — Как вы осмелились! Я от вас этого не ожидала!

Одна рука, впрочем, осталась в дрожащей руке Чулкова.

— Не отвергайте меня! — зашептал он, как безумный. — Я не искал вас здесь, не подкараукивал и встретил случайно! Я вас люблю, вы должны быть моею! Я вас никому не отдам, и если б я узнал, что у меня есть соперник, я убил бы его без размышлений! Постойте! Еще скажу вам два слова... еще...

Варвара Аркадьевна не уходила. Сад оглашался соловьями...

Сумерки уже редели. Месяц померк в предрассветных лучах зари. Река снова огласилась. Опять пронесся шорох и рокот по саду. Закачались верхушки деревьев. И никто не видел, как еще влажною от ночной прохлады дорожкой, до подбородка укутанная в шаль, спешила к дому Чемодарова, как она подошла к садовому крыльцу, как скрылась в дверь, взобралась наверх, переступила через спящую у ее комнаты Стешу, и как Александр Ильич Чулков еще постоял у старых лип, в кустах, раздвинул росистые ветки и, оглядываясь, пошел боковыми тропинками к парку, а оттуда в леваду, нашел там буланку, отвязал ее, сел верхом и без оглядки поскакал домой.

Прошло три дня. Гуслев не узнавал приятеля. До того Чулков стал весел и бодр.

— Вы куда, Александр Ильич? — спросил он Чулкова, когда тот, получив через неделю письмо от Чемодаровой, собрался в губернский город.

— Надо взять, дружище, из банка денег; занимает соседка, надо ей помочь! Представьте: Музыкантов, года четыре назад, на всякий случай, уговорил ее дать ему бланковый вексель, а теперь негодяй представил его ко взысканию, — ответил Чулков. — А кроме того, напишу в Питер, нет ли писем из Америки от Сладкопевцева.

Батрак подал ему вожжи. Чулков сел и хотел ехать.

— Фузиль прене, фузиль! — посоветовал Гуслев с крыльца.

— И так провезу, что за пустяки. Я еще заеду за Иваном Ивановичем. Ему тоже нужно зачем-то в город, а он до сих пор без лошадей.

Действительно, Чулков через два дня при помощи лавочника-приятеля благополучно доставил свой кровный вклад из банка домой, спрятал его в кассу, день провел в хлопотах

в поле и, готовясь на утро отвезти деньги к Чемодаровой, сытно поужинал с Гуслевым, даже распил с ним бутылку привезенного из города вина и собрался было объявить ему одну приятную новость насчет соседки... «Нет, лучше завтра ему скажу! Теперь устал, спать хочется», — подумал, сам себе улыбаясь, Чулков; пожал по обычаю руку Гуслеву, и оба приятеля разошлись по своим комнатам. Увидев, что Гуслев еще не потушил свечи, Чулков через несколько минут со счетами в руках пришел к нему и сказал:

— Вчера я послал о себе весть Сладкопевцеву... Вот вам, Ипполит Панкратьич, счеты, кладите... первый год я заработал на свою тысячу еще тысячу; второй год заработал три; третий — две, четвертый — опять четыре; сколько?

— Десять тысяч!

— Вот что я отложил; на хлебопашество тут приходится третья доля; остальное нажито ссыпкой хлеба, нагулом скота и овцами.

— И все ей отдадите? — спросил Гуслев.

— Если пожелает, то и все!

Чулков опять ушел, но долго ему не спалось. Приятная дрожь охватила его члены. Во дворе все смолкло; даже неугомонная цепная собака Серко сперва рычала и по обычаю выла, а потом затихла. Ночь была тихая, чудная, хотя страшно темная. Грезы уносили Чулкова выше и выше. «Помогу ей; она еще более убедится, что я — не проходимец какой-нибудь! Она уберет свой посев, отделается от Музыкантова и выйдет за меня... Куда, однако же, в самом деле, пропала Дуня? — вспомнилось Чулкову. — Неужели это я ее видал в городе третьего дня возле банка, как за деньгами ездил? Кажется, ее. Ехала чуть ли не навеселе, с каким-то белокурым человеком... И что странно: увидя Ивана Ивановича, ее новый кавалер кинулся с дрожек в переулок, точно скрывался от него. Кто бы это был? Уж не новый ли ее друг, сманивший ее отсюда?» На этом Чулков задремал.

Вдруг в неприглядной ночной темноте ему послышался какой-то странный шорох: не то стук наверху на крыше, не

то чьи-то шаги внизу. Он очнулся, прислушался, еще пережидал и мигом, как обожженный, вскочил из-под одеяла и стал на кровати. Он стоял, не шелохнувшись, и думал: «Неужели воры? Неужели нападение?» Тишина была такая, что ясно было слышно, как в конце комнаты, на столе, стукали его карманные часы. Снова и уже явственнее послышался над домом шорох. Так и есть: под чьею-то осторожною и, по-видимому, босою ногой гнулась и тихо погромыхивала наверху дома крыша, в минувшую осень покрытая железом. Чулков спрыгнул на пол, заметался, побегал без толку босиком, схватил со стены и положил в карман револьвер, потом взял охотничий топорик, повозился еще, попробовал дрожащими руками прикрепить топорик у поясного ремня брюк, раздумал, положил опять топор на стол, взять штуцер, накинул на себя пиджак, надел сперва один сапог, подошел к столу и нащупал спички, затем надел другой сапог, схватил свечку и спички в руки и быстро вышел в залу, еще не зажигая огня. Ступил шаг — полная тишина; ступил еще несколько шагов, отворил в спальню Гуслева дверь. Гуслев по обычаю громко и с наслаждением храпел, заливаясь на все лады. Но едва Чулков его тронул, Ипполит Панкратьич вскочил, сперва забормотал: «Что? Где? Как? Будите людей!», — но вскоре опомнился, расспросил, в чем дело, наскоро и с дрожью, впотьмах, оделся и снял со стены двустволку. Приятели условились, что делать, вышли в залу, оттуда в коридор и в сени, где наружная дверь на крыльцо была заперта на толстый железный засов. Стоя в коридоре, они опять совершенно явственно услышали тихое выгибание и гукание железных кровельных листов.

— Да то, может быть, просто кошки играют и прыгают с трубы на крышу! — шепнул, впрочем, и сам своим словам не веря, Гуслев.

— Нет, не кошки! — ответил в раздумье Чулков. — Кошка может произвести такой звук, только прыгнув, как вы говорите, на железо с трубы; а эти звуки, слышите, повторяются без перерыва, как будто именно по крыше кто ходит.

Еще помолчали.

— Странно, — прибавил Чулков, — ни чабанские собаки, ни наш Серко не лают. Не слышно и колотушек сторожей на току и у крыльца.

— Да, — ответил, переминаясь, Гуслев, — что бы это значило?

— Уж не задал ли им всем кто-нибудь какого зелья? — вдруг сказал Чулков. — Людям в ужине, а цепной собаке в хлебе, чабанские же собаки далеко от нас и, вероятно, ничего не слышат...

Чулков отворил дверь на крыльцо, нащупал там постель очередного сторожа, а потом отыскал и его самого и стал его будить. Но сколько он его ни толкал, сторож не отзывался.

— Ипполит Панкратьич, беда! Ему, действительно, кажется, дали сонного зелья! Посмотрите, точно мертвец, и как тяжело дышит.

— Если ему дано, то и всем. Надо поскорей узнать. Дам знак к тревоге.

— Какой?

— Я из сеней, сквозь стены, с четвертого дня провел проволоку к обеденному звонку. Хотите, сейчас позвоню? Увидите, мигом подниму на ноги всю дворню, всех батраков.

— Но с этим-то что? Я вам повторяю.

Гуслев нагнулся ближе к сторожу.

— Пустяки! Это, кажется, Харько́; а у Харька́, я вспомнил, лихорадка; верно, после пароксизма...

Приятели смолкли. На крыше в это время кто-то, вероятно, заглянул или хотел просунуться в слуховое окно, потому что в то же мгновение там, на чердаке, поднялась сильная тревога перепуганных голубей: было слышно, как крылатые обитатели кровли, сшибаясь впопыхах, шумными стаями вырывались на воздух и носились впотьмах кругом двора, то вновь слетая на крышу, то уносясь в высоту.

— Итак, — сказал Чулков, услышав эту тревогу, — дело, кажется, окончательно началось... С Богом! Только, к счастью нашему, мы не зажгли свечей, и господа нападающие, кажется, еще не знают, что мы проснулись. Звоните. Не захватим ли их врасплох. Гуслев отыскал проволоку, с силой дернул ее раз, другой, еще дернул и изумился: вестовой колокольчик не звенел. Потянул он еще сильнее: проволока с деревянным костыльком втянулась в сени.

Холодный пот проступил на лице Гуслева.

— Проволоку перерезали! — чуть слышно сказал он.

— Что за пустяки! — все еще спокойно, хотя и не совсем решительно, возразил Чулков. — Может быть, вы ее неосторожно дернули и сами оборвали, а она к тому же, не мудрено, и того... положим, перержавела...

Приятели еще постояли, раздумывая, что же им наконец предпринять.

«Так и есть! — наскоро мелькнуло в мыслях Чулкова. — Нет никакого сомнения, меня затеяли ограбить... И как все это подведено! До той поры меня изверги не трогали, пока я не взял все свои деньги из банковой конторы... Но кто мог узнать, что я взял и привез деньги? Разве тот новый приятель Дуни, что сманил ее от меня и спрятался в городе от Ивана Ивановича? Кто он и как успел сделать справку в банке и сюда нагрянуть?

— Александр Ильич, что это? — вдруг тихо вскрикнул Гуслев, толкая его.

— Что? Где, где?

— Разве не видите? Смотрите: просто страх!

Гуслев отворил окошечко, выходившее из сеней к стороне овчарных загонов и хлебного тока.

— Пожар за двором! Горит наш ток... Смотрите, какое зарево!

Чулков схватился за голову. Сердце его перестало биться, точно исчезло, упало куда-нибудь из груди. Из головы не выходила мысль: «Неужели, наконец, это Дуня? Неужели

она участница? Но кто же этот проворный, набежавший сюда; и один ли он или их несколько?»

— Не постигаю, не постигаю! — шептал Гуслев.

— Он опробовал курки, подул в стволы и с ружьем наперевес сошел с крыльца.

— Куда вы? Постойте! — остановил Чулков. — Может быть, этот пожар — штука, один отвод?

— На ток, скорее на ток! Кричите людей, зовите и сами ведите их за мной туда; что можно спасти, спасем!

— Нет, нельзя! — возразил Чулков. — Повторяю вам: это, скорее всего, только хитрый отвод, чтобы страхом и видом пожара отвлечь со двора и нас, и всех людей, а после легче тут расправиться с кем и с чем им надо... Бегите уж лучше вы один, а я останусь здесь, на дворе, возле дома; схожу на кухню, в конюшню, разыщу и подниму на ноги людей.

Гуслев быстро отворил и захлопнул опять ворота, вышел на выгон и склоном балки, как сказочный великан, отражаясь в зареве пожара, побежал к току, где пылавшая скирда хлеба сыпала искры и клубила струи пламени и дыма. Чулков взвел курок штуцера и стал в сенях, решившись всякому, кто подойдет к нему, размозжить голову. Потом осторожно вышел на двор, посмотрел на крышу; никого не было заметно, и он опять стал в сенях, откуда было видно, как Гуслев миновал балку, как, освещенный заревом горевшей скирды, добежал до ограды тока, то останавливаясь на выгоне, то перепрыгивая через водомоины, и как наконец, войдя в ограду тока, исчез в дыму, побыл там несколько секунд и снова выскочил, отбежал на наветренную сторону и остановился на пригорке. «Неужели, — подумал Чулков, — и в самом деле, этот пожар — только отвод, и Гуслев не нашел там никого из наших людей?» В то же время Чулков услышал громкий треск и звон упавших стекол на обратной стороне дома, где был кабинет, запер за собой двери с крыльца, бросился в лакейскую, миновал залу — и остолбенел... В кабине слышалась суета, раздавались торопливые шаги, ше-

пот нескольких голосов, а в скважину притворенных дверей пробивался свет.

Первым движением Чулкова было также намерение зажечь свечу. Но потом он опять оставил эту мысль. «Лучше из темноты наведу штуцер в кабинет, — помыслил он, — мигом отворю туда дверь и картечью повалю кого удастся из злодеев, с остальными же расправлюсь!.. Да, револьвер я взял в карман, но в поездку в город разрядил с Иваном Ивановичем в степи на ворон! Что́ же! Ничего! Заряжу...» Он вспомнил, что патроны для револьвера лежали в комнате Гуслева, сходил туда и зарядил револьвер. Возня в кабинете, между тем, усилилась: трещало дерево, а по железной крышке кассы как будто били чем-то тяжелым, не то молотом, не то ломом. Рука Чулкова дрогнула. Что́ как промахнусь? А Гуслева нет! Какая досада! Вот вместе бы... Разве подождать его?» Но он невольно нажал ручку замка, и дверь в кабинет быстро растворилась.

Глазам Чулкова представились на полу его же амбарный фонарь и простая крестьянская жировая плошка. Четверо незнакомых людей у его кровати топорами ломали железную кассу, хозяйничали в разломанных ящиках письменного стола и бросали кое-какие вещи в выставленное окно. При его появлении грабители было растерялись, полагая, вероятно, что Чулков также побежал на ток. «Стрелять или не стрелять?» — мелькнуло в голове Чулкова. В это мгновение белокурый и молодцеватый парень из среды грабителей тихо, почти незаметно передернулся и стал приподнимать в упор Чулкову тяжелый солдатский пистолет. «Бац!.. бац!..» — раздалось в дверях...

Дым рассеялся. Плошка погасла, фонарь горел на полу. С потолка и со стены сыпалась обитая обмазка. Грабители мгновенно выскочили в разбитое окно. Чулков, удивленный тем, что его не ранили и что он сам никого не убил, подошел к окну, наставил в него револьвер и крикнул:

— Мерзавцы! Ну, подходите теперь опять. Первому же, кто снова полезет, размозжу голову!

В это мгновение с крыльца послышался, казалось, оклик Гуслева.

Не видя в окно в темноте никого перед собою и полагая, что разогнанные выстрелом и появлением Гуслева злодеи разбежались, Чулков повернулся от раскрытого окна к дверям, сделал шаг и, роняя револьвер, упал навзничь, оглушенный тяжелым ударом в затылок. Как в тяжелом сне представлялось ему потом, как со двора опять мгновенно влезли в окно те же грабители, как они подняли его, положили на постель и под удары Гуслева в дверь сеней стали допытываться, где ключ от потайного замка кассы; когда он, несмотря на угрозы и побои, молчал, потому что не мог шевельнуть языком, как били его чем-то тупым по голове, вынули свечку из фонаря и стали жечь ему икры ног, закручивать на какую-то палочку волосы на его голове, твердя: «Где ключ? Где ключ? Говори, а то зарежем!» Он стал терять сознание. В эту минуту из темной залы в кабинет, отмахиваясь прикладом, ворвался Гуслев. Чулков припоминал далее, как в Гуслева тут же кто-то из грабителей выстрелил и как тот, раненый, упал со стоном. Затем Чулков не помнил более ничего. Долго ли был он в обмороке, он этого не мог решить. Очнувшись, он увидел, что лежит на своей постели, в том же кабинете, с страшною болью в затылке и в обожженных во время пытки ногах. На полу в кабинете, в забытом фонаре, догорела оплывшая свеча. Гуслев лежал под стульями, связанный простынею по рукам и по ногам и со ртом, забитым носовым платком. С надворья тянуло свежим холодом, в разломанное окно кабинета врывался бледный свет зари. Все в кабинете было сдвинуто с места, разбросано и частью изломано. Услыша тяжелое дыхание Гуслева, Чулков едва очнулся, хотел кинуться к нему и не мог поднять ни ног, ни головы. Тронул возле себя: тюфяк был залит кровью. Тронул он себя за голову: на затылке была опухоль и рана. Глянул, наконец, в угол кабинета, где стояла его касса, и обомлел: ее там не было. Мороз прошел по его спине... В это время на дворе начали раздаваться отрывочные

голоса тяжело и исподволь просыпавшихся и, как потом действительно оказалось, опоенных дурманом рабочих. Кто был посильнее, встал несколько прежде и смутно, как в чаду, пошатывался, отыскивая и будя товарищей и еще не сознавая, что с ними со всеми было.

— Вот тебе и на! — сказал кто-то громко у окна. — Издох наш Серко́!.. Да смотрите, братцы, что́ это сталось и с Харько́м, и с барским домом?

Чулков напряг силы, приподнялся на локте и громко стал звать рабочих. Голос его услышали. Явились несколько человек с помертвелыми, искаженными от страха лицами. Чулкову перевязали голову и обожженные ноги. Он через силу встал и подошел к раненому Гуслеву, которого перенесли в спальню. «Так-то, брат Ипполит, — сказал он другу, — ограбили нас!» И лучше бы Чулкову было не приходить в себя. Измученный, испуганный и упавший духом, он оказал первую помощь Гуслеву, наскоро расспросил людей, дал несколько отрывочных советов для поимки грабителей, выходил даже для приказаний на крыльцо, молча возвратился опять в кабинет, глянул тут вокруг себя, снова, бледный, с запекшимися губами, сел к столу, хотел немедленно писать о страшной ночи повестки в стан и к исправнику, вспомнил опять, что его касса ограблена, и с бешенством швырнул перо. Он упал с проклятиями на постель, хватая себя за голову. Пять лет упорного труда и тяжкого одиночества, забот и всякого рода лишений пропали в одну ночь... И когда же? В то время, как ему улыбнулось преддверие иного, нежданного, такого полного счастья! Что скажет теперь Чемодарова? Чем спасет он ее от неминуемой беды и банкротства по хозяйству и от иска Музыкантова? Чем он сам, наконец, уберет свой сенокос и жатву? Кто ему, ограбленному и обнищалому, даст взаймы и поможет в несчастии?

«Дуня... Дуня!.. — сказал он сам себе. — Неужели ты решилась мне так отомстить? Или ты, ненарочно, увидев меня в городе, вспомнила, как прежде я тебе говорил, что езжу за деньгами в банк, сказала о том новому приятелю,

а тот выследил меня и все разведал, — на постоялом, кажется, я даже проговорился одному купцу, — подобрал товарищей и успел подобраться сюда, пока я обратно завозил домой Ивана Ивановича. Но кто же коновод этой шайки? Кому невольно или с расчетом выдала меня подгулявшая с новым другом Дуня? И поверит ли, наконец, теперь Чемодарова, что я точно нажил и вез для нее все эти трудовые, несчастные и роковые деньги?»

Александр Ильич взял перо, написал и с верховыми послал повестки: одну к становому, другую к исправнику. «Авось Капканчиков выручит! — подумал Чулков. — Он неказист на вид, но, по словам Гуслева, дока!» Тут невольно в мгновенной картине пронеслись перед ним его последние годы: жизнь в чужих краях и здесь. Он вспомнил почему-то и Сладкопевцева: «Как-то он теперь там поживает, за океаном? Нажил ли и он хоть что-нибудь и уцелело ли у него нажитое? Или он, бедняк, еще бьется там не в качестве сытого господина, а как чернорабочий, не дерзая еще до времени думать ни о собственном уютном и теплом гнезде, ни о ласковой жене, ни о прочих принадлежностях тихого и спокойного людского пристанища. Значит, я не вовремя затеял наслаждаться! Еще не настала пора для покоя, и я слишком рано хотел изменить своей новой жизни! Не пропаду же я, не поддамся! Надо поправить дело: надо новым трудом и новым, небывалым еще уменьем вознаградить потерю. Я должен все поправить, во что бы то ни стало. Должен скорее сам погибнуть, чем невозвратно погубить начатое дело!..»

Его позвал к себе Гуслев.

— Успокойтесь, деньги — наживное! — утешал его раненый бедняк.

В это время принесли найденное в поле одеяло и одну из занавесок, потерянных, вероятно, уходившими грабителями. Чулков, побеждая боль от ран, вышел на крыльцо, созвал еще несколько рабочих, велел показать себе место, где найдены одеяло и занавеска, сообразил по ним направление,

куда злодеи убежали; велел людям садиться верхом на рабочих лошадей, а себе приказал немедленно запрячь и подать беговые дрожки; возвратился к Гуслеву, приставил к нему одну из работниц, перевязал ему рану, велел класть холодные примочки и, несмотря на боль в своих забинтованных ногах, погнал буланку прямо в губернский город. До отъезда туда он сел к столу и написал Чемодаровой письмо такого содержания:

«Варвара Аркадьевна! В эту ночь известные вам деньги, о которых мы решили с вами в незабвенные минуты нашей последней дивной встречи, у меня ограблены шайкой неизвестных негодяев. Гуслева при этом злодеи опасно ранили выстрелом из пистолета в бок, а меня контузили каким-то тупым орудием в затылок и почти обеспамятевшего, лишенного языка, допрашивали о ключе от кассы: жгли медленно свечкой, били, рвали мне волосы и душили. С пузырями и ранами на ногах и на голове я, однако же, решился лично обо всем дать знать высшей губернской полиции, а в стан и к исправнику послал повестки: не откроют ли обе эти власти по горячим следам грабителей, которых, очевидно, было немало, потому что они частью опоили дурманом, частью перевязали мою дворню, сожгли хлебный ток, запрягли в мою же телегу лучших из моих рабочих лошадей и увезли на ней мою довольно объемистую железную кассу, мое оружие и много других вещей. Словом, в конце концов выходит одно: ваш покорнейший слуга с нынешней ночи стал таким же бедняком, как был в тот глухой и незабвенный, не раз мною описанный вам день, когда он впервые поселился в этих новых местах. Теперь не только я не могу, сколько бы того ни желал, оказать вам обещанную помощь по вашему хозяйству и по иску Музыкантова, но и сам, при отсутствии кредита, не имею средств повести далее свои дела, не имею даже чем уплатить наступающие срочные платежи за арендные участки».

Приехав на свой постоялый двор, Чулков послал сидельца дать знать обо всем Ивану Ивановичу, с просьбой ехать

вслед за ним в такую-то гостиницу губернского города. Войдя в номер гостиницы, Чулков потребовал бумаги, с воспаленными глазами присел к окну и дрожащей рукой набросал, в виде докладных записок, по несколько строк к губернатору и к жандармскому полковнику. На вопрос слуги: «Уж вечер, не хотите ли чего закусить?» — сказал: «Ничего не хочу; развяжи, милый, мой саквояж и достань чистое белье; я сам поеду к губернатору и к жандармскому командиру, да надо бы поскорее доктора найти, да послать ко мне домой, к моему сожителю...» Хотел переодеваться, зашатался и с размаху, тяжело упал навзничь без чувств на ковер, стукнувшись головой о диван и об ноги оторопевшего номерного.

А в Таганче, прочтя письмо Чулкова, Чемодарова вскрикнула и, не помня себя от ужаса и сожаления, побежала наверх к тетке.

— Что с тобою Варя? — спросила тетка. — Ты в слезах, бледна так, руки ломаешь...

— Такое горе, тетушка, такое, что сердце разрывается...

— Что же, муж твой умер? Вести пришли...

— Нет, бедного нашего Чулкова ограбили.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СТЕПНЫЕ ПРОКАЗЦЫ

Жизнь без нравственной цели, без идеалов — гроб поваленный: снаружи блеск, внутри — тление, труп.

Из одной исповеди

VIII

Директор банка фальшивой монеты

Губернский город Черноземск проснулся в тревоге, занятый историей смелого нападения на усадьбу Чулкова. Весть об этом еще с вечера облетела все улицы, все дома и домишки, и в особенности пространно обсуждалась за карточною игрою в клубе, где в тот день был общий еженедельный обед, а следовательно, была в сборе вся городская знать, в том числе первые власти. Хотя обширная, плохо освещенная и зачастую пустая клубная зала вообще напоминала подземные залы в романах Радклиф, со столетними паутинами и летучими мышами на карнизах стен, тем не менее здесь любили ораторствовать.

— Плоха полиция! — толковали клубные ораторы. — Мало жалованья чиновникам! Вот отчего все эти насилия. Да и уголовная палата, в угоду теориям и моде, чересчур либеральничает и с некоторого времени целыми шайками выпускает на свободу из острогов — этих академий темного

царства — кандидатов и магистров воровства и всякого душегубства.

— Кто это, однако, ограбленный, как его, Носков, что ли, или Карапеткин? — спросил кто-то из гостей клуба.

— Чулков!..

— Чулков? Кто он? Знает ли его кто-нибудь, господа, из вас? — спросил губернатор, тут же игравший в карты с Музыкантовым и с Чабаненком.

— Я его знаю, — сказал Музыкантов, которого нежданный случай с Чулковым еще с утра превратил в бледно-зеленого и лишил всей зоркости в игре, отчего он уже более часа проигрывал.

Ардальон Аркадьевич Музыкантов струсил, опасаясь, не замешан ли в безлюдовском происшествии злой гений его секретаря, Ени Разноцветова. «От него все станется! Пожалуй, это он науськал шайку!»

— Какого же мнения вы об этом Чулкове? — спросил губернатор. — Едучи сюда, я получил от него, хотя сбивчивую, но весьма трогательную записку. Из гостиницы мне дали знать, сверх того, что он приехал раненый и заболел.

— Так себе, спекулянт! — отвечал, сдавая игру, Музыкантов. — И вообще, кажется, темный малый и большой пройдоха.

— Помещик? Дворянин? — спросил губернатор.

— Дворянин, но не помещик, а арендатор.

— Сосед ваш?

— Почти... Полагаю, что с такой суммой, какая ограблена у него, трудно скрыться. Прижать вашу полицию, так найдут... дама треф, король пик и туз треф...

— И эти карты мои-с... вам сдавать!

Ардальон Аркадьевич, по отъезде губернатора, взялся под руку с Чабаненком и долго ходил с ним по клубной зале, недоумевая, как могла случиться эта печальная драма с Чулковым. Чабаненко также струсил, был молчалив и скоро в свой черед уехал... «Право, не штука ли это Ени Разноцветова? — снова решил в уме Музыкантов. — Недаром

он похвалялся разными гадостями, когда я уговаривал его достать мне денег. Нет, надо скорее расстаться с этим мальчишкой. Еще пронюхает о нашей ульяновской фабрике и сболтнет где-нибудь. А может быть, уж и пронюхал! Да, кажется, он знает о дутом векселе Чемодаровой на мое имя и кое-что о судьбе ее мужа. Надо от него отделаться. Да хорошо, что я и Чулкова ругнул...»

Случай к размолвке с Еней Разноцветовым представился для Музыкантова в тот же вечер. Разноцветов в это время несколько дней сряду кутил с толпой самой беспутной молодежи из мелких чиновников, купчиков и гимназистов и возвратился в квартиру Музыкантова, сильно выпивши.

— Как тебе не стыдно, Евгений! — сурово встретил его Музыкантов. — Где это ты так куликнул и с кем закутил?

— С друзьями... у Розалии... что́ за девочка! Прелесть! Все ей довольны. Султан в юбке, ей-Богу! Так мы ее и прозвали... Из Питера приехала; там сперва в гувернантках жила, потом с кем-то в вольном браке.

— Вава мой, надеюсь, не был с вами? — еще суровее спросил хозяин.

— О, разве я стану водить его туда? Фуй! — отвечал Еня, садясь с ногами на диван и вспоминая, что сбрехнул, так как за счет Вавы он, собственно, и кутил и за четверть часа перед тем, через заднее крыльцо, привез его на соседнюю улицу к учителю, у которого Вава жил приходящим учеником гимназии.

«Нет, черт его подери, — подумал Музыкантов, — надо с ним кончить.»

— Чулкова кто ограбил? — глухо спросил он вдруг.

— Не знаю... Что вы! С чего меня вы спрашиваете?

— Не знаешь? Если же знаешь, что тогда?

— Ардальон Аркадьич, прошу не забываться. Это не благородно.

— Щенок!

Еня вскочил с дивана и ухватился за стул. Его волосы были растрепаны. Красноватые, вспухшие глазки бегали, как у крысы.

— Грозить еще. А ты забыл, как ты передо мной вызывался его ограбить? Думаешь, нет улик? В Сибирь захотел...

Как ни был пьян Еня, однако ж понял всю силу обвинения. Он отбросил растрепанные, липнувшие на лоб волосы, провел дрожащею рукой по искаженному лицу и сказал:

— Ардальон Аркадьич, не виноват тут ни в чем, клянусь вам! Может быть, через мою глупую похвальбу другой кто-нибудь на это решился. Действительно, я не раз во многих местах глупил на этот счет. Меня бесило, с чего наживается этот скряга Чулков. Я же — ни-ни! Помилуйте: такое каторжное дело! Я вам служу верой и правдой; за что же такая от вас напраслина? — заключил он униженно.

Музыкантов продолжал подозрительно смотреть на него и промолчал. «Так, так, кажется, он об ульяновском деле еще ничего не знает! Иначе он мне пригрозил бы!»

— Вексель на Чемодарову в каком положении? — спросил он, развалясь в другом конце дивана. — Справлялся ты в полиции? Ну, что же молчишь? Когда по нему получу? Или когда по нему станут описывать Таганчу? Надеюсь, недаром получаешь от меня жалованье? Дружба дружбой, а служба службой...

Наглый тон патрона покоробил Еню...

— Вексель на мою сестру — нехорошее-с дело! — кольнул он, насупившись. — Ей-Богу, нехорошее! Вы уж извините; теперь увольте меня; я по нему не искатель. Вексель безденежный, сами вы мне сознались... Притом же сомнительно и то, чтобы вы не знали, жив ли семь лет без вести пропавший Чемодаров.

Бешенству Музыкантова не было пределов.

— В таком случае можете, милостивый государь, проваливать! У меня служи или долой, — сказал он, задыхаясь.

— И уйду. Эка, испугали... Ха-ха! Человек, папироску...
— И уходите хоть сейчас.
Еня схватил и надел задом наперед свою фуражку с красным околышем и кокардой.
— Так-то вы за мои услуги? — спросил он, подступая. — Так-то?
— Ни слова более, идите прочь. Вы забываете, с кем говорите.
— За вами еще сорок целковых в таком случае, милостивый государь.
— Вот они. Затем прощайте.
Еня взял деньги, сосчитал их и подбоченился.
— Так вы меня прогоняете — бедного, но честного человека?
Музыкантов молчал. Он не на шутку злился.
— Прррогоняете? За службу, человека бедного?
— Вы — опасный слуга. Вот и все. Я всегда вас удерживал, уговаривал и давал вам советы. Не послушались — ваше дело.
— Хорошо же, уйду. Но вы будете меня помнить... Я кое-что про вас знаю... и еще узнаю! — сказал Разноцветов, пошатываясь.
Музыкантов снова подумал: «Что́, если он знает? Не обратиться ли вспять, к мировой?»
— Прицепиться не к чему, не врите. Да такому пустельге и не поверят! — прибавил он, перегодя.
— Ой ли?
— Именно.
— Ой ли?
— Совершенно убежден.
Еня повернулся, покачнулся и, не поклонясь, вышел, размахивая руками и что-то напевая.
«Хоть крутенько я с ним поступил, но он еще пока ничего не знает! — подумал патрон, — чем раньше от него отделаюсь, тем лучше!»
Наутро Еня одумался и прислал Музыкантову записку:
15*

«Я проснулся и вспомнил нашу вчерашнюю размолвку. Если пришлете мне, Ардальон Аркадьич, сто рублей, расплатиться здесь в городе кое с какими долгами, то я готов вам все простить и снова к вам поступить. А иначе, не прогневайтесь: донесу полиции про некоторые ваши дела с моею сестрой. А затем либо пулю себе в лоб пущу, либо еще что́ хуже сделаю. Вчера я проиграл данные мне вами сорок рублей и еще на честное слово проиграл немалую сумму. Выхода мне другого нет. Жду или иначе — месть до гроба!»

Музыкантов подумал: «Врешь, отомстить ты мне ничем не можешь; угрозами денег не добьешься, а кончишь жизнь, как собака, и без меня — я в том убежден!» Оторвал клочок почтовой бумаги от того же письма, написал на нем и послал ответ такого содержания: «Стреляйтесь, если решились. Вся ваша жизнь сложилась так беспутно, что лучшего вам ничего не остается делать».

Чулков, между тем, благодаря одному недавно кончившему курс юному румяному доктору, которого доставил к нему номерной гостиницы, пришел в себя. И едва ему опять перевязали раны, едва холодными примочками к голове и к затылку освежили и успокоили его, он убедил доктора спешить к нему в Безлюдовку, на помощь к Гуслеву, а сам, несмотря на усталость и лихорадку, опять оделся, вышел на улицу, сел на извозчика и поехал к губернатору. «Застану ли его? Поможет ли он мне? Найдут ли, воротят ли мои деньги? — думал он, — помогай, судьба!»

— Генерала дома нет-с! — ответил слуга.

— Где же он и когда будет обратно?

— В клубе-с. А вы пожалуйте завтра.

— Как же мне ждать до утра? У меня нужное к нему дело. Я ему писал.

Слуга взглянул на Чулкова, на его старое платье, на повязку на его голове, сообразил, что это, вероятно, один из трактирных буянов, где-нибудь среди веселья помятый за

бильярдом, сел и, зевая, почесываясь и покачивая ногами, отвечал:

— Как знаете, приезжайте завтра; для вас за ним в клуб не поедут!

Делать было нечего; Чулков кинулся к полицеймейстеру.

— Дома?

— Никак нет-с! — ответил лакей, играя с усатым вестовым солдатом в три листика и хлопая его картами по носу.

— Где же он?

— По городу уехал.

— Скоро воротится?

— Не могим знать. Может, заедет к губернатору, приказаний дожидаться.

Александр Ильич возвратился в гостиницу, лег, подумав: «Не добиться мне тут толку от полиции!» — стал опять класть себе примочки и благодаря им скоро заснул. Рано утром он уже снова был у губернатора.

— Принимает?

— Еще спят.

Чулков посмотрел на часы. Был десятый в начале. Он сел дожидаться в приемной. Ждал долго, прислушиваясь, как в мертвой тишине пустой комнаты звенели стеклянные подвески на канделябрах от проезжавших по улицам экипажей, и в тоске разглядывал то узоры стенных обоев, то клетки вылощенного паркета, то угол лакового стола, ярко блестевший на солнце. Видел, как хромые инвалиды вносили и относили пакеты с предписаниями и разными справками.

Когда понабралось довольно просителей, начальник губернии вышел степенен и важен, опросил несколько человек, в чем дело, и вдруг, скосясь влево, подумал, вспыхнул и напустился на стоявшего среди посетителей некоего студента Сыто́ва.

— Как вы смели, как вы решились? — начал губернатор, возвышая с каждым словом голос. — Как вам пришло на ум не допускать полиции к осмотру вашей квартиры,

когда нужно было составить опись вещей вашей хозяйки? Знаете ли вы, что такое полиция? Полиция — это я! Слышите ли, это сам я! Я давно до вас добираюсь!

— Квартальный явился без понятых, и сверх того закон повелевает чтить домашний очаг всякого гражданина! — смело и вместе книжно сказал здоровенный и волосатый, как метла, студент Сытов, на истертом сюртучишке которого из шести пуговиц остались только три, да и эти едва держались на нитках.

— Что́-о-о, без понятых? Закон? Да я, милостивый государь, для вас закон! Я — и полиция, и закон, и понятые. Поняли?.. слышали?.. Ну, что́ скажете?.. а?.. а?

В потоке отдельных слов и восклицаний, которыми статский генерал хотел доказать проживавшему на вакации в его губернии вольнодумцу, что понятые упоминаются законом только на бумаге, но, что в сущности их вовсе не нужно, Чулков услышал, между прочим, угрозы: «Да я вас, милостивый государь, упеку туда, куда Макар телят не гонял; да я вас — в Уфу на жительство, в Вятку...»

— Вы что́? — грубо и резко спросил рассерженный губернатор, переходя к Чулкову и еще не смотря ни на кого.

— Я тот самый-с... я вчера еще вам прислал-с докладную записку... Я — Чулков, которого...

— Посадить его на три дня под арест, на хлеб и на воду! — крикнул губернатор, обращаясь к стоявшему тут же полицеймейстеру и снова накидываясь на распекаемого студента. — Живут тут у меня в губернии, на вакацию ездят сюда, делают дебоши, а потом в сатирических и прочих газетах о нас же печатают разные небылицы. Лучше бороду сбрейте. Ишь, как копна сена стоите...

Студента увели. Губернатор превозмог себя, даже постарался улыбнуться и обратился снова к другим просителям.

— Господин Чулков? — спросил он мягче и ласковее.

— Точно так.

— Извините. Где служили до приезда сюда?

— В министерстве, в Петербурге-с...

Губернатор подумал, покосился на его наряд и кисло проговорил:

— Пожалуйте!

Губернатор сам отворил дверь кабинета, ввел туда Чулкова, подвинул ему стул и сказал:

— Объясните, пожалуйста, еще раз ваше дело, — и, не дождавшись его ответа, опрокинулся на спинку стула, схватился за голову и воскликнул. — Как видите! Как изволите видеть! Это — не служба, а каторга! Всякая тля, всякая козявка стремится занять видное положение на земном шаре. Слышали? Каково! Понятые, видите ли, закон... Едва успеваешь отписываться на сотни циркуляров начальству, а тут еще в какой-нибудь газетишке подобный оборванец настрочит там разных обличений. Не так чихнул, проспал к собору в табельный день — того и гляди, и об этом господа Сытовы возвестят в печати. И хороша публика...

Чулков нетерпеливо шевельнулся. Он боялся, как бы за этою неудержимою болтовней не явился кто-нибудь и не помешал бы его безотлагательному объяснению.

— Вы меня сперва спросили... — начал он, — о моем личном деле...

— Ах, да. Боже мой, извините; в чем, бишь, ваше дело?

Чулков рассказал о своем несчастии. Губернатор, сидя через стол, в это время придвинул кучу неподписанных бумаг и, пробегая их, стал подписывать.

— Чем же я могу вам пособить?

— Трудно объяснить, что мне нужно! Нужна сила и энергия власти. Дайте предписания уездным полициям; здесь дайте знать во все части. Мало ли, что́ нужно. Вам виднее дело. Может быть, преступники подались сюда, и их еще легко захватить по кабакам и по другим притонам, пока они морем на какой-нибудь барке не ускользнули за границу.

— Десять тысяч отбили у вас? — спросил губернатор, скрипя пером.

— Десять.

— Странно, странно! Читал я вашу записку. Жаль мне вас. И это вы все нажили здесь собственным трудом.

— Да-с.

— Извините, просто удивительно, — сказал губернатор, оставляя перо, — помещики все жалуются, говорят, и весьма справедливо, — я сам помещик, и даже, пожалуй, этой губернии... да-с! (губернатор при этом улыбнулся и прищурился) — все говорят, что теперь хозяйство не то, много убытков несет. Давно вы тут поселились? И отчего я вас до сих пор не видел?

— Пять лет-с. Не было никакого дела, подати платил исправно, исков не имел... Я люблю уединение, труд и тишину! — сказал спокойно и просто Чулков.

— Так, так. Мне о вас говорил ваш предводитель Музыкантов.

Губернатор хотел что́-то опять говорить, долго жевал губами, но Чулков встал.

— Извините, генерал, не могу более! Раны болят... надеюсь, что мое дело!..

— О, да, да! Будьте спокойны! Я всюду дам предписания. Узнаете чрез мою канцелярию. Прощайте. Очень сожалею, тем более что в моей губернии это событие чисто небывалое. Я привык, можно сказать, к совершенному и редкому спокойствию...

Чулков вспомнил, что этот губернатор привык считать себя добрым «губернским папашей» и, уезжая иной раз на короткое время из своей палестины, среди двух чиновных старцев, своих друзей, на границе губернии останавливался, вставал в экипаже и, как достоверно говорят, обращаясь к стороне дорогого сердцу Черноземска, собственноручно крестил губернию, как нежный родитель крестит малое, отходящее после ужина ко сну дитя.

Чулков взялся уже за ручку двери и хотел идти, но опять возвратился.

— Последний, — кровью нажитый капитал у меня похитили! — проговорил он, чуть стоя на ногах. — Только тот, кто лишился когда-нибудь жены и детей, поймет, сколько у меня надежды на вас! Не хочу скрывать перед вами: одно личное участие такой власти, как ваша, может все здесь расшевелить и все поднять на ноги в помощь и в защиту в таком деле, как мое. Иначе остается прийти к убеждению, что одному честному человеку только и плохо на земле. Не идти же мне, после потери всего нажитого, грабить на большую дорогу...

Голос Чулкова дрожал. Он стиснул зубы; мускулы загорелого и сурового лица его двигались. Из груди готов был вырваться стон отчаяния.

Он кстати упомянул о потере семьи. Губернатор был в разводе с женой, и хотя некая губернская нежная особа и утешала его, любил играть роль надломленного судьбой страдальца.

— Верьте мне, господин Чулков, верьте! — заговорил он, покраснев и не поднимая глаз, блуждавших по мягкому пестрому ковру. — Я вас понимаю и ценю; сию же минуту всюду, всем я надпишу; но власть наша теперь так стеснена в угоду либеральной моде, что не знаешь подчас, что и делать...

И губернатор все бы исполнил. Он уже, действительно, взялся за перо и за колокольчик. Но дверь не успела затвориться за Чулковым, как вошел, прихрамывая, озабоченный и печальный, как Ниобея, один из первейших местных светских тузов, старичок лет шестидесяти пяти, дамский угодник, вечно надушенный, в белых перчатках и с дипломатическим портфелем под мышкой.

— Спектакль наш не удается, mon général, расстраивается и даже лопнул! — сказал он надорванным, дрожащим голосом, бросил портфель на стол и, тронув пальцем глаза, стал порывисто снимать перчатки.

— Как, — вскрикнул губернатор, — благородный спектакль лопнул?

— Дамы перессорились! Ни одна не хочет брать данных ролей: Анна Андреевна назвала Марью Петровну низкою, Марья Петровна дала Софье Григорьевне прозвище верблюда; Шенк нагрубил Ленцу... Ленц нагрубил Шенку... и пошла писать... вот роли, все их прислали назад! Ужасно!

Губернатор, затеявший в угоду своей утешительнице благородный спектакль в пользу бедных, при этой вести остолбенел, сообразив, какую гонку получит от нежного друга сердца, опустил колокольчик, проговорил с вестовщиком печальной новости битых два часа, велел подавать карету и кинулся, отдав бумаги правителю канцелярии, поправлять дело лично.

На третьи сутки Чулков настолько оправился, что мог уже ехать домой, оставив дело на волю Божью. Кстати подоспел к нему его приятель, лабазник Иван Иванович, сразу заменивший ему и сиделку, и верного слугу. Иван Иванович справился в губернаторской канцелярии и привез известие, что предписания по городской полиции и в уезды посланы, хотя трудно от того ожидать особого успеха. В это же время возвратился и юный доктор, ездивший в Безлюдовку к Гуслеву.

— Ну что, лучше ему? Лучше? — кинулся к нему Чулков.

Доктор замялся.

— Что же? Разве нехорошо?

Доктор не отвечал.

— Вы меня пугаете. Говорите, видите, я вне опасности.

— О, ваши раны, — сказал со вздохом доктор. — Пустяки, у вас все дело снаружи. А у бедняка Гуслева выстрел в бок... тронута, кажется, внутренность, и чуть ли пуля не в кишках...

— Есть ли надежда на спасение?

— Зовите туда еще других, нужен консилиум. Я могу ошибиться!

— Бедный, бедный Ипполит! — сказал Чулков. — Он бросился в город, уговорил еще двух докторов на совет в

Безлюдовку, перехватил денег у Ивана Ивановича и, едучи обратно в Безлюдовку, думал: «Полагали ли мы с Гуслевым так скоро встретить грозную беду? Ожидали ли мы с ним того, что случилось, живя в нашей тихой, мирной и счастливой пустыне? Пропали деньги, что делать — их не жаль; жаль Гуслева, жаль своих трудов! Опять, видно, сызнова надо толочь воду, опять начинать с копейки, с дырявого медного гроша. И кто бы мог предречь, кто бы мог угадать все это не далее как за три-четыре дня назад! Ожидал ли Гуслев? Стоять у обетованного берега, уже занести на него ногу — и вдруг все погибло! О, зачем я сюда забрел, зачем и его, бедняка, оставил в этих местах?»

Чулков подъехал к дому и тихо вошел в комнаты.

У Гуслева оказалось воспаление. Он был в беспрерывной лихорадке, впадал в забытье и бредил.

«Серка́ с цепи спустить! Стреляйте, Александр Ильич! Опять по крыше ходят!» — вскрикивал он диким, надорванным голосом, силясь выбиться из-под одеяла.

Консилиум собрался; местные медицинские знаменитости осмотрели раненого, долго толковали между собой, написали решение, поиграли в карты, сытно поужинали и в ту же ночь уехали, объявив Чулкову: «Спасения нет — пуля внутри; лечение, однако же, продолжать, как начал первый призванный медик. Может быть, больного спасет его крепкая природа».

Сердце у Чулкова замерло. Он снова упросил Ивана Ивановича не покидать его в эти дни. Лабазник, с помощью молодого врача, уговорил самого Александра Ильича лечь в постель и занялся приведением в порядок его хозяйственных дел, сильно пошатнувшихся за эти дни. Самое главное, что́ нужно было предпринять, — это достать денег для расплаты по текущим работам. Иван Иванович послал племянника из постоялого двора к себе в город; тот привез от жены Ивана Ивановича, что было денег налицо: поденщиков рассчитали, а хозяйство повели месячными и годовыми батраками. «Сенокос хоть и близ-

ко, да, авось, и с ним извернемся. А до уборки хлебов еще далеко...»

«Вот бы когда подъехать к Чулкову с предложеньицем насчет нашей компании! — внезапно подумал Музыкантов, именовавший себя в шутку, при совещании с остальными компаньонами, директором банка фальшивой монеты. — Поеду-ка я в Ганновку, заверну к нему опять, как бы мимоездом, да стороной и предложу...»

Он сообщил об этом Чабаненке, Халатову, Скардачевскому и Зиньзиньскому. Те одобрили его план.

— Не хотите ли сами с ним переговорить? — отнесся к ним Музыкантов, вообще державший себя во всем этом деле с осторожностью седой волчицы и даже ни разу поэтому лично не ездивший в Ульяновку.

— Нет, у нас не хватит уменья и таланта! — ответили компаньоны. — Лучше вы! Полагаем, что Чулков и не задумается к нам пристать. Шутка ли! Потерял чуть не шесть лет адского терпения, труда и надежд, и вдруг все, что нажил, до копейки уплыло...

Молва о грабеже в Безлюдовке в первое же утро быстро разнеслась по околотку. Некоторые из соседей-мещан и однодворцев верхами прискакали узнать о подробностях происшествия и справиться о здоровье хозяина и его друга. Иные из приезжавших входили во двор, осматривали взломанное окно, спрашивали рабочих, пожимали плечами, шептались и делали всякие предположения. Едва возвратился из города Чулков, как в Безлюдовку прибыл старичок-становой составить форменный акт о происшествии, долго писал, писал, опросил, кого было нужно, скрепил написанное, понюхал табаку, посмотрел внимательно и сухо на Чулкова, как бы ожидая от него чего-нибудь более, чем чернил и бумаги, и сердитый уехал. Ждали исправника Капканчикова, но тот был далеко, в другом конце уезда, на следствии по делу о разбитой в это же время денежной почте. Еще прождали несколько дней. Наконец он приехал. Розыски, однако, не привели ни к чему. Исправник пробыл в Безлюдовке двое

суток, созвал множество разных лиц, спрашивал, переспрашивал, но, как и становой, ничего не добился. Он уже хотел ехать обратно, как один из призванных понятых вынул из-за пазухи складное зеркальце и сказал, что нашел его в степи, возле Цыбульникова яра. Это была вещица Чулкова. Исправник поскакал туда, влез на дерево, одиноко стоявшее невдалеке от яра, взглянул с него на окрестность, решил, что это зеркальце грабители, вероятно, обронили по пути побега, провел глазомером черту от Безлюдовки до яра и сказал верховым провожатым: «Теперь скачите далее по той же линии и ищите на ней в разных местах следов! Что́ встретите на пути, скажите мне!»

— На этой же линии нашли, как вы знаете, в первое утро после грабежа и украденное ваше одеяло, — сказал исправник Чулкову, — хотите, отправимся вместе и мы по этой дороге?

Случайность, мать многого хорошего, снова помогла делу. Исправник с Чулковым поехали и набрели в степи, в пятнадцати верстах оттуда, на одинокий шинок. Хозяева шинка оказались евреи. Их арестовали, обыскали и нашли у них часть белья Чулкова. На вопрос, откуда его взяли, они сперва заперлись, а потом указали в городе еще на трех евреев, из которых один после ареста тут же ушел из острога. След его показали в Молдавии. Капканчиков долго гнался за ним шаг за шагом по хуторам и по шинкам и потерял его из виду уже близ границы. Говорили после, что этот еврей умер и похоронен в Галаце и что его жена, жившая в Черноземске, получила оттуда свидетельство о его смерти, стала распродавать свое имущество и подала прошение о выезде также за границу. Но Капканчиков увидел здесь нечто другое. Он сказал Чулкову:

— Благодарите Бога, что мне дано по этому делу полномочие! Не я буду, если не найду следов, куда делись ваши деньги!

И опять поскакал по молдаванской границе, где узнал, что убежавший еврей жив и скрывается под чужим именем,

что его видели сперва в Яссах, потом в Константинополе, откуда он пробрался в Малую Азию, через Смирну, и, вероятно, не с пустыми руками, успев скрыть на первых порах от русской полиции концы по истории с Чулковым. Капканчиков показал много полицейской сноровки в этом деле.

О безлюдовском грабеже в Новороссии еще долго и много говорили. Немало было всяких предположений. Иные говорили, что Чулкова ограбила большая конная шайка цыган, обыкновенно во множестве переходящих в эти места из Бессарабии, и что коноводами их были частью тамошние, частью же заграничные евреи.

Вслед за тем пошли смутные слухи о новых насилиях всякого рода, которыми неизвестные негодяи как бы нарочно хотели сбить с толку головы следователей по делу Чулкова. Местная газета, а за нею и столичные издания стали сообщать самые тревожные вести об этом крае. Начали появляться известия о сплошных пожарах здешних хуторов и слобод, а за ними о поджогах в некоторых здешних же приморских городах. Рассказывалось за верное, как к одному помещику черноземской губернии, вслед за нападением шайки на Чулкова, смелый грабитель ночью влез в самую спальню, но так был при этом пьян, что утром найден мирно спящим на полу у кровати, с огромным ножом в сапоге. Толковали также, что к какому-то помещику заехал в метель незнакомый купец, осмотрел и сторговал у него дорогую партию пшеницы, расплатился, получил расписку и по предложению хлебосольного хозяина заночевал у него, а ночью хозяин проснулся и видит, что гость зажег свечу, наставил в него пистолет и потребовал от него и деньги, отданные за хлеб, и все, что́ имел наличного сам хозяин, обобрал его, связал, запер снаружи дом и уехал до рассвета без следа.

«Бедная Новороссия! — вопили старые хуторяне, — до чего мы дожили! Вот обеспечение нашей жизни и нашей собственности! Вот награда за наши лишения и труды!» — «Да кто не виноват? — возражали им слушатели из моло-

дых. — Городская и уездная полиция в ваших же руках, суды также, другие места также... кто же причиной тому, что ни исправники, ни судьи, ни предводители ничего у нас по совести и по закону не делают? Вы сами! Зачем выбираете таких?»

Недели через две после дела с Чулковым какие-то шалуны, пользуясь общею суматохой, раскидали в губернском городе подметные письма такого содержания, чтобы все жители были готовы к посещению красного петуха, так как город, такого-то месяца и числа, будет подожжен разом с четырех концов и без пощады сгорит дотла. Жителей Черноземска, особенно его дальних улиц, объял ужас; они поверили угрозе и стали было нагружать на подводы свои пожитки и выбираться в поле, за город. На базарах, наконец, как это бывает в таких случаях зачастую, заговорили об антихристе и о скором светопреставлении. Ждали только долгохвостой кровавой кометы. «Явится она к зеленой неделе, — шептали разные сморщенные бабы, лохмотницы и пьяницы, — тогда земля загорится, как солома, и спасутся одни птицы, потому что улетят на небо!»

Наконец случился казус, о каком и во сне прежде никто не думал. Исправник Капканчиков, желая всячески отличиться, чтоб обеспечить свою огромную семью, отыскивая концы грабежа по делу Чулкова, вдруг наткнулся на следы... Но об открытии исправника, которое повергло губернатора и всю губернию в новое изумление и в давно (чуть не с французов) неиспытанную тревогу, скажется ниже. Теперь же возвратимся к Музыкантову.

Когда Зиньзиньский с ульяновской фабрики, через иносказательную записку, будто бы о кожах, дал знать, что первый выпуск ассигнаций отпечатан, обрезан, сосчитан и сложен пачками, компаньоны, кроме осторожной лисицы Музыкантова, опять съехались в Ульяновку и избрали ревизионную комиссию. Халатов и Скардачевский как ревизоры вновь пересмотрели все пачки, выкинули сомнительные почему-либо оттиски, а остальное разделили. Все пятеро уч-

редителей дела при этом, по условию, получили по сто тысяч рублей; Музыкантову же как директору банка фальшивой монеты и как учредителю, который более других понес трудов и расходов по его открытию и движению, прибавили фальшивых билетов еще на пятьдесят тысяч рублей. Резчику же и печатнику собрали тут же, по складчине, и вручили настоящими деньгами несколько сот рублей до размена особо для них назначенной суммы.

Чабаненко посадил к себе в экипаж Липпе, а Халатов — Дроздова; ночью они вывезли их на границу уезда, дали им еще малую толику на дорогу, для выезда из губернии, и приказали каждому дожидаться новых распоряжений, в особо назначенных для этого отдаленных городах. Зиньзиньский и Скардачевский разобрали машины, более нежные их части развезли в тарантасах по своим домам, а прочие, более громоздкие принадлежности, как-то: станки, валы и чугунные колеса, — под видом земледельческих орудий, на двух воловых подводах решили отправить будто бы для поправки в один чугунолитейный завод, а в сущности положили их до новой надобности свалить в одном из отдаленнейших, брошенных овечьих хуторов Музыкантова, в пустом сарае, а если бы что встретилось особое и непредвиденное, то решили сбросить их по дороге с какого-нибудь моста прямо в реку.

В последнюю ночь, когда увозили остальные части машин, компаньоны вновь собрались в Ульяновку; по сообщенному им заранее от Музыкантова плану условились на всякий случай, чего держаться и как говорить, если бы дело открылось, на допросах и показаниях; согрели воды, полы и мебель в глухом ульяновском домишке собственноручно вымыли, подсмеиваясь друг над другом, какие они поломойки. Глиняную посуду, в которой варили краску для печатания, они побили и разбросали в соседнем овраге, кое-что закопали здесь же, в саду, а остальное по дороге, не завозя далеко, решили бросить в пруд, проездом через имение Музыкан-

това. Забракованные оттиски ассигнаций сожгли, пай в полтораста тысяч завезли Музыкантову и разъехались. Они, между прочим, положили денег в этой губернии и по мелочам в обороты не пускать, а постараться найти им, через верных людей, валовой сбыт, хотя бы и с значительною уступкой в пользу меновщиков, в более отдаленных местностях отечества: в Сибири, на Кавказе или по Волге.

Маленький тюк щегольски рассортированных и перевязанных ленточками депозиток был поднесен Музыкантову в запечатанной жестянке как презент, под видом чистейшего дубоссарского табаку.

— Ну, теперь, матушка, мы закурим! — сказал он, подмигивая жене.

— Что́ табак! — заметила та. — Ты как бы мне новую коляску, как обещал.

По отъезде компаньонов Музыкантов заперся в кабинете, бережно сосчитал билеты и даже сладострастно застонал, увидев, что их было, действительно, ровно на полтораста тысяч. И странное дело: Музыкантов в недавнее время тратил тысяч по двадцати в год настоящих денег и не придавал тому никакого особого значения; теперь же, глядя на эти поддельные билеты, до того преисполнился алчности и наслаждения, что вторично, не без труда, пересчитал бумажку за бумажкой и все ждал, не откроет ли, что ему положено компаньонами по ошибке какой-нибудь лишней тысчонки или даже сотни рублей этими депозитками, и считал вплоть до рассвета. Над грезами о новых рысаках, пирах и обедах солнце застало его спящего.

В тот же день Ардальон Аркадьич велел запрячь в коляску лучших серых лошадей, оделся, как на бал, и покатил к Чулкову.

Такой же веселый, разбитной и бесцеремонный и с тем же прыгающим от смеха брюшком и заигрывающими карими глазками, как в первый раз зимой, ввалился он опять в низенькие комнаты безлюдовской усадьбы, весело поздоровался с Чулковым, сказал ему: «На пару слов наедине, хоть осо-

бого секрета нет!» — вошел с ним в кабинет, долго шутил, курил, острил, сыпал городскими анекдотами, потом запер за собою дверь, стал перед Чулковым, склонил к нему с улыбкой длинные каштановые, надушенные какою-то «бразильскою императрицей» бакены и шепотом, не сгоняя с лица улыбки, сказал:

— А что? Не вышло на мое? Не дали мне тогда, для разделки с притязаниями Чемодаровой, денег взаймы; вот бы теперь они и были целы! Ну, да не в том дело. Я ей отплачу, только молчал доныне. Вексель ее в тридцать тысяч представлен на нее ко взысканию; полиция уже начала ее пощипывать. А помните? Я вам тогда сказал: не хотите мне помочь, так я вам когда-нибудь помогу! Вот, теперь я и приехал!

— Очень благодарен.

— Все дело в вас самих! — продолжал Музыкантов, отступая, — в вас самих! Помните? Вы не верили, что я сам был издавна друг всего нового, живого и смелого. Ну, чего вы, позвольте спросить, добились здесь так называемым честным трудом? Чего вы достигли своими хлопотами? Я знаю, вы сошлетесь на понятия о чести. Честь — дело условное-с... В Америке честь — одно, в Англии — другое, у киргизов — третье. Да-с... А наше общество, ей-ей, недалеко ушло от киргизов. Вы — лучший пример. Трудились, трудились, как поденщик, застряв в наших местах, — одна минута, и все, нажитое вами, полетело вверх дном. И где обеспечение вашей собственности и ваших прав? Разгадка делу простая: что́ совершила над нами последняя реформа, то же сделали с вами незваные гости в пережитую вами ночь. От трудов правильных, тетенька, не наживешь палат каменных...

— Но позвольте, что́ собственно вы хотите этим сказать и доказать? — воскликнул более и более терявшийся Чулков.

Музыкантов широко раскрыл глаза, подумывая не без волнения: «Уж не предполагаешь ли ты, что я мелко плаваю? Как бы получше сбить твою пустую идеальную голову?»

— А то, батенька, — произнес, еще более понижая голос, Музыкантов, — что правы те, которые говорят: если нас ограбили, так и мы должны грабить. Если наш кредит подорвали, то и мы должны подорвать их кредит... вот что́!

— Чей кредит?

— Да их-то... Не понимаете? Со мной можете говорить: я — не шпион. Подорвать их в главной их силе, в сборе народных податей, в государственной казне. На нас напущена революция законодательная и литературная, мундирные демагоги и коронные теоретики-реформаторы; мы напустим на них новое знамение этого времени — фальшивую депозитку, тысячи, миллионы поддельных рублей. Нас разорили, и мы их разорим! Против нас не разбирали никаких средств, и мы не будем разбирать: разорять их, разорять...

Музыкантов говорил с таким жаром, что закашлялся, и даже пена выступила на его толстых губах. Чулков смотрел на него во все глаза, все еще не понимая, в чем дело.

— Но как же это все относится ко мне? И разве казна — не мы же сами, и, губя и подрывая ее, разве мы не подорвем и не погубим прежде всего самих себя? — спросил Чулков, сердито и холодно глядя в бегавшие по сторонам глазки Музыкантова.

— А, так вы не понимаете? Ребенок, бедняжка! Много вам помог губернатор, скажите мне? Много помогли вам жандармская и явная полиция? Нашли вам, возвратили ваши кровные денежки? Отвечайте мне, ну, говорите же... Я не шутить сюда приехал!

— Нет, не возвратили.

— Ага, ага! Признались? Согласились? А вот я вам их нашел и возвращу...

Сердце невольно запрыгало у Чулкова.

«Шутит он или с ума сошел? Или же и в самом деле он нашел мои деньги? Вот бы отлично!» — подумал он, не

без волнения, искоса поглядывая, не держит ли уж его гость денег в кармане или за спиной.

— О деле сем производится строжайшее расследование. Ха-ха-ха! Вот и все, вот и все! — воскликнул Музыкантов. — Сперва так донесет министру губернатор; потом здешняя газета отчеканит эту фразу для публики, по поводу страшной истории с вами, и затем полиция и все успокоятся, да тем дело и кончится. Вы же, как очутились без денег, так и останетесь... От трудов правильных, ангел мой, не наживешь... Морщитесь? Умолкаю. Но вы слышали, как Чемодарова поражена вашим горем: она плачет. А будь у вас денежки, отличную бы в ней подругу жизни приобрели...

— Ну, так что ж? К чему вы все это говорите? — с бешеной досадой резко спросил Чулков, начинавший терять терпение.

Музыкантов глянул в сторону, в окно, задумчиво прошелся по комнате, тихо взял Чулкова под руку, обнял его, сделал с ним несколько шагов, подвел его почему-то к углу печки и, склоня дрожавшие губы вплотную к его уху, хотя в комнате, кроме них, не было никого, прошептал ему:

— Вы... приглядитесь кругом... разведайте, узнайте, чем главнейше наживались тут... сперва в отдаленное время некоторые из хлебных заграничных контор... а потом наши откупщики?

И когда Чулков на это промолчал, он еще ближе притиснулся и шепнул ему в самую раковину уха:

— Фальшивыми ассигнациями, батюшка! Фальшивыми ассигнациями с окрестных вольных монетных дворов! Свистните только, так к вам, дружище, пудами их повезут. Вы их сбудете, поправите ваши дела, а между тем, и тех-то, доброжелателей ваших, хорошо нагреете... Вы теперь нуждаетесь... А вашу способность вести дела, верьте, всякий оценит! Вы могли бы получить десять, двадцать, тридцать тысяч, ну, ну, и поехали бы куда-нибудь их менять.

Чулков тихо освободился из рук Музыкантова. Каждый мускул на его лице дрожал.

— Позвольте, — начал он с расстановкой, едва переводя от волнения голос, — что за чертовщину вы мне здесь несете уже более получаса? Или я все это в бреду выдумал, или вы, действительно, это мне говорили сами?

— Как знаете! — резко и презрительно ответил Музыкантов, отходя в сторону.

«Хитрит эта таинственная обокраденная бестия, — подумал он, — или в самом деле хочет показать вид, что он, осел, действительно — честный человек!» Музыкантов понял во всяком случае, что с Чулковым дела не уладишь.

— Шутка шуткой, батюшка! — начал он, меняя тон. — Но, действительно, иной раз готов согласиться, что когда человек, бывший в обществе всегда высоких правил, доходит до того положения, что решается бросить к черту так называемую и выдуманную для олухов царя небесного честь, чтобы сознательно, смело и с умом мошенничать, то его решимость полна высокого поучительного смысла и драмы, какой еще не создавала никакая литература.

Чулков понял в свою очередь, что раздражаться было бы напрасно. Он, задыхаясь, отошел к окну, не глядя на гостя.

— Прощайте; все, что я вам говорил, была, разумеется, шутка, понимаете?

— Еще бы.

Выходя из кабинета Чулкова, Музыкантов зацепился за щеколду дверей и порвал рукав пиджака. Лошади его помчались, как угорелые, а коляска, ударившись о столб в воротах, чуть не опрокинулась.

«Показывай честность! — думал Музыкантов, закуривая в степи сигару, — на этих пошляков надо действовать и политическою моралью. С такою моралью завербуешь не одного честного простака; черноземские республиканцы с нею за меня даже голос подадут. Наверное бы, Чулков согласился на мое предложение, если бы не усомнился в успехе.

Не напустить ли на него еще Зиньзиньского... Пора, пора думать о скорейшем размене полученного пая. Жена поминутно просит денег, Вава тоже пристает, кредиторы в петлю тянут. Обед надобно дать на именины... Опасности велики. Что́ и говорить! Ну, да, авось же, мои компаньоны, спасаясь от каторги, и меня сумеют от нее спасти!»

Чулков был других мыслей. С отъездом Музыкантова он взял фуражку, хотел пойти по хозяйству, но вдруг бросил ее и с проклятиями почти упал на кровать. «Как! Мне предлагали участвовать в сбыте фальшивых денег! Так вот за кого они меня считают! По их мнению, я только — кулак, мелкий барышник, прогоревший от грабежа спекулянт и ничего больше? И этот мерзавец осмелился меня уверять, что он, видите, стоит в толпе каких-то мстителей, готовых потрясти общество! До такой степени меня унизить, меня, и без того обиженного и разоренного!» Чулков встал, глотая горячие слезы, поднял фуражку, вышел на двор, сел на коня и ускакал в степь.

IX

Последний путь Пятницы

— Без денег, так и без денег! — решил в тот же день Чулков. — Нажитое пропало, его не сумели найти, так тому и быть. Баста! Более об этом ни мысли, ни полслова!..

И он, действительно, положил начать свое дело снова. Частные арендные участки он сдал в другие руки, сенокос и хлеб решился убрать с копны и, оставшись с одною казенною арендой, решился главным образом заняться овцеводством. Одно сильно тревожило Чулкова: болезнь Гуслева. Он не отходил от него день и ночь. Доктор употреблял все усилия. Но спасения не предвиделось. В околотке, наконец, разнеслась весть, что Гуслев при смерти. Окрестные поселяне успели оценить и полюбить тихого и простого друга Чулкова. Многие явились в

Безлюдовку с советами, как его спасти, приносили травы и другие снадобья для ран и просились посмотреть на больного. Чулков всех к нему допускал.

«Бедный, бедный страдалец! — думал Чулков, глядя на догоравшие силы этого еще недавно полного жизни и здоровья исполина. — Странствовал ты; прилеплялся то здесь, то там, забрел сюда, и думал ли, что тебя сразит шальная пуля грошового воровского пистолета при защите чужого добра? Не отвори ты так не вовремя дверей, не войди в мой кабинет в то мгновение, как меня терзали и пытали, жил бы ты еще долго, важный и гордый, ленивым журавлиным шагом ходил бы ты в поле, беседовал бы со мной в зеленом шелковом халате и в туфлях, курил бы и мечтал о собственном пустынном и тихом пристанище, под сиротливую, утешенную здесь, твою старость... А теперь ты, как пласт, лежишь, молчишь и догораешь...»

Однажды, наскоро съездив в поле и возвратившись, Чулков подумал: «Пора, однако, проведать соседку»; заглянул в комнату Гуслева и увидел, что у его изголовья стоит и плачет, горько надрываясь, какая-то девушка. Думая, что это какая-нибудь посланная от соседей, он подошел ближе: это была сбежавшая от них Глаша.

«Где же Дуня? — подумал Чулков, тихо выходя из кабинета. — Надо спросить Глашу, не видала ли ее: они ушли тогда вместе.»

Не успел он подойти к столу, не успел положить фуражку, как сзади его что-то опустилось на пол и с воплями обхватило его колени. Он оглянулся: это была Дуня. Но как она изменилась! Румянец ее исчез, щеки похудели; тусклые, сильно заплаканные глаза были красны, волосы выбились из-под платка и космами спадали на спину и на плечи.

— Ты ли это, Дуня? Какими судьбами? — спросил, отступая, Чулков.

— Я! Я! Прости меня! Простите, Лександра Ильич, виновата я, во всем виновата! Ох, погубила я тебя и сама себя погубила..

— Да в чем же? В чем? — допрашивал Чулков, силясь поднять ее с полу и успокоить. — Я никакой провинности за тобой не знаю...

— Простите меня, простите! — вопила Дуня. — Я — лиходейка, разбойница, душегубка... Ой, спаси меня, Господи, и помилуй! Царица Небесная, спаси!.. Я нечаянно выдала тебя злодеям, через меня они наскочили сюда, через меня, глупую, все вызнали и тебя ограбили...

Чулков ее поднял.

— Как же это было?

— Было это вот как... вот как!.. Господи! Царица Небесная! Простите меня и помилуйте!.. Встосковалась я, как вы меня бросили. Извините, Лександра Ильич, что так прямо говорю... А тут и подвернулся человек... И лучше бы я его вовеки не видала!

Слезы не давали Дуне говорить. Она поминутно снова падала на пол, хваталась за ноги и за сюртук Чулкова и ломала руки.

— Убей меня, разрази сейчас! Нож возьми и зарежь. Сейчас умереть, только я и не думала про то, что́ теперь случилось... Он, душегуб, выманил и все вызнал от меня.

— Кто вызнал?

— Он-то, Савушка...

— Какой Савушка?

— Да прежний-то полюбовник Глаши; еще допреж Гуслева она с ним зналась. Как был еще Савка в солдатах, стоял со скадроном в Бояркине; он и посватал Глашу. После в поход пошел, ее бросил... А что провинности всякие за ним пошли, да что с полка он бежал и в острог угодил, про то она таперича только и сведала, как этот слух о нем пошел...

— Разве он из острога ее сманил?

Дуня молча подняла на Чулкова большие голубые глаза и всплеснула руками.

— Да нешто ты ничего не знаешь? Савка-то этот — ведь Молодичка... душегуб-то всем известный... Вот какая дьяволова душа сманила Глашу, а с ней и меня!

Мороз прошел по коже Чулкова.

«Так вот кто у меня хозяйничал!» — подумал он.

— Как же вы ему выдали меня?

— Ох, смерть мне даже вспомнить... Проведал он от кого-то, тут поблизости, должно статься, о твоем достатке, пришел сюда к тебе, стал в поденщики, даже работал тут чуть не пять дён. С ним еще другой пришел постарше, Зосимой звали, а тут, как у тебя они были, нарочно звали дружка дружку Иванами: Иван старший да Иван младший. Глаша сейчас распознала своего. Ты, Лександра Ильич, был в те поры у этой барыни, Варвары Аркадьевны, что ли, у Чемодарихи... Он и взманил Глашу: уйдем, говорит, я уж в отставке; к отцу, к матери моей тебя, говорит, поведу, и повенчаемся. Она и послушалась. А с нею и я, осерчамши на тебя, ушла... все думала: станешь меня разыскивать и воротишь. Они с вечера в субботу рассчитались у тебя, а мы с Глашкой ночью и вышли к ним, к Цыбульникову яру... Я с старичком-то пошла в город, к пристани; стали мы с ним пока там на поденной; а тут вскорости пришел и Савелий с Глашкой. Вижу я, стали наши молодцы все шептаться меж собой. Видно, в те поры Глашка-то, ходючи к Палиту Панкратьичу, знала и сама видела, где у тебя что́ в доме, или ей сам Палит ненароком говорил, и уж Савка у нее все выпытал. Вот молодцы-то, видно, и решили; нам же ни о чем они ни полслова. Работаем мы на пристани, пшеницу пересыпаем. Я все жду от тебя вестей. «Скоро ли мы к отцу, к матери твоей?» — спрашивает Глашка Савку. Молчит; а раз сказал: «Погоди еще маленько!» А тут страх и вспомнить! Принесла тебя нелегкая в этот банк. Возле него ты и повстречал меня с Савкой... Я его упросила меня на почту свезти, письма твоего ждала. Ну, он и давай меня в переулке бить: «Говори, что это твой барин-то сюда приехал? Ты в холе жила у него и должна про все знать». Хмельной он был тогда, и сам какое-то письмо возил на почту. Я и говорю с проста ума: «Видно, деньги привез либо за деньгами приехал в банк». Он мне велел идти на фатеру к своей

невесте, к Глаше, сам выследил тебя на извозчике, выспросил про тебя, должно статься, еще на постоялом, где ты прежде останавливался, да и порешил все, как след... И вправду, как подумаю, нетрудно было и узнать, продавал ли ты что-нибудь в те поры или сам за деньгами приехал... А может, чрез какого стрикулиста он и в банке еще, что надоть, поразузнал. Мало ли энтого зелья по трахтирам толчется, ждет, кому бы за что́ какую пакость настрочить...

— Почем же ты, однако, знаешь, что меня ограбил именно Молодичка с товарищем, а не другой кто?

— Полагаю так, беспременно. Да иначе и некому! Чуть ты уехал с Иваном Иванычем, он с Зосимом накликал под вечер за огород, возле нашей фатеры, жидов-маклачников, долго там они орали, пили водку да по-своему галдели; а после этого их галденья ни я, ни Глашка уже их-то более и не видали. Утекли они, бросили нас, как в воду канули. Да уж, как прошла молва, что тебя-то ограбили, я и говорю Глаше: «Пойдем к Чулкову да к Гуслеву, все расскажем. Пусть нас казнят, а скрыть ничего не скроем!» Я бы и раньше пришла, только Глаша больно уже испугалась, узнавши про все, и как я ей это посоветовала, со страху меня бросила... Ну, а третьего дня и пришла. «Пойдем, — говорит, — покою нет и мне... Я с ними не грабила и на то их не наущала! А коли в чем им проговорилась, не думала, что они такие». Вот мы и пришли... Спрашивай нас, все скажем; посылай в полицию, что ли! Авось, Господь, Мать Царица Небесная помогут найти чрез нас твое добро...

Чулков пристально и с грустью смотрел на Дуню.

«Если б они сами с расчетом навели на меня злодеев, — думал он, — то не пришли бы ко мне с этими признаниями...»

— Много ли денег твоих, Лександра Ильич, украдено? — спросила, всхлипывая, Дуня.

— Десять тысяч целковых...

— Много ли это на сигнации?

— Тридцать пять тысяч.

Дуня упала на колени и опять стала рыдать, хватать Чулкова за платье и ломать руки.

— Лови их, лови, ищи! Мы про них под Евангелием докажем! Они теперь, должно статься, либо в Чердоклеевском байраке, либо в Парашкином кабаке.

— Нет, Дуня, не найти нам теперь этих со́колов. Без денег, да и то как они скрывались, а с деньгами их подавно не найдешь. Даром только вас по судам да по полиции станут мыкать...

Чулков не договорил. На дворе раздался мягкий стук рессорного экипажа.

«Видно, кто-нибудь опять из соседей проведать Гуслева!» — подумал Чулков и подошел к окну.

Какая-то щегольски одетая дама мелькнула, проходя через крыльцо. Не успел Чулков оправиться, не успел сказать Дуне: «Выйди на минутку, оставь нас и подожди на дворе!» — как шаги приезжей послышались в зале.

— Александр Ильич, что с вами? Бедный! Сколько событий! — сказала Чемодарова, входя к Чулкову.

— Варвара Аркадьевна! Какими судьбами! Вот не ожидал.

— Ваше письмо сразило меня: я три дня хворала; тетушка же и теперь еще от этих страшных вестей в постели. Я наконец оправилась и приехала проведать вас и Гуслева. Да, кстати, и потолковать насчет одного векселя.

Чемодарова стала снимать пальто, увидела Дуню и невольно, не зная еще, кто это, покраснела. В это время Чулкову сказали, что его зовет доктор за чем-то весьма безотлагательным и нужным.

— Извините меня! Я сейчас буду назад! — сказал Чулков. — Вы, верно, не знаете? Часы Гуслева сочтены, и много, если он проживет еще с неделю...

— Бедный! Идите же к нему, идите, я подожду.

Чулков вышел, но, идя, вспомнил опять про Дуню, бывшую тут же, и невольно покраснел. Чемодарова, по выходе его, подошла к зеркалу над письменным столом; охорашиваясь, поправила на плечах шаль, взбила волосы, села на стул и, расправляя складки платья, ласково обратилась к Дуне:

— Ты, милая, из здешних?

«А! Так вот она, эта Варька-то Чемодариха! — помыслила, злобно и жадно разглядывая ее, Дуня. — Вот на какую богатую, да щеголиху, да красивую променял меня друг любезный, Лександра!»

— Из здешних, — прошептала она.

— Что же ты, милая, сама пришла сюда или тебя прислали об этом больном друге Александра Ильича справляться?

— Сама пришла, никто не присылал.

Тихий и почтительный ответ показался, однако же, гостье подозрительным: столько вдруг отозвалось в нем непонятной ненависти и яда! Чемодарова взглянула на покорно и робко опущенный взор Дуни, на ее франтовскую ситцевую душегрейку, на цветные чулки и на шелковый платок, которым она прикрывала голову и пылавшее, заплаканное лицо, и сердце у нее дрогнуло от неясного и едкого предчувствия.

— Гуслева проводить, милая, пришла?

— Нет, не его...

Чемодарова взглянула на пол.

— Кого же?

Дуня не отвечала.

— Кого же ты сама?

— А на что́ тебе, барыня, знать? Своя!..

— Как тебя зовут? — не помня себя и вскакивая, спросила Чемодарова. — Ты Дуня, верно, Дуня?

— Ну что́ же, изволь... Дуней звать!.. А коли уж это так тебя забирает, так еще тебе, сударыня, скажу: я — полюбовница барина Чулкова, вот что! — с бешеною заносчивостью отрезала Дуня.

Чемодарова выпрямилась, хотела было на это кинуть ей в глаза также какие-то едкие и жгучие слова, но одумалась, молча схватила пальто и шляпку и поспешно вышла из комнаты. И не успел Чулков возвратиться, как экипаж Чемодаровой уже загремел по выгону за усадьбой.

— Где же барыня? — спросил, входя, Чулков. — Куда она так скоро уехала?

— Я почем знаю? Нешто я — нянька ейная? — неестественно смирно ответила Дуня.

— Что ты ей тут говорила?

Дуня молчала.

— Верно, ты ее обидела чем-нибудь? Не стыдно ли тебе, не грех ли!

— Что ж, коли я виновата, обнаковенно пропадать уж мне! Казни заодно... Не на радость, не на счастье мать сыра земля меня породила: али своеручно меня тут же, у ноженек твоих, убей, разрази, али живую в землю зарой!

— И в какое время! В какое время! — вскрикнул Чулков. — Что́ я тебе скажу? Иди с Богом!.. Не хочу я посылать за полицией: толку из этого не будет!

Чулков выскочил на крыльцо и велел запрягать дрожки.

Доктор безотлучно сидел при больном. Гуслев опять позвал Чулкова; при помощи его и доктора умылся, надел чистое белье, попросил приподнять себя в подушках и сказал:

— Александр Ильич, Саша! Не хочу вас обманывать! Посылай за священником: я к ночи либо не далее как завтра утром умру.

Чулков взглянул на доктора, стоявшего у окна; тот печально кивнул ему головой.

— Открой мне, Саша, окно, дай взглянуть на степь, на балку, на колодец... так... Боже, какой чудесный денек! Жжет в боку, грудь горит, сердце...

Чулков начал его утешать.

— Не говори мне теперь, Саша, ничего лишнего... Не говори! Там утешимся (он указал рукой на небо)... Здесь

утешения нет... Что же священник? Еще, пожалуй, откажется... Съезди, сделай милость, сам! Да скорее возвращайся, я тебе что-то тогда скажу...

Жгучая боль от раны на вспухшем, потемневшем боку стала опять мучить больного. Он закрыл глаза, тяжело дышал и попросил доктора достать из сумки, висевшей на стене, Евангелие.

— Вы все, доктора, неверующие, вас-то и прошу: почитайте мне!

Доктор выбрал страницу и стал читать; загремели поданные дрожки.

— Да что́ же это? — тихо, как бы про себя, сказал доктору Чулков. — Неужели же он и вправду так скоро умрет?

Гуслев услышал его слова.

— Долг... Линия моя пришла! — сказал он, силясь улыбнуться.

— Но как же? Как же? Так нежданно и скоро?

Чулков взял фуражку, хотел выйти и остановился.

— Не ропщи, судьба подцепила! — прибавил Гуслев. — Горды мы были с тобой, вот что́... Много надеялись на себя. В последний путь отправляюсь... Послал за священником?

— Сам поеду.

— В Таганчу?

— Да.

— Поспеши да захвати и дьячка Платоныча... Мы были друзья с ним, охотились часто... Спеши же... В последний путь, скажи ему, иду!..

Чулков подошел, сказал: «Прощай, Ипполит... Может, скажешь еще что́-нибудь», — и закрыл глаза рукой.

— Стой, стой, Александр Ильич, погоди; стань вот тут возле меня... Посмотрю еще я на тебя...

Чулков стал в ногах.

— Реши вопрос! — медленно сказал Гуслев. — Отчего я не утопился? Отчего не повесился или не застрелился в

последние мои тяжкие, безнадежные годы! Отчего и у тебя я охотно поселился жить, я — трутень и жалкий бродяга?

— Не знаю.

— Оттого, что в человека я верил и верю. Самый отъявленный негодяй — и тот лучше зверя! У него есть покаяние; ну, довольно... Теперь поезжай. Узнал я у тебя труд... потружусь теперь в последний раз Богу... А не застанет меня поп, не поминайте лихом... так тому и быть!

Сказав это, Гуслев опять застонал и начал впадать в забытье. Чулков еще постоял, поговорил с доктором и, тихо взглянув на Гуслева, пошел к дверям.

— Постой, постой еще! — слабо вскрикнул, приходя в себя, Гуслев. — Дай мне еще посмотреть на тебя, на честного, честного работника... Что с того, что тебя ограбили? Ограбить везде могут. Но ты доказал, что можно трудиться. Благослови тебя Господь!.. Захочешь быть умником, женишься на Чемодаровой. Ты в горе и она — вот вам и ассоциация... Теперь ступай... Спасибо тебе за все, за все!.. и в особенности за то, что ты принял и призрел последние годы сироты...

Доктор кивнул Чулкову. Тот вышел и уехал.

Быстро доехал Александр Ильич в Таганчу, переговорил со священником, поспешил к Чемодаровой, упал ей в ноги, целовал ей руки и платье, объяснил ей все дело и успокоил ее минутную грозную вспышку. Затем взял дьячка на дрожки и поехал в обратный путь. Буланка, как бы чуя важность исполняемых при ее пособии дел, бежала особенно усердно и прытко. Дьячок молча сидел за спиной Чулкова. Ему, очевидно, хотелось что-то сказать.

— Эх, дичи-то, дичи будет этим летом! Ишь, молодые уж стрепета вывелись; вон старая матка вспорхнула, а молодые, как зайчата, побежали по траве за ней...

— Что нового? — спросил Чулков, желая размыкать тоску.

— Будто ж вы, ваше благородие, не знаете?

— Не знаю.

Дьячок крякнул.

— Капканчиков, исправник, в розысках за вашими-то деньгами, нарядил тайную стражу над всеми менялами и процентщиками в уезде да и наскочил на такое дело, что страсти... Вы вот на ярмарку ездили, а тут все переполошились.

— Какое это дело?

— Сперва где-то он поймал одну фальшивую депозитку; потом, слышно, сцапал их тысячу; а перед вашим приездом к нам тесть нашего отца Льва тоже пробежал в Бояркино на ярмарку, так сказывал, не то вчера, не то сегодня, что уже открыта тут в уезде целая фабрика по евтой части.

Точно в колокол кто-нибудь ударил над ухом Чулкова — так поразила его эта новость. Он придержал усердный бег буланки.

— Кто же учредители этой фабрики?

— Страх и сказать, ваше благородие! Все, говорят, господа здешние, да еще не из бедненьких, а крупные все и громкие, почитай первые по всему уезду тузы! Спаси нас, Господи, и помилуй от такого срама!

Дьячок перекрестился.

— Кто же именно?

Дьячок замялся.

— Многих называют, да видно, что и врут. Не припомню что-то, кого именно...

В это время буланка свернула напрямик к Опали́хе. Не успела она пробежать и четверти версты, как из-за крутого взгорья раздались звуки колокольчика и бубенчиков, хлопанье кнутов, крики ямщиков, и навстречу Чулкову выскочил, пятериком на обывательских, запыленный тарантас.

— Стой, стой, — закричал голос, — погодите, я только что от вас!

Из тарантаса вылез исправник Капканчиков.

— Куда ездили? — спросил исправник.

— Священника просить к Гуслеву. Что он?

— Да, знаю! — со вздохом сказал исправник, почему-то отклоняя вопрос и сочтя долгом усталыми глазками смотреть не в лицо Чулкову, а на колесо его дрожек. — Знаю, и хорошо вы сделали, что потрудились для бедного человека... я вот — тоже бедный человек. Семья заедает!.. А по вашему делу, несмотря на обещания вам, ничего еще не добился. Вот теперь, как заехал к вам по пути, обратились ко мне у вас две бабенки, рассказали о тех дезертирах, я велел их отвести к себе в город под караулом... Какой, в самом деле, странный случай! Но вряд ли что новое откроем! Ничего не добились и не добьемся! Подлец, племя людское.

— Как ничего не добились? А фальшивые монетчики? — пошутил Чулков.

Исправник, несколько смешавшись, что первый не сказал этой крупной уездной новости, предложил Чулкову встать с дрожек, отвел его в сторону от дороги и сказал:

— Называли вам виновников этого дела?

— Нет.

Капканчиков оглянулся.

— Многих называют. В том числе и общих наших знакомых: Зиньзиньского и Чабаненка. Каково для их детей?

В уме Чулкова невольно мелькнул его последний разговор с Музыкантовым.

— А где открыты следы фабрики? — спросил Чулков.

— Я сейчас прямо оттуда; хоть это и секрет, но вам я скажу... В Ульяновке, близ вас, за Опали́хой, хуторишко этот, как, может, слышали, дрянной, в глуши. Его взял год назад на аренду аферист Зиньзиньский для кожевенного завода. Я обыскал там усадьбу, нашел камни, бумагу, кастрюлю с красками, печку с шнурками для сушки ассигнаций, пятна от красок на стенах... Что́ вы на это скажете? Думали ли вы, что монетный двор на время, злою волей этих господчиков, переходил из Петербурга в соседство с вами?

Чулков в свою очередь взял исправника под руку, отвел его еще дальше в поле от дороги и передал ему свое последнее свидание с Музыкантовым.

— Улик у меня против него нет, но не худо и без улик начать его следить...

— Так вот что! — сказал, дрожа от радости, исправник. — Так вот какого рода гусь наклевывается! Я сам его давно подозревал! Все это так! И как я вам благодарен за открытие, хотя ни у меня, ни у вас пока нет против него улик. О! Это — плут больших способностей и большого полета. Открыв же его участие в деле, я сделаю свою карьеру! Еще с Гуслевым я говорил о некоторых на него подозрениях...

Глаза исправника загорелись восторгом; в его уме уже мелькали орден, повышение в чине, денежные награды, и прочее, и прочее. Не без наслаждения соображал он и ту минуту, когда он, малый саном и ростом, повалит такого Голиафа, как предводитель Музыкантов. Голос исправника при имени Гуслева, однако, снова дрогнул, а глаза опять почему-то склонились к запыленным сапогам Чулкова. Он взял Александра Ильича за обе руки и крепко пожал их.

— Что́ с вами?

Исправник взглянул на него; в его недавно радостных глазах дрожали слезы. Маленький носик печально торчал на покрасневшем лице.

— Нечего уже скрывать: Гуслев — извините за грустную весть — при мне скончался...

Чулков склонил голову. И много пролетело в его мыслях.

Исправник уехал. Чулков грустно и тихо, без эффектных возгласов, опять сел в дрожки, сказал дьячку Платонычу: «Слышал? Одним хорошим человеком меньше стало!..» — и погнал буланку. Но никогда с той поры не мог он забыть этого мгновения. Прошло с того дня немало дней, недель и месяцев, и утекло немало воды, но что́ бы ни делал Чулков, о чем бы он ни думал, роковая картина, как живая, воскресала и тихо сама собою становилась перед его глазами. И

он живо видел запыленный тарантасик маленького, измученного служебной хлопотней исправника, теплый вечер, медленно догоравшее в степи красное облачко наверху потемневших небес, слышал мягкий гул колесных дрожек и усердный скач взмыленной буланки, видел далее яркий свет вдали, над балкой, в окнах странно оживленного безлюдовского дома, и в сумерках вытянутые лица его домочадцев у крыльца. Он вошел в комнаты. Прямо против дверей, среди маленькой чистенькой залы, на раздвинутом обеденном столе, уже обмытый, одетый и тщательно, даже франтовато причесанный, лежал во весь рост огромный и безмолвный Гуслев: богатырские ноги против дверей, далее крепкие, сложенные руки, круглые плечи и бородатое лицо. Таким Чулков видел его часто летом, когда, намаявшись на охоте в знойный день, он шел к прудку в балку, окачивался там из ведра студеною водой, одевался, причесывался; ложился в чистую постель, брал номер последней газеты, несколько секунд читал его, отмахиваясь от мух, и на слове: «Эх, завтра еще дальше уйду; за самое Бояркино пойду! Что́ за места у вас, рай земной!» — крепко засыпал и, разумеется, утомительное странствие за Бояркино откладывал в дальний ящик.

Смущенный и растроганный юный доктор, наскоро устроив налой, читал у изголовья умершего Евангелие.

— Вот за какою почтенною требой вы меня видите! — сказал он при входе Чулкова. — Покойник взял с меня слово; хочу, сказал, чтоб именно вы читали.

Дьячок Платоныч, как знаток дела, не заставил себя ждать. Войдя, он форсисто ударил три земных поклона, искоса и несколько украдкой глянул на бледный, ставший вдруг особенно суровым и важным лик покойного, с сознанием собственного достоинства замигал старыми глазами, громко крякнул, как бы говоря: «Вот, погодите, я начну читать, так уж мое почтение!» — осанисто и даже гордо глянул кругом себя, вынул из-за пазухи привезенную восковую свечку, зажег ее, развернул закапанную воском Псалтырь и начал

16*

громко и бегло читать. И всю ночь, во время этого чтения, из его головы, против его воли, не выходили теплые и душистые весенние деньки, зеленые, еще новенькие камыши на Опали́хе, жужжанье пчел, крики уток по синим водным заливам, его перебродки здесь с Гуслевым туда и сюда, дружное хлопанье из ружья и беседы с ним за папиросочкой, где-нибудь на склоне косогора, и мечты о собственном куске хлеба на старость.

— К вам есть письмо покойного! — сказал доктор Чулкову. — Последнее его слово...

— Как? Он сам писал, умирая?

— Нет; начало этого как бы завещания он написал, видно, еще в первые часы после той ночи, когда его ранили и он сознал опасность, а конец он диктовал мне, но после все-таки напряг силы и кое-как сам его подписал.

— Покажите.

В это время вошли снимать мерку для гроба. Зала наполнилась батраками. Все крестились, с сожалением косились на покойника и клали поклоны. Чулков и доктор вышли в кабинет. Александр Ильич зажег свечку, развернул бумагу и прочел следующие строки:

«Я умираю, спасения, кажется, не будет — я умру. Мир не содрогнется, разумеется, от моей смерти... Тьмы-темь подобных мне букашек умирают ежедневно и также без следа на свете. Но я хочу сказать, хочу послать последнее прости моим былым друзьям... Все старые, добрые гуляки! Все весельчаки, лентяи и вертопрахи, товарищи моей молодости и жизни. Где-то вы дни доживаете? Вы, уже седые, усталые, больные и, вероятно, недовольные новым суровым, холодным и шумным временем, опомнитесь! Трудитесь, посвятите прочной работе хотя несколько последних лет своей жизни! Мы все с вами испытали немало счастья на земле. Но открываю вам, бедняки, величайшую тайну: выше счастья нет, как труд. За ним, зная хорошо, что смертельная гангрена не ждет и что вскоре, вскоре, может быть, и не далее, как чрез неделю, она подступит ближе, и перестанет биться мое

сердце, посылаю всем на свете свою братскую любовь и свое грешное прости... А ты, последний и лучший мой друг, Саша! Ты меня знаешь и все слышал от меня. Но к тебе есть особая просьба. В деревеньке и в губернии, о которой тебе скажет доктор, живет, чуть не нищая вдова, моя единственная сестра. У меня осталась часть моего жалованья; отошли ей эти деньги вместе с моими часами, книгами, бельем, платьем и другими вещицами. У нее сын в уездном училище; пусть это будет ему в память обо мне. Но походную мою сумку оставляю на память тебе. Если все тебя, чего Боже сохрани, здесь разочарует, и в том числе, если бы, чего бы я от души также не желал, изменила тебе известная нам с тобой особа, которую ты по истине оценил и полюбил, вспомни тогда меня, сними мою сумку со стены, надень ее и иди с нею работать в другие места; но лучше юга не найдешь: сюда птицы летят, сюда с севера и человек стремится. Прощай. Да процветет твоя усадьба с моим колодцем, да будет она красой этого края. Дай Бог тебе жить долго, достигнуть всего желанного и никогда, разумеется, не уйти, с старою моею сумкой через плечо, из мест, куда тебя кинула судьба и где, любя и защищая тебя, лег костьми верный друг твой *Ипполит Гуслев*».

— Окончательно вымирают такие люди! Мир становится дельнее, но суше! — сказал Чулков.

Подъехал священник, скорбные часы пролетели быстро, а через три дня от усадьбы Чулкова двинулось с телом его умершего друга к верховью балки печальное шествие. На похоронах была и Чемодарова. День был превосходный. Жара скрадывалась легкими дружными тучками, которые еще с утра ни с того ни с сего, как пологом, обвесили все небо, скучились, надвинулись, да так и не раздвигались, не посылая от себя ни дождя, ни ветра, ни грома, а всю окрестность облекая тишиной, полусветом и прохладой. Как бы ожидая чего, птицы, как случается в такую погоду, по степи кругом не летали и не пели. Гуслева похоронили. Ни доктор, ни священник за свои труды денег от Чулкова не взяли. Вещи

и деньги покойного, как тот завещал, отвез и сдал в городе на почту Иван Иванович.

— Как это ему смерть, однако, так быстро, после диктовки завещания, приключилась? — спросил юного медика после поминального обеда молодой, известный читателю, таганчский священник отец Лев. — Чем он именно умер, скажите мне! Не стесняйтесь! Я очень люблю естественные науки и верю в их великую судьбу... Да жаль им не учился.

— Сердцем умер! — ответил доктор. — Как бы вам выразиться? Воспаленная кровь поразила нервы, а когда перестал повелевать главный господин нашего тела, мозг, то и сердце перестало биться.

— Где же душа-то, в мозгу или в сердце? — спросил отец Лев. — Извините, может быть, не так по-вашему говорю; но меня это сильно занимает. Иной раз, как задумаешься, да целые дни, как угорелый, ходишь.

— А вот садитесь со мной; нам, кстати же, и ехать несколько по пути; я вам объясню, как умею.

Доктор и священник сели в повозку, выехали в степь, и долго дьячок Платоныч, правя саврасою лошадкою отца Льва и плетясь рысцой вдоль зеленеющих лугов и косогоров, покачивая головой, слушал, как юный доктор вещал о тайнах человеческой смерти недавнему семинаристу, священнику.

Двор Чулкова снова опустел.

— Эх, горька жизнь! — со вздохом сказал осиротевший Чулков по отъезде гостей, снова усаживаясь с папироской, по-былому, на глиняном крылечке глиняного безлюдовского домика...

С крыльца, по-прежнему, был красивый вид на степь, на балку и на колодец у рощицы. Теперь к этому прибавился грустный вид на свежую черную могилу Гуслева. Долго сидел Чулков и многое передумал.

— Мертвому мертвое, живому живое! — заключил он со вздохом и встал с крыльца. Милый лик соседки еще более стал его манить к себе. — Надо покончить. Прощай, волюшка!

Дня через два, когда он собрался к Чемодаровой и вышел уже на крыльцо, к воротам подъехал Иван Иванович. Чулков поздоровался с ним, вернулся в комнаты, велел поставить самовар и долго, по-былому, по-старому, толковал с ним о том о сем.

— Ведь я через тебя, Иван Иваныч, тут остался, — сказал он.

— Через меня. Так что же? Побольше бы на вашего брата таких Иванов Иванычей. Мы-то, барин, давно, как муравьи Божьи, трудимся.

— Да видишь, как все свихнулось. Там ограбили у меня деньги, а тут умер приятель, помощник! Тоска одолевает.

— Так ты это тягу от нас затеваешь? Полно! Бог не выдаст, свинья не съест, ваше благородие! — сказал лабазник. — Не учась начали, да вели дело хорошо, а теперича вы и поучены. Осторожнее будете. Те ж люди и у меня деньги и коней отняли. Давай-ка еще кипяточку, барин; так-то, пей и сам! Дело-то, кажись, опять пойдет на лад. А скучно одному, без помощника, найди себе помощницу, значит, такую мамзель али мадаму; коли наша сарафанница не по нутру, с барыней какою обвенчайся. Не в пример веселей станет и за дело-то снова взяться. Ей-Богу! (Лабазник захохотал.) Все-таки жена... помощница по муже! На то они из ребра нашего сотворены. Я вон свою прежде бил, а теперь жалеть стал, в карнолин одел, балую...

X

Монетный двор и монетчики

Громкая история открытия подделки фальшивых ассигнаций в Ульяновке началась с пустяка, с ничтожной случайности.

Какой-то меняла, на песчаной площади уездного городишка, в жаркий и душный полдень, спросонок, принял и

разменял проезжему незнакомому еврею пятидесятирублевый билет. Через час он разглядел свой промах. Оказалось, что билет был фальшивый, а именно: на одном углу его номер кончался цифрами 14, а на другом, от перестановки выпавших цифр, по недосмотру печатника, числом 41. Зоркий глаз обманутого менялы подметил еще некоторые признаки подделки. Но он был наметан и смолчал. Через два дня тот же еврей, не видя никакой тревоги, будто проездом, снова обратился к его столику уже вечером и спросил, не разменяет ли он ему билета. Меняла охотно согласился и стал ему отсчитывать мелкие депозитки и серебро, а сам мигнул подручному мальчишке; тот дал знать исправнику, и еврея схватили. «Откуда взял деньги?» Еврей, разумеется, стал отрекаться от всего, клялся и землю ел, что ничего не знает, и показал сперва, что деньги эти нашел в губернском городе на улице, а потом сказал, что его нанял и послал разменять эти бумажки неизвестный человек, которому он и должен был привезти выменянную мелочь в такой-то шинок. Все это, без сомнения, оказалось выдумкой. Разыскали, однако же, жилище еврея, произвели обыск и под полом нашли еще тысячи на две таких же билетов.

Губернатор, получив донесение Капканчикова, вызвал его к себе эстафетой и тотчас нарядил для производства дальнейших дознаний особую комиссию из судебного следователя, чиновника особых поручений, жандармского офицера и самого Капканчикова.

— Знаете ли, мой милый, что мне пришло в голову? — сказал ему губернатор наедине в кабинете. — Не угадываете?

— Не угадываю, ваше превосходительство.

— Видите ли: мне кажется, что эта новая скверная история имеет связь с похищением денег у Чулкова, где также, как вы знаете, замешаны жиды. Не те ли самые деньги вы и выследили, которые похищены у Чулкова? Не у него ли в глуши на хуторе они и сделаны? Что-то очень подозрителен и он сам, и его здесь появление. И в самом деле: жил

на севере, бродил за границей и вдруг остался здесь... Вчера сидим мы в клубе, я, Музыкантов и Скардачевский, играем в карты; я им по секрету и сообщил это открытие и мою догадку. Как хотите, Музыкантов — предводитель...

— Что же они?

— В одно слово согласились со мною. Даже побледнели от мысли, что с ним знакомы. Да оно и весьма правдоподобно: где, в самом деле, этому господчику, с его дрянною арендишкой, нажить те деньги, что́ у него украли! Верьте, обивая тут у меня пороги, он спасал не эту сумму, а самого себя, чтобы не открыли его шашней. Советую вам присмотреться и начать с него. Действуйте моим именем. Понимаете? Не стесняйтесь ничем и никем... Обыскивайте, берите под арест и снимайте показания, не стесняясь ни чином, ни именем, ни положением в свете, ни даже пределами уезда и губернии...

— В таком случае, попрошу у вашего превосходительства сказанного полномочия на бумаге.

Губернатор подумал.

— Извольте. Но будьте осторожны. Кто бы ни был виновен, не щадите никого. И советую начать с Чулкова.

Губернатор позвонил, приказал правителю канцелярии заготовить нужную бумагу, подписал ее и отдал исправнику.

Следственная комиссия в тот же день приступила к делу. Город заговорил, что и Чулков замешан в этом деле. Этот слух глубоко уязвил Александра Ильича. Капканчиков, между тем, пригласив с собою членов комиссии, заехал в самый буйный и подозрительный подгородный кабак, сделал тут при понятых усердный обыск, арестовал и допросил кабатчика и отсюда же послал губернатору донесение, что открывается не только шайка лиц, менявших поддельные билеты, но что он нашел нить к открытию и самой монетной фабрики. Захватив в двух других придорожных шинках еще несколько подозрительных лиц, комиссия на другой день перевалила в соседний уезд, а еще через день и в соседнюю губернию. Ульяновка, как читатель знает, была обыскана и навела комиссию на многие следы. Капканчиков с каждого перевала

посылал губернатору эстафеты. Усадьба Чулкова была также обыскана; комиссия, конечно, здесь ничего не нашла. Тем не менее потом еще долго скверные черноземские языки трепали и позорили имя Чулкова, приплетая его к ульяновской истории. Капканчиков, оставив часть комиссии для составления акта обыска, по одному указанию, сел с жандармским офицером на перекладную, примчался к вечеру обратно в Черноземск и, ни к кому не являясь, а взяв только из полиции солдат, подкатил к крыльцу одного дома, над дверью которого была вывеска: *контора*. Это было помещение Халатова. Исправник и его спутник постучались. Огонь в окне показался и снова исчез, как бы кто-нибудь его понес в другие комнаты. Капканчиков поставил солдат по углам дома с улицы и во дворе. На новый стук в двери из сеней раздался голос: «Кто там?» — и на пороге явился, будто ничего особого не ожидавший, Халатов. Начался обыск. В комнатах и на чердаке, разумеется, ничего не нашли. Но Капканчиков заметил плохо притворенное окно кабинета, где на подоконнике оказались свежие капли дождя, который в то время шел с самого утра. Он взял свечу, выставил ее в окно и увидел, что эта часть дома выходила в сад, и на земле от окна к соседнему забору были видны свежие отпечатки следов. Он шепнул два слова жандармскому офицеру; тот вышел, и через минуту один из солдат явился с фонарем и принес большой стакан, туго набитый клочками порванных фальшивых билетов. Улика была налицо; туфли Халатова оказались в грязи, мера их пришлась равною величине следов на земле, и он тут же объявил, что испугался полицейского обыска и, прослыша в тот день о подделке ассигнаций и боясь, чтоб и его деньги не оказались фальшивыми, порвал их и, пройдя садом, перебросил через забор соседа. Он ломал руки, плакал, падал перед следователями на колени, хватал их за полы и, указывая на небо, говорил: «Я несчастный, несчастный! Меня обманули! Не погубите меня, не погубите!»

— Где же ты достал эти деньги?

— Неизвестный человек принес вчера ко мне в контору и выменял на чистое золото! Пропали мои денежки, пропали...

— Ну, песня знакомая, точно условились! Все одно твердят, — сказал Капканчиков, еще перемолвился с товарищем и, обращаясь к подоспевшему частному приставу, сказал. — Возьмите его и прямо в острог.

Частный замялся.

— Я — купец, — сказал Халатов, — у меня банкирские счета, дела, чужие деньги.

— Хоть бы ты был бог золота, сам парижский Ротшильд: велено, и берем — такова наша инструкция!

Запертую кассу и счета Халатова стали опечатывать жандармский офицер с частным приставом; исправник начал разбирать и опечатывать его бумаги. В его глазах постоянно мелькали письма Зиньзиньского и Чабаненка, имена которых стоустая молва уже не раз называла ему в эти дни. Халатов стоял тут же, согнувшись и смиренно поглядывая на происходившее кругом. Вдруг исправник заметил, что он снял со стола какую-то бумажку и хотел сунуть ее к себе в карман. Он потребовал ее у Халатова, развернул, прочел и сказал на ухо офицеру: «Скорее кончайте акт обыска: новое важное открытие. Надо сейчас ехать и еще сделать арест!» Он протянул ему бумажку. Это было письмо руки Зиньзиньского: «Спешу известить вас: товар найден; четыре разносчика уже прогорели. Держите ухо востро. Приезжайте на именины папеньки. Мы до завтра все вместе».

Следователи распорядились о перемене лошадей, составили и подписали акт обыска и ареста Халатова, передали нового арестанта в руки частного пристава и в ту же минуту снова выехали за город. Был десятый час вечера.

— Куда мы? — спросил жандармский офицер.

— В Ганновку, к Музыкантову.

— Что же там такое?

— Вы прочли. Зиньзиньский, я уверен, писал письмо из Ганновки; слова «именины папеньки» значат, что сегодня

день Ардальона, то есть именины Ардальона Аркадьевича Музыкантова.

Свежие обывательские лошади быстро проскакали тридцативерстное расстояние и привезли нежданных гостей в предводительскую резиденцию. Всходя на ярко освещенное крыльцо дома Музыкантова, Капканчиков взглянул на часы: было без четверти двенадцать часов ночи. Но в доме раздавалось еще веселье, и именинный пир не унимался.

Ардальон Аркадьевич только что оставил партию в безиг и встал, чтобы поразмяться. Приятель студента Сыто́ва, арестованного незадолго губернатором, по имени Моня, у дверей гостиной, вдали от карточных столов, говорил дамам о том, что он, живя в городе, занимается вопросом реорганизации рабочих артелей и думает устроить у себя на хуторе ассоциацию пахарей, где бы одному из пайщиков принадлежали волы, другому плуги, третьему обязанность кормить волов, четвертому ведение счетов с заказчиками. Музыкантов прислушался и улыбнулся.

— Эх вы, передовые, надежды отечества! — сказал он, пожимая плечами, — все о народе бредите. А народ-то вас грабит. Больше грамотеев, больше негодяев. Вон, хваленый ваш Чулков школу завел, хлопотал о больнице и о богадельне, а явились гости из того же народа, да по-своему и распорядились его капиталом. Нет, сударик, без нас, без высшего сословия, обществу далеко не уйти. Сама жизнь кладет перегородки: тьма для одних, свет для других. Им зубатые старосты да бойкие исправники нужны, а не Фребелевы сады.

— Свобода и права ее нужны для всех, — сказал, нахмурясь, Моня.

Музыкантов рассмеялся.

— Так вы еще не знаете, что свобода — галиматья, стихотворное послание к деве, к ней, к луне? Укрепление на бумаге крестьян кончилось. Свод законов перепечатается — и только, но закрепощение труда капиталу только

начинается! Целковый рубль — вот теперь помещик, да еще какой!

В это время у крыльца послышались звуки колокольчика и бубенчиков: не то кому подали лошадей, не то кто новый приехал. Прошло мгновение. Музыкантов, смолкнув на минуту, услышал, как засуетились слуги в передней. Один из лакеев вышел оттуда, направился к Музыкантову и шепнул ему: «Жандармский офицер и исправник спрашивают, можно ли войти?»

— Проси, проси! — залепетал Ардальон Аркадьевич и, невзирая на свою сановитость, легким пухом пронесся мимо карточных столов через залу и дружественно приветствовал подъехавших.

— На пару слов, — сказал жандармский офицер, побрякивая саблей, — позвольте в отдельную комнату?

— К вашим услугам! Куда вас Бог несет? Что вам угодно?

Хозяин направился с нежданными гостями в пустую угольную бильярдную.

Остальные гости, бросив играть в карты, но не покидая мест, тревожно следили за ними.

— Извините нас, — начал Капканчиков, — скажите, у вас есть агент по подрядным делам г-н Зиньзиньский?

— Есть.

— Макдональд Егорыч?

— Макдональд Егорыч.

— Где он в эту минуту?

— В саду... приготовляет катанья в лодках при бенгальских огнях на пруде... мое общество... мои друзья... собираются повеселиться... дамы и молодежь, словом, все... надеюсь, что и вы не откажетесь... так как это — день моих именин...

— Некогда нам, Ардальон Аркадьич, некогда. Нельзя ли нам переговорить с г-ном Зиньзиньским?

— С удовольствием.

Музыкантов выглянул в залу, подозвал слугу, убиравшего чайные стаканы, и послал его за Зиньзиньским. Слуга вышел. В это же время от раскрытого окна бильярдной в темноте кто-то тихо отошел и быстро побежал дорожками сада.

— Он сию минуту явится, — сказал, стараясь быть как можно беспечнее, Музыкантов. — Человек умный, честный и хороший! Зачем он вам, могу ли спросить? Да не угодно ли вам чаю, сигар? Курите?

— Очень вам благодарны.

— Откуда вы едете?

— Из Черноземска.

— Куда, позвольте узнать?

Офицер замялся.

— К вам, — ответил исправник.

— Ко мне! Какие же вы недобрые: так поздно! Вам бы на пирог... Вчера я был в городе; играл в клубе с губернатором... вдруг о Чулкове... Слышали вы? Говорят, его подозревают в деле фальшивых ассигнаций?

— Извините, мне надо позаботиться о лошадях, достать кое-какие бумаги! — сказал, как бы не слыша последних слов, исправник.

— Я все прикажу! — перебил хозяин.

— Нет, уж лучше вы побудьте здесь. Они вот при вас с Зиньзиньским переговорят. А я схожу.

Исправник вышел. Но вместо того чтобы доставать в тарантасе бумаги, взял с собою рассыльного казака и прошел в сад. Видно, его чуткое ухо услышало шаги под окном бильярдной.

Не прошло пяти минут, как от угла двора, где были хозяйственные службы, в темноте раздались крики: «Стой, стой, держи его!»

Озадаченный, сконфуженный и негодующий Музыкантов вскочил, быстро прошел мимо изумленных гостей, хотел было пойти в лакейскую, как дверь оттуда растворилась и в залу возвратился бледный Капканчиков.

— Что́ с вами? — вскрикнул хозяин, подступая к нему.

— Поймал его, захватил на бегу, арестовал и сдал под стражу.

— Кого, кого?

— Зиньзиньского!

Музыкантов не верил своим ушам.

— Чудеса! Непостижимо! Сущее несчастие! И в моем доме! — повторял хозяин. — Где же арестованный вами Зиньзиньский?

Капканчиков сел, стараясь успокоиться.

— В конюшне-с. Вот как было дело. Выйдя отсюда, я пошел к тарантасу и услышал быстрые шаги в саду. Я окликнул уходившего; тот мне не ответил. Я кинулся за ним. Тот бросился в кусты. Я взял нашего рассыльного, выследил его в саду. Но беглец миновал дорожки, бросился на двор к конюшне и вскочил верхом на первого подвернувшегося впотьмах коня. Мы стали в угол у ворот. Видим, он выезжает из стойла и стал понукать коня вскачь. Мы его и схватили: я его за руку, а казак за ногу! Он лошадь шпорит, а мы его тянем к земле: «Кто это, кто? — зашептал он. — Пусти, сто целковых дам... пятьсот... тысячу, пусти!» Не тут-то было; мы его сдернули, лошадь бросилась по двору, а я в свалке с ним и упал на землю. Я его держу, а он кусает мою руку. Да не ушел, теперь в конюшне, и казак наш на часах.

— Прошу вашего позволения, г-н Музыкантов, — сказал жандармский офицер, — прикажите послать за здешним старшиной; да надо собрать понятых! И я надеюсь, что и вы все, господа, в качестве свидетелей поможете нам допросить по такому важному делу г-на Зиньзиньского.

— Нет, уж вы лучше сами, — сказали гости.

Капканчиков потребовал фонарь и снова пошел к конюшне.

— Но Зиньзиньский, Зиньзиньский, и у меня на дворе арестован! Мой поверенный! Боже, какое стечение обстоятельств, — трагически шептал Музыкантов, — в чем же

его обвиняют? Не клевета ли это? Я столько лет его знал. Надо бы, полагаю, прежде предъявить обвинение...

Явился волостной старшина, собрались понятые. Следователи открыли присутствие в одном из дворовых флигелей, куда был введен и Зиньзиньский.

— Ардальоша, мой Бог! — завопила мадам Музыкантова, поймав мужа в одной из комнат мигом опустевшего дома и падая перед ним на колени. — Что это такое? Что с нами будет в нашем доме? Да отвечай же!

Музыкантов взглянул помутившимися глазами на жену, плюнул, топнул ногой и вышел со словами:

— Молчи хоть ты, матушка! Где бабы замешиваются, всегда подгадят! Тут не до слез! Поди вон лучше займи своими прелестями этого голубого гостя либо мерзавца Капканчикова. Не я ли тебе говорил, что ему надо дважды в год по сту рублей посылать. А ты все твердила: обидишь, не берет; вот и обиделся! Небось, одиннадцать человек детей — не шутка. Взял бы!

Музыкантов также пошел во флигель. Во дворе встретился с ним Чабаненко.

— Не пускают! — сказал последний.

— Есть у тебя наличные настоящие деньги?

— Есть.

— Много?

— Целковых триста; не успел более разменять.

— Так вы меняете по мелочам? Изверги, злодеи: мы же условились не менять до времени в здешней губернии!

— Да мало ли о чем мы уславливались! Поневоле соблазнишься, коли денег нет. Видели мы, что Халатов да Скардачевский меняют, и мы с Зиньзиньским начали...

— Господина Чабаненка к следователю! — проговорил в это время чей-то голос с крыльца флигеля. — Попросите г-на Чабаненка...

Чабаненко шепнул: «Ну, вывози, серая!» — вздохнул, махнул рукой и пошел.

Музыкантов остался с опущенной головой среди двора. «Выдержал Зиньзиньский или не выдержал?» — думал он.

Зиньзиньский, между тем, на первом же допросе при понятых, услышав неопровержимые улики против себя, спросил следователей, что может ждать его за полное чистосердечное признание, упал на колени и во всем сознался. Следователи наскоро составили акт, дали подписать понятым, вызвали потом Чабаненка, на которого показал Зиньзиньский, допросили его, и задали Зиньзиньскому вопрос:

— Скажите, у вас не было более сообщников?

— Пока скажу: не было... — ответил Зиньзиньский.

Следователи переменили лошадей, взяли с Чабаненка подписку о явке в город, а Зиньзиньского усадили с собой и поехали. Всю дорогу Зиньзиньский, несясь в тарантасе, плакал, молился и поминутно со скрежетом зубов восклицал:

— Я виноват, виноват, виноват! Убейте меня саблей или из пистолета, как пса! Я погибну, но погибайте же и вы, взявшие с меня клятву. Я вас всех погублю, утоплю, всех, всех... О, спасите только, господа следователи, мою жену и моих детей! Эти негодяи, подбившие меня, сулили мне груды золота, тысячи, я потерял на спекуляциях свой капитал и соблазнился. Но я же их! Они сознательно, обдуманно затеяли это дело и всякими соблазнами впутали сюда меня, голодного и с голодною семьей! Всех выдам, всех!

— Кто же они, остальные ваши совратители? Скажите их имена.

— Перед полною комиссией скажу...

— И много их?

— Места не будет в губернском остроге, как начнете всех виновных туда сажать...

Нервный озноб прошибал арестанта, и он стучал зубами, пугливо и злобно забившись в угол тарантаса, как собака, загнанная стаей других озлобленных и осиливших ее собак.

Молча проехав несколько верст, он опять хватал за руки дремавших следователей, молил их сказать, какому сроку каторжной работы должны подвергнуться виновные в этом деле, и опять стонал, ломал руки и, свешиваясь из коляски, кричал:

— А! Так вот как они уладили, затеяли, устроили и пустили в ход это дело! И теперь я один должен погибнуть из-за того, что для спасения семьи неловко разменял несколько сотняжек; а они хотят быть в стороне? Нет, нет! Не будут они в стороне!.. Господи! Дай мне память, дай мне слова, дай мне язык, чтобы все припомнить! Ни один, ни один не пришел меня спасти, сказать за меня хоть словечко! Подлецы! Будьте вы прокляты!

С такими ругательствами и проклятиями Зиньзиньский к утру был привезен в город; с громом пронесся тарантас по сонным еще улицам и подъехал к острогу. Силы арестанта ослабели. Войдя через порог назначенной ему камеры, он зашатался и чуть не в обмороке упал на койку.

Через два дня комиссия снова собралась в полном составе, и Капканчиков по желанию губернатора предложил на ее решение такой вопрос: «Приобщить ли к делу все признания и указания арестанта Зиньзиньского, чтобы по ним делать расследования, или заносить в журналы комиссии только такие из его признаний, к которым можно питать доверие, не компрометируя попусту многих уважаемых, но, быть может, с умыслом мараемых им лиц?» Комиссия решила заносить не все, а лишь то, что может представить известную степень вероятия. Зиньзиньский бодро выступил перед комиссией, окинул взглядом членов, и после нескольких ответов на предварительные вопросы, сам задал такой вопрос:

— Вы будете все записывать?

— Все.

— И все, что я скажу, будет доведено до сведения не здешних, а высших властей... положим, в Петербурге?

— Все! — с умыслом ответили ему члены комиссии.

— Могу ли я, повторяю снова, за полное и чистосердечное признание ожидать смягчения своей участи?

— Это зависит не от следователей, а от суда. Как знаете; мы можем вам только посоветовать одно: говорить чистую правду.

Зиньзиньский замялся, долго молчал, отирал со лба пот и переминался с ноги на ногу. Сильная борьба происходила внутри его.

— Вот то-то, — начал он, не поднимая глаз, — недолго вам рассказать всю правду: да что из того будет? И косточки мои сгниют прежде, чем кто-нибудь из тех, кто первый всему голова, будет сам отвечать за это дело. Сильны они, сильны в обществе, господа!.. Скажите лучше мне по совести... одному мне так уж за всех и отвечать или говорить сущую правду?..

— Комиссия ждет от вас правды, ничего, кроме правды! — внушительно сказал ему один из следователей, чиновник особых поручений губернатора.

Арестант, махнув рукой, сказал:

— Э, будь, что будет! — и начал так свое признание. — Вы желаете мне дать очную ставку с Халатовым? Вы говорите, что он первый, после своего ареста, дал некоторые средства к уликам против меня, своего сообщника. Не надо мне его улик и доказательств. Я сам вам открою все дело, как оно было. Мы с Халатовым, действительно, заведомо и сознательно участвовали в компании жителей здешнего уезда и соседней губернии для подделки банковых билетов. Но мы были только ближайшими агентами учредителей этой компании, которая подделала и выпустила этих билетов на пятьсот пятьдесят тысяч рублей серебром... Я заведовал ходом фабрики, Халатов — первыми попытками размена.

— Не преувеличиваете ли вы этой цифры, г-н Зиньзиньский? — недоверчиво спросил чиновник губернатора. — Может ли быть, чтобы в этом глухом, ничтожном хуторочке вы отпечатали такую большую сумму денег?..

— Я вас предупредил, что буду говорить сущую правду и что за нее жду пощады закона. Я сам был бухгалтером компании... вел счета, а потому и говорю без ошибки... Мы хотели посылать менять эти деньги на Кавказ, на Волгу, на Дон и в Сибирь...

— Как давно эта компания существует?

— Восемь месяцев она работала, а затеяна уже более трех лет.

— Итак, кто же ее учредители? — спросил Капканчиков, записывая показания арестанта, — я должен спросить вас, не участник ли в ней г-н Чулков?

Зиньзиньский вынул платок, отерся, кашлянул, хотел говорить, попросил воды, выпил, попросил позволения сесть и, сидя, вполголоса, начал так:

— Что вы толкуете о Чулкове? Мы его и не знаем. Его фамилию забудьте. Я вам всех настоящих виновников теперь назову, всех. Спасите только мою жену и детей, а я хоть в каторгу готов идти... Совершенно понимаю и сознаю, что мы затеяли подлое дело и что не увернемся. Я не хотел, да меня втянули. Поэтому, выдаю вам теперь же всех главных виновников. Учредители компании: предводитель дворянства Ардальон Аркадьевич Музыкантов, почетный смотритель Скардачевский, бывший уездный судья Афанасий Андреевич Чабаненко, в Петербурге князь Бухарский, барон Шульц... — Зиньзиньский не договорил.

— Знаете ли вы, милостивый государь, чему вы подвергаетесь за клевету, если не подтвердите ваших показаний? — вскрикнул чиновник губернатора. — Если вы наносите поругания высоким лицам, чтобы только запутать их и протянуть дело, я возьму шляпу, уеду и обо всем донесу губернатору... Вы это все сочинили. Берегитесь! Вы играете в сильную игру.

Голубой офицер, бывший постоянно в ссоре с остальными местными чинами, не выдержал.

— Господа, или г-н Зиньзиньский все будет говорить, или я, прежде всех вас, выйду отсюда и

обо всем этом дам знать не губернатору, а прямо в Петербург.

Чиновник забормотал себе что-то под нос и утих.

— Итак, господин Зиньзиньский, далее: где была ваша фабрика? — спросил голубой офицер, по условию, впрочем, не записывая дальнейших показаний арестанта.

Зоркий глаз арестанта заметил, что его показания перестали записывать.

— Так вы мне грозите, зовете меня клеветником? Не хотите, как вижу, записывать моих главнейших показаний? Хорошо! Мне терять более нечего. Отныне я молчу. Или пишите все, или ничего!

По знаку голубого офицера Зиньзиньского увели.

Члены комиссии стали снова совещаться, как быть с его показаниями. Прошло минуть десять. Слышались споры и возгласы: «Да вы ошибаетесь, Иван Васильевич!» — «Нет, ошибаюсь не я, а вы, Павел Ильич». — «Нет, вы»...

Арестанта позвали опять. Жандармский офицер, нахмурясь, что-то записывал.

— Мы занесем в протокол все ваши показания! — произнес голубой офицер. — Продолжайте: где была ваша фабрика и как компаньоны устроили все это дело?

Зиньзиньский возобновил показания и говорил более двух часов подряд. Кроме жандармского офицера, записывал еще губернаторский чиновник. Арестант все рассказал: как учредители составили складчину в пятнадцать тысяч рублей серебром, как выписали машины, как пригласили печатника и резчика, как условились окончательно обо всем у Музыкантова в Ганновке и как он, Зиньзиньский, открыл эту фабрику в Ульяновке под видом кожевенного завода.

— Отчего выбрали это место, а не другое?

— Где найдете уголок, более удобный для этой цели?.. Ульяновка стоит в стороне от больших и проселочных дорог, окружена оврагами, болотами и песками. С трех сторон ее

огибают притоки Опали́хи. А Опали́ха, вы знаете, самое глухое место в губернии. В Ульяновке всего шесть крестьянских дворов, и те вдали от барской усадьбы. Я взял Ульяновку на аренду на свое имя, а чтобы не навлекать подозрения полиции, Чабаненко поселил там свою любовницу. От него соседнему становому постоянно посылались подарки, и тот никогда туда и носу не показывал. Ну вот там-то, в этой глуши, компания и устроила банк фальшивой монеты.

Чиновник губернатора нагнулся к Капканчикову и шепнул ему:

— Вот бы мадам Чабаненке шепнуть про эти открытия...

Наконец, Зиньзиньский передал адреса мест, куда уехали, по отпечатании первого выпуска ассигнаций, резчик и печатник, и рассказал, куда учредители запрятали более нежные части машин. Комиссия постановила: Чулкова от подозрения избавить, Зиньзиньского посадить в острог, а сама разделилась снова: одна часть ее членов решилась ехать в розыски других привлеченных к делу, а другая часть положила искать в указанных местах доски, краски и прочие припасы. Капканчиков, по подписании протокола, на другой день явился к губернатору.

— Надо арестовать, — сказал он, — лицо, которое высоко поставлено в этой губернии.

Капканчиков хотел назвать это лицо.

— А черт их побери, всех этих высоких лиц! Надоели и вы мне, да и они! Вот, где они все сидят у меня! — показал губернатор на полный белый затылок. — Я знаю, что вы, вероятно, уличили Чулкова, а он стал выдавать и путать других?

— Близкого знакомого вашего превосходительства надо арестовать, господин же Чулков в стороне. Все привлеченные к делу выгородили его единогласно. Дело идет о другом лице.

Губернатор во все глаза взглянул на подобострастную позу Капканчикова и, подумав: «На кого бы он намекал? — ответил:

— Удивляюсь, что ошибся о Чулкове. Странно! Впрочем... Берите хоть дьявола, слышите ли? Мне проходу нет, одни оруг: бери, казни их, а клуб кричит: клевета! Черт знает, что тут делается! Всякого станешь подозревать, скоро в карты ни с кем нельзя будет играть... Берите хоть всех, вместе с клубным экономом! Но... я, впрочем... на вас надеюсь! Помните одно: не всегда и не во всем верьте слухам о тех уважаемых в обществе именах, в которые с умыслом бросают грязью эти уездные и губернские сплетники. Вот здесь и о Музыкантове плетут. И я знаю — вы о нем хотели мне сказать. Делайте, что хотите, я вам не мешаю. Но будьте осторожны: у него много завистников и врагов.

Дежурный лакей в это время внес и подал губернатору телеграмму. Тот ее прочел и долго не мог выговорить слова.

— А... слышите, слышите? Каково! Представьте! Мне телеграфируют из Петербурга... (губернатор смял телеграмму), что в одной из петербургских газет уже явилась телеграмма из Черноземска о том, что у нас в губернии открыта шайка фальшивых монетчиков, что она состоит из известных в городе лиц. Ума не приложишь. Действуйте, действуйте энергичнее! Это Сыто́в, студент Сыто́в опять напечатал каверзу. Ну, что мне с ним делать, с этим новым Курбским? Какая дерзость! Розгами бы их сечь! Малодушная дрянь, всякая козявка и та стремится занять видное место на земном шаре!

Бешенству губернатора не было пределов. Сыто́в опередил его отчет министру.

Исправник вышел и через час с голубым спутником сел в тарантас и снова выехал за город.

И давно не виданный скандал разразился над уездом и над целою губернией. Следственная комиссия допросила Скардачевского и Чабаненка, обыскала их, арестовала и в собственном дормезе Афанасия Андреевича, шестериком, под конвоем двух жандармов, доставила обоих прямо в острог.

Тревожные слухи начинали ходить и о самом Музыкантове. Но его пока еще не трогали. Довольно было и вести об арестовании этих двух лиц. Молва о Чулкове также стала замолкать. Одна Чемодарова осталась ему верна. С нею он делил свое горе, имевшее те еще следы, что он чуть было не закрыл своей школы.

Пока комиссия вела секретные допросы, губернатор не знал, на какую ногу стать и кого слушать. Одни в острожную камеру тайно посылали Чабаненке клубный стол, всякие лакомства, вина, газеты и сигары, толкуя, что время пыток прошло и что с заключенными следует обращаться мягко. Другие говорили: «Отчего же после этого и всем остальным острожникам не посылать клубных пудингов и супов?» — и требовали сравнять этих арестантов по содержанию с прочими.

Улик против Чабаненка, однако же, комиссия сперва открыла мало. Его бойкий адвокат настрочил ему куда-то жалобу, и его уже готовились было освободить на поруки, как его недавний приятель, губернатор, сам того не ожидая, нанес ему жестокий и неожиданный удар. Губернатор как-то решился посетить острог, обошел камеры арестованных по делу о фальшивых билетах и ни с того ни с сего напустился при всем конвое на Чабаненка:

— Я, милостивый государь, был с вами знаком, водил с вами хлеб-соль, как с честным дворянином и бывшим судьей. А вы себя опозорили таким делом, да еще и запираетесь. Сознайтесь лучше, это — долг дворянина. Дворянин падает, но не бесчестит себя ложью...

Обернувшись к тюремному смотрителю, он грозно прибавил:

— Кто это?

— Их высокоблагородие, господин Чабаненко.

— Лжете, сударь! Это — государственный преступник, арестант Чабаненко, а не их высокоблагородие! Отобрать от него красное шелковое одеяло, сигары, газеты и бархатный халат! Сермягу на него, как велит закон! К моему прискор-

бию, те, кто был мною принят и за кого я распинался, оказались преступниками.

Чабаненко при этом так струсил, что подумал: «И в самом деле, не повредить бы себе запирательством?» — призвал следователей и во всем, подобно Зиньзиньскому, сознался, выдав и Музыкантова.

Губернатор приписал эту победу над Чабаненко себе и поуспокоился, стал по-прежнему, жалуясь на боль поясницы, играть в карты и беседовать со старцами, своими клубными друзьями. «Дай, — подумал он, — укрощу я и этого борзописца Сыто́ва. Накормлю его обедом, обожрется нищий и будет моим. Так и Наполеон с оппозицией делает. Оппозицию, действительно, пригласили через полицию, угостили на славу, но через две недели явился один из сатирических листков из столицы и привез всю эту историю в печати, под именем: «Вот как в Японии мандарины подкупают свободное слово». Но разнеслась молва о новом скандальном деле в Черноземске.

XI

Юные птенцы и губернское казначейство

После грабежа кассы Чулкова и незадолго перед первыми арестантами по делу о фальшивых ассигнациях кучка молодежи в губернском городе Черноземске ознаменовала себя рядом самых отъявленных кутежей. В этой кучке были: кавказский линейный офицер, ходивший всегда в папахе и с огромным кинжалом, по слухам, незадолго перед тем взявший куда-то перевод из кубанского войска; какой-то отставной почтальон Ваня, белокурый и облыселый; знакомый читателю юнкер Чабаненко, везде в окрестных полках исключенный и нигде в течение шести или семи лет не получивший офицерского чина, хотя и носивший по вечерам на груди полукафтана георгиевский крест, какого, как говорили

злые люди, он никогда и нигде не получал от начальства. Еще был тут некий растрепанный семинарист Струйский, сын одного из чиновников местной банковой конторы; наконец, был здесь гимназист Вава Музыкантов и во главе всей веселой братии — Еня Разноцветов. Рассорившись с сестрой Чемодаровой и расставшись с Ардальоном Аркадьичем Музыкантовым, Еня с радостью примкнул к этим волокитам и буянам. Его, искушенного жизнью, слушали как оракула.

«Дурачье были эти фабриканты! — решил в уме Разноцветов, услыша подробности об арестах по ульяновскому делу, — и этот мой друг, мастодонт, предводитель Музыкантов, был во главе их! То-то они все тайно от меня шептались! Что они были готовы торговать фальшивыми бумагами, этого я всегда ожидал. Но не считал их способными на устройство фабрики. Ослы ослами, вздумали делать фальшивые депозитки, когда их готовых можно отыскать, умеючи, сколько угодно!.. Вон я дал мысль Молодичке! Как ловко подтибрили деньги Чулкова, да и с железною кассой подцепили их целиком, даром что была несгораемая и привинчена к полу... Жаль, что я тогда не поживился. Ну, да наше еще не ушло».

После одной безумно расточительной попойки друзья-кутилы в дворянских фуражках с кокардами забрались с остатками вина и закуски за город, на кладбище. Очередной банкир Струйский, приехав в обитель черноземских покойников, упал на землю, под шум остальной братии проспал часа два, очнулся, встал, выпил из бутылки, отрезал колбасы, закусил и объявил, что теперь у него, а следовательно, и у всех пирующих назавтра в кассе будет разве целковых два, да и то много. Компания задумалась.

Месяц тихо плыл на ясном небе. Высокие тополя кладбища далеко протягивали голубые тени. Из города доносился то лай собак, то громкие звуки проезжавших через мосты экипажей.

— Гм! Я на это вот что придумал! — сказал, вскакивая, Еня. — Ты, семинария, начерти нам план вашей банковой

конторы и, главное, план ходов к тамошнему денежному подвалу. Мы разделимся. Одни будут караулить, а другие поведут из соседнего глухого огорода подкоп под этот подвал. Будем работать по ночам. Ну, этак в недельку-другую дойдем до стены, проломаем ее, пробьем пол, и дело в шляпе. Что? Ведь тысяч до пятисот, до шестисот будет там в наличности?

— Вона! Клади миллион! Давеча, брат, я ходил звать отца обедать, так бухгалтер спросил контролера при мне: сколько в наличности по десятое? Миллион двести тысяч, сказал тот ему в окошечко из контрольной.

— Миллион! Яхчи! — ввернул кубанский линеец.

Все сдвинулись теснее. Предчувствовалось похождение на славу.

— Вот тогда оденется Каролинка, а Мелашке лисий салон справим! — решил гимназист Вава, лежа навзничь и плюя для собственного увеселения через голову в небо.

— Начинай, Разноцветов, я первый с заступом спускаюсь в землю и буду рыть, как обер-крот Тотлебен, — сказал юнкер Чабаненко, вскидываясь на пятки и оправляя на вспухших глазках очки.

— Извольте, господа, я готов! — сказал семинарист. — План недолго набросать вам, а от огорода всего сажень двадцать пришлось бы идти под землей до стены конторы. Но вот беда: между огородом и зданием конторы — канава, всегда наполненная водой, и притом самою вонючею и отвратительного свойства: здесь, кажется, сток из соседнего городского болотца.

Юнкер грустно посвистал. Приятели опять разлеглись.

— «Зaурмé, собачья кровь!» — щеголял кавказскими побранками линеец.

Кто тянул остатки вина из запасных бутылок, кто закуривал новые папироски.

Разноцветов ударил себя по лбу, вскочил на корточки и вдруг спросил:

— Господа милорды и джентльмены, отвечайте мне: хорошо обработан Чулков?

— Важнецки!

— Нравится? А ведь я знаю того господина, что навел на него теплую братью острожников!

— Не ври через меру, лопнешь!

— Ей-Богу...

— Смотри, еще Капканчиков узнает...

— А в деле фальшивых билетов, вы думаете, я тоже ничего не знаю?

— Полагаем! — порешили некоторые.

— Полагайте себе, как знаете; только уверяю вас, что не вру и что знаю одного такого человека... его держали при себе эти господа фабриканты, и он, хотя не вполне знал их дело, но был им полезен... не дали они этому господину взаймы пятисот целковых, он их и бросил. Тем-то, друзья мои, он и уцелел от следствия; но они уж, разумеется, без него пропали.

— Енька, это ты про себя? Заврался опять? Цыц, не слишком иди вширь! — сказал гимназист Вава Музыкантов. — Моя мать — сирота, без роду и племени; я также — сын моего родителя, и мне его жалко, тем паче, что с его виной потянут и все наше состояние. А я ведь жить только начинаю.

— Ну, и живи!

— Чем? — спросил Вава, для особого шика расчесывая карманным гребнем черные, как смоль, и совершенно кудрявые свои волосы.

— Мошенничай сам, ей-Богу! — хватил Еня.

Собеседники расхохотались.

— И один учитель у нас то же говорил, — перебил семинарист, — лучше жизни ничего, господа, не имеется! А некий древний философ с ума сошел со страху, узнав, что через сутки умрет от яду.

— Водка еще есть? — спросил Еня.

— Есть.

— Давай.

Разноцветов отпил и дал другим. Еще поговорили. Некоторые под общий разговор стали засыпать. Спустя, однако, полчаса Еня, покачиваясь, опять встал, осмотрел остальных, отошел в сторону под деревья к отозвал туда семинариста в кавказца. Сердца их бились тревожно, дыхание было прерывисто. Все угадывали, что Еня с недавней поры обдумал некий совершенно новый план, решился на что-нибудь смелое и небывалое, и ждали с нетерпением, что он скажет.

— Жить лучше или не жить? — спросил трагически Еня, ухватив обоих приятелей за руки.

— Разумеется, лучше жить! Что и говорить!

— Хотите разбогатеть? Сразу, понимаете, так, чтобы небу было жарко? Лучше богатства на свете нет ничего: ученость, права, честь, таланты, все это — чепуха. Этим занимались наши деды и отцы. Мы займемся более приятным: жизнью.

Приятели молчали. Месяц светил по-прежнему; из города реже, но все еще ясно, доносились звуки гремевших по мостам экипажей.

— Да и с какой стати налагать на себя какие-то высокие обеты, мучить себя нравственным постом, когда все кушают скоромное? — усмехнулся Еня. — Все грабят, все паразитничают на счет других. Один, вон, дурак Сытов все об идеалах бредит, газету затевает тут издавать: хочет отчий дом продать и купить типографию. Скоты! Точно жизни не знают... Бедняки бедствуют, вопреки академиям и университетам, пуще прежнего, а богачи богатеют теми же старинными неправыми путями. Медленным трудом богатеть и можно бы людям, сильным волей и духом, да много ли таких! Враки все, господа, что честный человек честным и умрет; не умрет он у нас честным человеком, подлецом умрет: под конец все-таки свихнется. Трудно не свихнуться!

— Да ты это, Енька, в мораль? — сердито прохрипел волосатый, как курдючный баран, линеец. — Ты к делу-то...

— Эх, погоди! Например, — продолжал Разноцветов, — наша Новороссия, чем она ушла вперед дальше хоть бы Запорожья? Запорожцы кутили и грабили турок, а тут все грабят друг друга... Принципы, душка, те же!

— Енька, в морду дам! Говори нам дело, а то спать хочется! Подниму всех и уедем! — объявил сердитый линеец.

— Так слушайте же! — зашептал Разноцветов. — Давно я надумал одно дело, какому еще не было примера. Что это за дело с ульяновскими депозитками! Пустяки!.. Нет, мое дело почище... Ну, ну, я не стану предлагать устраивать фабрики фальшивых монет, с выпиской сложных машин, с наймом специалистов рабочих, готовых предать тебя за грош всякому. Я не пойду по стопам ваших родителей, господа Музыкантов и Чабаненко. Нет, с завтрашней же ночи мы, господа, всею братиею, начинаем подкоп под губернское казначейство...

— Что ты! Под губернское казначейство! — воскликнул семинарист.

— А именно: под контору твоего папеньки мешает рыться канава. А там, так и рыться не надо: пробьем стенку из-под лестницы, в углу общего коридора, да ночей через пять-шесть и очутимся в подвале с новороссийскою казной. Что, брат? Не чета твоей конторе; у вас там... я уже обдумал: более именные билеты, а тут, тетенька, чистоган податной, сермяжный, настоящие засаленные да потом и кровью человеческою пропитанные депозиточки, связками. Сам неделю назад видел: нарочно следил, будто за подорожной приходил. Но, чур, только великая осторожность и повиновение вожаку дела. Нечего хлопотать над трудом подделки фальшивой монеты. Настоящей добудем сколько нужно.

План Ени был сообщен остальным; приятели осушили бутылки, перебрались за кладбище в поле, легли на траве и проснулись уже тогда, как их пригрело позднее солнце.

План Разноцветова казался сказкой. Но не таковы были хмельные натуры его друзей, чтоб отступать. Сказано и сде-

лано. Приятели разделили между собою роли. Место подкопа избрано в конце общего коридора присутственных мест, в темном углу, под черною лестницей, которая вела в верхние этажи здания. В этой впадине зимой складывались дрова; летом же тут ставились зимние оконные рамы и прятались служителями ведра и запасные мочальные швабры. Разноцветов рассчитал, что один из простенков этой впадины был стеной казначейского подвала. Он решил забраться за оконные рамы и сделать в несколько суток пробоину в этой стене, работая по ночам, а на день заставляя дыру досками и подмазывая штукатуркой. Свет из соседнего окна через лестницу не падал на это место, а стена и без того всегда была сырая и в пятнах.

Возле лестницы коридор загибался еще к выходу на черный двор.

В первую же ночь Еня с семинаристом явились к месту действия, неся под фалдами пальто долото, молоток и лопатку. Юнкер Чабаненко под форменною шинелью пронес ведерко, мешочек извести и песку. Линеец и почтальон Ваня еще раньше принесли и спустили под лестницу род крышки с деревянного ящика для затирания штукатурки, потом прошлись впотьмах по коридору с пачками бумаг под мышкой, будто чиновники. Еня и семинарист приоделись также на манер писцов, шныряющих до позднего вечера по коридорам этого здания. Семинарист стал впотьмах на черном крыльце, а почтальон и Вава Музыкантов шагах в тридцати от лестницы, в глубине общего коридора, и начали сторожить. Тишина в присутственных местах была невозмутимая. Еня и семинарист быстро принялись за дело. Раздвинули кучу зимних оконных рам, Еня заполз под них, а семинарист стал на лестнице, частью для того, чтобы подавать Ене нужные материалы, и частью, чтоб оберегать ход по лестнице сверху. Разноцветов начал работать. Зажег крошечный фонарь, поставил его под лестницей так, что свет его падал только на избранную им часть стены, прикрытой широким рядом пыльных тусклых рам, и выбил ряд кирпичей. Семинарист собрал

мусор в старенькую салфетку и подал Чабаненке, который вынес его и бросил в овраг с горки присутственных мест. Еня примерял к дыре деревянную закладку, принесенную почтальоном, причертил к ней еще вернее пробоину и стал снова работать. Часа через два впадина, в квадратный аршин величиной, была пробита почти на два ряда кирпичей. Разноцветов выбился из сил; тем не менее, не теряя времени, он наскоро поставил в темный угол под лестницей ведерко, положил туда кирку, долото и лопатку, остальную известку и песок, заставил дыру закладкой, прибил ее с четырех концов гвоздями и замазал известковым цементом. Пока он это делал, семинарист и линеец снова убрали кирпичи и мусор, принесли казенным ведром воды, замыли на полу следы известки, вытерли все казенною шваброй, опять поставили на место рамы и ушли. А когда рассвело, то в темной впадине под лестницей между старыми стенными пятнами никто не угадал бы нового пятна.

В следующие три ночи пробоина была так углублена, что Еня с фонарем влез туда и работал в ней, прикрываясь закладкой, которую товарищи снимали только для освежения воздуха. Каждый раз наутро все следы снова исчезали и за дощатою закладкой оставались одни инструменты, ведро да известковое творило. Пришла шестая ночь. За все время только однажды, именно в пятую ночь, охмелевший Анфисыч, сторож одной из палат, помещавшихся в этом здании, вышел из служительской каморки и более часу шатался по коридору, ругаясь на все лады, что никак не мог отыскать выхода во двор; пошатавшись по коридорам и напугав Еню с товарищами, он упал и заснул в двадцати шагах от лестницы. Друзья Разноцветова при этом было скрылись, но когда сторож затих, воротились, и работа шла до зари.

— Еще, господа, одна ночь, — сказал Еня, влезая в пробоину, — и мы счастливы; остается немного... Выну сегодня не более одного ряда, чтобы стена не дала трещины в подвал... Да куда делось мое долото? Видно, потерял на улице! Завтра же придем, толкнем, влезем в подвал, заберем,

что надо, в мешки и драла... Готовьте места, куда прятать деньги.

— Отчего же так долго?

— Дыра, друзья мои, вышла на угол подвального свода; разве не видите? Этим сводом идем в глубину. То была сырая стена, а теперь пошла сухая, как кремень, значит, близко к концу, да и по стуку уже легко угадать... Как бы только часовой у подвальной наружной двери не расслыхал моего скребенья и не поднял бы шуму.

— Не услышит: подвал из трех комнат подряд, а мы идем против самой крайней.

— Завтра, смотрите, сюда следует явиться уже не с пустыми руками: у кого есть револьвер, бери его, нож есть, бери и нож. Все может случиться. Придется, может, отбиваться — так уж тут жалей себя, а не других. А тройка, Ваня, на всякий случай готова? — прибавил Еня, гордо и торжественно поглядывая на друзей.

— Договорена, на подворках у жида.

— Деньги лучше всего зароем в овраг подгородных кирпичных заводов и скроемся на первое время все, как будто разъедемся по своим делам; а этак через недельки три, через месяц и поделимся. Я уеду тогда сейчас же за границу, поживу в Италии, пожуирую в Париже, а потом — на Восток, к пылким азиатским женщинам. Ты, Чабаненко, вероятно, сейчас же в гвардию; как будет вдоволь денег, увидишь — и экзамен выдержишь... Вава укатит в Москву — нигде такой игры в карты нет, как там; а ты, кавказец, да ты, Струйский, вероятно, сейчас же женитесь...

— Ну, полно тебе; лезь, Енька! Пора!

— Эх, друзья! Знают ли наши Даши, Маши и Каролиночки, что мы так трудимся для них? — сказал, влезая в пробоину, Еня. — Казенную корову все понемножку доят, а мы выдоим ее сразу: вот и вся разница. Да и то ведь казна, собственно, и не потерпит! Собственники поморщатся и все опять пополняг новыми податями, а мы... запылим,

Чабаненко, не правда ли? Хлоп — и вдруг губерния проснется через сутки банкротом.

— Запылим! Лезь, делай дело и не философствуй. Баста!

Разноцветов нагнулся, крякнул, влез в пробоину, его опять заложили закладкой, он зажег фонарь и начал тихо, как бессонная голодная мышка, скрести и пощелкивать молотком. Чабаненко стал по обыкновению на черном крыльце, Вава в глубине коридора, семинарист на лестнице, почтальон на ней же, выше этажом, а линеец поместился в потемках у поворота к служительской каморке. Два раза Еня оставлял работу, и два раза товарищи тихо и бережно выносили через черный двор к оврагу мусор и кирпичи. Было уже часа три ночи. На соседней гауптвахте сменился отряд; с противоположной стороны здания от площади изредка долетало позвякиванье ружей, и можно было расслышать сонную команду конвойного офицера и мерный топот шагов уходивших и приходивших на караул солдат. Товарищи Разноцветова, в разных местах коридора и лестницы дремали. Еня мерно скреб и чуть постукивал молотком в пробоине. «Вот будет штука, — думал он, — как шесть беспардонных пройдох и гуляк ограбят миллионную казну губернии! Воображаю тогда себе физиономию губернатора и всех чиновников! Ох, что-то дремлется. Покурить бы хотелось, да боюсь... уж потерплю!..» Вдруг рука у Ени остановилась, и сердце, шибко забившись, замерло; мороз прошел по его спине и волосы на голове встали дыбом: ему показалось, будто в коридор с одной стороны и на черный двор к крыльцу, где стоял Чабаненко, с другой — тихим шагом подходили два отряда солдат! «Верно, мне померещилось! Верно, я не пересилил себя и вздремнул!» — подумал Еня и быстро загасил во впадине фонарь. На время все смолкло. «Так и есть, — пронеслось в уме Ени, — я задремал; надо вылезть да поразмяться. Кликну с собой Ваву, покурим во дворе, да и товарищей надо бы расшевелить! Как бы еще кого не проглядели...»

И только он хотел толкнуть закладку и вылезть, как снаружи кто-то стал по ней шарить рукой.

«Верно, Чабаненко увидел в щель, что я погасил фонарь, думает, что я сплю, и лезет, свинья, меня будить...»

Закладка отодвинулась, и перед Еней в освещенном коридоре представился ряд солдатских лиц, и впереди всех рыжее и красноватое, в веснушках, лицо гарнизонного офицера и физиономия знакомого Ене губернского казначея Ивана Степановича.

— Выходи, — сказал офицер. — Ребята, не упускай тех, что кинулись по лестнице в коридоры второго этажа!

По коридору поднялась сильная беготня; еще кого-то, чуть ли не Ваву, ловили. Вверху по всем лестницам также происходила суматоха, раздавались крики: «Стой, стой! Залез в чулан! Бородкин! Ты его прикладом. Упирается! Ой, батюшки-светы, кинжалом отмахивается».

«Капут! Теперь я пропал и пропал окончательно! — мелькнуло в мыслях Ени. — Следствие, суд, далекий поход в Сибирь... А они-то, все схвачены или нет?»

— Да вылезай же, тебе говорят! — прикрикнул на Еню рыжий офицер. — Чего согнулся и смотришь, как волк в овчарне?

Еню вытащили, связали и с поличным повели прямо в губернский острог. Товарищи же его, услыша заранее приближение солдат, ушли все до единого через особый ход верхнего этажа на крышу соседнего дома, а оттуда по водосточным трубам спустились на площадь и скрылись.

Наутро история о пробоине в подвале губернского казначейства разнеслась по городу, а через день — по целой губернии. Губернатор и вся местная администрация просто обезумели от страха. И было из-за чего. Наряжена новая строжайшая комиссия. Имя Евгения Разноцветова мигом облетело все уголки. Удостоверившись в тюрьме, что из его товарищей никого не захватили, Еня на первом же допросе твердо и стойко показал, что знать ничего не знает и не помнит, как он попал в пробоину в казначейской стене; что

он был пьян, ходил прежде часто днем по коридорам присутственных мест, а ночью бессознательно пошел туда, увидел впадину, принял ее за свою кровать, лег спать и проснулся, когда уже явился с конвоем казначей Иван Степанович.

Разноцветов думал на этом выскочить из дела. Но дело кончилось иначе. Палатный пьяный сторож Анфисыч, напугавший в пятую ночь Еню с компанией, как известно, заснул в коридоре, на заре увидел свет в щели под лестницей, захотел осмотреть, да поленился и забыл, занявшись поутру уборкой своей палаты. Случилось, что и в одном из верхних этажей здания в ту же ночь какой-то мелкий дежурный чиновник не спал, встал ранее обыкновенного и захотел сойти вниз к служителям, чтобы наутро послать за водочкой и за огурчиками на закуску, но вместо парадной пошел случайно по глухой черной лестнице и только что стал спускаться и рассеянно взглянул вниз, как увидел на лестничной площадке какого-то незнакомца, а внизу, у выхода в черный двор, другого, как бы стоявших на страже. Он кашлянул; незнакомцы скрылись в извивах коридоров. «Что бы это значило? — подумал канцелярист. — Или это — наши же чиновники из новых, что я еще не знаю, или они приходили к дежурным по другим палатам?» Дав незнакомцам время уйти, чиновник со свечкой в руке спустился, стал осматриваться и увидел на ступеньке лестницы, очевидно, оброненное кем-нибудь, опачканное мусором и затупленное долото. Он поднял его, долго рассматривал, припрятал и наутро показал товарищам. Молва о долоте прошла между мелким чернильным людом.

— Эка удивляются! — говорили одни. — Видно, то были архитекторы. Говорят же, что одна труба чуть не наделала пожара. Должно быть, лазили на чердак.

— Или мазурики к судебным актам пробирались! — решили другие. — А долото, видно, каменщик какой-нибудь забыл, заходив вечером за паспортом.

Прения о долоте так бы и канули в вечность, не дойдя даже и до членов палатских присутствий, если бы не дока Иван Степанович, губернский казначей. Прослышав о долоте, найденном на лестнице у такой-то стены, он сейчас же навострил уши; не сказав никому ни слова, тихонько сошел вниз, залез в угол за рамы под лестницу и давай осматривать стены; осмотрел и ничего не заметил, хотя покосился на стенные пятна в трех местах.

— Скоро и подвал с казной промокнет от этого скареда Пал Па́лыча, экзекутора! — решил он, качая головой, и уж хотел уходить, как над его ухом раздался хриплый голос ходившего за швабрами и еще не отрезвившегося с ночи сторожа Анфисыча.

— Я и сам, кажись, Иван Степанович, — сказал он, — точно свет тут ночью в угле за рамами видел! Да все не пойму, как это он скрозь стену такую машиницную мог пройти!.. Притом же, ночью вы в подвал и не ходите.

— Какой свет, Анфисыч?

— Да скрозь стену-то вашу вон эту подвальную! За стеклами так и виднелся, маячил...

Казначей опять припал к стене, нащупал на ней более сырое, как бы свежее пятно, надавил его и обмер: закладка подалась, и под ней он увидел аккуратно сложенную пробоину, а в пробоине железные инструменты, штукатурное творило и ведерко с водой.

«Ничего здесь нет, пустяки!» — сказал он нарочно хмельному Анфисычу. И когда тот ушел, он заставил открытую пробоину оконными рамами и тотчас же обо всем дал знать председателю казенной палаты. Двери сверху и со двора на черную и без того глухую лестницу под каким-то предлогом тотчас на время заперли; закладку в пробоине сам Иван Степанович при председателе замазал своими руками; дали знать обо всем губернатору, после заделки пробоины ходы на роковую лестницу опять открыли, приготовили к вечеру два взвода солдат, допустили Еню начать работу, позабыв про лестницу на

чердак на другом конце здания; схватили одного Разноцветова, а товарищей его не поймали.

— Знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю! — резал Еня по-прежнему на допросах. — Я был пьян, шел мимо, не понимаю, как попал в пробоину под лестницу, заснул, меня и нашли... а настоящие виновники, верно, скрылись!

Но не знал Еня одного. Через несколько дней после его ареста, по другому совершенно делу, в руки полиции случайно попался семинарист Струйский, как уже известно, сын одного из чиновников местной конторы государственного банка. Он любил пощеголять, носил на жилете до безобразия толстую цепочку со множеством брелоков, густо помадился, посещал все театральные губернские зрелища, курил крепчайшие папиросы, учился в семинарии скверно и презрительно отзывался о всех своих учителях, говоря, что они — дрянь-дрянью и что он поедет кончать курс в университете, но не в русском, а в каком-то немецком. Он был идол товарищей меньших классов, старшие же товарищи смотрели на него, как на отъявленную сволочь, и шепотом передавали друг другу, что он в детстве у своего родича, какого-то дьячка, украл жилетку и проел ее на мороженом. Часто в бурсе оказывались в его руках деньги, происхождения которых никто не знал. Отец его был тихий, суровый вдовец, аккуратный, бережливый и не взяточник. Выйдя в светское звание, он в угоду своему дяде, одному из соседних архиереев, своего сына задумал готовить по духовной части и послал в семинарию. Юный Струйский последние недели вел себя особенно странно: то пропадал где-то, говоря, что готовится к экзамену в бурсе, то являлся задумчивый и молча сидел в гостиной одного из товарищей отца по службе, хроменького и доброго старичка Штабеля, слушая городские рассказы или следя за игрой хозяина и гостей в карты. Этот Штабель, вечный губернский кавалер и волокита, румяный и свежий, несмотря на свои шестьдесят пять лет, любил душиться, хорошо одеваться и имел множество дорогих вещиц на столах своей казенной квартиры. Незадолго до ис-

тории с губернским казначейством он как-то вдруг заметил, что у него из гостиной пропал серебряный лоточек со щипцами; потом, дня через два, золотой колокольчик; наконец, исчезла из его кабинета пара серебряных подсвечников. Штабель был холостяк; его единственный лакей служил ему чуть не тридцать лет. Обедал Штабель в тот день в клубе. Похититель был, по его соображениям, кто-нибудь из бывающих у него гостей. Обдумывая на досуге, кто бы это был, Штабель встретился на загородном гулянье с частным приставом. Последний начал ему шепотом передавать, в каких он попыхах, что воровство в Черноземске развелось невероятное и что три дня назад у самого полицеймейстера украли из сушильни все детское и женино белье, а у приятельницы губернатора, богатой помещицы, стащили из саду палатку с ванной, и что он, частный пристав, этим скандалом сильно обескуражен, ибо, если через какого-то сыщика Перебендю он не найдет к утру белья, ванны и палатки, то ему губернатор велел подавать в отставку.

— Странные притязания! — либерально, хотя, однако же, оглядываясь, выразился Штабель. — У меня вон подсвечники серебряные так прямо со стола украли, а я молчу и не нападаю на полицию! Чем вы виною? Что поделаешь! На то ее Америкой иной раз и зовут, нашу-то беспардонную Новороссию... Сюда бы в начальники французского маршала с зуавами, а не нашего сибарита!

— Подсвечники? — воскликнул, что-то припоминая, частный. — Низенькие, с птичьими лапками?

— Да-с, с лапками; аграфики и пальчики, пальчики и аграфики.

— Защитите меня, коли найду? — спросил с улыбкой пристав.

— Извольте!

Они ударили по рукам, и через час серебряные подсвечники, колокольчик и лоток со щипцами были снова на столе Штабеля. И хотя полицеймейстерского белья сыщик Перебендя не нашел, тем не менее частный остался на своем

месте и даже откушал за счет влиятельного у властей Штабеля в клубе, причем рассказал без сомнения и то, как нашел вещи. Дело было так.

Недели за три перед тем приличный с виду юноша принес немцу Вуншу, серебряных и золотых дел мастеру в Черноземске, щипцы и лоток и предложил их ему за пять целковых, говоря, что его маменька, тайно от изверга и скупца папеньки, велела их продать, что его маменька, ничего не получая от папеньки на наряды, уже заложила некоей Марфе Кирилловне пропасть таких вещей, но что Марфа Кирилловна теперь уехала в Киев на богомолье и не к кому более обратиться. Немец Вунш вещи купил. Через два дня тем же лицом и тому же Вуншу был принесен колокольчик.

— Отчего же ваша маменька сама не пришель? — спросил Вунш.

— Это теперь мой собственный колокольчик: от покойной бабушки мне достался! — ответил юноша. — Знаете, мы, молодые люди, нуждаемся в лакомствах... ну, в театр и в другие места, приятели манят... словом, мне деньги теперь на табак и на другое нужны.

Вунш купил и колокольчик. Но когда юноша принес ценные подсвечники и стал говорить, что и подсвечники его собственные и что достались ему тоже от покойной бабушки, и стал за них просить что-то десятую долю цены, то Вунш сказал: «Пойдемте в часть; там дайте подписку, что вещи ваш, и я их купиль! Струйский (это был он) мигом сообразил, что с этой минуты его спасение лишь в проворстве ума и храбрости духа, смело явился с немцем в часть и дал подписку. Частный, однако же, будучи знаком с отцом продавца, пожелал с самого начала, чтобы кто-либо из его домашних подтвердил слова юноши, и для этого отпустил с ним квартального. На улице юный продавец дал квартальному целковый, сказав, что подсвечники не его, а собственность одного его товарища, которого он взялся выручить из какой-то беды, и что эти вещи он не продает, а только закладывает Вуншу на месяц, и стал упрашивать не ходить

к ним на квартиру. Квартальный почесался, подумал: «Отца этого молокососа я знаю; у него и не таких вещей целые кучи, чего доискиваться! Рубль же — вещь во всяком случае не лишняя!» — принял скромный дар и, возвратясь, объявил, что слова юноши, по наведении справки, оказались справедливыми.

Едва же Штабель, при встрече с частным, пояснил тайну этого дела, частный отобрал у Вунша все вещи, а мнимого наследника небывалой бабушки арестовал в гостинице, где тот занимался бильярдной игрой с Вавой Музыкантовым и юнкером Чабаненком.

— Куда вы это меня везете? — спросил, посвистывая, юноша.

— Не беспокойтесь: на казенную квартиру...

— В острог?

— А хоть бы и туда.

— Что ж мне будет, если б я не оправдался.

— Который вам год?

— Я совершеннолетний...

— В Сибирь на поселение пойдете; а сознаетесь во всем, участь вашу могут и смягчить...

Тревожную ночь провел новый арестант в остроге, но, явившись наутро к следователю, ни в чем не сознался. Между тем, история о посягательстве на губернскую казну, в подвале которой в час поимки Разноцветова было действительно более миллиона денег, сильно всех напугала. Губернатор стороной узнал, что в Петербург и об этом событии пошло несколько частных телеграмм, и в том числе одна отправлена в редакцию какой-то газеты. Появления номера этой газеты, с вестью о новом скандале в его губернии, губернатор ожидал с лихорадочным волнением и, между тем, землю готов был есть с досады, что Разноцветов во всем запирался и не было средств его уличить. Узнав, что арестованный семинарист Струйский был приятелем Разноцветова и, следовательно, мог пояснить историю подкопа в казначействе, губернатор взял с собою следователя и жан-

дармского офицера, полетел в острог, наобещал юному преступнику тысячу возможностей и вероятностей спасти его от улик в краже, лишь бы тот раскрыл ему тайну подкопа под казначейство, так как Разноцветов был его коротким приятелем.

Но Струйский не сдавался. «Никого не выдам», — решил он в уме и сдержал слово; даже умудрился тайно передать Ене о своем запирательстве и о том, чтобы тот был бодр и силен духом. Полиция узнала, что у Струйского и Разноцветова были еще друзья: гимназист Варфоломей Музыкантов и юнкер Андрей Чабаненко, какой-то безыменный линеец-офицер и некий почтальон Ваня. Но Вава оказался вдруг весьма усердно посещающим брошенные было им классы гимназии; юнкер Чабаненко оказался за тридцать верст, при штабе полка, исполняющим за кого-то дежурство; и им обоим удалось как-то доказать, что их в ночь подкопа под казначейством не было и в городе. А почтальон Ваня и линеец исчезли, так что их никогда и впоследствии не разыскали и самые их имена стали вскоре в Черноземске мифом. Разноцветова и Струйского предали суду. Но в истории с подкопом, как и в истории ульяновского дела, с каждым протекающим часом все более и более спутывалось и затемнялось. Свидетели уличали преступников и вслед затем от всего сказанного ими отпирались, и ясное, как день, разоблачение вопиющего зла исчезало, точно по мановению руки какого-то незримого фокусника. Скоро все дело подкопа под казначейство уже начали относить к одному случайному сплетению обстоятельств самого невероятного свойства. Немногие только твердо верили, что в этой, как некоторые выражались, шалости пустой городской молодежи, затеявшей будто бы в шутку ограбить миллионную казну, дело менее всего походило на шутку и на шалость, и что не смекни казначей Иван Степанович да не поддержи его полупьяный палатский сторож Анфисыч, губернский казначейский подвал через сутки так же точно опустел бы, как опустела безлюдовская казна Чулкова. Подробности даль-

нейшего хода допросов Разноцветова и Струйского потонули в тине канцелярских отписок, справок и всяких проволочек. История казначейского подвала вплелась в ульяновскую историю, и обе перепутались, как части разных сетей в заросшем травами озере. Струйского сочли непричастным к означенной истории и предали суду только за кражу вещей у Штабеля. Одного Еню как пойманного с поличным на месте преступления стали судить за подкоп под казначейство. Скоро разнесся печальный слух о Струйском-отце. Когда управляющий местною банковою конторою спросил его: «Это ваш сынок так отличился? Как еще он и нашего-то подвала не тронул», — старик побледнел, молча досидел до конца присутствия, потом пришел домой, пообедал, лег спать и найден к вечеру мертвым, с перерезанным бритвой горлом, а генералу оставил записку: «Напрасно меня укоряете: я сына готовил к высшей из земных карьер. Он сам виноват». А вскоре удар судеб разразился и над губернатором. В одно прекрасное утро, когда комиссия по ульяновскому делу собиралась вновь куда-то и зачем-то ехать из города, пришла телеграмма, что в губернию назначен и уже едет другой губернатор, а что прежний переводится на другое место.

XII

Финал вселенского скандала

С приездом нового губернатора рычаги административной машины задвигались сильнее и, казалось, успешнее. Ульяновское дело нашло себе новую пищу в некоем торговом местечке. Мать счастья, случайность, опять сделала небывалое открытие. На одной ярмарке кузнец вздумал обмыть принесенные ему для починки дрожки и отправился почерпнуть воды из давно запущенного колодца. Ведро ударилось в нечто твердое. Кузнец заглянул в воду, увидел верхушку куля, спустил лестницу и достал оттуда увязанный в клеенку

ящик. В ящике оказался в английских жестяных коробках подбор типографских красок и мелких литер. Литеры кузнец отдал детям на игрушки, а краски попробовал на дверях собственной кузницы, намалевав несколько человеческих фигур, которые тотчас привлекли к себе внимание соседей, и скоро местечко это заговорило о находке кузнеца. Разумеется, Капканчиков первый обратил на это внимание, стал расспрашивать, откуда эта находка могла свалиться в колодец, узнал от уличных мальчишек, что незадолго перед ярмаркой, ночью, проезжали здесь какие-то две фуры на волах, не то с молотилкой, не то с веялками, что фурщики хотели поить из этого колодца волов и долго пробовали воду, но, заметив, что сруб в колодце обвалился и что вода его испорчена, побранили воду и решили ехать далее, а в колодец при этом, вероятно, и бросили часть поклажи. Оказалось, что мальчики в то время лазили в соседний сад за яблоками и притаились в ветвях дерева, заслыша говор у колодца. Капканчиков дал ребятишкам по гривеннику на орехи, поскакал по дороге, куда поехали фуры, и на другой же день, от села к селу и от шинка к шинку, напал на чумацкой дороге к порту, по спросам окрестных жителей, на следы подозреваемых подвод. В одном хуторе на этой дороге он чуть-чуть не захватил их в шинке, где застал еще остатки ужина, которым подкрепились возницы. Назвавшись хозяином этих подводчиков, Капканчиков сам подкрепился в шинке, нанял верховую лошадь, бросил обывательскую тележку и с провожатым из хутора поскакал догонять извозчиков, сказав шинкарю:

— Догоню и ворочу; они не туда взяли — им не к морю, а на Чердоклеевку велено идти.

Капканчиков на невзрачной мужичьей лошаденке поехал сперва рысцой, потом вскачь. Впотьмах, за хуторскими мельницами, ему показалось, что кто-то скакал стороной, степью, будто обгоняя его, на крепком и бодром коне. Он остановился, прислушался: действительно, сильный конский топот отдавался уже впереди его. «Неужели это кто-нибудь и в

самом деле обогнал меня с целью предупредить подводчиков? Или это — одна случайность?» — подумал он.

— Есть у вас в хуторе у кого-нибудь хорошая упряжная лошадь? — спросил он провожатого.

— Клименко держит!

— Кто это Клименко?

— А шинкарь, где вы остановились.

Капканчиков спросил, есть ли у мельниц другой боговой проселок, и узнал, что есть. Скакал он верст пятнадцать. Ночь стояла превосходная, свежая. Дорога была гладкая, без рытвин и без косогоров. В одном только месте под ногами лошадей загремели какие-то бревна, в воздухе почувствовалась близость жилья, отозвалась спросонок собачонка и впотьмах обрисовался сбоку не то забор, не то стенка сарая. «Видно, опять шинок!» — подумал Капканчиков, поспешая за вожаком, который, между тем, оживился от езды и от мысли о заработке у хлопотливого купчика, усердно стегал коня и, размахивая руками и ногами, бойко скакал впереди. Проехали еще с час. Лошади притомились и пошли шагом. Стало светать. Капканчиков начал беспокоиться. Чумацкий путь виднелся далее без конца.

— Что за странность? — рассуждал он. — Мы должны были нагнать подводы еще часа два назад! Уж не свернули ли они в сторону?

Народ проснулся в степи, везде поднималось дорожное движение. Одни ехали вперед, другие им навстречу. Стали попадаться постоялые дворы, открылась красивая помещичья усадьба. Лошадь под Капканчиковым едва передвигала ноги. Он стал опрашивать встречных и поперечных; никто описываемых подводчиков не обгонял, не встречал и не видел.

— Уж не в Чемеричке ли ваши подводы? — заметил один из встречных.

— В какой Чемеричке?

— Вы из Прохоровки наняли коней?

— Из Прохоровки.

— Ну, вы не могли миновать Чемерички. Она на самой дороге, где вы ехали; там еще мост...

Капканчиков вспомнил стук бревен под лошадьми, силуэт сарая и лай собачонки.

Неужели я принял эту деревню за постоялый двор? Как она велика?

— Дворов сорок...

— Ах ты, досада... То-то я догадывался еще при выезде из прохоровского шинка, что меня обогнали.

— У Клименка в Прохоровке стояли?

— У него.

— Ну, нанимайте же новых коней да поспешайте назад и ищите ваши фуры в Чемеричке...

С трудом найдя новых лошадей, Капкапчиков приехал в Чемеричку уже к вечеру, созвал понятых и стал обыскивать дворы. Переходя из двора во двор, он не мог надивиться, куда делись подводы. Несколько человек с одного конца села показали, что накануне, после заката солнца, две подводы с кладью, под рогожами, действительно въехали в село, а остальные крестьяне показали, что подобных подвод они и в глаза не видали. Осмотрев все хаты, с огуменниками, левадами и сараями, Капканчиков пошел по улице назад, с мыслью заняться составлением акта о розысках по селу. Подходя к одной из хат, он услышал за ее углом перебранку бабы с мужиком. Баба с плачем звала мужа снять кожу с коровы, заеденной в ту ночь волками, а пьяный мужик ругался, с заглушенными угрозами прогонять ее, и говорил, сидя на завалинке по тот бок хаты, что надо прежде обождать, чем все тут на селе кончится, и что если волки зарезали треклятую корову, то они не съедят же днем с нее кожи.

— Треклятую? А чьих детей она выкормила? — говорила худая, низенькая и загнанная бабенка, поминутно закашливаясь и утирая слезы. — Пьянствуешь тут на слободке, а там, на хуторе, скоро и нас волки съедят!

Исправник подошел к плетню и спросил:

— Это у тебя, милая, в эту ночь волки корову зарезали?

— У нас...

Баба снова так и залилась слезами, обрадованная, что есть кому поведать о горе.

— Что же это так у вас волки расшалились? Разве корова не взаперти была?

— Где там взаперти! — отозвалась баба. — Выгнали ее в эту ночь на пасеку, а она тельная, все время прежде была в сарае, и я берегла ее, бедную, как зеницу ока, а тут, как нарочно, вчера, против ночи, ее выгнали, она и не отбилась от волков...

— Отчего же именно вчера против ночи ее выпустили? Вы где живете?

— Она врет, ваше благородие! — сказал мужик. — Ни коровы, ни двора, ни пасеки тут вовсе и нету, да и волков тоже нету и не было... Она это сдуру: напилась у кумы и врет...

— Хорошо, мы вот посмотрим, правду ли она говорит, — решил Капканчиков и велел бабе показать, где она с мужем живет.

— У предводителя на хуторе...

— У кого?

— Музыкантов, барин, коли слыхали; так себе, хата одна да брошенные сараи, тут на хуторе, поблизости.

— Веди, веди!

Исправник велел идти с собой и мужу бабы, и тот волей-неволей, едва передвигая ослабевшие от страха и опьянения ноги, пошел. Хутор оказался в полутора верстах от села, в яру; тут в сарае с первого обыска оказались сваленными все три машины, работавшие на ульяновском монетном дворе: печатная, гравировальная и гласировальная. Изумлению и радости Капканчикова не было границ. Возы стояли тут же, а наученные Зиньзиньским подводчики, наняв на слободке тройку, без вести ускакали, так как прохоровский шинкарь ночью, как известно, доскакал сюда и дал им знать об опасности. Своих волов подводчики бросили на магарыч сторожу музыкантовского хутора и дали ему еще целковый

на пропой. Капканчиков велел машины опять навалить на возы, потребовал свежих волов и под конвоем отправил их сперва в стан, а потом, под личною ответственностью местного станового, в город.

Но вернемся несколько назад, а именно ко времени перед арестами Чабаненка и Скардачевского.

В минуту обыска своего кабинета Чабаненко вышел в переднюю, крикнул: «Человек, воды!» — и в ту же секунду следователи услышали за дверью выстрел, выбежали и увидели хозяина дома на полу, в крови, с окровавленным ухом. Прошла весть, что Чабаненко не вынес позора обыска и предстоявшего ареста и решился покончить с жизнью самоубийством, хотя медицинский осмотр потом и доказал, что в ухе пули не было и что пистолет был не настоящий, а какой-то детский, которым он ранил себе только кожу. У его ног подняли письмо, где он торжественно взывал к своим приятелям и друзьям, клятвенно уверяя их, что он ни в чем не виноват, что честь и гордость его не вынесли напрасных обвинений негодяев и что он лишает себя жизни. Тем не менее, однако же, когда, вслед за этим покушением на самоубийство, доктора, осмотревшие его ухо, дали показание, что он вне опасности, его без церемонии посадили в острог. И когда в том же остроге на тюремном столбе сперва повесился агент Халатова, какой-то беглый каторжник из армян, Абдулко, и в то же почти время, в одну темную ночь оказался отравленным в острожной камере сам местный банкир Халатов, — Афанасий Андреевич Чабаненко почувствовал неожиданное угрызение совести и, после заезда в острог губернатора, во всем сознался, как уже было упомянуто. Скардачевский же за минуту до ареста написал на клочке бумажки записку и бросил ее лакею, шепнув ему, чтоб он отдал ее Музыкантову. В записке были слова: «Спасайте меня, а иначе пропадете вместе с нами и вы; хоть займите, а соберите тысяч двадцать пять; надо полагать, что

за эту сумму можно еще погасить все дело». При допросе, в полном присутствии комиссии, желавший покаяться Чабаненко с первого раза прямого оговора против Музыкантова, впрочем, не дал, а Скардачевский сказал, что записку писал в помешательстве ума и не помнит, к кому, а человеку относить ее к Музыкантову не приказывал.

В комиссии возникли споры о том, арестовать ли наконец Музыкантова. Все трусили его связей и положения в свете и даже мнимого богатства. Пошли на голоса, и большинством было принято мнение: дать Музыкантову вопросные пункты, но без личного ареста.

Члены комиссии, между тем, не были спокойны, потрухивая нескольких промахов против формальностей следственной практики, так как прошел слух, будто бы к местному прокурору пришло предписание из Петербурга обревизовать их действия. Рядом с этим шепотом начала раздаваться молва, что разом два уезда, где числились дворянами неарестованный Музыкантов и арестованный Чабаненко, стали готовить какой-то адрес новому губернатору и министру с просьбой об укрощении пристрастных, по мнению просителей, действий комиссии. Составлялись митинги. Не дожидаясь приезда прокурора, уездный суд под влиянием слухов, толков и шума сделал совершенно неожиданный шаг: он через уездного стряпчего принял прошение Чабаненка об освобождении его из-под ареста по болезни от мнимой раны в ухе, причем Афанасий Андреевич, отвергая первые свои признания и относя их к притеснениям и даже к пытке, какой его подвергала комиссия под влиянием бывшего губернатора, уверял, что он ни в чем не виноват и ничего знать не знает, и ведать не ведает. Состоялось нежданное решение: вопреки всем открытиям и хлопотам комиссии вообще и Капканчикова в особенности, Чабаненка из-под ареста выпустить на свободу, что и было исполнено. Эта беспримерная выходка уездного суда привела враждебную ульяновскому делу часть губернской независимой публики в невообразимое негодование и волнение. Сдались при этом даже многие сторонники

обвиняемых. «Да, переборщили через меру!» — говорили они.

Чабаненко опять показался в свете, переехал из острожной больницы, где лечился от мнимого выстрела в ухо, в гостиницу и, объездив с визитами половину оторопевших от его появления горожан, готовился отправиться в Черноземск.

— Нет, — говорил он в доме Музыкантова, — нет! Кончу только кое-какие дела в Черноземске, возьму оттуда сына, которого тоже оклеветали в подлой сплетне о казначействе, и навсегда уеду отсюда!

Но вдруг новый гром упал на уездные головы. Ночью, через три дня после освобождения Чабаненка, приехал прокурор и на курьерских привез указ уголовной палаты, уничтожавший постановление уездного суда об его освобождении. К Чабаненке явился тот же Капканчиков, застал его за завтраком и предложил снова следовать в острог. Но этого мало. Прокурор, из молодого поколения университетских юристов, хотя был горячка и живчик, делавший часто по торопливости нрава промахи, в этот раз повел себя особенно сдержанно и блистательно. Он пошел далее, чем ожидали самые смелые уездные головы, а именно: явился в следственную комиссию, снова пересмотрел все производство этого дела, распек в ее присутствии уездного либерала-стряпчего за послабление виновным и вслед за тем, по личной просьбе нового губернатора, на которого напирало общее мнение, попросил комиссию дать точный ответ о прикосновенности к делу Музыкантова. При общем смущении и молчании комиссии первый голос подал Капканчиков:

— Я убедился и полагаю, — сказал он, — что здешний предводитель дворянства — главный виновник в этом деле, хотя, к сожалению, до сих пор главная улика против него состоит в оговоре одного из подсудимых, Зиньзиньского. Надо полагать, что с арестом Музыкантова найдутся и другие несомненные факты против него...

— Факт к вашим услугам! — перебил прокурор. — Я вчера, по дороге сюда, получил от губернатора, по эстафете

из Черноземска, вот это заявление, присланное ему от жителя здешнего уезда... как, бишь, его фамилия? Да вот подпись: Евгений Разноцветов; он еще содержится, по делу казначейства, в остроге...

И он прочел письменное заявление арестанта Разноцветова, где тот вызвался дать под присягой показание, что предводитель Музыкантов не раз при нем выражал свою готовность поступить в общество фальшивых монетчиков и однажды, как бы шутя, предложил это и ему. Разноцветов, между прочим, прибавил: «Долг всякого человека — помогать правосудию. Предложение Музыкантова я счел было за пустую болтовню. Но теперь, когда на него падают подозрения из других источников, оно для меня получает иной свет. И я счел бы себя нечестным, если б умолчал о том, что знаю о нем, в то время когда, быть может, он готов ускользнуть от заслуженной кары закона и от презрения так долго обманываемого им общества. Он от своих слов отопрется; но я не один могу о нем сказать. Один из рабочих этой губернии, сидящий теперь, за неимением паспорта, в остроге, на днях купался в пруде в имении Музыкантова, Ганновке, и нашел в воде жестянку с типографскою краской. Он готов передать комиссии эту жестянку; я же думаю, что, обыскав пруд, комиссия найдет и другие улики».

Комиссия в полном составе тотчас же, по предложению прокурора, отправилась в Ганновку и стала неводом и сетями искать в пруде разных вещей.

Музыкантов на пруд не вышел. В кругу трех-четырех приятелей он сидел в кабинете ганновского дома, презрительно улыбался и был хотя бледен, но по-прежнему спокоен и горд. На эту беспримерную обиду, наносимую ему следователями, он тут же грозился подать жалобу в высшие сферы. В пруде ничего не находили, но Капканчиков, уже получивший от друзей Музыкантова кличку «скверной новороссийской ищейки», не унывал, велел возвратить понятых, уже отпущенных было его товарищами, и приказал принести заступы, лопаты, топоры и ломы. Понятые снова подошли,

по указанию Капканчикова, к пруду, стали рыть плотину, и скоро вода через канаву хлынула из пруда. Ардальон Аркадьевич допивал третью бутылку сельтерской воды, когда в его кабинет вбежала растерянная супруга и вскрикнула: «Ардальон, ты меня всю жизнь обманывал; ты промотал мое состояние и, сверх того, попал в шайку монетчиков! Из пруда выпустили воду и нашли медные доски со знаками ассигнаций!» Она упала в обморок на диван. Музыкантов вскочил, хотел что-то сказать и остолбенел при виде следователей, которые в сопровождении понятых вошли, неся две позеленевшие медные доски и несколько камней с вырезанными знаками ассигнаций.

В тот же вечер Капканчиков, увидевший в этом открытии венец своей карьеры, от лица следственной комиссии послал к губернатору эстафету с извещением, что он и его товарищи, после новых найденных ими улик, сочли долгом немедленно посадить в острог Музыкантова и что это решение уже приведено ими в исполнение. И, действительно, Музыкантов, одетый в белоснежную пикейную пару модного летнего платья и в лаковые полусапожки, был посажен в уездный острог, упал на койку, порвал на себе тонкое белье и щегольское платье и впал в мрачное отчаяние. Известия об его аресте не ожидали ни новый губернатор, ни губерния. Поднялась буря толков. «Как? — кричали одни, — у этих разбойников следователей нет ничего святого, ничего неприкосновенного! Из-за пустой случайности посадить в тюрьму предводителя! Да мало ли кто мог в его пруд подбросить что угодно, хотя бы со стороны доносчиков вроде Разноцветова, который сам замышлял обокрасть казну... Да это и в мой, и в ваш пруд могут подкинуть то же самое!.. К самому губернатору могут подсунуть в стол пачку фальшивых ассигнаций; что же из этого? Да, наконец, мы все и сам прежний губернатор были с ним в хороших отношениях. Значит, и всех его знакомых сажать в острог, и привлекать к делу?» Другие, и таких было большинство, выражались иначе: «Так ему и надо! Давно пора! Хорош был предво-

дитель! Два трехлетия умел держать весь уезд в руках, ловко подобрав себе партию. Туда ему и дорога!..»

Но звезде Музыкантова еще не было суждено закатиться окончательно. Адвокат Самосвистов поскакал в Петербург, и не прошло месяца, как оттуда летело грозное предписание уничтожить постановление комиссии и Музыкантова освободить на поруки, что и было тотчас исполнено. Обиженный прокурор вышел в отставку. С членами комиссии обошлись в Черноземске сухо, а исправнику Капканчикову, вместо всякой награды, губернское правление предписало сперва возвратиться к его обязанностям в уезде, а на его место в комиссию по ульяновскому делу посадили другого, соседнего исправника. «Так нельзя, милостивый государь, косить и рубить с плеча, направо и налево! — сказали Капканчикову два старца-советника в губернском правлении. — По форме вы все сделали законно, как следует; но вы пренебрегли другими соображениями — эмпирейными... Вот вам и наука!»

Наконец, Капканчикову дали другой уезд. Бедняк чуть не плакал.

Пока дело о фальшивых ассигнациях дошло из уезда в Черноземск и вступило на обсуждение уголовной палаты, половина заключенных кончили жизнь в остроге. Остались самые ничтожные участники, да и те, явясь в губернскую тюрьму, почти все отреклись от своих прежних показаний.

Доклад в уголовной палате замедлился справками из одного административного ведомства, из дел которого можно было видеть, что печатник Дроздов и резчик Липпе задолго до открытия фабрики содержались за счет ее основателей в разных отдаленных городах, получая по почте деньги на прожитие, а по телеграфу разные приказания и сообщения. Адвокат Самосвистов, как бы случайно, совершенно по другому делу, очутившись на улицах северной столицы и подмазав кое-где старые пружины, стал, между прочим, доказывать, что документы названного ведомства — государственный

секрет, что если дать из них комиссии справки по делу несчастного Музыкантова, против которого ополчилась в губернии шайка чиновников, которым он был ненавистен, то после этого придется давать справки всякому уездному становому. Юные северные секретари и столоначальники, обедая с изящнейшим южным юристом и чокаясь с ним бокалами шампанского, слушали его, и когда Самосвистов сказал им по секрету, что все гонение в привлечении Музыкантова к делу о фальшивых ассигнациях совершилось только потому, что Музыкантов, либеральнейший из всех либеральных южных предводителей, был в вечной борьбе с смененным губернатором, за что не раз страдал; что этот Музыкантов затевал учредить в черноземской губернии издание оппозиционного журнала, для чего выписал из-за границы типографские машины, названные, ему в отместку, машинами для ассигнаций; что у себя в уезде он имел еженедельные литературные вечера и еженедельные совещательные сходки о пользах и нуждах уездных граждан, — молодые бюрократы воспылали рвением спасти этот перл губернии и дали своим патронам такие справки, что следственной комиссии в ее требованиях касательно названного ведомства было отказано. Но все дело испортил один из этих столоначальников и секретарей, которого Самосвистов случайно забыл пригласить на обед, где сообщил им губернские тайны. Юный бюрократ доложил своему патрону, что, пожалуй, уж если, в видах охранения общего финансового кредита, указания об оборотах пересылаемых сумм и составляют государственный секрет, зато подлинники телеграмм, присылаемые из губернии для ревизии, этого секрета не составляют, потому именно, что их во время ревизии читает всякий мелкий канцелярский писец. Поэтому куча подлинных телеграмм, уличающих всех участников, не выключая и Музыкантова, нежданно слетела в черноземскую уголовную палату, завершила прежние улики для полноты дела, и доклад в палате наконец состоялся. Один из членов палаты, будучи чуть не в генеральском чине, но проживавший в двух ком-

натках на кухмистерском столе, просидел над делом что-то около месяца, изучил его вполне, составил подробную записку и прочел ее палате при огромном стечении публики. Он читал более трех часов. Доклад был сухой, без прикрас, но зато правдивость его горела в каждом слове. Публика до того толпилась в зале, что чуть не переломала стульев, разбила несколько стекол и была глубоко потрясена голою и поразительною правдой дела, впервые с такою смелостью и прямотою обличенной перед обществом. Затем выступили адвокаты подсудимых. Один из них попросил палату решить вопрос: «Всегда ли фальшивый монетчик виноват безусловно? Что, если, — сказал он, — кто-нибудь станет подделывать ассигнации не для того, чтобы по-киргизски пускать их в оборот, а для того только, чтобы показать правительству, как легко их подделывать, и изыскать способы такой их фабрикации, где бы не было и малейшей возможности их контрафакции? Тогда, милостивые государи мои, такой человек — не преступник, а муж правды и чести, и такого гражданина следует не казнить, а скорее оправдать и похвалить. Так говорит европейская наука». Награжденный дружным хохотом слушателей-киргизов, адвокат-европеец, продолжая увещевать судей быть осторожными и просвещенными, заключил речь словами: «Всякий криминалист скажет, что, если я взял и ношу оружие, но им еще никого не убил — это еще не значит, что я — убийца, так точно, господа, если я наделал, но не выпустил еще на свет ассигнаций — это еще не означает, что я — фальшивый монетчик. Приступ к делу и намерение еще не есть исполнение. А мой клиент, господин Чабаненко, умственные качества которого невысоки, который отличается робостью и даже тупостью, хотя по обвинительному акту и мог бы счесться делателем фальшивых билетов, но обвинен как преступник быть не может!..»

О Самосвистове и говорить нечего. Этот в гладкой, отшлифованной и чрезвычайно ловкой защитительной речи превзошел самого себя. Каждую улику против Музыкан-

това и его товарищей он разложил на мельчайшие частицы, выварил на медленном огне всякого рода соображений, выжал, взвесил, оценил, опроверг и рассеял, как дым. Перед глазами публики и судей нежданно явились подсудимыми и чуть не преступниками уже не фальшивые монетчики, а члены следственной комиссии, уездный суд, прокурор и, наконец, сама уголовная палата. Сверкая умными глазами, то понижая, то повышая голос, широкоплечий и молодцеватый Самосвистов навел своею речью такой туман и даже страх на бо́льшую часть публики и на некоторых членов самой палаты, что, когда председатель закрыл заседание, слушатели разошлись, оглядываясь и недоумевая: «Уж в самом деле не величайшая ли ложь и низкая сплетня вся эта громкая ульяновская история? Что, если в самом деле труд следственной комиссии — одно стечение необычайных случайностей, а все в нем присяжные показания, очные ставки и признания — один гнусный умысел опутать богатых людей из-за пустяка, из-за двух попавшихся шинкарей, меновщиков фальшивой монеты? Притом же, как их и не запутать, когда сам адвокат о Чабаненке прямо выразился, что он — чуть не дурак!» Все повесили головы, иные стали даже думать, как бы из Петербурга не налетел с небывалыми еще полномочиями какой-нибудь козырный туз, вроде флигель-адъютанта или сенатора, для пересмотра всего дела. Палата потерялась до того, что Музыкантова хотя и приговорила чуть ли не к десятилетней каторге, но снова не арестовала, свой приговор откладывала подписывать, что-то около месяца, и разделилась наконец голосами. Самосвистов же опять снялся и полетел в Петербург, куда должно было отправиться на окончательное постановление дело из палаты. И Черноземск видел небывалый скандал. Самые мелкие из виновных монетчиков сидели в остроге; кто был покрупнее — блаженствовал на клубных супах в острожной больнице, а глава всего — Музыкантов, приговоренный к каторге, с докторским свидетельством, в

ожидании решения сената, жил на свободе, катался на рысаках и даже, к общему соблазну кумушек, дважды посетил городской театр и однажды торжественное молебствие в соборе.

XIII

Казнь

Шел по степи в бессрочный отпуск какой-то солдатик, набрел в лесном овраге на двух сидящих бродяг, вгляделся в их лица и в ближайшей волости заявил, что это — дезертиры Молодичка и Отченаш. День был праздничный. Волостной голова, родич ограбленного ими лабазника Ивана Ивановича, собрал мигом до сотни понятых, обещал им выставить магарыч, окружил овраг и в чаще леса поймал и связал обоих беглецов, причем они выхватили было ножи и сгоряча решились защищаться, но, видя непроглядную ораву озлобленных, с вилами и дрекольем напиравших на них бородачей, сдались со словами: «Вяжите, братцы, ведите, так и быть: давно не хлебали хороших щей с мясом да не ели рассыпчатой каши с салом! Ведь, господа, теперь нас, острожников, кормят так, что вам, сиволапым гречкосеям, по хатам и в праздники не придется! Посидим, отдохнем. Все равно, фатеры ноне даром больше никто не отводит. Что было в добрые ночки нажито — потрачено, прогуляно. К Покрову же либо к Введенью беспременно опять уйдем, в какой острог ни посадите, хоть за сто замков... Дунем, плюнем, сами запоры и отопрутся!»

Дезертиров, связанных по рукам и по ногам, с торжеством доставили под сильным присмотром сперва в уездный, потом в губернский острог, где их посадили сначала порознь, в подвальном этаже, в особые камеры-мешки, но потом, когда они сознались в ограблении кассы Чулкова и в других делах, их, за теснотой острога, как решенных, до оконча-

тельного исполнения над ними приговора поместили в одну из общих камер в верхнем этаже. Черноземский острог был построен на двести человек, но в нем, с самого его сооружения, менее пятисот человек никогда не было. Товарищами дезертиров по камере оказались еще человек десять. Встретясь в острожной бане с Еней Разноцветовым, дезертиры отозвали его в сторону и сказали: «Барин! Вон у тебя нежные какие ручки! Ты не гнушаешься свое белое тело мыть с нашими мужицкими мясами, не погнушайся разделить вместе в одной камере и нашего житья-бытья... Скажем тебе хорошее слово. Все равно, ваше благородие, угодишь за казначейство-то в каторгу, просись в таком разе к нам в камеру: во́ как развеселим тебя!..» Разноцветова перевели в камеру номер девятый. Тут он от других арестантов, в первые же задушевные беседы, узнал подробности грабежа кассы Чулкова, хотя сами дезертиры ему об этом не сказали ни слова. Оказалось, что когда привлеченные советом Ени злодеи при помощи шайки евреев ограбили Чулкова, то эти евреи дали им по пачке бумажек, напоили их в каком-то шинке пьяными и бросили, а с остальными ограбленными деньгами до рассвета без вести скрылись. Как ни был нравственно испорчен Разноцветов, но запанибратское предложение этих темных головорезов — разделить с ними дружескую компанию — его возмутило. Он подумал: «Неужели же они и в самом деле думают, что я уже такой отпетый негодяй и что готов идти с ними на всякие пакости? Да еще, кажется, и эту компанию они мне предложили в благодарность за тот совет грабежа на Опали́хе... это уже из рук вон! Уйду от них».

И он уже было подмостился опять просить смотрителя перевести его обратно в прежнюю общую камеру. Но в тот же вечер товарищи его окружили и сообщили ему под величайшей тайной, что вся их камера решилась бежать. «Ты все равно, барин, пойдешь в Сибирь! — говорили они Ене. — Твое дело вот-вот кончится; на тебя наденут цепь и погонят тебя с нами. Лучше уйдем с нами — сядем на лодку, а с нее на какую-нибудь барку или шхуну; нас вы-

везут и высадят где-нибудь либо в Анатолии, либо в Добрудже. Такой шкипер у нас уже припасен. Да и помощники нам тут, за острогом, будут не с пустыми руками, как только ночью выскочим отседова на волю». Еня подумал и решился было отказаться. Но ему объявили, что теперь уже поздно и что, если он откажется и станет проситься в другую камеру, где, чего доброго, их выдаст, то его порешат, то есть либо сулемой угостят в хлебе, либо сонного попросту задушат!

— Будь по-вашему! — сказал со вздохом Еня и остался.

С той поры арестанты девятой камеры правильно устроили свои работы. Комната их была во втором этаже. Запертые на ночь, они отточенным на кувшине гвоздем перепилили одну из половых досок под нарами, где спали, вынули ее и сквозь это отверстие произвели дознание между полом верхнего и потолком нижнего этажа. Пробрав кирпичи под порогом двери, Молодичка и Отченаш в эту дыру пролезли под пол коридора, делившего верхний этаж пополам, и тем же ходом добрались до наружной стены, где коридор упирался в особую пристройку. В пристройке внизу была острожная церковь, а вверху было помещение для сушки в зимнее ненастное время белья арестантов. В это верхнее отделение снизу шла витая деревянная лестница. Новые инженеры сообразили, что в летнее время ход на эту лестницу заперт и что если из-под пола коридора пробрать кирпичи смежной с пристройкой стены, то, вероятно, этот ход придется под одну из ступенек пристроенной лестницы. Так и оказалось. В несколько ночей, тем же гвоздем и обломком украденной у истопников кочерги, арестанты взломали и разобрали часть наружной стены, кирпич и мусор растащили под полами, добрались до лестницы, выломали одну из отвесных досок ближайшей ступеньки и вылезли в пристройку, где в темном церковном подвале тотчас и заложили подкоп под всем острожным двором. Они еще ранее, во время прогулок, поймали и убили смотрительского кабана, сварили его в котле в острожной бане, съели его, а кости припрятали и

теперь стали ими, как заступами, рыть свой ход. Еня, наловчившись на пробоине в казначейство, показал тут чудеса опытности. Раздеваясь по очереди донага, арестанты из камеры проползали в пристройку, вынутую в подкопе землю в рубахах бережно вносили обратно наверх и рассыпали под полами. Воруя в кухне дрова, они ими для безопасности от обвалов исподволь подпирали свою мину, и не прошло месяца, как ход в несколько сажен длины был окончен и за исключением небольшой толщи земли выведен, по их соображению, за наружную ограду острога. Молодичка и Отченаш, впрочем, советовали товарищам не торопиться и обождать более темной ночи. Трепеща каждую минуту, что этот ход откроют, Разноцветов переживал мучительные минуты. «Куда же они меня увезут? И как и чем я буду жить на чужбине?» Нечто доброе, горькое и щемящее начало шевелиться в Разноцветове, но колебаться было поздно, и Еня решился идти туда, куда его увлекут новые смелые товарищи, лишь бы не идти пешком несколько тысяч верст в цепях и в сером кафтане в Сибирь.

Роковая ночь настала. Все арестанты девятой камеры, выключая только некоего бедного толстого купчика, приговоренного за подделку торговых векселей и незадолго перед этим посаженного к ним, спустились под пол, с величайшим усилием и чисто звериною осторожностью пролезли на лестницу пристройки и спустились в подземный ход. Заранее заготовленные сообщники вытащили их на полотенцах из подкопа за стены острога, посадили на припасенные подводы, и беглецы ускакали за город. Толстый купчик по уходе товарищей, сообразив, что надо скрыть свое участие в этом деле, решил притвориться, что ничего не знает, и поднял отчаянные крики, показывая вид, как будто только что проснулся и изумился, что товарищи исчезли. Его услышал часовой. Началась тревога. Сбежался конвой. Отперли двери камеры, вошли с фонарями, спустились под пол, потом в церковный подвал, увидали подкоп и выскочили за стены острога. Купчика

приструнили, пригрозили ему подземным мешком и доброю кучей розог, и тот указал следы беглецов. Полицеймейстер, зная, что Капканчиков, хотя и впавший в опалу, но зато получивший славу хорошего сыщика, случайно был в городе, дал ему знать об этом, и оба они кинулись в погоню за беглецами. Арестанты в непроглядной темноте благополучно достигли берега, пересели на лодку, лодка отчалила и передала их барке; с барки их приняли на купеческую иностранную шхуну, а шхуна, заранее нагруженная пшеницей, еще до восхода солнца выступила в море. Арестанты потребовали вина, уселись на палубе и стали пить и петь. Но не прошло и часа, как в тылу шхуны, в бледных лучах рассвета, над поверхностью моря показалась белая труба казенного парохода. Шхуну догнали, остановили, а всех беглецов с нее повезли обратно и высадили на берег.

— Веревок сюда, в цепи их, собак, Роман Романыч! — кричал полицеймейстеру маленький Капканчиков.

— Потише, гарниза! — проворчал Молодичка. — Попались, не глумись, а то еще побьем либо, как опять ослобонимся, передушим всех твоих одиннадцать детишек, как поросят, да и тебя с женой не помилуем...

— В ручные и в ножные кандалы грубиянов! — прикрикнул расходившийся исправник конвойному фельдфебелю, несшему готовые кандалы.

— Попробуй! — сказал и другой арестант.

Капканчиков подошел к последнему.

— Кто ты? — спросил он, бледный от негодования, в сумерках рассвета не разглядев сразу обросшего бородой смельчака.

— Дворянин Разноцветов! — ответил, бледный в свой черед, сильно подкутивший на иностранной шхуне Еня. — Не узнали меня, г-н Капканчиков?

— Что миллион-то в казначействе хотел украсть? — с судорожным хохотом вскрикнул Капканчиков. — Это я через его патрона, Роман Романыч, слетел из комиссии! Ну-ка,

фельдфебель, прежде всех на этого барчонка кандалы, да покрепче! Плясал он по паркетам во фраке, попляшет теперь у меня по степной грязи в железных браслетах...

Гарнизонный солдатик, помогавший фельдфебелю, отставил ружье со штыком к повозке и стал с другими выбирать, по точному приказанию исправника, для Разноцветова кандалы покрепче и понадежнее.

Свет померк в отуманенных вином и злобой глазах Разноцветова. Он скосил глаза к земле, подумал, углы его губ дрогнули, он быстро и бессознательно тронул себя за подбородок, качнул головой, мигом рванулся, схватил ружье солдатика, перегнулся, со штыком наперевес кинулся на Капканчикова, молодецким движением отклонил его протянутую в защиту руку, быстро кольнул его сперва в шею, потом в живот, сказав: «Это тебе на здоровье!» — повернул ружье прикладом и, отскочив в сторону по обрывистому берегу, бешено стал им отмахиваться от солдат, которые на крик фельдфебеля кинулись его обезоружить. Капканчиков произнес: «Ничего, безвредная гадина, шалишь!» — бледный шагнул вперед, сгоряча не чувствуя ран, хотел что-то скомандовать солдатам, зашатался и упал. К вечеру того же дня он умер.

Еня опомнился опять в заключении и едва сам мог поверить, что стал убийцей. Все сожалели об усердном, хлопотливом служаке Капканчикове. Бился, бился, открыл такое дело, как ульяновское, и умер без награды. Его жена и дети стали нищими. Видя слабость гражданских властей, начальник войск черноземской губернии решился возвысить голос. Он послал в Петербург депешу обо всем, что делалось в Черноземске, и скоро пришло предписание: Разноцветова, в острастку другим, судить за подкоп под казначейство, за побег из острога и за убийство исправника Капканчикова военно-полевым уголовным судом.

Суд собрался и, оставаясь верен обычаю, кончил дело в течение двадцати четырех часов. Сердце Ени чуяло, что перед ним вставал и шел, наконец, к нему нешуточный и

страшный жизненный расчет. Все улики, все данные против него были налицо. Отпираться не было средств. Он три дня и три ночи метался по полу одиночной секретной комнатки военной гауптвахты при остроге, дважды покушался разбить себе голову об стену, наконец измучился, ослабел и временно затих.

В ясное раннее утро аудитор в мундире с кашляющим сердитым краснощеким, плотно остриженным и седым генералом, презусом военного суда, вошел к Ене и объявил ему грозное решение. Разноцветов, подозреваемый в соучастии по ограблению дворянина Чулкова, уличенный в подкопе под губернское казначейство, в побеге из острога и в нанесении раны, при арестовании, командированному для того исправнику Капканчикову, был приговорен к смертной казни расстрелянием.

Эта весть как-то неслышно влетела в ухо Разноцветова и вылетела оттуда, не оставив в его мыслях ни малейшего, казалось, особенного впечатления. «Какой упорный!» — решил о нем сердитый и недовольный генерал, любопытно взглянув в его потускнелые, холодно и тихо смотревшие глаза.

«К расстрелянию! Что это такое? Шутка? Пустая угроза, или в самом деле правда? — подумал Еня, когда все от него ушли. — Они меня хотят только пугать; вероятно, с церемонией повезут на площадь, подведут там к этому черному столбу, прочитают конфирмацию, завяжут глаза и, разумеется, простят. Это все, я понимаю, для острастки других!»

К вечеру мысль Ени полетела, неожиданно для него самого, на север, к маленькому домику на тихом и широком петербургском проспекте, где в окнах цвели когда-то герани, мелькали белые занавесочки, за круглым столом, в черном платочке и в душегрейке, раскладывала пасьянс седая старушка, его бабка, ежедневно ходившая в церковь и раз в неделю к нему в школу. Туда, в этот домик, иной раз являлась и бледная, стройная и худая чиновница, дочь старушки, мать Разноцветова, жившая экономкой у английского

банкира на Васильевском острове, у рыжего и толстого добряка мистера Джонса. Еня ясно помнил теперь, что у этой чиновницы, о которой он в течение ряда беспутных последних годов как-то почти не думал, были красивые большие карие глаза, строгий очерк грустно сжатых губ, гибкий, худой стан, тихая улыбка и робкий, грустный голос. Он ясно помнил теперь, как обе эти добрые женщины, бабка и мать, ласкали его, резвого и дикого ребенка, как он потом, уже четырнадцатилетним юношей, уезжая к сестре на юг, припал к худым коленям благословлявшей его матери и, ясно смотря в ее покрасневшие глаза, клялся ей любить ее и помнить, вести себя честно, кончить ученье и возвратиться на службу в Петербург. «Я уже буду к той поре в могиле! — сказала тогда со вздохом бабушка, — а мамашу ты возьмешь от англичанина к себе, станешь ходить в департамент, а она твоим хозяйством займется; и заживете вы, мои милые, на диво!» Бабка действительно вскоре потом умерла. Но мать Разноцветова была жива и с каждым годом ждала его к себе, все на том же месте экономки у английского банкира мистера Джонса, вздыхая только иной раз, что вот ее Енюшка что-то редко пишет. «Что же, — думала она, — ему там хорошо! Варя теперь — отрезанный ломоть, богатая барыня. Он, верно, ей покорен и послушен, помогает ей по хозяйству; а что он вышел из университета, видно, это лучше: нынче вон все как-то стали толковать, что лучше кусок сытного хлеба, чем наука да поэзия!» Не знала мать Ени, что ее сын даже и студентом не мог назваться, так как в первые же недели пребывания в одном южном университете за одно дело был вынужден товарищами выйти вон.

Черноземск, где все знали в лицо лихого и разбитного малого, двоюродного брата Чемодаровой Еню Разноцветова, смутился было вестью, но потом стал спокойно готовиться к любопытному зрелищу.

— Миттермайер, впрочем, не одобряет смертной казни, — говорил, играя в клубе в карты и подмигивая какому-то приятелю, Музыкантов, недовольный тем, что казнь

в их губернии была вызвана не гражданской властью, а этой, как он выражался, военщиной. — Жаль дворянина! Небывалый случай? Ну, для примера... Притом же, в самом деле, где без этого гарантия нашего спокойствия? Вы с валета? Э, не годится, взятка моя!

— Что-то бедная его сестра, энта Чемодариха-то? — толковали в крытых соломой домиках и глиняных избушках более низменные обитатели Черноземска. — И сама-то она была такая жалкая, без мужа все по чужим краям маялась, а тут еще с ейным братом такое страшное дело стряслось!

— Да сам-то этот Разноцветов, кто такой и откуда? — спрашивали друг друга городские кумушки.

— Говорят, чухонец какой-то, из Питера, что ли; ведь и она сама, Чемодариха-то, не из важных, в пенсион там, сказывают, ходила, по полтиннику в день платы за уроки получала... и уже за какого-то писаря из кантонистов собиралась выйти в то время, как Чемодаров-то ее из грязи на свет, как белую рыбку, вытащил...

Все знали кумушки Черноземска, даже и такое, чего не знала и сама Чемодарова.

Из друзей Ени встретились на улице Вава Музыкантов и юнкер Чабаненко.

— На наших неурожай пошел! — сказал Вава, закуривая папироску у приятеля. — Дурак Струйский попался в глупой истории с дрянными подсвечниками, а тут нелегкая дернула и Разноцветова разыграть на морском берегу сцену кавказских героев, приколоть эту дрянь, Капканчикова. Разумеется, Капканчиков лучшего и не заслуживал, но зачем излишества? Хорошо, что мы благодаря защитникам успешно отвертелись с тобой от этой казначейской чепухи.

— Ну, брат, не чепуха, если бы мы миллиончик-то стащили! Ты, впрочем, Вава, что-то похудел.

— Да и ты, ангел, не жирен стал.

— Все бледно как-то сделалось! Непроходимая скука! Не та совсем молодежь. Жить не умеют! Сыто́в, действительно, свой дом продает и заводит типографию...

— А на эту рицимонию с Енькой посмотреть поедем?

— Еще бы! Беспременно! — сказал юнкер. — Любопытно взглянуть, как рожу-то у него, дурака, поведет от страху и как, знаешь это, взвод сыпнет пулями, точно горохом, — фить-фить! — а он и склонит буйную головку на самый животик, да как снопик и свалится, бедняжечка!

Друзья помолчали. Думал ли Еня, сидя в тюрьме, что они, лучшие его друзья, так о нем будут говорить?

— Я прежде, братец, думал, что страшно умереть, а оно вовсе ничего не страшно! — сказал, перегодя, Вава Музыкантов. — Те же куры; их режут да в суп, а нас в землю: вот и вся разница. Ведь отец мой — не дурак, это можно признать. Уж одно то, что он с твоим отцом затеял такое, положим, темное, но все-таки, согласись, смелое предприятие, как их ульяновская фабрика. Хоть они и отрекаются теперь, но я убежден, что они это делали.

Оба юноши поглядели друг на друга, тихо усмехнулись и долго смеялись, стоя в углу улицы и с тротуара весело поглядывая на прохожих.

— А все злость берет, — заметил юнкер, — как они смеют казнить Разноцветова! Что он особого сделал? Казну обокрасть хотел и не обокрал. А другие крадут и живехоньки!.. Насилие, подлость и больше ничего!

На третий день с утра Евгений Разноцветов выказал некоторую тревогу и волнение. Он попросил пера и бумаги, сел за стол, хотел что-то писать и остановился. В дверях щелкнул ключ.

— К вам родственница, навестить! — сказал, входя, смотритель.

Вошла в глубоком трауре Чемодарова, а с нею Чулков. Разноцветов взглянул на черное платье сестры, вздрогнул и отвернулся.

— Ты это к чему в трауре? — сказал он грубо, не поднимая глаз. — Я еще жив, а ты уж меня отпеваешь.

Слезы душили Чемодарову.

— Еня, Еня! Ты и здесь... в эти мгновения... я в трауре потому, что неделю назад умерла моя тётушка, Аглая Федоровна. Должно быть, удар случился с бедняжкой: играла вечером на фортепьяно, легла спать и уже не просыпалась.

— Смерть хорошая! — сказал вскользь Разноцветов. — Но таких людей особенно и не жалко; живут они тут в России, наживаются и нажитое готовы отдать другой стране...

Он обернулся к сестре и взял ее за руки.

— А он зачем сюда? Смеяться надо мной? — нагло ткнул он пальцем на стоявшего в дверях Чулкова.

— Не греши, Еня; смирись, покайся хоть в эти последние минуты! Кто над тобой способен теперь издеваться? Это — мой жених, Еня, рекомендую его тебе. Мы сговорены, и он приехал также проститься с тобою.

Разноцветов подумал, не глядя никому в глаза, протянул руку Чулкову и сказал:

— Поздравляю. Меня же, как видите, поздравить не с чем особенно хорошим. Во всяком случае у вас вкус хорош. Моя Варя не хуже вашей той, помните, Дуни. Да и ты, Варя, видно, уже не боишься тени покойного первого мужа. Будете поживать отлично. Меня вспоминайте... Мне хоть бы Дуню на тот свет! Ха-ха-ха!

И он как-то жалко засмеялся.

Чемодарова в изнеможении села на скамью.

— Еня! Перестань притворяться. Сядь, поговорим о другом... Вспомнил ли ты теперь хоть раз... о своей матери? Что прикажешь ей передать? Говори, проси — все исполню... подумай, ведь смерть скоро...

Облако шло по небу мимо гауптвахты и, казалось, слетело в окно на лицо Разноцветова. Он нахмурился, помолчал, хотел усмехнуться и дерзко качнул головой.

— Все это — вздор, господа! Ничего я не боялся и не боюсь. Не хнычь предо мной, Варечка, и дай ты мне, дай эти дни провести веселее. Скверно вот кормят здесь: пришли мне чего-нибудь от твоего стола или из гостиницы... макарон

18*

бы с стуфатом, знаешь, по-гречески (с этой стороны я любил бывать у твоей тетушки!), да винца бы бутылочку... Да персидского порошка пришли: блохи треклятые спать не дают...

— Ах, Еня, Еня!

Чемодарова склонилась к столу и громко зарыдала. Чулков подошел к арестанту.

— Евгений Андреич, — сказал он тихим и взволнованным голосом, взяв за руку Еню, — вы, очевидно, надеетесь на прощение; клянусь вам, вы ошибаетесь: прощения вам не будет. Мы были везде: в военном штабе, у командира войск и у губернатора... Сестра ваша в ногах у всех начальников валялась: спасения вам нет...

— Ступайте вы прочь, трусы! — дико закричал, вырываясь из рук Чулкова, Разноцветов. — Я больше вас знаю! Они, эти власти, умнее, чем вы думаете. Разве я — изменник или политический агитатор? Я — гуляка и шалун; нечаянно в нетрезвом виде убил исправника, и только. Не захотят же они мною, мелким, пугать крупных, вроде Музыкантова... Этому не быть!

— Мать вспомни, Еня, мать!

Разноцветов встал и поднял сестру со скамьи.

— Оставь меня, Варя, — сказал он, провожая ее к двери. — Оставьте и вы, г-н Чулков! Тошно вас слушать: разве не видите, что нестерпимо.

Посетители вышли.

— Это он еще пофорсит денек-другой! — шепнул им смотритель, — а после не то будет. Сдастся, и еще как! Унизительно жизни себе будет просить у всех, у меня, даже и у солдат. Я знаю это все хорошо.

Предсказание смотрителя сбылось. Накануне казни с Разноцветовым произошла сильная перемена. Его нельзя было узнать. Он сам потребовал к себе священника; заглядывая ему в глаза, упал перед ним на пол, бил себя в грудь, молился и рвал на себе волосы и платье.

— «Покайся, мой сын; Богу все объяви, душу очисти, — и Господь тебя помилует в той жизни!» — «В той? Здесь

мне жить хочется, здесь, а не там, — вопил арестант, — я покаюсь; но упросите их, чтобы меня помиловали и не казнили. Я в батраки пойду, в солдаты навеки отдамся, пусть на Кавказ, на Амур меня сошлют, только жизнь мне, жизнь пусть оставят... Из меня выйдет, может быть, хороший служака!»

Священник читал над ним молитвы, благословил его и ушел, посоветовав ему на завтра, перед казнью, приготовиться к исповеди и причастию. Еня приходил в более и более сильное волнение. Через служителей он накупил ладану и восковых свечей, зажег их, стал курить ладаном и всю ночь напролет молился, кладя несчетные поклоны и вопя: «Господи! Господи! Покажи свое могущество! Спаси меня, если ты точно велик и всевластен! Не дай мне, здоровому и молодому, погибнуть, как зверю! Не дай им средства убить меня! Пусть они только удалят меня куда-нибудь, если я здесь опасен. Они не имеют права на казнь. Останови их».

— Чтой-то он, братцы, бормочет? — шептались, заглядывая к Ене в окошечко, сторожа-солдаты.

— Со страху не свое несет. Индо ругает кого, индо с Богом уговор, слышь, кладет!

— Ну, с Богом не сторгуешься.

— Завтра вот узнает все, как оно есть тут и там-то, на небеси! Право, узнает!

Рано перед зарей, измученный и в непрерывной лихорадке, Разноцветов упал на койку и заснул. Чья-то тихая рука его тронула; он открыл глаза. Заря чуть еще занималась в окошке.

У его постели опять стояли Чемодарова и Чулков. Их лица были теперь бодрее, или по крайней мере они сами старались казаться спокойными.

Чемодарова тихо, без слов, простилась с Еней, еще раз взглянула на него, сказала: «Прощай, Еня, будем молиться за тебя! Мы выпросили: тебя повезут не на телеге, а в карете», — и направилась к двери, где в черной ризе уже стоял с крестом и молитвенником священник.

— Стой, Варя! — дико воскликнул Разноцветов, кинувшись к ней и не поднимая глаз, — значит, все кончено? Все? Хорошо же! Вон на столе два письма: одно я было написал к тебе, другое к матери... Пошли ей сегодня же, она все еще должна быть у того англичанина, у Федора Васильича, кажется, что, помнишь, мы с тобой ходили в его сад, на коньках на пруде кататься... еще ты упала... помнишь? Ах, Варя! Что это со мною, что? Сто тысяч раз, кажется, в минуту бьется теперь мое сердце, этот трусливый, жалкий перепел в клетке...

Вбежал впопыхах смотритель. Еня упал на койку.

— Господа, пора, пора! Велено сейчас же готовиться. Извольте прощаться и уходить.

— Больше ничего, Еня? — спросила Чемодарова, стоя у дверей.

— Ничего... нет, постой, постой!

Разноцветов хотел вскочить, хотел жарко обнять и порывисто, крепко поцеловать сестру и громко попросить у нее и у всех прощения, но ему стало совестно за это движение. «Что как об этой слабости все узнают? — подумал он. — Скажут: он-де, мол, потерялся, его за то и простили... позор на всю жизнь! Лучше еще подкреплюсь!» Он встал, попросил у Чулкова папироску, закурил ее, похвалил табак, сел опять на кровать и притворно весело, хотя дрожащим голосом, в виду одетого в черную ризу священника, стал напевать какую-то песню...

Чулков вывел Чемодарову; они поехали в гостиницу. В письме к матери Разноцветов извещал, чтоб она ни о чем не беспокоилась, так как, хотя он и *был* приговорен к расстрелянию за нечаянную смертельную рану, нанесенную исправнику Капканчикову, но что он *надеется* быть прощенным; уверял, что вслед за тем поступит в военную службу, искупит грехи молодости и, устроив свои дела, перевезет и ее к себе. Больше он не знал, что ей писать, так как в эти семь лет совершено отвык от мысли о матери. Письмо к Чемодаровой было пространнее. Он давал сестре

много нежных названий, прощался с нею на всякий случай и в конце прибавил: «Варя, не вспоминай меня лихом. Я — потерянный человек. Но мне тебя жалко, и вместо всякого поздравления тебя с сватовством спешу очистить совесть и свою, и твою, а именно: ты хорошо сделала, что идешь замуж за Чулкова. Твой первый муж давно и положительно умер. Музыкантов, которого не удалось мне доехать доносом из тюрьмы, еще четыре года назад получил об этом известие, не помню из какого заграничного официального ведомства, присланное на твое имя сюда через Англию; но он не объявлял тебе этого, в тех, полагаю, видах, чтобы ты долее не брала, через новое замужество, своих дел из рук. Эту бумагу я раз подсмотрел у него в незапертом столе и торжественно, под клятвою, свидетельствую тебе об этом. Твой навеки Е. Расноцветов».

Священник не без труда уговорил арестанта исповедаться и приобщиться. На дворе тюрьмы, между тем, загремел барабан. В окно камеры уже было видно движение войск, шедших к месту казни. В двери глядели тупо изумленные лица заготовленного конвоя. Смотритель суетился у гауптвахты с каретой. Тьмы народа стремились по песчаным и пыльным улицам и площадям, мимо длиннейших деревянных заборов, грязных дегтярных лавчонок, мимо безобразных и мрачных купеческих домов, тяжелых, как бы кем сплюснутых казенных зданий и спозаранку переполненных кабаков, и заливали своими волнами огромный загородный военный плац. Солнце взошло, но лучи его, как и в день похорон Гуслева, были робки и тусклы. Священник дал знак и в последний раз остался с арестантом наедине.

— Еще раз, сын мой, — начал он искренним и донельзя взволнованным голосом, — прошу тебя вознестись духом горе и, помолясь, сказать мне все, что́ у тебя на душе! Богу этого не нужно, он и так все знает, но нужно для твоей души.

— Значит, все кончено? Надежды на прощение нет и не видно? — глухо и, задыхаясь, спросил арестант.

— Не видно, сын мой, не видно. Если бы моя воля, я тебя простил бы.

Разноцветов вскочил и молча, хватая дрожащими, похолодевшими руками платье, стал одеваться. Его зубы стучали.

— Покайся, сын мой, покайся...

— Все ваши россказни, батюшка, чепуха, если надо мной не явится нынче чудо избавления! Я просил, мне не дается, значит, некого было и просить! — отчеканил он с заносчивою смелостью.

— Проси еще, безумный, проси! Что ты!?

— Дудки! Едемте. Не мучьте меня даром. Или пан, или пропал.

Они сели в карету. Процессия двинулась. Волнение Разноцветова дошло до крайних пределов. Он вертелся, глядел в окна кареты на дома, на безграмотные вывески, на баб, щелкавших орехи и арбузные семечки, на ругавшихся пьяных поденщиков и на кучи всякого рода пешеходов, бегом опережавших карету и заглядывавших, с тупыми выражениями лиц, в молодое, страхом и отчаянием искаженное лицо арестанта. «Глаза-то у него, глаза!» — говорила подруге вслух, на одном повороте, толстая купчиха, сжатая толпой: «Какой, матушка, ужас в его глазах!» — «Струсил, смерть — не тетка!» — «Покаялся, видно!» Такие возгласы раздавались кругом его. Еня это слышал. В одном из колен его началась сама собой такая дрожь, что он стал его придерживать рукой. Ему и воды хотелось пить, и вина бы, рому; несколько бутылок, кажется, выпил бы, чтобы забыться только. И кому-то хотелось шептать нежные, ласковые слова, чьи-то руки бесценные захотелось целовать. «К чему? — думал он, снуя по подушке кареты, — к чему? Все равно, через полчаса все будет кончено, не в прок пойдут и вода, и ром, и признания, и поцелуи. Швырнут это бедное мое тело в яму и зароют. А эти вывески, эти бабы с орехами, купчихи и поденщики так же будут себе жить через эти полчаса, сегодня, завтра, целые годы, как будто меня никогда и не было на

свете! И кому нужна моя смерть, кому нужна эта страшная разделка с моим телом?»

— Жалкая комедия, — резко сказал он, — впрочем, вот сегодня я сидел бы в театре, а теперь, как не простят, где я буду? Угадайте, батюшка, где? Тут или там, на вашем небе!

— Не богохульствуй, блудный и окаянный раб греха! Опомнись. Еще есть время. На что ты такие силы душевные тратил? Ведь у тебя, вижу, есть силы...

— Все это я знаю, слышал и оценил давно. Но жизни мне, жизни, вы уже не воротите, как ее возьмете у меня, вот что! Капут-кранкен тогда, и все тут...

Еня посвистал.

Старичок-священник выходил из себя, стараясь укротить бешеные порывы, проклятия и ругательства арестанта. Наконец, широкие и глухие песчаные улицы города кончились, показался загородный плац, море людских голов в одной стороне, а в другой — деревянный столб и черное отверстие готовой свежей могилы.

— О, какая низость, какое насилие! Я ни в чем не виноват, ни в чем! — заговорил Разноцветов, с невыразимым ужасом приподнимаясь с каретной подушки и помутившимся, безжизненным зрачком всматриваясь в тот темный столб и в эту свежую яму. — Все клевета, я не посягал на казначейство, не ранил и исправника! И если меня не освободят, верьте мне, это будет бесчестное, — слышите? — бесчестное и подлое дело... Больше мне говорить вам нечего! Я все сказал... это узнает свет...

Он сел и ухватился за подушку. Карета остановилась. Ее окружил конвой.

«Неужели же он и в самом деле ни в чем не виноват?» — подумал старик священник.

— Защитите меня, защитите! Какая бесчестная и низкая проделка с человеком высшего круга! — вскрикнул Еня какому-то совершенно постороннему офицеру, с лорнетом на носу протеснившемуся сквозь конвой. Гром барабанов глухо

перекатывался перед фронтом войска, с трех сторон выстроенного вокруг плаца.

— Не ори! Что ты? — сказал ему палач. — Може, еще манихвест прискочит! Сполняй все, как след. На то воля начальства!

Разноцветов в то же мгновение стих, стал кроток, как ребенок, и, кидая пугливые взоры кругом на войско, на народ и на экипажи, стал исполнять «как след» все, что ему говорил здоровенный и рябой малый, исполнявший роль палача.

Более ничего не помнил помертвелый Разноцветов: ни того, какие молитвы ему при переодевании в саван скороговоркой опять шептал седой священник, ни того, о чем громкою и резкою фистулой вычитывал перед ним из конфирмации высокий аудитор. С тихо вздрагивавшими углами губ, оторопелыми, жадно напряженными и как бы с чужого лица глядевшими глазами, Еня не переставал смотреть то туда, то сюда, то на пыльный и шумный, блиставший вдали город, кресты и главы церквей, то на море волновавшихся близ него голов. Жадно впиваясь глазами в очертания дороги, шедшей из города, он, с громким стучанием страшно щемившего сердца, поджидал, не выскочит ли оттуда, из роковой пыльной дали, верховой адъютант главного воинского командира — он даже вспомнил его при этом по фамилии: кажется, Аплечеев, такой белокурый, кудрявый красавец и танцор (он его часто видел в собраниях); не взовьется ли из той же шумной дали резвая тройка, а на тройке, стоймя, фельдъегерь с прощением в махающей руке от высших властей ему, герою печального дня...

Никто не показывался, не скакал и не вез прощения. Картина не изменялась. Аудитор дочитывал бумагу. Кучка генералов, высших гражданских чиновников и штабных, выяснившись на луче проглянувшего солнца, сурово шепталась и косилась на него, в тридцати шагах от эшафота.

— Клади поклоны народу на все четыре стороны! — скомандовал ему палач, когда аудитор кончил.

«Буду все исполнять, покорюсь, — находчиво мелькнуло в голове Разноцветова, — это так надо! Пусть себе потешатся. Они хотят, чтоб я еще более потерялся и покаялся, тогда и произведут сцену прощения.» Вследствие такой сметки он бодро прошел по фронту войск, и когда, кланяясь потом на четыре стороны в землю, он увидел, что его бережно поддерживают почему-то два солдата, то опять помыслил: «Неужели же я так ослабел?.. Ноги, кажется, еще держатся!..»

Ему стали завязывать назад руки.

В это время в его глазах мелькнула в толпе народа незнакомая дама в желтых лентах, распустившая от солнца огромный зонтик, отчего на нее сыпались побранки и довольно громкие насмешки из толпы. Народ судорожно колыхался, задние ряды напирали на передние. Хожалые, казаки и жандармы тщетно старались удержать порядок. В одном конце площади, в начавшейся свалке, чей-то громкий и внушительный голос обидчиво восклицает: «Мне стоять впереди, а не тебе, я — статский советник, а ты что?» В другом конце, невдалеке от Ени, среди снова водворенной тишины, голос молодой девицы довольно явственно относился к подруге: «Экоси, смотри, смотри, как у него дрожат руки и голова! Это как в том, помнишь, романе... «*Последний день осужденного!*» — «Пирожки! пирожки!» — прорывались позади последних рядов народа шепотливые голоса нетерпеливой базарной торговки.

«И поминки по мне готовы! — горько и едко пронеслось в испуганном всею этою картиной уме Ени. Ему показалось, что где-то в толпе перед ним мелькнули лица Вавы и юнкера Чабаненко. «Неужели это они?» — подумал он.

— Молись! Колпак на глаза надену! — сердито сказал палач. — С землей, с людьми прощайся — глянь кругом еще раз... так-то вот! А теперь прости и меня крещеного!

Еня и палач поцеловались. Последнее, что увидел в эту минуту Разноцветов, было... а впрочем, может быть, это ему только так показалось... Злая шутка судьбы! Перед тем, как

палач надвинул на его лицо колпак и туго стал завязывать ему платком глаза, над толпой народа, во весь рост, стоймя в коляске, обрисовался в зрачке Ени представительный, изящный и полный достоинства Ардальон Аркадьич Музыкантов.

«Так он еще и на мою казнь приехал посмотреть! — горько шевельнулось в груди Ени. — Неужели же я, мелкий, для того и погибну, чтоб он, коновод всего, остался цел и невредим? И отчего я ему не пригрозил, наконец, из тюрьмы, что выдам его в подделке им векселя на сестру и в других вещах? Может, он постарался бы меня спасти?»

Белая незрячая фигура арестанта в длинной полотняной рубахе, поддерживаемая сбоку палачом и медленно ощупывая ногами землю, прошла по площади к столбу у ямы. Разноцветова привязали к столбу. Из рядов солдат беззвучно и проворно, придерживая амуницию, выскочили и выстроились заготовленные заранее стрелки. Фельдфебель стал сбоку их, махнул рукой раз, другой, женский пол в толпе прищурился, в голове Ени быстро мелькали мысли:

«Неужели же конец? Нет, вероятно, летит фельдъегерь с прощением... Что тогда? О, разумеется, надо исправиться... А если не простят? Чай, солдаты уже целятся. Прощай, далекая бедная голубка, матушка... и если нам на этом свете...»

Поджарый и мускулистый, с птичьим лицом фельдфебель махнул в третий раз. Трусливо щурясь и дрожа, солдаты сдавили в руках холодные железки курков. Раздался быстрый и перекатистый треск штуцеров. Разноцветов верхнею частью тела перевихнулся на нижнюю, точно переломленный, дрогнул и, дав на белом саване потоки крови, быстро, как некий никому более не нужный флаг с древка, осунулся к низу простреленного пулями столба.

— Боже, упокой его душу! — сказал Сыто́в, бывший также здесь. — И кому нужна была эта грустная кровавая шутка?

Он уехал с плаца, давши себе клятву послать в столичные журналы описание ульяновского дела.

— Finita la comedia! — громко проговорил Вава, плохо выговаривая итальянский возглас. — Чабаненко, нет ли папироски? Страх хочется курить.

— Ой, давят, давят! — запищала в толпе барыня, не желавшая сложить зонтика. — Лошадь жандармская задом напирает, защитите, мосьё, защитите.

— Держите вора, вора! Вон побежал: часы у меня украл! — кричал статский советник.

Народ неудержимою волной шарахнулся к столбу и к яме, где уже, сброшенный ничком, лежал неподвижный труп Разноцветова.

Военная музыка заиграла похоронный марш. Могилу засыпали. Зрители стали расходиться, споря и рассказывая друг другу, как это он шел, как стал, как встрепенулся и осунулся.

— Шесть пуль! — кричали в толпе.

— Девять!

— Нет, врешь, шесть!

— Ан девять, девять! Сам считал на столбе! Там остался и кусочек волос... А впереди, обгоняя ряды щегольских колясок и дрожек, неслась пара серых жеребцов. В коляске с подоспевшим из Петербурга адвокатом Самосвистовым полулежал и мчался Ардальон Аркадьич Музыкантов. Он, зевая, толковал по-прежнему, что смертная казнь — дело по идее нехорошее, но на практике весьма недурное, в особенности для острастки и вразумления толпы. Музыкантов, впрочем, храбрился только для виду. В душе же он сильно перетрусил, видя казнь Ени, хотя и был рад, что навеки отделался от него.

Но тут мы позволим себе сделать отступление. Вслед за казнью Разноцветова в Черноземске разнеслась невероятная молва. Слух сперва возник в степи, под городом, потом облекся в плоть и в кровь в доме Анны Романовны, майорши Селёдкиной,

злого врага Самосвистова. Анна Романовна сообщила следующий громовой рассказ:

«Музыкантов и его адвокат наскоро пообедали, по открытому листу потребовали шестерик обывательских лошадей и в самом веселом настроении духа выехали на склоне того же теплого и сухого осеннего денька, когда казнен Разноцветов, в Ганновку, а оттуда по делам в соседний уезд.

— Так вручено на Севере? — будто бы спросил, с сладчайшей улыбочкой и подмигивая другу-адвокату, Музыкантов.

Они выезжали в зеленеющие изумрудными всходами подгородные озимые поля.

— Вручено сполна-с.

— И обещано?

— Обещано...

— Что все по ульяновскому делу будет обделано кругло и гладко?

— Кругло и гладко».

Анна Романовна уверяла потом, что не только разговоры путников, но и самые мысли их в эту дорогу она знала из вернейших источников.

Шестерик летел вскачь, продолжала Селёдкина. Музыкантов и его спутник курили, пуская струйки дыма тончайших гаванских сигар. Два колокольчика и бубенчики на хомутах звенели на множество ладов. Ни облачка пыли вслед коляске, по недавно увлаженной дороге, ни жары, ни кочек.

На тридцатой версте от города потянулась Опалйхинская степь. Кое-где только вдали, в рассыпку по косогорам, виднелись огромные овечьи стада, с шестами у кочевых куреней, со стаями сторожевых собак и с одичалыми, как волки, чабанами.

Путники стали дремать. Совершенно неожиданно под коляской сломалась ось. Лошади понесли и довольно невежливо выкинули ездоков наземь. Отделавшись одним испугом, путники, при виде наступающего вечера, посмеялись, велели ямщикам пустую коляску бросить и скорее ехать обратно в

ближайшую слободку за телегой, а сами посидели на траве, закурили новые сигары и решились, ради хорошей погоды и красивого заката солнца, прогуляться несколько вперед пешком. Толкуя о том о сем, они прошли версту, другую, третью. Солнце еще было видно, но уже стало заходить. Перед ними обрисовался овражек с несколькими дубками вправо, в его вершине.

— Что, как не найдут для нас телеги? — сказал адвокат. — До Ганновки еще далеко!

— А хоть бы и не нашли, кто нас тут тронет? — ответил предводитель. — Нет ребенка в целом уезде, кто бы меня не знал.

Вдруг самодовольные путники вполне явственно заслышали в сумеречной дали глухой, переливистый и как бы на них несущийся лай огромной стаи чабанских собак.

— Что бы это значило? — спросил сам себя Музыкантов. — Я местность знаю хорошо, тут нет по близости ни деревни, ни другого какого жилья.

— Разве кто охотится! — сказал в ободрение себя и товарища Самосвистов. — А и в самом деле!

Предводитель и адвокат, вглядываясь вдаль, обомлели от страха. В нескольких стах саженях от них, протянувшись темными подвижными черточками, на них летела дикая и злобная стая чабанских собак. Адвокат первый их увидел, не хуже зайца пустился бежать и, оборвав о ветви тончайший сюртук, моднейший жилет и даже золотую цепочку, наподобие белки вскарабкался на ближайший дубок (вы знаете, ядовито прибавляла Анна Романовна, какой Самосвистов трус: когда за меня однажды приходилось ему драться, он уехал из губернии). Музыкантов, как известно, был толст и важен. «Куда вы? Где ваш револьвер? Где мой? Вот он! Да полно, что вы трусите, воротитесь! Смотрите, как я их встречу!» — крикнул он вдогонку за убегавшим товарищем. Вслед за тем Музыкантов присел опять, послышался выстрел из пистолета, раздался неясный крик Музыкантова, казалось, звавшего на помощь, — и все затем слилось в глухом и

злобном рычании навалившихся кудлатых псов! Не помня себя от ужаса, Самосвистов заметил только, что собаки мгновенно набежали на Музыкантова, смяли его, растянули, окружили и затихли... Прошла секунда, другая, минута, две... Не то собаки бросили Музыкантова и ушли, не то они его рвали. Что было с ним, Самосвистов, сидя в ветвях, не мог решить.

Сумерки сгустились. Вдали послышался грохот тележки, раздался звук тех же бубенчиков и колокольчиков.

И когда обывательские ямщики, со старостой и с сотским соседней слободки, наскакали опять сюда и стали кликать господ, на дорогу перед ними явился один Самосвистов. Музыкантова не нашли. Во мраке поля то здесь, то там слышалось несколько минут жадное рычание собак. Но вскоре стая разбежалась, и все замолкло окончательно...

— Видно, барин сгоряча не выдержал, стрельнул да и ранил-те, верно, сучонку! — рассуждали ямщики. — А уж тутошние псы этого не любят, особливо коли бегают и правят свою собачью свадьбу.

Рано на заре понятые собрали несколько обглоданных человеческих гостей.

Самосвистов послал одного из верховых с вестью в Ганновку, к жене Музыкантова, другого послал в стан и в уездное полицейское управление, а сам в ту же ночь уехал к одному родственнику в дальнюю деревню, от перепуга заболел там горячкой и чуть, как говорят, не умер, что, однако (прибавляла рассказчица), не помешало Самосвистову вскоре снова выздороветь и начать в пользу семьи разорванного собаками Музыкантова иск по векселю с Чемодаровой. «И не далее как через месяц (вы увидите) блистательный адвокат выиграет и это, заведомо всем, неправое и вопиющее дело. Таганчу уже описали и скоро будут продавать с молотка» — так говорила Анна Романовна.

— Странное стечение обстоятельств! — толковали жители Черноземска, в тысяче вариантов передавали рассказ Анны Романовны. — В тот самый день, как расстрелян Раз-

ноцветов, разорван собаками Музыкантов! Что бы это значило? Тут что-то этакое кроется...

— А ничего не значит и не кроется, — возражали более солидные люди, — лучше вы вот ходите с пик, а то все бубны да бубны — и пробубенитесь!

— Но все-таки, извините, страшно подумать, — перебивали первые, — что чувствовал Музыкантов, когда его щек и рук уже касались оскаленные и запененные слюной морды собак и когда его еще живые уши слышали треск и хрустение его собственных костей? Ух, страшное дело!

Прошла неделя.

Каково же было изумление Черноземска, когда, после известия Анны Романовны Селёдкиной о страшном событии с Музыкантовым, Ардальон Аркадьевич Музыкантов оказался жив, здоров и невредим и собственною своею особой явился сперва в улицах Черноземска, а потом и в черноземском собрании. Все на него съезжались смотреть как на чудо, много смеялись и острили над городскими сплетнями. И более всех смеялся и острил сам Музыкантов, так как трагический рассказ Анны Романовны оказался чистейшею ложью.

— Чабанские собаки, судари мои, не только меня не растерзали, — говорил Ардальон Аркадьевич Музыкантов, — но когда, по случаю ломки экипажа, мы с Самосвистовым должны были заполночь просидеть в степи и дожидаться телеги, эти собаки, действительно, сбежались и охраняли нас до возвращения ямщиков.

История же о собаках со стороны Анны Романовны сплелась очень просто. Беседуя с одною кумой об ульяновском деле, она выразилась:

— На Музыкантова вчера, говорят, напали собаки, и как это они его еще не съели! Вот помогла бы судьба казнить его, коли суд людской оказывается тут бессильным!

Кума сказала: «Да, хорошо, коли бы собаки постарались!» Да, уйдя от Анны Романовны, и брякнула другой соседке, что это уже случилось.

Та к Анне Романовне.

— Как, матушка, было?

— А вот как... — и пошла писать.

Не вразумила и не напугала негодяев казнь Разноцветова. В тот же вечер донесла городская полиция новому губернатору, что, пользуясь стечением народа за город, несколько шаек воров в разных улицах, домах и лавках произвели более десятка самых отъявленных краж; в числе прочего стащили самовар с кипятком с крыльца какого-то генерала. А наутро снова загремели дрожки, подъехал растерянный полицеймейстер и объявил, что те самые арестанты, Молодичка, Отченаш и компания, которых за побег из острога приговорили к каторге и в поучение водили на плац смотреть на казнь Разноцветова, выломали решетку в окне новой своей камеры, спустились на связанном белье во двор, пользуясь темнотой осенней ночи, убили кистенем двух часовых, внутри и снаружи двора, и снова все ушли.

XVI

Счастье чернорабочего человека

Чулков и Чемодарова обвенчались в сентябре. Свадьба была тихая. Венчал их тот же отец Лев, который, впрочем, с дальнейшею жизненною практикой, а в особенности, видя постоянно больною свою жену, стал суровее, уже не так был щеголеват в одежде, прическе и в движениях и менее старательно вычитывал молитвы и церковные возгласы. Безлюдовские школьники Чулкова пели на клиросе венчальные гимны, а их учитель, Михеич, сказал молодым спич. Почетным и единственным гостем на свадьбе был друг Александра Ильича, лабазник Иван Иванович, который, по-прежнему, копошился в уездной лавчонке, из копеек сколачивая рубли.

Дуня и Глаша, по ходатайству Чулкова перед новым исправником и следователем освобожденные от привлечения к делу о покраже его кассы, также стояли в церкви и, запрятавшись в задние ряды молельщиков, жадно следили за обрядом венчания. После венца жених и невеста отслужили панихиду по Аглае Федоровне, по Гуслеву и по Разноцветову. Вскоре после свадьбы Чулков поехал в Черноземск с целью употребить все усилия, чтобы спасти Таганчу от иска Музыкантова.

— Ну, Варя, — сказал он, возвратившись из Черноземска на тех же неизменных и заветных беговых дрожках и на той же буланке, которой в просторной конюшне Таганчи́ было отведено самое лучшее стойло, — дело наше еще не так плохо! Начнем встречный иск против Музыкантова. Поборемся: время — лучший врач всяких бедствий. Не победим Музыкантова, отступим в Безлюдовку, а до тех пор будем жить здесь, направим хозяйство на лучший лад, пустим все силы имения в ход, поищем кредита, так как на хлеб что-то нет покупателей, и авось еще спасем дело. Я слышал, что дела Музыкантова очень плохи, что жена требует от него промотанный им ее капитал; а что если бы даже он и выиграл дело против нас, то и это его дел не поправит. Но вот феномен. По делу ульяновскому он только не унывает, а уверяет своих друзей, что послал в Петербург большую сумму денег и что не только ему договорили лучших адвокатов, но что он купил чуть ли не весь сенат!

— С Безлюдовкой ты что думаешь делать, как кончится через два года срок аренды?

— Постараюсь опять взять ее внаймы, а там, может быть, ее и купим. Надо надеяться, что казна станет исправным и многолетним арендаторам продавать их участки с рассрочкой, в виде особой награды. Ты меня считала честным и не ошиблась. Нажива честным трудом — лучшая доля на свете. Лгут те, кто уверяет, что честным трудом ничего не наживешь. Ты сама доказала обратное: в год времени ты

сумела получить вдвое против того, что Таганча́ давала прежде.

— Не тяжело ли нам будет разом вести такое сложное дело и в двух имениях?

— Нельзя. Красивая Таганча́ останется в наследство... нашей будущей дочери, а пустынная, но зато торговая Безлюдовка... сыну.

— Не болтай, Саша, вздору, а то я рассержусь и не дам тебе кофе...

Кофе, однако же, был изготовлен, как учил жену Чулков, по-петербургски, горячий, крепкий и с густыми сливками, и молодая супруга собственноручно поднесла его супругу, с дороги прилегшему на диван.

— Саша! — сказала она, опустившись подле него на колени, — ты лежи, а я буду спрашивать...

— Спрашивай.

— Ты новый или ты старый человек?

— Это как?

— Я в ваших модных романах недавно читала описания новых людей... Ты знаешь, по твоей вине, я за этот год немало перечитала.

— Какие же там эти новые люди в книгах?

— Такие...

— Какие такие?

Чулков приподнялся на локте.

— Ну, известно какие, особенные...

Чулков широко раскрыл глаза.

— Особенные? Это есть, как это особенные? Носы у них, руки и ноги, что ли, совсем другие, чем у остальных?

— Нет, Саша, я не шучу. Какие там носы! Говорится о душе, о воле и стремлениях. Отвечай мне серьезно: ты новый или старый человек?

— А ты как полагаешь? — спросил Чулков с улыбкой, прихлебывая из чашки...

Варвара Аркадьевна подумала и ответила

— По мне, так ты, конечно, новый человек.

— Отчего так?

— Вот отчего. Во-первых, ты во всем — оригинал, не похож на всех других, кого я знаю. Тебя даже не придет на ум спросить: дворянин ты, или мещанин, или купец? Ты — как бы общий человек. Потом — это будет во-вторых — ты с большою силой воли, честен, чужого даром не желаешь и всю свою жизнь, все блага свои построил на собственном личном труде... следовательно...

— В-третьих?

— Ну, и в-третьих, и в-четвертых, ты — новый человек. Вот ты опять смеешься!

Чулков приподнялся на диване и присел.

— Сядь возле меня, Варя, и послушай. Ты слишком добра и снисходительна ко мне, потому и преувеличиваешь мои мнимые качества. А качеств за мной не водится особенно никаких. Какой я новый человек! Те люди — совсем иные, пожалуй, даже необыкновенные герои. С остальными людьми, как ты выразилась, у них нет почти ничего общего и схожего. Всяк глянет на такого и сейчас поймет, что такой человек — не то, что он сам. Я же, дружок, не только не герой, но даже весьма незначительный человек, просто — переселенец, колонист на берегах Опалúхи, да и все тут.

— Вот и попался!

— В чем же я попался?

— В том, что даже и тут ты все-таки — новый человек. Сообрази. Ведь на здешние земли и реки до сих пор являлись колонистами одни заморские люди: либо немцы, либо греки, либо там другие какие иноземцы. Наши же если и переселялись куда-нибудь, так или просто в ссылку, в наказание, чрез становых, или как прежние крепостные, тоже против воли, из-под палки. А ты, человек хорошего общества, воспитанный, пренебрег, как рассказывал мне, служебными отличиями, бросил другим все старое, избитое, легко доступное и переселился на новые места...

— Ну, не хвали! Я и здесь вышел скорее подражатель, чем самобытное лицо.

— Почему?

— Очень просто. Потому что и до меня другие это делали. Ты, я думаю, слышала — не знаю, правда ли, — один московский граф во Франции, в Пикардии, закупил себе целый околоток деревень и земель, стал французским помещиком; потом какой-то петербургский откупщик возле дивной Ниццы русскую избу в апельсинном саду соорудил; а твой любимый антологический поэт, выиграв в лотерею сто тысяч, близ Афин в Греции, говорят, купил участок классической земли и там себе на старость, среди миртов и лавров, на безоблачном берегу вечно синего моря, воздвигает сказочный приют с мраморными богами, портиками и колоннадами. Потом, в Крыму, на южном берегу, построено столько вилл...

— Нашел подвиги! Среди итальянской или полуазиатской изнеженной природы мраморные портики для летней дачной жизни построить! Где же тут подвиг, где труд? Это, дружок, называется, попросту, с жиру беситься... Ты потому на них именно и не похож, что поселился на речке Опали́хе. Тут нет ни лавров, ни кипарисов, ни шумных пенистых водопадов, ни пикардийских пастухов в соломенных шляпах, ни итальянских пастушек. Тут одна обгорелая и бо́льшую часть года голая степь, на которой, как ты и сам мне говорил, на глазах переселенца рыщут голодные волчицы да блаженствуют Молодички и Музыкантовы. Ты все превозмог, ты не сдался ни на что, за то я и зову тебя новым человеком...

В кабинет вошел белокурый франт-лакей, впервые вводивший некогда Чулкова в этот самый дом и сказавший тогда с лукавою улыбкой ему и Гуслеву, что «барыни в церкви, что они там постоянно молятся и что их такое обыкновение», как бы думая в то же время: «Увидите, молодая-то скоро выйдет замуж!» Лакей стал на ковре и по-прежнему, искоса взглядывая в зеркало на свои русые кудри и стройный стан, улыбался.

— Что тебе, Василий? — с досадой вскрикнула хозяйка.

— Кушать готово! — почтительно ответил лакей.

— Ты опять улыбаешься и весел? Что теперь за причина? — спросил Чулков. — Тебе бы скорее печалиться: скоро переедем, может быть, в Безлюдовку, ливрею скинешь также...

Лакей смешался и покраснел.

— Законным тоже браком-с думаю...

— На ком же это?

— Уж слово дадено. Гуслева барина покойника Глашу посватал-с.

Чулков покраснел в свой черед.

— И ладно; поздравляю тебя. Иди себе! — сказал он, пряча глаза от жены.

Лакей вышел, не утерпев снова посмотреть на себя в зеркало.

Под вечер Чулковы сошли в сад и долго там ходили по дорожкам, вдоль сизых от первых морозов вишенников, между багровых, точно одетых в пурпур, кленов и ярко позолоченных лип. Жирные дрозды и иволги, готовясь к отлету за море, беззвучно шныряли в молчаливых ветвях. Одна вечно неугомонная, серая пташка — пастушóк — хлопотливо посвистывала, будто гнала куда-нибудь стадо овец, и вертелась, снуя и прыгая по стеблям отягченного красными ягодами шиповника; дятел, как молоточком, неугомонно стукал в черные мшистые дупла дубов и вязов. Чулков припомнил дикие и как бы огнем и золотом писанные картины той весны, в которую он прибыл в этот край. Нынешняя осень была ему не меньше мила: он был не один и с теми же молодыми силами и надеждами на счастье. Из сада Чулковы вышли парком в поле. Туманная даль синела. Затихшие степи были усеяны черными клетками свежей пахоты вперемежку с яркою зеленью новых озимей. Молодые выводки птиц то скучивались и резвыми стайками переносились с места на место, готовясь также унестись к далеким теплым краям, то, рассыпаясь, паслись и играли по затихшим полянам.

— Возвращаюсь опять к давешнему нашему разговору! — промолвил, уходя далее и далее в степь, Чулков. —

Ты назвала меня новым; нет, я старый, я ветхий человек. До новых еще нам всем далеко. Новый человек вполне выдержал бы с своею задачей, а я вот не выдержал. Я не хотел жениться до известной поры. Это была моя задача. Раз увлекшись делом, герои не сворачивают на полпути с дороги, не вступают в сделки ни с какими преградами и неудачами. А я, как видишь, не кончив задачи, примиряюсь на том, что дала мне золотая счастливая случайность, наша женитьба. Не встреть я тебя, я был бы банкрот; аренду у меня взяли бы, и через несколько месяцев мой след простыл бы здесь... Я ушел бы с сумкой Гуслева через плечо; а теперь заветная сумка спокойно и в почете висит над моим рабочим столом, затканная паутиной, и я о ней не думаю...

— Полно, Саша! Не стыдно ли тебе так мало себя ценить! Где же ты примирился на полпути! Ты банкрот, и я банкротка. Без тебя я бы разорилась. А ты не унываешь, думаешь все спасти. Что я тебе принесла особенное? Чуть не с молотка проданное имение? Но я готова трудиться изо всех сил, и при твоих советах эти труды будут плодотворны. Мы станем помогать друг другу и при твоем уменье работать снова все возвратим сторицей.

Они прошли еще несколько шагов. В поле уже надвигалась темнота.

— Да полно, — сказал Чулков, — есть ли вообще-то на свете в данное время новые люди рядом со старыми? Я полагаю, что нет.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что между людьми, как и в остальном мире всего живущего, переход одного рода в другой совершается не вдруг. Всякий здоровый и правильно развитой человек в каждое мгновение представляет из себя вместе и старого человека, и нового, переходную ступень к загадочному и для всех непонятному будущему. Где человек, о котором бы в данный миг можно было сказать: вот новый человек, не похожий ни на кого из своих современников и предшественников? Все это, мой дружок, пустые слова... Счастливы мы,

если в нас попадет и даст росток хоть единое зерно лучших сил. От него в отдаленном будущем, быть может, суждено медленно перевоспитаться целым поколениям, которым, разумеется, будет и невдомек, у кого из тьмы забытых предков и родичей и какая крохотная счастливая случайность дала жизнь и рост новому, великому нравственному началу.

— Так, стало быть, Саша, ты — не новый человек?

— Простой и самый обыкновенный, но зато вполне счастливый человек. Места здесь новые, но люди, страсти и привычки людей старые.

— Пойдем же, мой старичок, обратно. Ты мне расскажешь, почему именно людское семя на земле так медленно развивается...

Чулковы повернули с поля домой. Вдали над садом, из верхних окон дома, уже мелькали огоньки. В воздухе заметно свежело, но от прогулки пешком холод был незаметен. Чулков замолк. Закутавшись в шаль, молча шла и жена. Все светлые и темные, радостные и печальные картины былой жизни обоих вставали в эти мгновения и неслись рядом с ними над росистыми и тихими, потонувшими в сумерках полями. В доме, в кабинете молодого хозяина, их встретил ярко растопленный камин и накрытый чайный стол.

— Жаль мне тебя, Саша, во всяком случае, — сказала Чулкова, наливая мужу чай. — Держа аренду и соскучась здесь, ты, как петербургский житель, со временем, по своей воле, снялся бы и улетел отсюда. Теперь же нельзя будет: мои дела на шею берешь.

— Ошибаешься, мой друг. Я — вовсе не петербургский продукт. Я — сын провинции, я — практик прежде всего. Еще с детства в нашей вологодской губернии я привык к работе. Мой мелкопоместный отец подчас сам запрягал коней в соху с своим батраком; моя мать на моих глазах сама доила коров, сбивала масло, полола грядки огорода. Мой отец непременно умер бы богачом, если бы не бедность почвы и не адская суровость климата нашего края. Он не догадался, не имел духа переселиться в другие места. В

Петербурге мои силы окрепли; я там кончил ученье, стал служить, но вскоре мне, практику, стало там душно. А тут подвернулся случай, из-за которого я должен был оттуда бежать на вольный и свежий воздух... И вот я, дитя провинции, возвратился к тому, что люблю...

В эту минуту в комнату вошел франт-лакей.

— Почту привезли! — сказал он, подавая хозяину кучу газет, журналов и два письма.

— Давай, давай. И письма! Вот хорошо. От кого бы это?

Одно письмо было без почтового клейма; зато на обороте другого не оказалось свободного места от разноязычных надписей и клейм.

— Ба! Нью-Орлеан, Америка! От Вани Сладкопевцева! А это от почетного нашего друга Ивана Иваныча.

— Но как же нашло тебя здесь письмо из Америки?

— Мы с Сладкопевцевым избрали на всякий случай общий адрес, в одной банкирской конторе в Петербурге. Не переписываясь пять лет сряду, я недавно дал ему о себе весть через эту контору; а он, вероятно, еще раньше сообщил туда свой адрес; вот мы опять и перекинулись словами. Это, верно, ответ на мой вопрос о его житье-бытье. Ты помнишь, я тебе часто говорил о нем, о нашей жизни вместе в Петербурге и о неудачном нашем бегстве с ним за границу.

Чулков придвинул лампу и стал читать. Далекий товарищ писал, что, если только не пропали его первые письма, Чулкову, вероятно, уже известен его гибельный переезд через океан, и его первые бедствия, и то, как он, без денег и без работы, несколько раз чуть не умер с голода. Далее он извещал, что вместе с тремя другими русскими, уехавшими с ним в Америку, он примкнул было к одному каравану ирландских переселенцев и посетил с ними саванны и леса в западных штатах Союза, но только убедился, что не стоило переезжать океан, чтобы увидеть ту бедность, дикость, голь и глушь, какую они встретили там и какую можно, не переезжая океана, встретить сплошь и рядом, проехав всего

несколько дней на перекладных, в любом из уездов степной Саратовской или болотной и лесной Смоленской губернии. Письмо кончалось словами: «Мои товарищи кончили так, как и следовало ожидать. Двое возвратились в отечество и извещают меня, что по-прежнему весьма усердно служат опять где-то в Петербурге. Третий же, привыкнув на родине жуировать и играть в карты, проигрался в пух и в прах какому-то второму подкапитану в Сен-Луи, на одном из пароходов по Миссисипи, а победитель и засадил его за долг в рабочий дом. Я же, в искупление здешней непроходимой и анафемской скуки, поступил недавно секретарем к нашему консулу в Нью-Орлеане, по фамилии Сластенникову (из коломенских, кажется, купцов, с детства попал сюда, богатеет не по дням, а по часам, торгуя нашими канатами). А, между прочим, уча его довольно милых детишек отечественной русской грамоте, я хотел было заняться переводами американских поэтов на русский язык. Ты знаешь, что я всегда был падок к стихам. Но взял я одну поэму: скука страшная, воспевается в ней чуть ли не хлопчатобумажная фабрика, с перечнем всех машин и всего производства работы. А здесь читается нарасхват. Задумал я собирать национальные американские мелодии; оказывается, что их вовсе и нет: народ поет западноевропейские дюжинные и избитые романсы. Словом, я, дружище, увидел, что моя особа здесь лишняя. Жизнь моя была бы окончательно никуда не годна. Но на стогнах града Нью-Орлеана, откуда я тебе пишу, я не так давно встретился у нашего консула с одною мисс; и, вероятно, восточный варвар и скиф ей понравился, потому что и она, и ее папаша, строитель морских судов и вместе с тем отставной майор, согласились на наш брак. И давно бы уже мы с нею обвенчались, да все никак не решается один главный вопрос: девица и я не только желаем жениться, но и увезти с собой в Россию приданое ее папаши в несколько тысяч долларов, а папаша, хотя и не прочь, чтобы мы поженились и ехали в Россию, но только одни, а чтоб его доллары, в таком случае, оставались в его собственном сун-

дуке. И если у тебя, Александр Ильич, на избранных тобою местах, как ты пишешь, по речке Опали́хе, имеется в виду еще и другой арендный участок, вроде избранной тобою Безлюдовки, то отпиши. Быть может, не далее как через год, к тебе переберусь и я, так как моя невеста все-таки любимица своего папаши, и нет сомнения, что мы общими силами сломим наконец его упрямство и приедем с его долларами»...

— Превосходно! — воскликнул Чулков. — Ай да Ваня; сейчас видно друга. И как кстати; через год с небольшим здесь новые торги на землю. Напишу к нему, пусть едет. Колония наша увеличится и процветет.

Письмо лабазника Ивана Ивановича состояло всего в нескольких строках: «Так как, таперича, твое благородие, значит, законным браком женёвше, по естеству (писал он, выводя на толстейшей бумаге каракули), и как притом шестьсот десятин льна у твоей барыньки, на даденные тебе от меня взаймы деньги, убраны, но зерно еще не продано, то не обезкуражьте на барыш лично, хоть завтра, от меня принять в задаточек три тысячи, а остальные, как след, по приемке партии, почему что, полагать надать, ленку у вас довольно будет. Знаем тоже, что вы школяров своих любите и что школа ваша, после грабежа хутора вашего, оскудела. Я подговорил наших горожан, и вам готова для школы наша складчина до поры до времени, — и о больнице подумаем таперича... С моим почтением готов уважить, хоша лен и не в цене, как знаешь сам, затих... Во Хранцыю Мирика́нцы подвезли!»

— Ишь, плутяга, поет о почтении! Во Хранцыю Мирика́нцы подвезли! Как нужно, и в политику ударился, и школу мою вспомнил. Видно, цены-то, напротив, зашевелились. Ну да уж отдадим ему ленок. Вот нам и помощь на хозяйство, и Михеич обрадуется. Он же нам немало помогал и сам. Да меня, кстати, о пшенице по дороге сюда спрашивали другие купцы. Дела будет нам довольно.

— А ты все не хотел, Саша, чтоб я столько сеяла льна! И вышло на мое. Ум хорошо, а два еще лучше. Не ограбь тебя шайка негодяев, ты был бы с деньгами, и широко, и на славу шло бы твое хозяйство! Не обмани меня так низко Музыкантов, не грозила бы опасность моей ненаглядной Таганче. Но не падай духом, Саша.

Чулков крепко пожал руку жены, притянул ее к себе, поцеловал и позвонил.

— Шампанского! — сказал он вошедшему лакею. — Там от нашей свадьбы осталась бутылка.

Юный лакей подумал: «А, это, верно, за мое сватовство с Глашей хотят выпить господа!» — вспыхнул по уши, кинулся и вскоре с торжеством внес на подносе бутылку и бокалы.

— За здоровье честных тружеников, Варя, — сказал Александр Ильич Чулков, наливая себе и жене полные бокалы. — Все дело в том, чтобы каждому хорошему человеку в наши трудные дни, не надеясь на других, работать самому, не отказываясь ни от какого черного труда. Мы не успеем всего сделать, сделают наши преемники. Но чуть уклонится и заленится хотя один, уклонятся и все. Меня, Робинзона Крузо, что на Опали́хе, жгли и грабили, унижали и позорили, даже было фальшивым монетчиком объявили, я уцелел, уцелели и мои силы. Еще раз: за здоровье честных тружеников, безвестных, но не падающих духом чернорабочих нашей родины.

Камин ярко пылал. Время незаметно летело.

— Поработаем с тобой, Варечка, годика три-четыре. Ты показала также охоту и способность трудиться. Наши новые места, нашу Новороссию ждет хорошая будущность. Все здесь есть — одного недостает этому молодому краю: более высоких идеалов. Нажитое от него ему же и отдадим — оснуем здесь журнал.

— Не все же Петербург! — сказала жена, подавая Чулкову чай и пачку новых газет.

— Не нападай на Петербург. Я отсюда не уеду, ты уже это знаешь. Я навсегда отныне здешний. Но и у Петербурга много хорошего. Это будильник России... А кстати! Постой-ка... что вижу!.. вот тебе и громкая печатная новость оттуда...

— Какая?

— Газеты стали печатать процесс Музыкантова и его компании.

— Неужели? Наконец-то! Что же там?

— Радуйся! Все участники громко названы по именам и всех осуждают. Музыкантов снова в остроге...

Чулкова всплеснула руками, но подумала и, вздохнув, сказала:

— Погоди, Саша, увидим еще, чем это кончится. Ведь их судит еще старый суд — сенат: пожалуй, еще спасутся... Скорее бы вводили новый — суд присяжных: от него вряд ли ускользнут.

1867 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 2

Редактор
И. Шурыгина

Художественный редактор
Е. Дятлова

Технический редактор
Н. Привезенцева

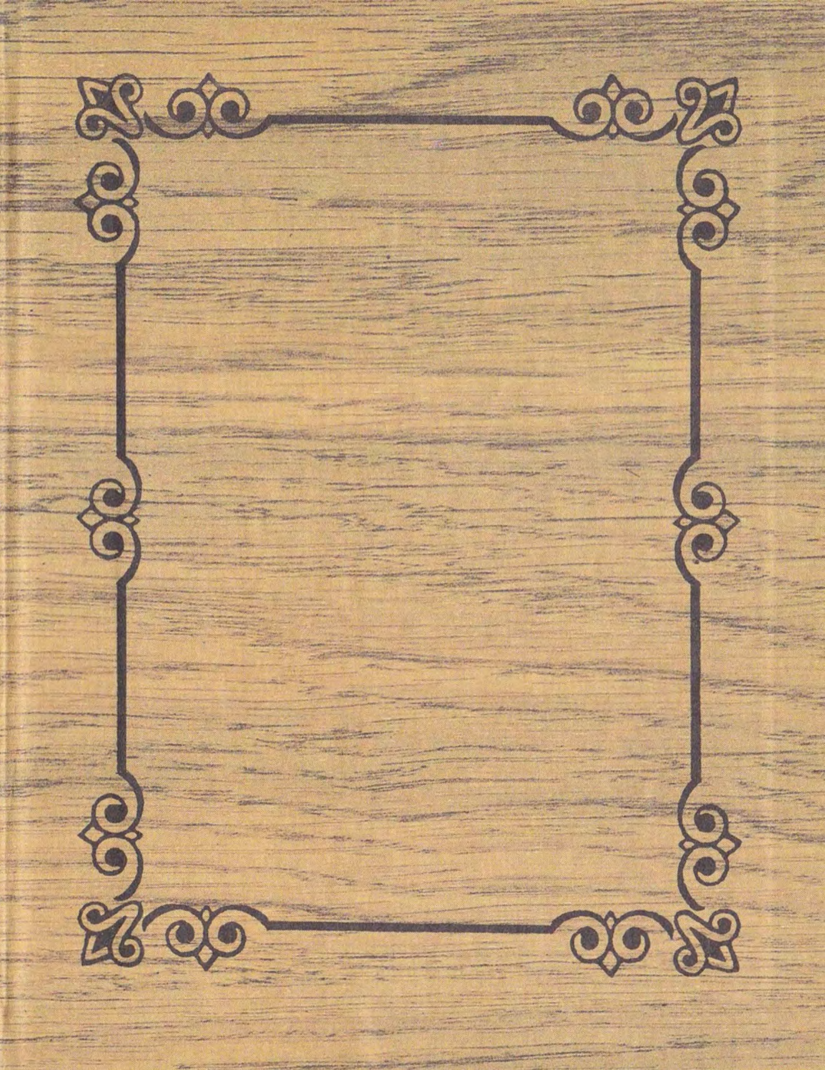
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

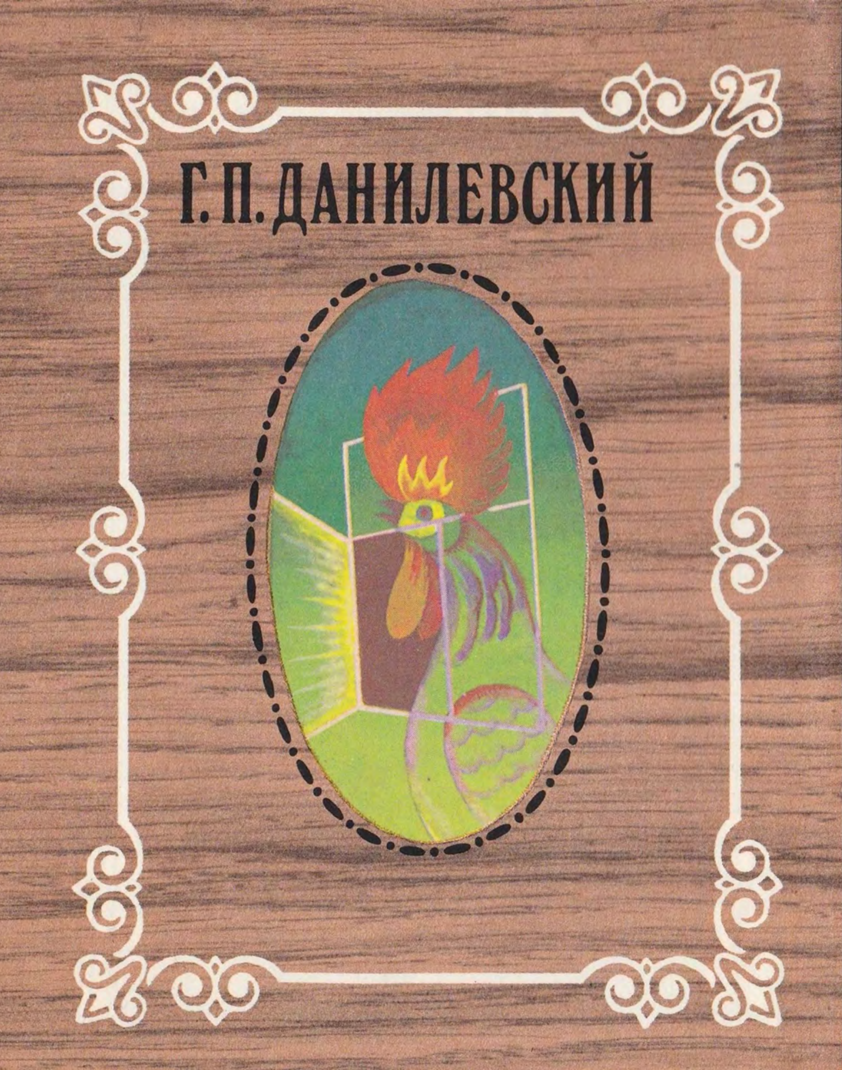
ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 15.11.94. Формат 70 Х 108 1/32. Бумага офсетиая. Печать высокая. Усл. печ. л. 24,5. Уч.-изд. л. 29,62. Тираж 15 000 экз. Заказ 1528.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.




Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ